# Петр Алексеевич Михин

# «Артиллеристы, Сталин дал приказ!» Мы умирали, чтобы победить

## От автора

Много лет минуло после войны. Но впечатления тех грозных, мучительных, кровавых дней никогда не изгладятся в памяти тех, кто воевал. Страхом и отчаянием, холодом и голодом, ранениями и смертями, мужеством и героизмом, победами и поражениями были наполнены те дни. Вечность была сконцентрирована в четыре года, а то и в минуты, даже в секунды. В мгновения смертельной опасности души обнажались до самого последнего своего нутра. И люди творили невозможное.

Именно на передовой свершается война. И видна она лучше всего из окопа, а не из штабов и политотделов. Любые гениальные замыслы и стратегические ходы полководцев — лишь замыслы и ходы. В реальные дела они воплощались руками и жизнями тех, кто стрелял и побеждал врага на поле боя. Непосредственно победы добывали солдаты и офицеры взводов, рот и батальонов, эскадрилий и батарей. К сожалению, их ратный труд не всегда знали и правдиво отражали в своих донесениях штабы и политотделы, и не только потому, что находились они вдали от передовой.

За 60 лет после войны не один раз менялись оценки трагических событий тех лет. Высказывались различные мнения по поводу наших неудач в первые месяцы войны, замалчивались истинные причины поражений в неудавшихся военных операциях. Не публиковались сведения о потерях в победоносных сражениях. Даже академические издания по истории Отечественной войны грешили субъективизмом, подстраивались под власть имущих. Наиболее правдивым изданием выглядит «Всероссийская книга памяти 1941–1945» (Обзорный том), которую выпустило Военное издательство в Москве в 1995 году.

Лишь в последние десять лет историки и общественность получили много новой, правдивой, ранее неизвестной документальной информации из истории войны. Но все меньше остается в живых непосредственных участников и свидетелей тех страшных событий, и новую, более объективную и реалистическую, основанную на документах и фактах оценку минувшей войне дает поколение историков, которые ее не видели. Однако при любых оценках войны незыблемым должен оставаться непререкаемый исторический факт — героизм советского народа.

Я попал на фронт со студенческой скамьи. Командовал взводом, артиллерийской батареей, дивизионом. Выпало мне пройти большой боевой путь от Ржева до Порт-Артура, через Сталинград, Донбасс, Курскую дугу, Украину, Молдавию, Балканские страны, Будапешт, Вену, Прагу, Монголию и Китай. Сколько смертей пережил я на фронте! Погибших друзей до сих пор забыть не могу. Они — в моей памяти. Живыми — они снятся мне. Война оставила неизгладимый след в моей душе. Вот в своей книге я и старался дать восприятие войны таким, каким оно было тогда, какой испытал ее, более трех лет постоянно находясь на передовой. Я пишу о сокровенном, вспоминаю то, что особенно волновало тогда, но о чем в те времена мы не могли, да и не принято было, говорить и писать. В книге нет художественного вымысла, как нет и цензурных правок. С другой стороны, потребовалось более полувека, чтобы осознать то, что происходило вокруг меня и с нами в те страшные дни.

Уходит из жизни наше поколение фронтовиков-окопников, всех тех, кто видел противника не на штабной карте, а через прицел автомата, орудия, а то и в рукопашной схватке, кто на себе испытал истинную силу врага, горечь поражений и радость побед. И мне, представителю этого исчезающего поколения, хочется донести до молодежи и наших потомков простую и страшную правду о самой кровопролитной в истории человечества войне.

Петр Михин.

Январь 2006

## Пролог

## Тяжело в учении…

## Июнь 1941-го — июль 1942 года

Героическому, многострадальному советскому народу-победителю посвящаю эту книгу

###### 22 июня

С раннего утра 22 июня 1941 года в Ленинграде стояла удивительно теплая, тихая и солнечная погода. Красота, тишина и спокойствие. Если бы не самолеты. Тревожно ревя моторами, они беспокойно носились над городом. Но люди думали, что идут учения. В мае и начале июня у людей возникало беспокойство: как бы весной война не началась. Но неделю назад, 14 июня, было успокаивающее сообщение ТАСС, что не следует опасаться скопления немецких войск на наших границах, это они прибыли сюда отдыхать перед броском на Англию.

Мы, трое студентов Педагогического института имени Герцена, Леша Курчаев, Витя Ярошик и я, собирались на последний экзамен за третий курс. Общежитие, где мы жили, находилось во дворе института, идти было недалеко. Вдруг из черной тарелки репродуктора громко прозвучал голос диктора: в двенадцать часов слушайте выступление Молотова. Решили задержаться: интересно, что скажет второе лицо государства.

Трагическим, скорбным, дружески-молящим голосом Молотов сообщил о начале войны. Слова Молотова поразили нас. Рухнуло все: надежды, планы, привычный образ жизни, повседневные заботы. Да и сама жизнь уже более не принадлежала нам. То, чего мы более всего опасались, стало зловещей действительностью. Но мы были твердо уверены: враг будет неминуемо и скоро разбит.

Не видя ничего под ногами, мы помчались на третий этаж учебного корпуса. В длинном коридоре находилось человек двадцать студентов. Я громко, на весь коридор, прокричал:

— Товарищи! Началась война с Германией!

Пораженные сообщением, студенты окружили меня и с интересом стали расспрашивать, откуда узнал. Я не успел ничего сказать, как из толпы кто-то с силой потянул меня за рукав. Оглядываюсь и вижу парторга факультета.

— Это что за провокация?! Что вы сочиняете?! — заорал он, крепко удерживая меня за руку. — Да вы знаете, что вам будет за клевету?! А ну пошли в партком!

Тут в другом конце коридора раздалось:

— Ребята! Война! Война!

Парторг бросился на этот крик.

Мы вошли в аудиторию, где шел экзамен по методике математики за третий курс. Пожилой, высокий и худощавый, очень строгий доцент Крогиус никак не отреагировал на наше сообщение о войне.

— Берите билеты, — спокойно и буднично сказал он.

Я подумал: не немец ли он, этот Крогиус, может, и о войне давно знает?

Экзамены мы, все трое, сдали на «отлично». Мне бы только радоваться: это пятая пятерка, теперь мне наконец, одному из немногих, положена стипендия. Уже два семестра я не получал стипендии. Прошлой весной из пяти экзаменов у меня было три пятерки и только две четверки. По немецкому языку преподавательница заранее предупредила: из-за воронежского произношения никогда мне пятерку не поставит. А последний экзамен, по теории функций, сдал на «отлично», но профессор предложил для порядка ответить на дополнительный вопрос. У меня был приступ малярии и температура под сорок. Я попросил отпустить меня с любой оценкой. И он поставил четверку. Меня это не огорчило, потому что общий баланс оценок у меня и без того тянул на красный диплом. Но как я пожалел об этой пятерке в октябре, когда ограничили стипендии, давали только тем, у кого одна треть четверок. Две четверки из шести давали право на стипендию, а из пяти — нет. У меня не хватало одной пятнадцатой балла. Совсем случайно не получил я стипендию и после зимней сессии. Снова пять экзаменов, опять четверка по немецкому. Но у меня была полнейшая уверенность сдать последний экзамен, по философии, на пять. Я единственный в группе одолел «Материализм и эмпириокритицизм» Ленина, профессор только с одним мною вел дискуссии по этой работе на семинарах и обещал пятерку на экзаменах. Но случилось непредвиденное: прибыла комиссия из ЦК партии по борьбе с либерализмом профессоров при выставлении оценок на экзаменах. Профессор испугался и решил подстраховаться: за отличный ответ поставил четверку. В результате я не получил стипендию и во втором семестре.

Как было трудно! Бедные родители могли прислать мне за год только четыреста рублей для уплаты за учебу. Многие студенты тогда бросили институт. Мне посчастливилось с репетиторством. Я стал заниматься с сыном шеф-повара ресторана и дочерью профессоров Медицинской академии. У первого я бесплатно обедал, вторые платили десять рублей за занятие. Тридцатилетняя жена повара стала уделять мне чрезмерное внимание, провожать до трамвая. Я никак не мог отвязаться от нее. Мужу не понравилось увлечение супруги, и он рассчитал меня. Вскоре я вынужден был оставить и занятия у профессоров. Родители девушки стали убеждать меня бросить пединститут, перейти учиться к ним в академию: профессорства не гарантировали, но сделать доцентом после окончания учебы обещали уверенно. Но я понял, что «в нагрузку» придется стать членом этой семьи, их флегматичная дочка мне не нравилась, и я перестал посещать их дом.

Пришлось по воскресеньям грузить в порту ящики с мороженой рыбой, а они по сто пятнадцать килограммов, и вдвоем не взяться — на лестнице не развернешься. К тому же конкурирующие бомжи постоянно подгадывали «упустить» сверху ящичек нам на головы. Другой работы в городе найти было невозможно, голодные студенты давно позанимали все должности сторожей и истопников. Но опять мне повезло: я устроился на полставки воспитателем в детский сад. Дальняя езда, зато за время трехчасовой работы можно четыре раза поесть: обед, полдник, ужин и, в компании с поварихой тетей Шурой, доесть остатки пищи «на свободе», как она говорила, когда детей уводили родители.

И вот война. Долгожданная стипендия теперь уже не потребуется, пошли насмарку все мои академические труды. Вышли с экзамена во двор института, а там все бурлит. Толпы студентов, разговоры, споры, шум. Наконец появился парторг института, народ смолк. Парторг кратко повторил заявление Молотова, призвал к бдительности и велел ждать дальнейших распоряжений. Послышались крики:

— Отправляйте нас на фронт!

Мы, студенты физмата, решили идти в Куйбышевский райвоенкомат. Но тут появился работник военкомата, который объявил, чтобы все студенты института собрались завтра в восемь часов во дворе в пиджаках, с ложками, кружками и туалетными принадлежностями. Будут отправлять на фронт. Мы обрадовались.

Утром нас повели строем на Финляндский вокзал, посадили в поезд и повезли к Выборгу. Разместили нас в сосновом лесу, в уже готовых шалашах. Покормили из полевой кухни. Показали вырытую траншею и сказали: каждому парню в течение дня свалить, очистить от веток и порезать на части двадцать сосен; из этих бревен солдаты будут делать эскарпы по бокам траншеи, чтобы не осыпался песок. Девушек поставили на рытье противотанкового рва.

Норма в двадцать бревен оказалась очень трудной, в первый день до темноты никто ее не выполнил. Да и затем работать пришлось по двенадцать часов. Уставали мы неимоверно, но постепенно втянулись и стали выполнять норму засветло. Все бы ничего, да сильно одолевали комары и мошкара, никуда от них не деться.

Но где же обещанный фронт?!

Мы стали требовать у полковника, руководившего работами, отправки на фронт. А после поездки двух студентов в Ленинград за мылом, которые рассказали, что по городу пройти невозможно: каждый встречный возмущается, почему здоровые парни не в армии, — мы пригрозили полковнику забастовкой, если он не отправит нас на фронт.

И все же нам пришлось проработать почти месяц, пока не выполнили всю работу. Один раз на нас сбросил бомбу пролетавший немецкий самолет. Страшно было, но никто не пострадал.

###### Какими мы были, во что верили

Двадцать третьего июля мы уехали в Ленинград и на другой день пошли в военкомат. Там нас построили в четыре шеренги, рассчитали по порядку номеров, показали середину строя, одну половину повернули направо, другую налево и повели в разные стороны. Наша группа двинулась по городу в направлении Финляндского вокзала. Колонну подвели к железным воротам и остановили. Ворота раздвинулись, нас впустили на чистый заасфальтированный двор и усадили под забор отдыхать. Куда привели, никто не сказал и спросить было не у кого. Только парикмахеры, когда стригли нас «под нулевку», объяснили, что это 3-е ЛАУ — Ленинградское артиллерийское училище. Позже мы узнали, что наши товарищи, вторая группа, попали в пехотное училище.

Первое, нас отвели в баню и выдали курсантскую форму. Когда мы помылась и переоделись в форму, преображение оказалось полным: мы никак не могли узнать друг друга — только заглянув в лицо, уясняли, кто рядом с тобой. Но вскоре уже без труда, даже со спины, стали узнавать любого. По возвращении в училище нас поделили на взводы и батареи, показали спальни и повели строем в столовую. Обед нам понравился: обильный, вкусный и сытный. Невольно каждый про себя порадовался: слава богу, хоть о хлебе насущном теперь не надо заботиться.

Да и обмундирование выдали добротное: хотя и не шерстяное, а хлопчатобумажное, но новое и прочное. Не у каждого ведь студента был тогда костюм. У меня, например, были единственные брюки, которые я время от времени отглаживал, да вельветовая курточка вместо пиджака. А вот у моего друга из Белоруссии Виктора Ярошика не то что костюма, даже брюк не было. Ходил он в тренировочных трикотажных черных штанах, которые выдавали нам на время занятий в спортивном зале. На тренировках смотрелись они хорошо, натягивались и подчеркивали прямоту ног, когда выполнялись упражнения на брусьях или на коне, потому что передние части концов штанин цеплялись за носки тапочек. Но когда Витя в этих спортивных брюках приходил в клуб на танцы, вида они не имели, и брал он только своей атлетической фигурой и красивым чернявым лицом.

Порадовали нас и кирзовые сапоги. Тяжеловаты в сравнении с тапочками, но ноги в кирзах ставились на землю прочно и основательно, так и печатали шаг, того гляди сами вперед понесут. А самое главное их достоинство — ни в каких лужах не промокали. Я впервые в жизни обрел непромокаемую обувь, вечно у меня текли ботинки, особенно в талой воде.

На следующий день уже был полный распорядок дня, с 5.00 до отбоя в 23.00. Зарядка, пробежка по набережной Невы, завтрак и 10 часов занятий с небольшим перерывом на обед, а вечером — 2 часа самоподготовки. Дыхнуть стало некогда. За четыре месяца нужно было освоить трехгодичную программу. На практических занятиях орудийный расчет в восемь человек должен, как игрушку, катать, разворачивать и приводить в боевое положение 12-тонную пушку, и снаряд 43 кг весит, а стальные сошники, что вставляются в концы станин, — по 100 кг, да его, этот сошник, надо еще громадной кувалдой забить в землю. Не высыпались. Все тело болело. Когда в четыре утра водили строем в баню, мы научились на ходу спать. И ничего, получалось: просыпаешься при остановке, утыкаясь в спину впереди идущего.

В одно из воскресений меня отпустили сбегать в институт за письмами. Брат писал из Подмосковья, что добровольно вступил в народное ополчение; настроение бодрое, патриотическое, ждут отправки на фронт, хотя воевать еще не научились и оружия пока нет. Чувствовалось, что состояние у брата боевое, приподнятое, да и политруки настраивали их, семнадцатилетних, на скорое истощение ресурсов у врага, а там и побить фашистов нетрудно будет. Еще брат писал, что ополченцы беспокоятся, как бы не опоздать на фронт, а то без них война закончится.

Вскоре эти ополченческие дивизии постигла горькая участь. Ими заткнули образовавшиеся на фронте прорехи и без пользы погубили.

Наши политработники тоже рассказывали нам о положении на фронтах. В основном о том, какие города сдали немцам. Быстрое продвижение фашистов тревожило, возмущало и удивляло нас. Приученные к победным кинофильмам и песням, мы не могли понять, как случилось, что немцы уже нацелились на Москву. Ранее в клубе института нам постоянно читали лекции по международному положению. Мы знали, что англичане и французы затягивали переговоры, фактически не хотели вместе с нами выступать против Гитлера и тем вынудили Сталина заключить договор с немцами. Народ, конечно, не верил в дружбу с Гитлером, люди внутренне, про себя, не одобряли политику заигрывания с фашистами. Например, мой дядя по линии матери Егор Илларионович Сахаров, простой крестьянин, хотя и колхозный бригадир, погибший потом на войне, так мне говорил: «Сталин боится Гитлера, заигрывает с ним и откупается от него хлебом и углем, как мой сын Петька откупается от ребятишек постарше яблоками, чтобы они не били его».

Советские люди жили тревожно, в ожидании войны. Но не думали, что она начнется так внезапно. Мы ведь не знали, что разведчики доносили Сталину о готовности Германии напасть на нас, даже дату нападения называли. Нарком обороны маршал Тимошенко 13 июня просил разрешения у Сталина привести приграничные войска в боевое положение, но Сталин не разрешил — боялся прогневать, встревожить Гитлера. Вот и получилось: снаряды держали вдали от пушек, чтобы ненароком не выстрелил кто и не спровоцировал немцев, войска — на учениях, люди — в отпусках и увольнениях, на каждого летчика приходилось по два самолета — в общем, гуляй, ребята!

Даже когда началась война, Сталин не верил в ее реальность, все думал, что это провокация. А потом до 28 июня вне себя был. И только к 3 июля оклемался.

Вот так подставил нас Сталин.

Но ведь он такую власть взял, что под страхом смерти ему никто ни возразить, ни подсказать не смел. Войска и страна оказались в растерянности. Перед войной по распоряжению Сталина расстреляли как врагов народа большинство маршалов, генералов и старших офицеров, а вместо них на освободившиеся должности назначили молодежь, которая не имела опыта. Говорил же писатель Симонов, что дивизиями командовали батальонные командиры, а полками — командиры взводов. Но мы, простые советские люди, не знали всего этого. Верили во внезапность нападения. Твердо надеялись, что враг будет скоро разбит.

Не знали мы и того, что уже в первые месяцы войны более миллиона наших воинов погибло, около одного миллиона, оставив тяжелое вооружение, выбиралось из окружений и более трех миллионов попало в немецкий плен. Откуда нам было знать тогда, что именно нам придется в последующие годы в кровопролитных боях брать каждый город, каждый взгорок, без особого труда занятые фашистами в сорок первом. Фронтовик Эдуард Алымов, у которого перед войной как врагов народа расстреляли отца и отчима — командиров полков, однажды вспылил: «Это надо же, за 1937–1938 годы истребить 42 тысячи высших и старших командиров! Немцы за всю войну убили и пленили всего 27 тысяч офицеров такого ранга. У нас полками командовали лейтенанты, дивизиями — капитаны, а армиями — скороспелые генералы».

Воистину! Истребив командный состав армии, Сталин доверился Гитлеру. Он запретил привести войска в боевую готовность и проиграл начало войны. А мы, народ, морем крови и океаном страданий выиграли эту войну. Однако причину поражения свалили на пресловутую внезапность. Нашли и козлов отпущения. Тайно казнили Героев Советского Союза Павлова, Рычагова, дважды Героя Смушкевича и вместе с ними еще сорок генералов. Не будь этого злодеяния, может, не отступали бы до Сталинграда и Кавказа. Положение спас Жуков.

Безусловно, наша армия вполне могла противостоять Гитлеру в начале войны, если бы она была приведена в боевую готовность и если бы не было с нашей стороны потворства наглой разведывательной деятельности германской военщины. Весь май и июнь сорок первого года немецкие самолеты беспрепятственно летали над нашей территорией, высматривали и фотографировали расположение войск, военные и стратегические объекты. Отгонять их, тем более сбивать было строжайше запрещено. При вынужденной посадке этих самолетов их дозаправляли горючим и ласково провожали домой.

И только народный комиссар Военно-морского флота Н. Г. Кузнецов, рискуя жизнью, нарушил приказ Сталина и привел порты и корабли в боевую готовность под предлогом учений. Они-то и встретили нападение Германии во всеоружии.

###### Учение: Кострома — Чкалов — Гороховецкие лагеря — Москва — Коломна — Данилов

В упорных занятиях промелькнул месяц. В конце августа поступил приказ об эвакуации нашего артиллерийского училища в Кострому. Мы перевезли все имущество училища на Финляндский вокзал и погрузили в эшелоны. 3 сентября нас Северной дорогой в товарных вагонах повезли в Кострому. Только миновали станцию Мга, как немцы ее заняли, и Ленинград оказался в блокаде.

На станциях, как в мирное время, продавали в бумажных кулечках северные ягоды: морошку, чернику, голубику. Нам это было в диковинку, и мы с удовольствием лакомились ягодами.

На дорогу, на всякий случай, нам раздали старые польские карабины. И, хотя нам напоминали известную солдатскую притчу, что раз в год стреляет и незаряженная винтовка, один курсант во время чистки карабина случайно застрелил соседа по нарам. Это была первая смерть, которую мы увидели.

Привезли нас под Кострому и разместили в казармах выехавшего на фронт запасного полка. Распорядок дня сохранился таким же напряженным, как в Ленинграде.

Брат прислал последнее письмо с марша к месту боя: «Идем громить фашистов!» Это без оружия-то, как я узнал потом. Больше от него писем не было.[[1]](#footnote-1)

Сентябрь, октябрь и ноябрь мы упорно овладевали артиллерийской наукой.

5 декабря нам присвоили звания лейтенантов, навесив в петлицы по два кубика. После чего 480 выпускников отправили на фронт, а 20 отличников — особо физически крепких и политически благонадежных, в том числе и меня, — оставили для отправки в Оренбург, на курсы летчиков-наблюдателей. После обучения мы должны будем с самолетов и воздушных шаров корректировать артиллерийский огонь по вражеским позициям.

В первых числах января сорок второго года мы оказались во 2-й Чкаловской военной авиашколе. В первую же ночь нас обокрали. Вместо наших длинных, из плотного сукна артиллерийских шинелей повесили на вешалки просвечивающие коротенькие шинелишки с авиационными эмблемами. Так мы потом и ходили в них всю зиму.

В Чкалове занятия были так же уплотненными. Кроме правил стрельбы с самолета и навигации, замучила нас морзянка, по шесть часов ею занимались: натощак вместо зарядки, до и после обеда и на ночь — так в ушах и звенело «ти-та-ти-та-та-та», а кисти рук болели от работы на ключе.

Не прошло и месяца, как внезапно в авиашколу приехал Ворошилов. Собрали нас в зале, человек двести из разных артиллерийских училищ, и маршал, одетый в солдатскую шинель, объявил: спускаем вас с небес на землю, возвращаем в полевую артиллерию. Не хотим более напрасно людей терять, все ранее выпущенные летчики-наблюдатели погибли, так как у нас нет надежных и маневренных разведывательных самолетов, таких, как немецкая «рама».

И нас отправили в 25-й запасной артполк, который находился в Гороховецких лагерях под Горьким.

Здесь мы познали в полную меру, что такое голод и холод. Жили мы в землянках, в каждой — на двухэтажных нарах, тянущихся вдоль стен в два ряда, — размещалось по тысяче человек. Землянки были длиной в сотню метров, с двумя широченными воротами на концах. У каждого выхода стояло по печурке, сделанной из железной бочки. Печки раскалялись докрасна, но это не спасало от холода — в землянке замерзала вода, а у нас, в поисках тепла окружавших печки, дымились шинели, но мерзли спины. Двухэтажные, из голых горбылей нары прикрывала только солома. Мы, человек пять, ложились на эту перебитую в пыль солому — все на правый бок, вплотную друг к другу — и накрывались пятью шинелями. Потом все, по команде, переворачивались на другой бок. Так и вертелись, почти не засыпая, целую ночь.

Среди лейтенантов нашей группы оказался молодой московский артист, он сразу вошел в контакт с латышками-официантками, которые обслуживали шесть офицерских столовых, и мы впятером умудрялись шесть раз завтракать, пять раз обедать — и все равно оставаться голодными, так как шестьсот граммов хлеба на день можно было получить только в одной столовой, в остальных — хлебали слегка замутненную горячую жижу.

Большинство солдат и офицеров, обитавших в лагерях, рвались на фронт с единственной целью: поесть досыта.

Некоторые солдаты не выдерживали такой жизни и, стоя ночью с винтовкой на посту, стрелялись.

В. конце февраля нашу группу вызвали в Москву, в отдел кадров Московского военного округа, и распределили по воинским частям. Нас, троих лейтенантов, направили в Коломну, в формировавшуюся там 52-ю стрелковую дивизию, меня определили на должность адъютанта командира 1028-го артиллерийского полка.

###### \* \* \*

В Коломну мы прибыли ночью. Расположились в городской гостинице. Впервые за всю зиму мы улеглись в чистые постели, в жарко натопленной комнате. Утром не хотелось покидать это уютное заведение.

По прибытии в артиллерийский полк, который располагался в пригородном селе, нас, всех троих, поставили на квартиру в крестьянскую семью. Должность адъютанта была уже занята, и меня назначили заместителем командира гаубичной батареи. Командир нашей батареи старший лейтенант Чернявский был фронтовиком, прибыл в Коломну, где мы формировались, из госпиталя. Тридцатипятилетний бывший главный инженер Муромского фанерного завода был умен, практичен, знал дело. И под его началом мы принялись формировать из горьковских колхозников боевую батарею.

Солдат кормили очень скудно, офицеров — немного посытнее, но все равно мы не наедались, и прикупить съестного было негде: народ жил бедно. Когда появилась первая травка в поле, меня чуть не до смерти напугали мои солдаты. Веду взвод строем по полевой дороге на занятия, и вдруг, без всякой команды с моей стороны, как при бомбежке, люди бросаются врассыпную и начинают ползать по траве, испугался: не пойму, что случилось, в чем дело?! Оказалось, солдаты увидели на обочине какую-то съедобную траву и все разом бросились рвать и поедать подножный корм.

Чернявский, наш командир, был опытным боевым офицером — строгим, но справедливым, и все мы, офицеры и солдаты, молодые и пожилые, относились к нему как к суровому, но заботливому отцу. Был он невысок ростом, худощав, широкоплеч, слегка сутуловат. Смуглое угловатое лицо его всегда покрывала черная щетина, хотя брился он ежедневно. Быстрый взгляд острых черных глаз и крепко сжатые челюсти придавали лицу решительность и строгость. Хлопчатобумажные гимнастерка и галифе цвета хаки делали всех нас одинаковыми, только три полевых кубика защитного цвета в петлицах и прыгающий на шее бинокль выдавали в Чернявском старшего командира.

Неразговорчивый, деловой, требовательный — глядя на него, тоже хотелось стиснуть зубы и молча работать и работать. Мы верили в него и любили — за опыт, за отеческую заботу, за то, что никогда он не читал нотаций, не был злопамятным, не учинял разносов. Даже за серьезные упущения по службе он никогда не распекал нас, но стоило ему осуждающе покачать головой, как бы говоря: эх ты! — и провинившийся готов был провалиться сквозь землю.

В батарее высоко ценились находчивость и старание, каждый стремился этим блеснуть, а Чернявский терпеливо воспитывал в нас эти качества.

Мы тогда почти ничем не обеспечивались, не было материальной части, занятия проходили условно, на словах. Хорошо, что мне пришла в голову мысль занять в колхозе четыре тележных передка, которые и пригнал наш старшина Хохлов. Привязали к каждому поперек оси метровое полено-«ствол», оглобли служили станинами, кто-то из умельцев вырезал из дерева прицелы, приладили их к «стволам» — и получилась «четырехорудийная батарея». Учебные занятия оживились, всю боевую подготовку расчетов я проводил на этих «орудиях». Чернявский хвалил нас за смекалку, сам разработал методику занятий.

###### \* \* \*

**Артиллерийский полк** входит в состав стрелковой дивизии. В полку 2500 человек — **три дивизиона** .

I дивизион. 300 человек. Три батареи: две пушечные 76-мм — по 4 орудия, и одна гаубичная 122-мм — 4 гаубицы. Взвод управления: отделение разведки и отделение связи. Еще хозяйственный взвод.

II дивизион. Такой же.

III дивизион. Только две батареи: одна 76-мм — 4 орудия и одна 122-мм гаубичная — 4 гаубицы.

Плюс все обслуживающие подразделения.

Всего в полку 8 батарей с орудиями. 9-я батарея называется штабной, в ней нет орудий, она обслуживает штаб полка: связь, разведка и т. д.

**Артбатарея** — 80 человек, состоит из двух **огневых взводов** , в каждом из которых по два орудия, и **взвода управления** (управленцы), в нем два отделения: отделение связи — 10 связистов и отделение разведки — 10 разведчиков. И еще есть **хозяйственный взвод** : транспорт, кухня, имущество.

**Орудие** — общее название всякой артиллерийской системы: пушки, гаубицы, мортиры.

**Пушка** — орудие с длинным стволом. Снаряды летят с большой скоростью по настильной (над землей) траектории. Ставится пушка чаще всего на прямую наводку для стрельбы по танкам, а также и на закрытую позицию.

**Гаубица** — орудие с коротким стволом. Снаряды летят навесно. Стреляет с закрытой от противника позиции: из-за леса, из-за бугра, по командам по телефону с наблюдательного пункта.

**Орудийный расчет** состоит из командира орудия — сержанта и шести номеров: № 1 — наводчик, № 2 — замковый, № 3 — заряжающий, № 4 — установщик, № 5 — подносчик, № 6 — ящичный.

Первый номер — наводчик — наводит орудие в цель и производит выстрел. Ставит угломер — это направление стрельбы по горизонту — и поворачивает ствол орудия маховичком. Ставит прицел, который соответствует дальности стрельбы, и поднимает рычаг-стрелку. Прицел имеет деления по 50 метров дальности. Если дальность 6 км, то прицел 120. До сотни прицел не называется целым числом, а, чтобы не ослышаться, говорят: прицел 7–8 (а не семьдесят восемь).

Второй номер — замковый — открывает и закрывает затвор орудия, поднимает маховичком ствол гаубицы, совмещая риски (метки) ствола и рычага-стрелки, связанного с прицелом, а также следит за нормой отката ствола при выстреле. Замковый кричит после выстрела: «Откат нормальный!»

Третий номер — заряжающий — с силой загоняет снаряд в казенник — заднюю открытую часть ствола; потом вставляет туда же гильзу с порохом. После этого замковый закрывает казенник затвором.

Четвертый номер — установщик — устанавливает взрыватель снаряда на осколочное или замедленное действие, выбрасывая столько мешочков с порохом из гильзы, какой номер заряда скомандован.

Пятый номер — подносчик — подносит снаряд и заряд от ящика к установщику.

Шестой номер — ящичный — выхватывает снаряд и гильзу из ящика, протирает их и передает подносчику.

Эти и многие другие премудрости артиллерийского дела приходилось нам изучать больше теоретически. Но и в таких условиях за три месяца Чернявскому удалось сформировать отличную гаубичную батарею и хорошо обучить ее личный состав. С макетами орудий мы совершали марши и маневры — солдаты-«кони» запрягались в оглобли и «скакали», поворачивали в стороны, ставили «орудия» на «огневые позиции», окапывали; расчеты отрабатывали последовательность и быстроту своих действий: ящичные, подносчики, установщики работали со «снарядами»-поленьями; наводчики, замковые, заряжающие учились приводить «орудия» к бою, нацеливать «ствол» и открывать «огонь» по противнику.

Без шагистики и солдафонства Чернявский научил своих огневиков, разведчиков и связистов тому, что особенно нужно на войне, и вчерашние горьковские колхозники свободно орудовали у орудий, были морально и физически готовы вступить в свой первый бой с фашистами.

Настоящие гаубицы, отливавшие сталью и блиставшие свежей краской, мы получили в городе Данилове перед самой отправкой на фронт. После тележных передков они показались нам желанным восхитительным ювелирным чудом! На них мы потренировались дня два, но не произвели ни единого выстрела. А первые выстрелы сделали уже по немцам под Ржевом 23 июля сорок второго. Эти выстрелы чуть не оказались для нас последними. Если бы не наша нищета…

## Часть первая

## Ржев

## Июль — декабрь 1942 года

### Глава первая

### Наш первый бой

### 23 июля 1942 года

###### 150 км западнее Москвы

Старинный русский город Ржев стоит в ста пятидесяти километрах западнее Москвы. 14 октября 1941 года он был оккупирован немцами. Разгром немцев под Москвой приблизил советские войска ко Ржеву, а Ржевско-Вяземская стратегическая наступательная операция, продолжавшаяся с 8 января по 30 апреля 1942 года, охватила Ржев с востока и запада до самой Вязьмы. Но Ржев так и не смогли взять. В результате образовался Ржевско-Вяземский выступ, или плацдарм. На вершине его стоял Ржев, занятый немцами.

Стратегическую важность этого плацдарма осознавали и Сталин, и Гитлер. Гитлер называл Ржев «плацдармом нападения на Москву» и всеми силами удерживал город в своих руках. Сталин стремился как можно быстрее, любой ценой отбить Ржев у немцев — ликвидировать эту УГРОЗУ МОСКВЕ. Вот и бились наши войска изо дня в день непрерывно уже ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ.

Подо Ржевом происходили самые страшные и самые кровопролитные бои. В ржевских сражениях наши солдаты проявляли неслыханный героизм. Из-за нехватки оружия, боеприпасов и продовольствия они переносили страшные муки и лишения, бились насмерть, но жизнями своими не сумели возместить эти материальные изъяны. Ржев так и не был взят. Ржевско-Вяземское наступление в январе — апреле 1942 года, в котором наша армия потеряла убитыми и ранеными 777 тысяч человек, было САМЫМ КРОВОПРОЛИТНЫМ ЗА ВСЮ ВОЙНУ.

Ничего этого мы тогда не знали. Как не знали и о том, что нашей вновь сформированной 52-й стрелковой дивизии предстоит принять участие в одном из крупнейших сражений подо Ржевом — Ржевско-Сычевской стратегической наступательной операции. Со всем энтузиазмом юности мы ехали побеждать.

Выгрузились мы темной ночью 21 июля сорок второго года в лесу между станцией Старица и Ржевом. Тракторы на формировке батарея не получила, поэтому орудия прямо с платформ откатывали в глубь соснового леса на себе. Работали тяжко, но споро, и по окончании выгрузки замертво распластались на хвойной подстилке возле своих орудий. Мягкие иголки еще хранили дневное тепло, бодрили запахом сосны, лежать было приятно, сосновый воздух, как бальзам, быстро восстанавливал иссякшие силы, усталость сама собой медленно стекала в теплый песок…

Внезапно в кромешной тьме послышались далекие раскаты орудийных выстрелов. Люди насторожились. Глухие удары раздались уже с другой стороны и ближе. Бывалые фронтовики, а таких в батарее было человек пять, сразу же ощутили с этими звуками что-то знакомое, тревожно-близкое, глубоко пережитое и — для храбрых из них — теперь уже не такое страшное. Эти люди, и среди них Чернявский, уже обладали определенным боевым опытом, и теперь им представлялась редкая возможность новой встречи с врагом. Редкая потому, что тем, кто погиб, а гибли тогда, в сорок первом — сорок втором, десятками тысяч, — тем никогда уже не сразиться с врагом, не отомстить. И потому выжившими фронтовиками овладело то боевое возбуждение, которое хорошо знакомо храбрым людям. Встревожились и остальные батарейцы. Для нас, еще не воевавших, эти реальные, а не в кино выстрелы были предзнаменованием чего-то неизвестного и страшного. Особенно пугало, что выстрелы слышались с разных сторон: не понятно, где наши, где немцы, — и невольно возникало опасение, не попадем ли мы в какую-нибудь ловушку или окружение? Екнуло сердце и у меня: в батарее я отвечал за орудия — в случае чего, куда двинешься без средств тяги?..

— Неужели и тут немцы жмут, как под Сталинградом? — озабоченно проговорил пожилой заряжающий Трефилов. И обратился ко мне: — А немцы далеко отсюда, товарищ лейтенант?

— Должно быть, далеко, коли нас выгрузили здесь.

— Что-то не поймешь, со всех сторон стреляют, — не успокаивался Трефилов.

Выстрелы смолкли. Сморенные усталостью люди крепко заснули. Мне же не спалось, я никак не мог представить себе наш предстоящий первый бой, в памяти опять возникли два эшелона, которые встретились на пути сюда, — один с ранеными, а второй — с искореженным горелым металлом, я тогда ужаснулся: что же с людьми там делается, если так корежит железо?! Людей я тогда делил на два сорта и настоящими считал тех, кто уже побывал на фронте. Как я завидовал раненому сержанту из встречного эшелона! Вроде бы ничем он и не отличался от нас — только вот рука подвязана к шее; веселый, разговорчивый, он рассказал, что и на фронте-то был всего один день, ранили его в первом же бою. Всего один день — а уже фронтовик! У него уже позади тот таинственный, страшный для меня барьер, который называется ФРОНТОМ. Я вот не могу сказать моим солдатам, что был на фронте, а им так хочется, чтобы их командир был фронтовиком: тогда у них будет больше уверенности и спокойствия в предстоящих боях. Конечно, для пользы дела не грешно было бы сказать, что и я был на фронте. Но я совершенно не представлял, что это такое, и не мог, даже мысленно, перевоплотиться, перешагнуть ту невидимую черту, которая отделяет тыл от фронта.

Короткий июльский рассвет быстро переходил в яркий солнечный день. Повара уже сварили завтрак. Но только мы пристроились к котелкам, как послышался тяжелый прерывистый гул, он быстро нарастал, и мы поняли: летят самолеты. Высокие сосны мешали разглядеть что-либо в небе, и бомбы засвистели раньше, чем можно было ожидать. Вместо того чтобы подать команду «Ложись!» и самому броситься на землю, я вскочил на ноги, и в ту же секунду в чащобе ахнул страшной силы взрыв. Мириады свистящих, угрожающе шипящих осколков окатили все вокруг, а один, видно самый крупный, как бритвой, мгновенно срезал громадный, в полдерева сук, который тяжело, с шумом рухнул к моим ногам. Но я продолжал стоять, дивясь невиданной ранее силе — она ошеломила меня!

— Товарищ лейтенант, ложитесь! — крикнул мне старшина Макуха.

— Трефилова убило! — отчаянно закричал наводчик Осецкий.

Первая бомбежка и первые потери ошеломили всех, хотя наши потери, как оказалось, были меньше, чем у соседей.

###### Чернявский

Едва оправились от бомбежки и позавтракали, как Чернявский приказал мне — старшему на батарее — взять с собой разведчика, связиста, четыре катушки кабеля и идти с ним — он отправлялся к линии фронта, чтобы отыскать место для орудий, откуда нам предстоит стрелять по противнику.

Чернявский с прибытием на фронт оживился, повеселел. Было видно, что ему не терпится как можно скорее добраться до врага, что у него свои, фронтовые с ним счеты, он будто торопился исправить ранее допущенную ошибку, отомстить за нее — и теперь, сформировав после госпиталя свою батарею, едва выгрузив ее с платформ, спешил испробовать новенькие гаубицы на немцах, для чего и бежал сейчас напрямик по болоту к деревне Дешевке: там, на переднем крае, он займет наблюдательный пункт и увидит врага, а завтра к утру его батарея уже будет стоять на выбранной им закрытой огневой позиции, километрах в двух сзади от его НП, — и он наконец откроет огонь по немцам! Ему уже представлялись мощные разрывы снарядов, мечущиеся в панике фашисты…

После выгрузки наш 1028-й артиллерийский полк в течение недели должен был войти в боевые порядки воевавших подо Ржевом частей, чтобы 30 июля принять участие в наступлении. Но Чернявский упросил командира дивизии Андреева разрешить нам вступить в бой с немцами НЕМЕДЛЯ! И сейчас, перепрыгивая с кочки на кочку, Чернявский буквально летел на встречу с врагом! Наверное, ни один самый страстный любовник не спешил так на свидание, как мчался на встречу с врагом наш командир батареи Чернявский! Наверное, только в детстве с таким же нетерпением он бежал со своей первой удочкой на первую в жизни рыбалку! Так насолили ему фашисты, так обидели и унизили, изранили его душу, что жажде отмщения не было конца…

След в след за командиром, тоже скача по кочкам, бежали, едва поспевая, мы, его подчиненные: я, связист Синицин и разведчик Калугин. Все мы были почти вдвое моложе своего комбата, но за десять километров бега заметно приустали. Зато Чернявский, как молодой, был в полной форме! Вот, оказывается, зачем изо дня в день тренировали нас в беге во время формирования! Но мы и тогда, и сейчас не роптали. Нам, безусым, тридцатипятилетний старший лейтенант казался стариком: все он знал, все умел, строго спрашивал с нас, но и относился к нам отечески, и мы слушались его и готовы были выполнить любое его задание.

Жаркий июльский день разгорался вовсю, ярко светило солнце, душно пахло болото, откуда-то издалека спереди и справа доносились глухие орудийные раскаты, похожие на приближающуюся грозу, хотя на небе не было ни облачка. По мере нашего продвижения разрывы ухали все ближе и ближе, иногда вполне явственно слышались пулеметные очереди. Эти звуки все с большей тревогой отдавались в наших молодых сердцах. Но лишь сильнее возбуждали Чернявского! Как-то в Коломне он рассказал мне, как был ранен и чудом спасся от смерти. И, видно, сейчас в его разгоряченном мозгу радужные картины предстоящего боя сменялись горестными воспоминаниями осени сорок первого под Смоленском… Немецкий самолет играючи гоняется за мечущимся в смертельном страхе по полю одиноким красноармейцем… Атака немецких танков на батарею, а снаряды уже закончились, стрелять нечем, и бутылки с горючей смесью подвели: спички в дрожащих руках гаснут на ветру, фитили бутылок никак не загораются, а танки — уже вот они, рядом! Грохоча и стреляя на ходу, они врываются на огневую позицию батареи. Два танка все же удается поджечь! Зато остальные принимаются нещадно давить орудия, остервенело вращаться на одной гусенице, живьем замуровывая в землю прячущихся в окопах красноармейцев. Чернявскому удается выпрыгнуть из окопа, стальная гусеница мелькает у самой его головы. Но тут подоспели с засученными по локоть рукавами немецкие автоматчики, один из них, спотыкаясь, почти в упор полоснул Чернявского длинной очередью, Чернявский упал, немцы побежали дальше в наш тыл. А он был живой: пуля всего лишь пронзила левое плечо. Инстинктивно хотел схватиться за рану правой рукой, но скорее почувствовал, чем увидел, как с немецкой стороны к нему приближаются новые фашисты. Чернявский замер, прикрыл глаза и притворился мертвым. Один из немцев ударил его в пах носком сапога — проверить, не жив ли, и побежал в наш тыл следом за остальными. Оправившись от удара, Чернявский чуть-чуть приоткрыл глаза, увидев спину удалявшегося немца, радостно подумал: живой! — но тут убегавший фашист быстро остановился и вернулся назад. Наверное, усомнился в моей смерти, подумал Чернявский и прикрыл глаза. Сейчас добьет, мелькнула страшная мысль. Жить ему оставалось столько, сколько потребуется немцу времени, чтобы пробежать эти десять метров. Страшна такая смерть, но мучительнее всего беспомощность: немец возвращается к нему с взведенным автоматом, Чернявский же не может не только шевельнуться, но и глаз приоткрыть, карабин его завален в траншее, в руке он сжимал никому теперь не нужный спичечный коробок. Фашист вприпрыжку приблизился, изо всей силы ударил каблуком кованого сапога в голову и тут же для верности, на всякий случай выпустил по лежавшему автоматную очередь. Чернявский потерял сознание. Наверное, так и остался бы он умирать между двумя горящими немецкими танками, если бы не контратака наших танков…

До Дешевки остается еще километров пять.

— Запоминай дорогу, — говорит мне Чернявский, — пойдешь обратно один и приведешь батарею на место, которое я укажу.

— А где же я тракторы возьму?

— У соседей попросишь.

С этим ясно. Но как запомнить дорогу, если никакой дороги нет: одни кусты да болота и все похожи друг на друга? Даже дерева высокого нет поблизости, чтобы залезть осмотреться, а кустарник закрывает весь обзор местности. Пришлось запоминать дорогу по компасу и по тому, откуда светит солнце, благо день солнечный.

Часа через два мы оказались на обширной возвышенности, густо заросшей высокой травой.

— Вот здесь поставишь батарею, — распорядился командир. — Только смотри, чтобы орудия стояли за бугром, на обратном скате возвышенности. Позиция закрытая, немцы не должны видеть наших орудий.

Чернявский с солдатами побежал на передовую подбирать себе наблюдательный пункт, за ними потянулся телефонный кабель, конец которого связист привязал к ближайшему кусту. Я же направился на середину всхолмленной поляны, чтобы оттуда, с высоты, получше осмотреться.

###### На солнечной поляне…

Стояла тишина, ярко светило солнце, большие разводы красивых полевых цветов то и дело преграждали дорогу, мять их не хотелось, а обойти было невозможно, невольно я сорвал несколько самых красивых соцветий, в руке засветился изумительный букет. Только остановился на самой высокой точке поляны, как где-то в вышине раздался сильный свист, который быстро перешел в зловещий шум, и невдалеке от меня с треском разорвался снаряд. Я испугался, на какое-то время оторопел и бросился в траву уже после того, как мимо меня со страшным шумом пролетели осколки. Поблизости разорвалось еще несколько снарядов, и обстрел прекратился. А я все лежал в высокой траве с закрытыми глазами и молил бога, чтобы не попало в меня.

Поднялся на ноги и тут заметил, что у самых корней травы в землю вросли какие-то мешки. Потянул за один… и вдруг понял, что никакие это не мешки, а солдатские шинели. Шинели были серые, наши, а в них — останки человеческих тел, уже иссохших, сморщенных, почерневших! Меня охватил такой ужас, что, не раздумывая, я бросился бежать в ближайший кустарник.

Немного успокоился, перевел дыхание и осторожно — ссутулившись, прячась в высокой траве — обошел поляну.

Вышел я на обратный, скрытый от немцев скат возвышенности и стал определять места для орудий. Заломил на кустах, возле которых будет стоять первое орудие, несколько веточек, чтобы потом, когда привезу сюда гаубицы, легче было отыскать место. И сразу, не мешкая, отправился в обратный путь.

Времени у меня было вполне достаточно, но я бегом мчался по болоту, а перед глазами маячили трупы — увиденное произвело на меня ошеломляющее впечатление, затмило собой и первую бомбежку, и первый обстрел. Эти солдаты, чьи останки так напугали меня, еще зимой, задолго до нас, пытались взять Ржев — и навсегда остались лежать здесь: миновала зима, стаял снег, прошла весна, и вот уже лето, выросла трава, а этих бедолаг так никто и не похоронил…

Скорбная мысль вдруг сменилась тревогой: а правильно ли я иду, а что, если заблужусь в этих болотах и не смогу найти место стоянки своей батареи? Утром орудия должны стоять на месте, быть готовыми к бою — а я сам только на другой день явлюсь к месту разгрузки! Это же невыполнение боевого приказа! Судить будут! Снимут кубики! Успокаиваю себя: когда мы шли с комбатом туда, солнце светило спереди-слева. Прошло два часа. Теперь я должен наступать на свою тень. Присмотрелся и решил, что иду все же верно.

Чередуя бег с ходьбой, часа через два я выбрался точно к своей батарее.

###### Выход на рубеж

Приказал батарейцам готовиться к переезду, а сам побежал искать тракторы.

Уже смеркалось, набегали тучи, заморосил мелкий дождь, а тракторов мне никто из соседей все не давал. То самим нужны, то горючего нет. Наконец нашел какого-то полковника, который приказал располагавшейся поблизости части дать мне тракторы.

Было уже темно, когда я вернулся на батарею с четырьмя тракторами и прицепами.

И вот мы двинулись. Кругом грязь, вода, льет дождь, и ко всему, кромешная темнота. Показываю трактористу, куда ехать, а у самого болит душа: найду ли ночью ту поляну? Проехали около часа, и я остановил тракторы. Спрыгнул на землю, а там воды и грязи выше колен. Отошел немного, чтобы сверить компас. Меня окружали мои огневики — бывшие крестьяне, каждый из них мне в отцы годился, они хорошо знали меня, относились уважительно — наверное, потому, что я день и ночь находился с ними, научил их «стрелять» из гаубиц, действовать в бою, ну и не строжничал по мелочам. По жизненному опыту они знали, как трудно ночью да в пургу или туман найти дорогу, и сильно сомневались, что с помощью какой-то стрелочки компаса можно в незнакомой местности приехать на нужное место, но помочь мне они ничем не могли. Я слышал их разговоры между собой:

— Были бы у нас свои тракторы, еще днем бы на место вышли.

— Ни за что не попадем на ту поляну к утру.

— А лейтенант до этого на фронте был?

— Да-а, хорошо, у кого лейтенант постарше да на фронте побывал…

Надо возвращаться к трактору — меня догоняет ящичный второго орудия рядовой Райков, невысокий солдатик лет тридцати:

— Товарищ лейтенант, я знаю эту круглую поляну, я там коров пас, я же тутошний, местный. Давайте покажу, куда ехать надо.

Я не верил своим ушам: неужели и впрямь проводник нашелся?! Усадил его рядом с собою в кабину, и он стал показывать, куда ехать, брал немного левее, чем я думал. У меня будто гора с плеч свалилась, обрадовался несказанно: надо же, так повезло, где ж он раньше-то был?!

Тракторы двигались медленно: тянули прицепы со снарядами, людьми, батарейным имуществом, да еще и гаубицы с передками на прицепах. Гусеницы утопали в грязи, моторы, надрываясь, ревели и раскалились чуть не докрасна, в кабинах жара, гарь, дышать нечем. У меня разболелась голова. Может, от газа, а скорее от того, что не спал две ночи, пережил первую бомбежку, первый обстрел, да еще на трупы эти насмотрелся, ко всему, я же километров тридцать за день пробежал, а теперь, по наивности, положился на взрослого мужчину, расслабился… В общем, я невольно задремал.

Очнулся от тишины. В кабине никого не было. Трактор стоял. Мотор не работал. Выпрыгнул в растерянности из кабины и увидел в стороне кучку людей. Подошел, а это мои солдаты обсуждают, куда ехать надо.

— Почему тракторы заглушили? — спрашиваю.

— Самолеты летают — боимся, бомбить будут, искры же летят.

— Пусть моторы поостынут, — заговорили трактористы.

— А где Райков?

— У него голова разболелась. Не знает он, куда надо ехать.

— А мы не стали вас будить, думаем, пусть поспит лейтенант, пока моторы остывают.

Усадил солдат на тележки, и поехали дальше. Теперь, проспав часть дороги, я не знал, ни где мы находимся, ни куда ехать. Но что делать — надо ехать! Пусть наугад, но нельзя свою беспомощность показать. Минут через десять останавливаю колонну, приказываю тракторы не глушить, чтобы мне их слышно было, а сам иду в сторону, в расчете набрести хоть на кого-нибудь. И мне повезло. Окликнул часовой. Вызвал своего лейтенанта. Залезли в блиндажик, он ярко освещен, и — о радость! — там мой однокашник по училищу, попавший в корпусную артиллерию. Они уже поставили свои «дуры» на боевые позиции. На карте лейтенант показал мне место своей стоянки, а я отыскал нашу поляну, прикинул азимут, расстояние. Ехать нам оставалось километра три.

И вот наконец мы на поляне. Солдаты радовались за меня: приехали-таки на место! А я никак не могу в темноте отыскать заломленные днем кустики. Пересекаю поляну, пытаясь ногами почувствовать, куда идет повышение местности, но ничего не получается. А люди торопят: скорей указывай места для орудий, а то не успеем до утра окопаться. Пришлось на свой страх и риск, по наитию, указать место для первого орудия. Делаю это нарочито уверенно. Затем отмеряю места остальным орудиям. И закипела работа. Отрыли окопы, скатили в них гаубицы, натянули масксетки, забросали их сверху свежей травой.

Загоняю всех солдат под сетки, чтобы не демаскировали батарею, а сам места себе не нахожу: правильно ли поставил орудия, а вдруг мы встали у немцев на виду, тогда конец всей батарее. КАК КАЗНИ, Я ОЖИДАЛ РАССВЕТА…

###### Первый бой

Начало наконец светать, занимался яркий солнечный день, видимость была отличная… и — о ужас! — местность перед нами оказалась видна на километры. В темноте мы стали на скате, обращенном к немцам — значит, нас сразу же засекут и…

Поняли это и мои солдаты, забеспокоились:

— Куда же мы стали-то?.

— Мы ж на виду у немцев!

— Точно! Как на ладони!

Я слышал эти разговоры и молчал. Старался не выдать своего смятения, делал вид, что батарея стоит там, где и должна стоять, солдаты же напрямую спросить не решались.

Между тем Чернявский уже подал по телефону команду на открытие огня. Вчера, устроившись на наблюдательном пункте под Дешевкой, он времени зря не терял: весь остаток дня наблюдал за немцами. Местные разведчики показали ему огневые точки противника, но Чернявского интересовали командные и наблюдательные пункты неприятеля. Со своего НП с помощью бинокля он заметил, как в глубине обороны немцев скрылось в балке несколько легковых автомашин — значит, начальство собирается, это командный пункт. По паутинкам проводов и изгибу траншей удалось обнаружить и немецкий наблюдательный пункт. Подготовив данные для стрельбы, Чернявский тоже с нетерпением ждал рассвета.

И рассвет наступил.

На батарею по телефону понеслись команды нашего командира. И вот уже первые снаряды обрушились на врага.

Стреляли мы из новеньких гаубиц впервые, но точно и сноровисто, как на учебных занятиях. За несколько минут выпустили более сотни снарядов. И все — в цель! Попали мы немцам по больному месту: разгромили их командный пункт. Наблюдавшие за стрельбой Чернявского соседи прыгали от радости.

— Молодцы! — сказал нам, своим огневикам, по телефону Чернявский. — Первый блин оказался не комом, хорошо стреляли.

Чернявский похвалил нас, немецкое же начальство пришло в ярость, подняло на ноги всю свою артиллерию: разыскать и уничтожить дерзкую русскую батарею!

Только мы закончили стрельбу и Чернявский, радуясь на своем НП, еще раз поблагодарил нас за отличную стрельбу, а мои огневики с чувством исполненного долга — дескать, знай наших! — подняли улыбающиеся лица, как впереди наших гаубиц с сильным грохотом разорвался снаряд. За ним другой, третий. Потом снаряды стали рваться и сзади — все ближе и ближе к нам. Это уцелевшие немцы пришли в себя и стали искать вновь появившуюся зловредную батарею русских: по нам вела пристрелку даже не одна, а несколько немецких батарей!

Наверное, потому, что наша поляна была единственным сухим местом в данном направлении, противник сразу же определил, откуда пришли наши смертоносные снаряды. В училище нам говорили о контрбатарейной борьбе. Орудия противника — самая опасная и самая лакомая цель. На их уничтожение сторона противника снарядов никогда не жалеет, даже по самым строгим нормам на уничтожение вражеской батареи отпускается несколько сотен снарядов. И я представил, что сейчас будет, когда сразу несколько немецких батарей перейдут на поражение. Забеспокоились и мои солдаты. Присев на колени, они с тревогой следили за разрывом каждого снаряда.

— Ну, все! Пропали мы! — в панике причитали они. — Конец нам пришел!

Я не прятался на дне окопа. Стоя у орудийного щита, я смотрел в сторону немцев и молил бога, чтобы меня поскорее убило. Не хочу своими глазами видеть трагедию гибели батареи! Пусть меня убьет — и отвечать будет некому! Ведь это я поставил батарею на виду у немцев!..

Прошла всего минута, и где-то вдали послышался сильный шелест-шум, какой бывает в лесу при внезапном порыве сильного ветра, крушащего верхушки деревьев, — это был зловещий шум приближавшихся к нам десятков снарядов: закончив пристрелку, немцы перешли на поражение. В мгновение шум перерос в страшный рев, будто на бреющем пролетал самолет, солдаты бросились на дно окопа, прижали головы к земле, обхватив сверху руками. А я продолжал стоять как вкопанный, жить мне не хотелось… Но что такое?! Ни один снаряд не попал в наш окоп, не упал даже поблизости! Все снаряды перелетали нашу батарею и со страшным грохотом взрывались в ста метрах за батареей — КАК РАЗ ТАМ, ГДЕ МЫ ДОЛЖНЫ БЫЛИ СТОЯТЬ! ТАМ — зеленый луг мгновенно превращался в черную пашню, сплошь изрытую черными воронками! ТАМ — творилось что-то невообразимое! ТАМ — в сплошном грохоте разрывов поднимались вверх десятки фонтанов земли и все мгновенно заволокло клубами пыли и дыма. А к нам — СЮДА! — долетали только свирепо шипевшие осколки — бессильные поразить нас, они зло втыкались в бруствер или проносились дальше.

Едва схлынул дикий грохот великого множества разрывов, еще продолжали взрываться отдельные запоздалые снаряды, а мои огневики, еще не веря, что чудом уцелели, один за другим начали приподнимать головы и, широко улыбаясь, переговариваться между собой:

— Вот это да! Ну и чудо!

— Надо же такому случиться!

— Смерть сжалилась над нами!

— Ну и командир наш! Молодой, а так обманул немцев! Оказывается, специально поставил тут батарею!

— А мы ругали его! А если б за бугром стояли, ничего бы от нас не осталось!

— Только гляньте, весь луг, как плугом, перепахало!..

Я слышал эти разговоры и радовался. Но думал я о другом. Знали бы мои солдаты, что стали мы здесь не по хитрости — а по ошибке! Моей ошибке! И знали бы они, как трудно переживал я эту свою оплошность! Лишь счастливая ошибка спасла наши жизни и орудия. Конечно, и хорошая маскировка сберегла нас от этого ответного удара. Высоту эту немцы хорошо знали, вели за ней наблюдение, но батарею нашу они не увидели, а вычислили, обрушили огонь на ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ места расположения нашей батареи. И ошиблись. Они и представить не могли, что найдется такой дурак или авантюрист, чтобы поставить орудия на виду, а не там, где им положено стоять ПО НАУКЕ.

И еще, что спасло нас от неминуемой гибели в первом же бою, — это наша бедность, нехватка тракторов. Будь у нас нормальное матобеспечение, мы бы засветло прибыли на место, встали правильно, как положено… и наутро ничего бы от нас не осталось.

Вот так наша батарея включилась во фронтовую жизнь.

Эта история многому научила меня. Потом я всю войну, уже командуя батареей, дивизионом, ставил орудия не там, где положено по науке — немцы эту науку тоже знают, — а чуть-чуть в стороне, и противник громил пустое место.

А солдаты мои теперь души во мне не чаяли, готовы были качать меня как победителя. Авторитет мой вознесся неимоверно высоко: лейтенант сказал — значит, закон!

### Глава вторая

### Умереть — но не отступать!

### Август 1942 года

###### Приказ № 227

Калининский фронт, 30-я армия. События развивались стремительно. Прибыв на фронт ночью 21 июля, рано утром 23-го мы уже стреляли из своих гаубиц по немецкому штабу. 29-го вместе со всеми войсками слушали трагический приказ Сталина № 227. 30 июля началась Ржевско-Сычевская стратегическая наступательная операция.

Накануне наступления перед строем частей 52-й стрелковой дивизии нам зачитали прогремевший по всем фронтам приказ № 227 Верховного главнокомандующего Сталина, известный под названием «Ни шагу назад!». Грозный услышали мы приказ. Он впервые откровенно обнажил страшные итоги первого года войны. Речь шла о невероятных потерях и поражениях, которые дальше были нетерпимы — пропастью зияла гибель страны и народа. Приказ требовал: умереть — но не отступать! Нужно было во что бы то ни стало остановить безудержно пятившиеся к Сталинграду и Кавказу советские войска, а нас, стоявших подо Ржевом, принудить ценой жизни взять город — отвести угрозу от Москвы. Требовались жестокие, но единственно действенные тогда меры: отступающих стрелять на месте. Тем более был пример Гитлера, на который ссылался в своем приказе Сталин. Полгода назад, в январе сорок второго, чтобы остановить бегство своих солдат из-под Москвы и спасти развал всего Восточного фронта, Гитлер издал стоп-приказ: сзади своих войск поставил заградотряды, которые расстреливали из пулеметов убегавших; дрогнувших в бою ссылали в штрафные роты, где они воевали до самой своей гибели.

Второй раз у немцев разгромная ситуация, подобная нашей сорок второго, сложилась к концу сорок четвертого года, и они заставили каждого военнослужащего подписать особый листок: «Я поставлен командованием в известность, что, в случае моего перехода на сторону русских, весь мой род: отец, мать, жена, дети и внуки — будет расстрелян».

Приказ Сталина «Ни шагу назад!» спас страну от поражения в войне с Германией. Заградотряды стреляли в спасавшихся бегством, вылавливали дезертиров, а штрафные роты для недисциплинированных рядовых и штрафные батальоны для офицеров бросали на такие участки фронта, где они почти поголовно погибали. Только немногие оставшиеся в живых счастливчики-раненые, искупившие свою вину кровью, реабилитировались и возвращались в регулярные части.

По приказу 227 в декабре сорок второго в нашей дивизии перед строем расстреляли в лощинке у передовой двух солдат. Один выстрелил себе в ногу, другой отмораживал голые ноги в снегу, чтобы попасть в госпиталь. В ходе этого действа случилось невероятное. Только прозвучала расстрельному отделению команда «По предателям Родины! Огонь!», как над нашими головами случайно появился немецкий самолет. Спикировав, он бросил бомбу. Весь строй мгновенно кинулся на землю. Упал и один из расстреливаемых, другой же продолжал стоять на месте. Бомба взорвалась, но никому вреда не причинила. Строй солдат восстановили и приговоренных к смерти расстреляли.

Особые отделы ревностно и зачастую формально выполняли только что вышедший приказ Сталина «Ни шагу назад!», что приводило к трагедиям. Об одной из них и пойдет речь.

###### Трагедия героев-лейтенантов Цуканова и Волкова

30 июля 1942 года началась Ржевско-Сычевская наступательная операция. Началась она с мощной двухчасовой артиллерийской подготовки по всей ширине двенадцатикилометрового фронта. Грохот пушечных выстрелов тысяч орудий и минометов слился во всеобщий страшный гул и грохот, подобный землетрясению. Почва ходила ходуном. В двух шагах не слышно было человеческого голоса. Полы шинелей дрожали от сотрясений воздуха. Весь первый рубеж обороны немцев был сметен с лица земли вместе с фашистами. Оставшиеся в живых немцы побежали из Ржева. Наша пехота во весь рост беспрепятственно пошла через немецкий передний край. Радость у нас была неимоверная — вот он, Ржев! Без потерь мы продвинулись на несколько километров.

И тут, как назло, на целую неделю разразились невероятной силы проливные дожди. Вода стеной хлынула с неба. Болота вспухли, вода поднялась, на дорогах сплошная, глубиной до метра, грязь — ни пройти, ни проехать. Весь транспорт встал. Остановились танки и артиллерия. Снаряды подвозили по паре штук на лошадях, в мешках наперевес. Но даже лошади и конные люди не в состоянии были двинуться с места, не говоря уж о том, чтобы идти вперед. Завязнув в грязи, наше наступление остановилось. А убежавшие было немцы снова вернулись в Ржев и на свои запасные оборонительные рубежи перед городом.

Третьи сутки, не переставая, лили дожди. Днем 1-й батальон, понеся большие потери, выбил-таки немцев из очередной траншеи и продвинулся вперед, но все участвовавшие в бою командиры рот и взводов, кроме младшего лейтенанта Цуканова, погибли. На этот раз не уцелел и комбат, и Цуканов в разгар боя взял командование батальоном на себя. Хорошим помощником ему стал командир взвода управления нашей батареи лейтенант Волков с пятью своими людьми — связистами и разведчиками. Подавая по телефону команды на свою батарею, стоявшую на закрытой позиции, он так умело громил снарядами фашистов, что батальон продвинулся вперед метров на пятьсот. Соседи же слева и справа так и не смогли одолеть «своих» немцев.

Под вечер, спасаясь от проливного дождя, остатки уставших солдат прилегли в сухих, добротных трофейных блиндажах отдохнуть. В траншее у пулеметов остались только дежурные. Став в одночасье командиром батальона, молоденький младший лейтенант Цуканов был одержим ответственностью: и сам спать не ложился, и, опасаясь ответной ночной атаки, поднял всех своих бойцов, а было их тридцать шесть, и расставил по траншее. Всю ночь они простояли по колено в воде, промокшие под дождем до нитки, а он ходил проверял, как они готовы к бою, наставлял:

— Ты прижмись незаметно к стенке окопа и смотри поверх траншеи. Как на фоне неба появится фашист, сразу стреляй.

Немцы же были уверены, что в залитых водой траншеях, да ночью, никого быть не может, и траншеи-то эти еще утром принадлежали им, они хорошо знали тут каждый закоулок, потому в кромешной темноте, невзирая на ливень, около сорока немцев тихо подползли и стали прыгать в траншею, опасаясь только воды. В результате большинство из них было перебито, а раненые захлебнулись в воде на дне траншеи. Те же немцы, которым было поручено забросать гранатами блиндажи, были уничтожены группой артиллеристов Волкова. В этом скоротечном ночном бою батальон потерял всего двоих убитыми и пятерых ранеными, и у Волкова, пока он со своими людьми отражал атаки немцев на блиндажи, убило разведчика.

К утру дождь перестал. Голодные, но радостные от успешного боя солдаты пожевали что осталось в мокрых карманах от сухарей и поживились кое-чем из съестного в немецких блиндажах. Дежурные остались в траншее, остальные повалились на дощатые нары в трофейных блиндажах. От спящих повалил густой пар, и лейтенанты, чтобы обсудить положение, присели у входа внутри одного из блиндажей.

Смуглый, темноглазый Цуканов и розовощекий, с пшеничным чубом Волков, вчерашние школьники из Курска и Москвы, имели за плечами трехмесячные курсы, три дня боевого опыта и никакого житейского, а дума их была тяжелая: что делать дальше? Немцы продолжали поливать траншею пулеметным огнем, осыпать минами и снарядами, а связи со своими не было. Связист Волкова, посланный исправлять перебитый кабель, погиб; не вернулись от комполка и связные Цуканова. Волков послал по кабелю последнего связиста и теперь сидел, ни на секунду не отрывая телефонную трубку от уха; в его распоряжении остался всего один разведчик. Последнее, что слышал по телефону от комполка Цуканов: «Держись, ни шагу назад!» Соседи справа и слева так и не продвинулись вперед, фланги батальона были открыты, и молодые лейтенанты опасались, как бы немцы не отрезали их от тыла. На душе было муторно, но они, один перед другим, да и перед солдатами, держались молодцами.

То, чего они опасались, случилось. Фашисты густой цепью свежих сил атаковали батальон спереди, а в спину слева и справа ударили огнем из немецких траншей, которым неудачно противостояли соседние батальоны нашей дивизии. К счастью, у Волкова появилась связь, и он накрыл снарядами атакующих. Немцы залегли. Но связь опять прекратилась. Фашисты снова поднялись и помчались к нашей траншее, их минометчики, поддерживая атаку, начали обстреливать позиции ребят минами, и сзади с флангов дружно ударили несколько немецких пулеметов. У наших появились убитые и раненые. Положение становилось отчаянным. Немцы уже впрыгивали в траншею. Остатки батальона один за другим стали покидать траншею, отползать назад. Цуканов бросился им наперерез, но сделать ничего не смог и вынужден был вместе с солдатами медленно пятиться назад.

Несколько оставшихся в траншее пехотинцев и Волков с разведчиком из трофейного пулемета пытались оборонять траншею. Но немцев много — они были уже в траншее и бежали к блиндажу Волкова. Двое артиллеристов и несколько бойцов-пехотинцев заблокировались в блиндаже, отстреливаясь и выбрасывая летящие гранаты назад, к немцам, а гранаты, которые закатывались под нары, накрывали подушками, спасаясь от осколков. Но немцы ухитрялись стрелять внутрь блиндажа. Ранило в левую руку Волкова. Убило двух пехотинцев. Лейтенант с разведчиком уложили тела убитых в проход блиндажа, залегли за них и продолжали отстреливаться. Наконец немцы выдохлись и отступили.

Стало смеркаться. Из тыла, со своей новой передовой, группа немцев — хозяев блиндажа, в котором сидел Волков, возвратилась ночью в окоп на отдых. Считая, что блиндаж пуст, немцы беззаботно влезли из траншеи в свое жилище. Волков с разведчиком впустили их в темный блиндаж и постреляли всех из автоматов. Потом ребята выскользнули в окоп, выбросились наверх и поползли назад, к траншее, в которой должен был располагаться с остатками своего батальона Цуканов.

Но Цуканова в батальоне они не нашли. За то, что его солдаты оставили занятые позиции, то есть отступили, его арестовали и увели в особый отдел. Политработники — замполит, парторг и комсорг батальона — в бою, как обычно, не участвовали, зато после боя, выполняя приказ Сталина «Ни шагу назад», помогали особистам вылавливать по тылам частей дезертиров с передовой.

Огорченный несправедливым арестом друга, Волков разыскал в ночной темноте блиндаж командира своей батареи. Чернявский обрадовался, что его лейтенант вернулся с передового НП хотя и раненным, но живым. Перевязав получше раненую руку, он отправил Волкова вместе с разведчиком в тыл, на огневую позицию батареи, чтобы они до утра отдохнули в тепле.

Я был в то время старшим на батарее, Чернявский уже рассказал мне по телефону, что случилось с Волковым, и мы встретили изможденных ребят как героев. Переодели в сухое, накормили и уложили спать.

Рано утром верхом на лошадях приехали люди из особого отдела. Лейтенант-особист ударами сапога в бока разбудил героев. За то, что Волков во время боя оказался в тылу у немцев, особист именовал его сволочью и предателем. Волкова и его разведчика порознь посадили в вырытые в земле далеко друг от друга «колодцы» и стали допрашивать. Разведчика, взяв с него подписку о неразглашении, оставили в батарее, а раненого Волкова привязали за здоровую руку к стремени седла и повели в Смерш.

Мы ничем помочь Волкову не могли. До сих пор помню скорбные, полные слез глаза на недоуменном лице Волкова и нашу искреннюю молчаливую, невысказанную жалость.

Вместе с тысячами наших воинов, погибших от пуль фашистов, были убиты и эти два молодых лейтенанта. Убиты ни за что. Как враги. Своими.

Трагедию лейтенанта Волкова я испытал в полной мере на себе, когда меня назначили на его место командиром взвода управления батареи. Трижды я оказывался в окружении у немцев на своем передовом НП, когда поддерживаемая мной пехота отползала назад. В такой ситуации мне и отступать вместе с пехотой нельзя — под приказ попадешь, и в окружении оставаться опасно: хорошо, если погибнешь в бою, хуже — в плен попадешь, предателем станешь; но даже после всего, уцелев в бою и не попав в плен, выберешься к своим — все равно расстреляют. К счастью, мне везло, продолжала действовать телефонная связь с батареей, и я, перебив с помощью огня орудий немцев, восстанавливал положение, давая возможность своей пехоте возвратиться ко мне, на оставленный рубеж.

###### Несчастье

Случилось это в самый разгар августовских боев. Батарея вела огонь на запрещение: мешала немецкой пехоте приготовиться к атаке. На площади в четыре гектара то там, то тут через каждые десять секунд гремели мощные взрывы наших снарядов, они как бы предупреждали немцев: не лезь, а то сыпанем пригоршнями! Для нашей же пехоты это было желанной защитой и передышкой. Каждое из четырех наших орудий должно было одно за другим сделать четыре выстрела с интервалом в десять секунд. Когда пошли по второму кругу, что-то при выстреле случилось с третьим орудием, его выстрел прозвучал громче обычного, оно окуталось густым, черным дымом, и от него ко мне, за сто метров, вибрируя, прилетел изогнутый штык от карабина — зло профурчал мимо моего носа и воткнулся в землю в метре от меня.

— Третье стрелять не может! — прокричал командир орудия.

Мне некогда было разбираться, что там случилось, и я продолжал называть по порядку номера орудий для производства дальнейших выстрелов. Только когда закончилась стрельба, я заторопился к третьему орудию.

Подбежал к гаубице — и остолбенел! Недвижными глазами уставился в пустое пространство, где за щитом должен был угрожающе возвышаться двухметровый орудийный ствол. На месте многометровой, толщиной в обхват человека стальной махины — ничего не было! Передо мною предстало орудие — без ствола! Без того, что стреляет! Это все равно что увидеть человека без головы! Немыслимая потеря кинжалом поразила мое сердце! Но вдруг боль потери перекрыла страшная мысль: а что будет со мной?! Жалость утраты сменилась страхом ответственности. Мы только начинали воевать, ни разу еще не теряли материальную часть, утрата орудия не укладывалась в моем сознании.

Из шокового состояния меня вывели солдаты орудийного расчета, они окружили меня и радостно кричали:

— Мы все живы, товарищ лейтенант!

Я очнулся. Радость за людей перекрыла горечь утраты и страх за свою судьбу. Но было немного стыдно: сначала о пушке и о себе подумал, а уж потом о людях вспомнил. Но разве моя вина в том, что так нас воспитали: сам погибай, людей теряй, но прежде всего орудие спасай!

— Да как же вы уцелели-то, хлопцы, — откликнулся я, — в метре от вас не просто снаряд разорвался — тонна стали вдребезги разлетелась, это же целый короб взметнувшихся в разные стороны осколков! –

А про себя подумал: вместе с ними и мне повезло, без людских потерь обошлось; может, и не расстреляют, а только в штрафной отправят, я тогда не знал еще, что это гораздо хуже.

Почему снаряд разорвался в стволе?.. Но сейчас не до рассуждений, нужно срочно сообщить о ЧП старшему лейтенанту.

— Снаряд разорвался в стволе орудия, — докладываю по телефону на НП командиру батареи.

— Ты с ума сошел! — с негодованием воскликнул потрясенный Чернявский, в тайне лелея надежду, что безусый лейтенант что-то напутал. — Да ты представляешь, что со стволом может произойти?! Вздутие получится! Орудие выйдет из строя!

— А уже произошло. Ствол разлетелся по самый щит, — поясняю спокойно, потому что уже пережил невероятное происшествие, которое только что случилось, и готов ко всему.

— Сколько убитых и раненых? — понизив голос, немного успокоившись, продолжил разговор командир батареи.

— Ни одного, все целы и невредимы.

— Не может быть, посмотри получше! — требовательно, с заведомым недоверием возмутился комбат.

Я снова подошел к третьему орудию и лично проверил каждого. Ни у одного человека не было ни единой царапины, и никого не контузило. У ящичного Бирюкова крупный осколок выхватил из-под зада вещмешок, но он только опрокинулся через спину и снова сел на землю как ни в чем не бывало.

— Нас орудийный щит спас, — поясняют мне не совсем еще пришедшие в себя красноармейцы. — Пирамиду с карабинами разнесло в щепки, а ведь она стояла у станины, рядом с замковым, нас же, как заговоренных, не тронуло.

Возвращаюсь к телефону, докладываю:

— Все целы.

— Командиру полка будешь докладывать сам! — угрожающе закончил разговор командир.

В чем же причина взрыва снаряда в стволе орудия? Чехол со ствола был своевременно снят, аккуратно свернут и лежал на месте около правого колеса гаубицы. Внутренняя поверхность ствола перед стрельбой была идеально чиста. Только что, перед самой стрельбой, на огневой позиции побывал заместитель комдива полковник Урюпин. Старый служака заглянул внутрь ствола и поразился его зеркальному блеску. Вьющиеся нарезы, как дивные кружева, заворожили взор полковника, он обомлел. Ранее ему никогда не приходилось заглядывать в орудийные стволы, хорошо знал только винтовочные, а такой красотищи никогда не видывал — не сдержался, приложил ладони к щекам и изо всей силы гаркнул в гаубичный ствол: «Урюпин, так твою мать!!!» — а мы счастливо рассмеялись, приняв восторг полковника как высшую похвалу.

Потерю орудия горько переживали все огневики батареи. Люди как-то приуныли и тесно жались к своим орудиям, как бы лаская их и радуясь: а наши целы! Уж так повелось в нашем небогатом обществе, что гибель товарищей переживали с меньшей болью, чем утрату орудия. Красавица гаубица являла собой незаменимый инструмент эффективной борьбы с фашистами. Солдаты в буквальном смысле слова носили ее на руках, вытаскивали из грязи, чистили и холили. Орудия для бойцов расчетов были как бы родными существами, они в какой-то мере олицетворяли собой далеких жен и матерей.

###### \* \* \*

К обеду на батарею прибыл лейтенант из особого отдела, вместе с ним, так же на конях, возвышались двое автоматчиков. При подъезде к батарее они громко разговаривали, смеялись. Поначалу я обрадовался, что расследовать происшествие будет не какой-нибудь брюзга-старик, а мой сверстник, тоже, наверное, бывший студент, может, и из Ленинграда, только не с педагогического, а с юридического факультета. Но когда гость, не поздоровавшись, небрежно козырнул и скороговоркой сообщил, что он лейтенант Капицкий, я насторожился.

— Где взорванная пушка? — строго спросил он, ни к кому не обращаясь.

Его черные колючие глаза смотрели мимо меня, не оставляя никакой надежды на доверительный, товарищеский разговор, как будто мы с ним не были вчерашними студентами. На Капицком была новенькая, непомятая гимнастерка, хрустящая портупея, а щеголеватые галифе наглажены так, что стрелка на сантиметр выпирала наружу. Узкие голенища блестевших хромовых сапог плотно облегали нежирные икры ног. И сопровождающие его автоматчики, словно вынутые из конфетных оберток, отличались от моих огневиков, как новенькие гвозди от только что вытащенных из досок — старых, изогнутых и ржавых. По «гостям» было видно, что они не таскали из болота тяжелые гаубицы и не налегали грудью на высокие грязные гаубичные колеса.

Первым делом лейтенант-особист разогнал расчет третьего, пострадавшего орудия на тридцать метров в разные стороны от гаубицы и приказал каждому вырыть для себя окоп-колодезь. Это чтобы солдаты не общались между собой и чувствовали себя арестованными. Пока под присмотром автоматчиков огневики отрывали свои полевые камеры, Капицкий повел меня в мой блиндаж и приступил к допросу. Я был старшим офицером на батарее, а потому за все в ответе.

— Покажите мне ваше оружие, — вежливо попросил особист.

Я подал ему свой автомат. Капицкий молча положил его у своих ног. Потом как-то обыденно тихо спросил:

— А почему разорвался ствол у орудия?

— Скорее всего у снаряда был неисправный взрыватель: сработал преждевременно, когда снаряд еще не покинул ствола.

— А может, чехол со ствола не сняли или грязь в стволе накопилась? — ядовито спросил следователь, склонил голову набок и нарочито дурашливо приоткрыл рот.

— Орудие — не мусорный ящик, чтобы в нем мусор скапливался, посмотрите другие гаубицы, как они ухожены. Это и полковник Урюпин может подтвердить. Он только что был у нас. Чехол же до сих пор свернутым у орудия лежит.

— Это все и после можно сделать. А может, специально решили вывести орудие из строя?! — угрожающе вперился в меня особист.

Ранее я никогда не имел дел с органами и не был под следствием, поэтому не представлял, что можно вот так откровенно шельмовать.

— Сегодня одно орудие, завтра — другое, смотришь — и выведена батарея из строя, — не обращая внимания на мое возмущение, продолжал лейтенант. — Сколько человек убито и ранено при взрыве ствола?

— Никто не пострадал! — с гордостью заявил я.

— Как?! Так вы специально их спрятали, прежде чем взорвать ствол! Значит, людей пожалели, чтобы они не выдали вас! — Капицкий как бы между делом взялся за ремень, перевел кобуру с пистолетом из-за спины на живот и уже резко потребовал: — Ну, отвечай лейтенант! С какой целью, по чьему приказу взорвали орудие?!

Такое обращение смутило и напугало меня. Дело принимало серьезный оборот.

— Кто ваши сообщники?! А может, чтобы взорвать орудие, песочку в ствол подсыпал?!

Этого было достаточно, чтобы меня расстреляли. Но я нашелся:

— Да где же вы в болоте песок возьмете?

Снова и снова, в какой уж раз я повторял по требованию Капицкого, как все случилось. Но особисту требовалось «признание»:

— Снаряд и ствол разлетелись вдребезги — это факт! И ничем не докажете, что они были чистыми. А то, что люди не пострадали, только отягощает вашу вину. Признавайтесь чистосердечно — это облегчит вашу участь. Подумайте над этим. А я пока расчеты допрошу.

Лейтенант удалился, прихватив с собою мой автомат. В дверях блиндажа замаячил автоматчик.

Капицкий долго допрашивал других батарейцев. Особенно тщательно — солдат 3-го расчета. Когда он вернулся ко мне в блиндаж, я ничего нового сказать ему не мог.

— Кое-что проясняется, — загадочно сказал он, садясь напротив меня. — Признавайтесь и называйте сообщников.

— Я сказал вам все. Давайте отстреляем все оставшиеся в этой партии снаряды — проверим, нет ли среди них порченых, — предложил я.

— Ты что?! Хочешь, чтобы я вместе с тобой порвал остальные орудия?! С моею помощью выполнишь вражеское задание?! — вскипел Капицкий.

— Отчего же они порвутся, если, по вашей версии, взрыватели у всех снарядов исправны, а орудия мы в вашем присутствии еще раз почистим. А снаряды все равно расходовать надо, скоро пехоте поддержка потребуется.

— Будем судить тебя, лейтенант, за умышленный подрыв орудия, и никак ты не отвертишься. Так что пойдешь со мною в Смерш.

Я знал, что из Смерша не возвращаются. Ни за что ни про что недавно увели раненого Волкова, вырвался человек к своим — «свои» и увели, привязав за руку к стремени коня. Мне стало страшно. Там, в Смерше, тем более не докажешь свою невиновность, а им свою работу надо показывать: дескать, не даром хлеб едят. Горько умирать предателем от пули своих, уж лучше бы немцы убили.

Следователь, с видом, что все выяснено и моя вина доказана, поднялся и направился к выходу. В этот момент меня осенило: роковой выстрел третьего орудия был по счету вторым! Если бы гаубичный ствол был грязным, он взорвался бы при первом же выстреле!

— Но это же был второй выстрел! — отрешенно вскрикнул я вслед особисту.

— А какое это имеет значение? — не оборачиваясь, бросил Капицкий.

— Нет, ты послушай, я докажу тебе, что ты, лейтенант, неправ! — закричал я изо всех сил.

Мой крик и обращение на «ты» возмутили следователя. Он вернулся, чтобы поставить меня на место. Сел и с насмешкой уставился на меня.

— Если бы ствол орудия был грязным или в чехле, то в стволе взорвался бы первый снаряд. Но у первого снаряда был исправный взрыватель, а потому выстрел был нормальный. Почему же взорвался второй снаряд, когда ствол был уже прочищен первым выстрелом, а чехол был сорван напором воздуха, как считаете вы? Да потому, что у него был неисправный взрыватель! — высказался я.

Капицкий задумался. Мучительно долго он искал отпор моим убедительным аргументам, понимал, что рушится весь выстроенный им каркас предварительного обвинения. Потом лицо его просветлело, он улыбнулся и сказал:

— Счастливый ты, лейтенант! В ящике лежало два снаряда: нормальный и испорченный. Ведь мог же ящичный схватить первым испорченный снаряд. Орудие от него и взорвалось бы, а тебе — расстрел! Ну а теперь твоя правда — ты невиновен. Благодари судьбу.

Вот тут он правильно рассудил, подумал я, все-таки соображает. А мне, если б не моя догадка, был бы каюк.

Ночью всю партию подозрительных снарядов с огневой позиции увезли на склады.

###### Снаряд угодил мне под мышку…

В один из жарких августовских дней стрелковый батальон, в котором из двухсот солдат оставалось полсотни, по приказу начальства атаковал немецкую траншею под деревней Полунино. Все поле, по которому бежали в атаку красноармейцы, было устлано трупами ранее наступавших здесь бойцов.

Воодушевляя и одновременно принуждая своих солдат к действию, командир батальона Глыба бежал в цепи наступавших. Я, командир взвода разведки артбатареи, которая поддерживала батальон огнем своих, стоявших далеко в тылу орудий, бежал рядом с комбатом. Сзади меня с разматывающейся катушкой телефонного кабеля на спине поспешал телефонист — мой единственный подчиненный, остальные четверо моих разведчиков и связистов лежали на этом трупном поле, убитые на прошлой неделе при неоднократных попытках взять ту же проклятую траншею. Снаряды, которые я мог применить против немцев в этом бою, были строго лимитированы, поэтому я приберегал их для отражения возможных контратак противника.

Когда до немцев оставалось метров двести, к их пулеметному огню присоединились минометы. Мины стали густо рваться около нас. Мы бросились на землю. Я втиснулся между двумя трупами. Они в какой-то мере защищали меня от осколков и пуль. Но вот мина рванула рядом и подняла в воздух правый труп. Падая, он накрыл меня с головой. Черви посыпались мне за шиворот, а из пронзенного осколками вспученного живота дохнуло отвратительным зловонием. И хотя все поле окутывал этот тошнотворный, сладковатый трупный смрад разложения, к которому мы в какой-то мере уже притерпелись, эта концентрированная порция вони чуть не лишила меня сознания. И хорошо, что я совладал с собою, не оказался в обмороке! Потому что оставшиеся в живых солдаты батальона уже начали отползать назад, на исходные позиции, и я бы очнулся в плену. Вслед за ними и комбатом, который безуспешно пытался задержать своих солдат для продолжения атаки, пополз и я.

Пробираясь под страшным пулеметно-минометным огнем между бесчисленными трупами вслед за уползающими в свои окопы пехотинцами, я все время приподнимал голову и оглядывался назад: не бегут ли немцы, не кинулись ли они в контратаку? И точно! Смотрю, под прикрытием минометного огня немцы выскакивают из своей траншеи и густой цепью бегут вслед за нами — и догнать им нас, ползущих среди разрывов мин, ничего не стоит! Сейчас они расстреляют нас из автоматов в спины и займут наши ровики, а дальше — прорвут наш хлипкий передний край и погонят остатки батальона назад, подальше от Ржева. Надо спасать положение! Кроме меня этого сделать никто не сможет!

— По траншее, прицел меньше четыре, батареею, огонь!

Телефонист тут же передал мою команду на батарею, благо цел телефонный кабель. И вот они — летят наши снаряды!! Они рванули как раз там, куда подбежали немцы. Большинство фашистов было уничтожено, остатки стали спешно отползать в свою траншею. Контратака немцев отбита!

А наш батальон, потеряв четырнадцать человек убитыми и ранеными, благополучно впрыгнул в свои неглубокие ровики. Потные, грязные, изможденные беготней по трупному полю, изнуренные страхом красноармейцы распластались на дне окопов. А комбата младшего лейтенанта Глыбу, единственного уцелевшего офицера в батальоне, уже вызывает по телефону комполка:

— Ну, захватили траншею? — спрашивает строго майор Соловьев.

— Не смогли. Залегли под сильным огнем и вернулись на исходную.

— Как вернулись?! Ты с ума сошел?! Немедленно возобновить атаку! Чтобы сегодня же с батальоном был в немецкой траншее, понял?!

— Так точно.

Ни в какую атаку жалкие остатки батальона Глыба, конечно же, не поведет. Это бессмысленно, да и невозможно. Но через час новый вызов по телефону:

— Ну, как? — спрашивает нетерпеливый Соловьев, которого, в свою очередь, пилит командир дивизии.

— Да продвинулись метров на сто, — отвечает Глыба.

— Действуй дальше, чтобы к вечеру траншея была наша!

Когда в очередной раз комбат, убежденный в бессмысленности наших немощных атак, услышал строгий голос командира полка и снова соврал, да будет ложь его святой, что продвинулись якобы еще на пятьдесят метров, майор потребовал:

— Дай трубку артиллеристу!

Спрашивает уже меня:

— Ну, как там пехота, наступает?

— Да, еще продвинулись метров на сорок, — отвечаю, чтобы не подводить младшего лейтенанта: он, бедняга, уже не рад, что за неделю из взводного в комбаты вышел. Жалко ему поднимать солдат на бессмысленную смерть, а командованию не дано понять сложившуюся обстановку на передовой, твердит одно, да и только: давай, атакуй! — лишь бы не затухало наше никчемное наступление.

Между тем немцы, может в отместку за гибель своей роты под моими снарядами, принялись беспощадно обстреливать минами и снарядами наш передний край. Десятки и сотни разрывов вспучились фонтанами земли и болотной жижи. Поднялся страшный грохот, земля заходила ходуном, того и смотри уйдет из-под тебя, и полетишь ты в тартарары. Клубы пыли и дыма окутали наши позиции, бесчисленные смертоносные осколки мин и снарядов заполонили все вокруг. Мы с комбатом Глыбой, его ординарцем и моим связистом всунулись в небольшой, глубиной в метр, блиндажик, чтобы спрятаться хотя бы от осколков.

— И где только немцы снаряды берут, никаких лимитов у них нет, — скорее для себя — не для нас озабоченно проговорил комбат, — как привяжутся, конца обстрела никак не дождешься.

Тонкий слой земли над головой не столько защищает, сколько успокаивает нас, спрятавшихся. Согнувшись в три погибели, мы сидим рядком на глиняном выступе-лежаке в темном убежище, блиндажик постоянно содрогается от близких взрывов, с потолка сыплется земля. Внезапно один из снарядов разворотил угол нашего убежища, солнечный луч врывается в сумрак землянки, высветив густой столб клубящейся пыли. Каждый из нас про себя молит бога: только не прямое попадание! Очередной сильный удар сотряс стенки нашего убежища, и в этот самый момент мой телефонист, сидящий справа от меня, торопливо, плавно, но настойчиво, толчками принялся просовывать мне под мышку свою руку. От страха, наверное, жмется мальчишка, подумал я снисходительно. Когда же его ладонь просунулась наружу, к моей груди, я с удивлением увидел, что на нее надета небольшая консервная банка. Зачем это он банку-то натянул на руку? — недоуменно думаю. Присмотрелся, а это никакая не банка, а головка снаряда — алюминиевый взрыватель! И вовсе не рука это телефониста — 75-мм немецкий снаряд, его алюминиевый взрыватель блестит, как луженая жестянка! Ужас объял меня! Я вдруг все понял: снаряд упал возле блиндажика, прошел сквозь грунт и высунулся из стенки блиндажа — прямо мне под руку! Громко в страхе я закричал:

— Быстро все из блиндажа! У меня снаряд под мышкой!

Все трое находившихся со мною в убежище, услыхав такую ошарашивающую новость, быстро, как разлившаяся ртуть, выкатились наружу. Я осторожно поднял правую руку вверх, чтобы не потревожить снаряд, упал на левый бок и выскочил следом.

Подождав немного в траншее, я все же заглянул в блиндажик. Снаряд на две трети своей длины торчал из стенки. Наверное, у него не сработал взрыватель.

Как же нам повезло! Редчайший случай, чтобы снаряд не взорвался! Нетрудно представить, что было бы, если бы это случилось. А вот и не взорвался!

Для нас, четверых обитателей блиндажа, этот случай был счастливейшим в жизни. Всех ли нас миловал тогда господь или кого-то одного, а другие остались живы благодаря этому одному — сие неизвестно.

###### Классно фриц пробомбил!

Наши гаубицы стояли на взгорке под невысоким бугром справа от хилой рощицы. Кругом болота, и кроме этого места поставить орудия так, чтобы их не видели немцы с земли, было негде. Не нравился нам этот взгорок — как на пупу сидим на нем, пусть и под бугром. Для гаубиц и для себя ночью вырыли неглубокие окопы, насколько позволяли близкие подпочвенные воды. Замаскировали окопы с орудиями масксетками, сверху набросали свежей зелени. Но все равно наблюдателю с неба четыре равноудаленных холмика говорили об искусственности предметов.

Рано утром в небе появилась «рама» — немецкий двухфюзеляжный самолет-разведчик, появилась с утра пораньше, когда в лучах всходящего солнца особенно четко выявляют себя различные цели.

— А вот не засекает она нас, — задрав вверх голову и наблюдая сквозь отверстия масксетки, самодовольно заявил заряжающий Хапов, молодой курносый парень, бывший горьковский колхозник.

— Не каркай, может, и видит, да за мелочь принимает, поважней цели ищет, — солидно возразил ему степенный пожилой замковый Карпов.

— А мы что, не важная цель? Если бы они там, на «раме», знали, сколько пехоты мы перебили, сколько НП и КП уничтожили, да пулеметов не счесть, они бы специально охотились за нами, — подвел итог командир орудия Бобылев, высокий, стройный красавец сержант в хромовых сапогах.

Солнце уже поднялось, когда принесли нам завтрак в термосах. Я был старшим на батарее, то есть офицером, который отвечает за орудия, расчеты, точность стрельбы и является заместителем командира батареи. Сам же командир батареи постоянно находился на НП. Так как пристрелочным является первое орудие и все одиночные выстрелы делает оно, я постоянно находился при нем, поэтому и ел вместе с первым расчетом, да и время в ожидании команд на стрельбу обычно коротал рядом с ним.

Только мы расселись между станинами орудия, вроде бы как между раскинутых родных ног сидящей на полу любимой мамочки, приспособили на коленях котелки, а некоторые уже и ложки поднесли ко рту, как в вышине раздался страшной силы рев, и из-за рощицы, что слева от нас, на небольшой высоте выскочил желтобрюхий «Юнкерс» — он уже сбросил бомбы и, выходя из пике, выворачивал вверх. Свист падающих бомб потонул в адском вое мотора, рев самолета оглушил нас, и не успели опомниться, как в метре от нас, у правого колеса гаубицы, почти под лафетом врезалась в землю бомба. Весь окоп вместе с орудием содрогнулся и будто подпрыгнул от мощного удара, орудие чуть не опрокинулось, из-под нас ушла почва, в ужасе мы раскрыли рты, застыв в ожидании… — каждый успел представить, как летит вверх тормашками гаубица, как разметывает взрывной волной сидящих возле огневиков и в результате остается большущая воронка, из высоких насыпных краев которой торчат лишь станины гаубицы да руки и ноги артиллеристов… Но взрыва не последовало. Упав чуть не на орудие, бомба не взорвалась.

— Быстро в ровики! — раздалась моя команда, была вероятность, что бомба — замедленного действия.

Не успевшие прийти в себя батарейцы сломя голову бросились в ровики-усы, следом прыгнул и я. Прошло две… три минуты… — взрыва все нет. Как это понять? Мне не терпелось заглянуть в дыру, где скрылась бомба. Подползаю к отверстию на дне окопа. Шириной оно с обычное ведро. Заглядываю внутрь, но ничего, кроме темноты, не видно. Тогда вынул из нагрудного кармана зеркальце и направил луч солнца в наклонный след от бомбы. Скользнув по шершавым стенкам скважины, луч упирается в поверхность грязной воды, на полметра не доходящей до краев вмятины. Сама же невзорвавшаяся бомба скрылась в болотном грунте.

— Вы там живы? — кричат нам от второго орудия. — У нас бомба угодила под гаубицу и не взорвалась, потерь нет.

Иду посмотреть, что же случилось с остальными тремя гаубицами. Что они целы, и так видно за полторы сотни метров, а вот куда угодили бомбы, интересно. Обойдя все орудийные окопы, я увидел одно и то же: около колеса каждой гаубицы зияло размерами с ведро отверстие — и ничего более.

— Как точно засекла нас «рама»!

— А по наводке «Юнкерс», как в лунки картошку, бомбы сбросил! — обсуждают батарейцы случившееся.

— Надо же так точно пробомбить! — восхищается сержант Браилко, командир четвертого орудия. — Буквально под каждую гаубицу положил бомбу. Вот это ас!

— Взорвись они — вот такие воронки были бы, — развел руки в стороны наводчик Осецкий, — и батареи как не бывало!

Я тоже поражаюсь: каждая из четырех бомб упала точно под колесо предназначавшейся ей гаубицы. Но эти разговоры во славу немецкого летчика нам ни к чему: обязательно донесут, неприятностей не оберешься.

— Пробомбил-то хорошо, как и положено, но почему ни одна бомба не взорвалась, вот вопрос! — увожу своих солдат от ненужного разговора.

— Может, болотный грунт сработал как амортизатор?

— При чем тут амортизатор, взорваться должны, как только коснулись почвы.

— Все дело во взрывателе, ребята, — поясняю, — если бы были нормальные взрыватели, вся батарея взлетела бы на воздух.

— Может, интернационалисты на немецком или швейцарском заводе при сборке взрывателей какой шарик не положили в нужное место?

— Скорее всего так оно и есть, — подтвердил я, — достаточно одному рабочему на конвейере опустить шарик не в ту дырку — и все в порядке, взрыватель не сработает.

— Представляю, как горевал немецкий летчик, когда оглянулся назад. Ищет взрывы, а взрывов нет!

— Повезло нам. За всю войну первый раз вижу, чтобы из четырех бомб ни одна не взорвалась.

Действительно, всем нам повезло, иначе от нас ничего бы не осталось. Но — наше счастье! — у всех бомб оказались испорчены взрыватели.

###### Сестричка

В одном из боев за деревню Полунино нам не удалось выбить немцев из траншеи. Мы отползли метров на сто назад и залегли. На голом поле на нас обрушился такой огонь, что невозможно было головы поднять. Таяли остатки батальона младшего лейтенанта Глыбы. От пятидесяти человек уже два десятка осталось. Черная, густая цепь немцев выскочила из траншеи и побежала на нас в атаку. Огнем батареи я положил немцев на землю, и тут у меня перебило телефонный кабель. Лежа с комбатом в цепи остатков батальона, я с телефонной трубкой в руке жду связи с батареей, а позеленевший комбат выворачивается наизнанку в тревоге, как бы удержать своих солдат на этом рубеже.

Немцы снова окатили нас пулеметным огнем и минами. Пыль, дым, огонь и грохот. Земля вздыбилась, ходит ходуном. Взрывы поднимают в воздух тела солдат, осколки рвут на части живых и мертвых. Страшно неимоверно! Мы вжались в землю. И тут фашисты снова поднимаются в атаку. Мы отстреливаемся, но положение критическое — судьба наша предрешена. И вдруг в этом аду меня оползает какой-то щупленький солдатик — движется вперед, на нейтралку! Что за смельчак? — ревниво, с завистью подумал я, в таком тарараме не боится, опережает даже меня, обстрелянного лейтенанта. И чего ему там надо среди огня и трупов? Движимые единственным стремлением ворваться в Ржев, мы и мысли не допускали, что кто-то из нас захочет в плен уползти, да и о загранотрядах, которые, нацелив в спины нам пулеметы, лежали сзади, мы не думали.

— Назад! — заорал я во всю глотку.

На мой окрик, как блеск молнии, на мгновение сверкнуло в быстром повороте девичье личико и тут же исчезло, успел заметить лишь прилипшие к потным щекам кудряшки и снисходительную улыбку. В два прыжка девушка оказалась около одного из лежавших впереди нас тел красноармейцев, потом, как синичка, перескочила, быстро обследовала другого, третьего. У четвертого задержалась и стала быстро перевязывать голову. Увертываясь от пуль и осколков, девушка намертво вцепилась руками в ворот раненого и, напрягая все свои силенки, короткими, частыми рывками стала перемещать спасаемого в нашу сторону.

Между тем самые резвые из атакующих немцев уже приближались к нашей сестричке. Бежавший впереди немец намеревался в прыжке подмять под себя отважную санитарку и размозжить ее голову коваными сапогами. Пуля нашего бойца сразила фашиста на взлете. Девушка же настолько была увлечена спасением раненого и так умучена, что даже не заметила ни надвигавшейся опасности, ни своего спасения.

Тут в моей телефонной трубке захрустело, появилась связь, и я открыл огонь по фашистам. Разрывы наших снарядов разметали немцев, а девушка благополучно приволокла раненого на нашу позицию.

Я не узнал имени той храброй девушки. Но, думаю, родом она была из Старицы подо Ржевом, именно оттуда девушки-добровольцы поступали в нашу дивизию.

###### \* \* \*

А теперь передаю слово военврачу нашей дивизии Варваре Александровне Сомовой. Со слов В. А. Сомовой я записал ее рассказы, и мне захотелось включить их в свою книгу. Они дополняют мой рассказ, но трогательны, интересны и сами по себе, показывая жизнь женщин на войне. Родилась Варя Сомова в 1919 году в селе Чертовищи Ивановской области. В феврале сорок второго окончила Ивановский мединститут и была направлена на должность военврача в 106-й медсанбат 52-й дивизии, формировавшейся тогда в Коломне. С дивизией прошла весь ее боевой путь — от первых боев подо Ржевом до Порт-Артура. Как оказалось, всю войну мы прошли почти рядом, а познакомились только в июне сорок пятого. Привожу рассказы Варвары Александровны, всего их в книге три, ничего не меняя, такими, как их услышал, поэтому здесь и в дальнейшем повествование в этих рассказах идет от ее имени.

###### Под знаком красного креста. Рассказ военврача В. Сомовой

Скорбным, опасным и каторжным был труд медиков переднего края. В наш 106-й медсанбат за всю войну не поступало такого количества раненых, как подо Ржевом. Во время летнего сорок второго года наступления поля, болота и рощи в районе боев были сплошь устланы трупами сотен и сотен людей, а поток раненых в медсанбат исчислялся тысячами.

Первая помощь раненым оказывалась на поле боя, затем они доставлялись в наш медсанбат. Располагались мы в районе деревень Бельково и Харино, которые дотла были выжжены немцами, поэтому раненых размещали в близлежащих рощах, в старых немецких блиндажах, в санитарных палатках. Порой наплыв раненых был настолько велик, что их располагали рядами на носилках среди лесных полян. В иные дни поступало до семисот раненых, это означало до ста человек в течение одного-двух часов. Приемно-сортировочное отделение не успевало вести регистрацию и осмотр вновь прибывавших. Особенно много раненых было в августе, когда после проливных дождей застопорилось наше продвижение и бои приняли жесточайший характер. На раскисших дорогах вязли наши машины и повозки с ранеными; кони, утопая по брюхо в грязи, не в состоянии были сдвинуться с места.

Отправка в тыл транспортабельных раненых затруднялась не только отсутствием нужного количества машин и сопровождающих, но и постоянными обстрелами и бомбежками. Ни днем, ни ночью медсанбат не оставляли в покое немецкие самолеты и дальнобойные орудия. Только закончится артобстрел, как его сменяет налет авиации. Со страшным, душераздирающим завыванием пикируют на раненых самолеты. Они не обращают никакого внимания на разложенные поблизости опознавательные красные кресты и делают свое гнусное дело. Мощные разрывы целиком сметают санитарные палатки, разбрасывают тесные ряды носилок с ранеными, засыпают их грязью, убивают, наносят новые увечья. Трещат деревья, падают огромные сучья, уничтожаются подвешенные на деревьях капельницы. Мечутся среди разрывов окровавленные врачи, медсестры, санитары. Вскакивают с носилок тяжелораненые, которым и шевельнуться-то запрещается.

Особенно были страшны обстрелы и бомбежки операционных. Хирурги работали круглосуточно, вдруг среди ночи от взрыва бомбы или снаряда рушится операционная палатка, гаснет свет, разливается керосин, все вспыхивает огнем, окутывается дымом и гарью. Опрокидываются операционные столы с ранеными, у которых вскрыты грудные клетки, полости живота. В стерильных халатах и масках, со скальпелями и шприцами в руках падают навзничь хирурги и ассистенты. Гибнут и нервируются люди, уничтожаются бесценные лекарства и оборудование. Снова надо обмывать раненых, заново перевязывать, ставить шины, а то и делать новые операции. И это и днем, и ночью. И почти каждый день, и каждый раз надо устранять последствия бомбежек и обстрелов.

В эту страшную круговерть фронтовой обстановки мы с моей однокашницей по институту и подругой Зоей Овсянниковой окунулись прямо со студенческой скамьи, и осваиваться приходилось быстро, в процессе лечения раненых обретать необходимый практический опыт. Но мы справлялись. До ста операций в сутки делала хирург Овсянникова. У меня, врача-терапевта, на руках были сотни тяжелораненых. Четверо хирургов, включая и командира медсанбата, круглосуточно стояли у операционных столов при свете керосиновых ламп, работали быстро и искусно. Когда же от напряжения и усталости они валились с ног и глаза их закрывались сами собой, им поочередно, на час-другой, давали перерыв, и тогда они падали и засыпали.

У нас, врачей и медсестер госпитального взвода, забот было не меньше. Нужно принять поток раненых после операций, обустроить искалеченных и перебинтованных, с торчащими в разные стороны конечностями людей. У одних вспороты животы, проломаны грудные клетки, у других раздроблены челюсти, расколоты черепа. А после наркоза, в беспамятстве — все они беспомощны, и нам, врачам-терапевтам, медсестрам, приходилось ухаживать за ними, как за грудными детьми, мало кто из них мог самостоятельно покушать, попить, справить нужду. Но проходил наркоз, появлялось сознание, а с ним и дикие боли, и страх за свое искалеченное тело. И каждому нужно было уделить частицу душевного тепла и чуткого внимания. Каждого накормить, обогреть, успокоить, тем более если лежали они подчас под открытым небом, на поляне, среди вспухшего от непрерывных дождей болота. Но их еще нужно было и лечить! Организовать переливание крови, дать лекарства, а для такого количества раненых не хватало не то что помещений, кроватей и носилок — не было возможности даже укрыть их от солнца.

Тяжел был труд военных-медиков. Но он не пропадал даром. Тысячи наших воинов были спасены от смерти, избавлены от недугов и снова возвращены в строй. Мы, военные медики, изо всех сил старались, чтобы ни один, даже самый тяжелый раненый, не скончался на больничной койке. Бойцы чувствовали нашу заботу и были в высшей степени признательны нам за это. Они не только благодарили нас при выписке из санбата, но и слали письма из тыловых госпиталей, в которых их продолжали лечить. Нашему мастерству, умению поставить верный диагноз и осуществить правильное лечение в полевых условиях дивились врачи и профессора тыловых госпиталей, в которых долечивались наши раненые.

«После такой сложнейшей операции выходить больного в полевых условиях — нет, это дело невозможное! У него же весь живот был вырван! Даже у нас, в стационарных условиях, при нашем арсенале средств и то такие больные не выживают. Нет, это за пределами возможного!» — так удивлялись врачи больницы в глубоком тылу у постели моего бывшего пациента, он написал мне об этом в своем благодарственном письме.

Действительно, невозможное становилось возможным на фронте, потому что наши медики переднего края совершали чудеса массового героизма, отдавали раненым воинам всю теплоту своих сердец. В своем ратном благородном труде они творили чудеса воскрешения людей.

В тех же августовских боях подо Ржевом был тяжело ранен артиллерист Чеханов. Осколок снаряда пробил ему грудную клетку, повредил легкие, прошел в полость живота и раздробил правую ногу. Положение его было практически безнадежным. Но наши медики не отступились. Медсестры Бахметьева и Маслова быстро раздели больного, перелили кровь и подготовили к операции. За операцию взялась Зоя Овсянникова. Это была тяжелая борьба с приближающейся смертью. Но хирург победил. А потом, после операции, борьба за жизнь солдата продолжилась уже в госпитальном взводе. Лечили и выхаживали раненого мы, врачи разных специализаций, не могу не назвать их фамилий, это доктора Трофимова, Ковалева и Шандорина. На девятые сутки Чеханов был эвакуирован в тыловой госпиталь в хорошем состоянии. Была в этой победе жизни и частица моего труда: раненый находился под моим неусыпным наблюдением.

Подобных примеров были тысячи.

В сорок втором году фронтовиков, какие бы подвиги они ни совершали, награждали очень редко. Но самые самоотверженные медики нашего 106-го медсанбата были награждены боевыми орденами и медалями — «За высокопрофессиональную работу и отвагу».

### Глава третья

### «Ржевская мясорубка»

### Сентябрь — декабрь 1942 года

###### Расклад сил

В августе нашей армии лишь чуть-чуть не хватило сил и авиационного обеспечения, чтобы взять Ржев. Помешали нам и ливневые дожди. А когда кончились дожди, спала вода и подсохла грязь, с наших боевых позиций сняли и перебросили на другие фронты все средства прорыва: корпусную артиллерию — это тысячи и тысячи орудий, авиацию и сотни танков. Именно в это время разворачивалось грандиозное наступление немцев на Кавказ и Сталинград, туда и были брошены все резервы. Но никто не отменил жесточайший приказ Сталина: любой ценой взять Ржев. И в дальнейшем мы, оставшиеся здесь, как бы «местные войска», совсем обессиленные, оказались в шести километрах от Ржева перед сильно укрепленной обороной фашистов, вынужденные атаковать немецкие укрепления уже без артподготовки, топчась на месте и истекая кровью. У немцев был свой, не менее беспощадный приказ Гитлера: Ржев не сдавать ни при каких обстоятельствах!

И началось новое тягостное, бесперспективное, заранее обреченное на неудачу наступление средствами оставшихся истощенных стрелковых дивизий, тогда как немцы экстренно нагнали подо Ржев множество артиллерии, танков, самолетов и все время контратаковывали нас свежими превосходящими силами. С нашей стороны это было наступление ради наступления, формальное выполнение приказа Сталина захватить Ржев. С одной стороны, Жуков и Конев боялись обосновать Сталину невозможность взятия Ржева оставшимися силами; с другой стороны, они сознательно создавали у Сталина иллюзию: наступление продолжается и идет успешно. На деле это наступление превратилось в «ржевскую мясорубку». В нее наше командование методично, изо дня в день сыпало и сыпало тысячи и тысячи солдат. А результат был один: ТРУПНЫЕ ПОЛЯ, «РОЩИ СМЕРТИ», «ДОЛИНЫ СМЕРТИ», по которым мы безуспешно ползли и бежали из болот на укрепленные немцами возвышенности. Несли потери и немцы, потому что воевали мы самоотверженно, но их потери были несравнимы с нашими.

###### Красников

Я удивился, когда вместе со мной на передовой НП вызвался идти Красников. Конечно, это был лучший разведчик и от него будет больше проку, чем от любого другого, но лучше бы ему поберечься, не соваться каждый раз в такое пекло. Остальные ребята не хуже подготовлены, но уж слишком они молоды. Нам с Красниковым по двадцати одному, а они на целых два года моложе. Конечно, молодость предполагает большее пренебрежение к опасности, но тут потребуются также выдержка и опыт.

Красников не замечал, что я оберегаю его больше, чем других ребят: у него же сын растет, а мы все холостые. Когда в Коломне весной сорок второго формировалась дивизия, ни к кому родственники не приезжали, в то время это было не принято, а к Красникову приехала жена. Да не одна — с грудным ребенком. Она была моложе своего мужа и выглядела совсем юной. Но как она смотрелась с ребенком на руках! Я тогда выделил Красникову на двое суток единственную маленькую комнатку в казарме. Зашел в нее, чтобы посмотреть, как они устроились, и, извинившись, тут же вышел. Но эта идиллия крепко врезалась мне в память. Любо было смотреть, как упитанный карапуз самозабвенно сосет материнскую грудь, нещадно терзая ее своими цепкими ручонками, от напряжения или удовольствия он непрерывно подрыгивал голенькой ножкой, а увлеченная ребенком молодая мать, казалось, и о муже забыла, хотя стремилась к нему за тридевять земель. С какой нежностью рассматривала она родной комочек живого существа! А Красников сидел напротив и не сводил глаз со своего семейства. Иконописцы еще до великого Рафаэля гениально открыли и мастерски изобразили неповторимую красоту: Богоматерь с младенцем.

Я радовался за Красникова, за его сына, жену. Единственное, чего мне хотелось тогда, — это чтобы Красникова не убили на приближавшейся к нам войне. О собственной судьбе мы тогда еще не думали. И только на фронте как-то внезапно вдруг ощутили, как хотелось нам тоже иметь детей. Нам казалось, что имевшим семью умирать не так страшно — у них гарантировано продолжение рода, а с нашей смертью исчезнет все. Отцов семейств я всегда оберегал более тщательно: не хотелось, чтобы дети остались сиротами, а потому на опасные дела брал с собой неженатых.

Высокий, стройный и красивый Красников был несуетлив в движениях и в мыслях. Все делал размеренно, обдуманно и четко. Никого никогда не обижал, был терпелив и уступчив. Человек, даже случайно причинивший ему неприятность, сразу же ощущал свою вину, глядя на беззлобную улыбку разведчика. Физически Красников был силен, ловок и гибок — в этом не всякий мог с ним поспорить. Скорее всего он попросился ползти вместе со мной под пули из уважения ко мне или из-за желания лучше, чем кто другой, обеспечить мои действия. Он никогда не думал о собственной безопасности. Когда же я отказался взять его с собой, он убежденно сказал:

— Товарищ лейтенант, ну кто лучше нас с вами справится с этим делом? Они же котята, хоть и хорохорятся. Могут и глупостей натворить.

А предстояло нам по минному полю незаметно проникнуть на травянистый бугорок, откуда хорошо видны вражеские позиции, чтобы обнаружить и нанести на разведсхему огневые точки противника.

Мины натяжного действия немцы прикопали на капустном поле, что подступало к совхозу «Зеленкино». В ту осень капустные кочаны были особенно крупными, высоко поднимались на своих длинных упругих ножках, так что и днем вполне можно было проползти между ними по-пластунски — не заметят. А ползти можно было только днем, когда тоненькие проволочки, что натянуты между минами и кочанами, блестят на солнце, как паутинки осенью на лугу. Главное, не зацепиться ни за одну из растяжек и не высунуться при этом спиной из капусты.

Выпрыгивать из самой передней нашей траншеи на нейтралку, чтобы ползти к немцам, в темноту, неизвестность, — всегда страшно и тревожно: все наше, советское, остается позади, и ты теперь будешь не защищен ни с флангов, ни с тыла.

Перед рассветом мы с Красниковым покинули траншею и двинулись по нейтральной полосе к капустному полю: взовьется осветительная ракета — припадаем к земле, неподвижно лежим между трупами, а их тут видимо-невидимо. Было зябко и относительно холодно, но тихо. Лишь изредка раздавались пулеметные очереди, их огненные трассы в разных направлениях полосовали нейтралку и уходили к нашим окопам. Перед капустным полем залегли, прячась между трупами, в ожидании солнца.

Взошло солнце, и капельки росы на капустных листьях, траве и на проволочках засветились бриллиантами. К счастью, растяжки четко выделялись в траве своею прямолинейностью среди затейливых узоров стеблей и листочков, хорошо было видно, какая грядка капустного поля заминирована, а какая свободна. В конечном счете нам удалось выявить проходы в минном поле. Свободные от мин междурядья тянулись метров на двадцать, потом шли мины, зато соседний рядок был снова незаминирован. Переползая в нужном месте от рядка к рядку, мы миновали мины и в высокой траве за капустным полем устроились на целый день, так как возвращаться нам предстояло только вечером, когда солнечные лучи опять будут падать на наши затылки, высвечивая смертоносные проволочки на капустном поле.

Нанеся на разведсхему необходимые данные, мы к вечеру благополучно вернулись домой. Чернявский был сильно обрадован нашим «уловом», предвкушая, как завтра с утра расправится с вражескими огневыми точками.

Не успели мы отдохнуть, подходит ко мне Красников:

— Товарищ командир, разрешите нам с Лаптевым, как стемнеет, сползать за капустой. Надоела эта чертова каша, может, повара что-нибудь повкусней приготовят. Мы на всю батарею капусты притащим.

— Ни в коем случае, категорически запрещаю! Ты же знаешь, там все заминировано, ночью туда нельзя соваться, — сказал я строго, а про себя подумал: и про сына позабыл.

Я был уверен, что дисциплинированный Красников не нарушит моего приказа.

Совсем стемнело, в блиндаже комбата[[2]](#footnote-2) Чернявского я получал задание на завтра. К нам втиснулся разведчик Хряпов, взволнованно доложил:

— На капустном поле рвутся мины. Немцы подняли страшную стрельбу.

Я выбежал в траншею и стал искать Красникова. Но ни его, ни Лаптева нигде не было. Через несколько минут в окоп ввалился Лаптев, запыхавшийся, крайне растерянный, заикаясь, сообщил:

— Там, там… Красников, раненный. Я за плащ-накидкой, тащить его…

Внутри у меня так все и оборвалось. Боже мой, не уберег!

— Бери плащ-накидку и вместе с Усачевым быстро за Красниковым! Только осторожно подползайте, не зацепитесь опять за проволочки.

Пулеметная стрельба прекратилась, и наступила зловещая тишина. Минуты ожидания тянулись бесконечно. Наконец в темноте послышались барахтанье, тяжелое дыхание. К краю окопа, пригибаясь к земле, подполз Лаптев. Мы вылезли навстречу, и все вместе осторожно опустили плащ-накидку с Красниковым на дно окопа. Для маскировки накрыли ровик плащ-накидкой, зажгли «катюшу» — сплющенную гильзу с фитилем, и начали осторожно осматривать тело Красникова. По закрытым глазам и крепко сжатым челюстям трудно было определить, жив ли разведчик.

— Красников, — позвал я его, — ты меня слышишь?

В ответ раздался короткий сдавленный стон.

С гимнастерки и брюк нашего товарища клочьями свисали набухшие кровью грязные лохмотья. Особенно сильно кровоточила грудь. Перочинным ножом я распустил гимнастерку и нательную рубашку. Три крупные рваные раны зияли на груди. Когда, бинтуя раны Красникова, мы осторожно приподняли верхнюю часть тела, он сдержанно застонал. Наконец подняли самодельные носилки на плечи, чтобы нести Красникова в тыл. Он открыл глаза и чуть слышно промолвил:

— Не послушался я вас, товарищ лейтенант.

На огневую позицию Красникова принесли уже мертвым. Здесь же, недалеко от орудий, на бугорке, и похоронили разведчика. Кругом все населенные пункты были немцами выжжены, и отправлять тело солдата было некуда. Всех так хоронили.

Нам, кто на передовой, писать тогда было некогда и нечем, потому, наверное, и не положено нам было по уставу сообщать родным о погибших. Этим занимался штаб дивизиона. Мы же и адресов друг друга не знали, не думали долго жить. Ну а начальник штаба, вернее, писарь, формально, как и всем семьям погибших, написал, наверное: «Ваш муж погиб смертью храбрых в бою за Родину».

Только теперь, по прошествии многих лет, мы с горечью вспоминаем погибших наших товарищей и жалеем, что не знаем адресов их родных.

###### Он был еще живой…

Более полувека прошло, а я как сейчас вижу его лицо, помню выражение глаз. Было это дождливой осенью сорок второго. Сначала я подумал, что он мертвый. Может, потому, что лежал он неподвижно на спине, раскинув руки. А скорее всего потому, что там вообще никого не должно было остаться в живых. Пулеметные вихри с разных сторон пронизывали эту лощину, а мины ложились так плотно, что черные круги от их разрывов сплошь пересекали друг друга. Не было там живого места, потому и полегли почти все вместе с лейтенантом, командиром взвода.

Думали, на рассвете, маскируясь в высокой иссохшей траве, пробраться по низинке на бугорок незамеченными, чтобы занять его, да не получилось. Не помогли ни дождь, ни серая дымка. А бугорок-то был важный, с него хорошо просматривались немецкие позиции. Уже несколько раз он переходил из рук в руки и теперь вот оказался на «ничейной» земле.

За три месяца наступательных боев дивизия так истощилась, что не только деревню взять — вот этот бугорок, который и высотой-то не назовешь, брать было нечем. Позади «роща смерти», развалины деревень Галахово и Полунино, а впереди Ржев. Вернее, впереди был вот этот бугорок, на подступах к которому столько людей полегло. Сплошь и рядом трупы немецких солдат, они уже вздулись, источали тяжелый запах разложения. И среди этих трупов тут и там раскиданы были тела наших бойцов, погибших совсем недавно. Этот кочковатый островок земли, ощетинившийся густыми космами почерневшего травостоя, был самым низким местом под бугром, и каждый искал в нем спасения — всё не на виду, всё не на голом месте.

Чтобы занять этот бугорок, командир полка собрал усиленный взвод из сорока человек. Парикмахеры, сапожники, ординарцы, всякие другие люди из тылов, от молодых до сорокалетних, попали в этот взвод. Им было вдвойне страшно лезть на этот бугор: страшно, как всякому, подняться под огнем, да еще и непривычные они были к передовой позиции. Но они скрывали этот страх. Им не хотелось казаться хуже тех, кто в свое время не побоялся огня. Вина перед павшими вселяла в них немного напускную храбрость.

— Ну что ж, — подбадривали они себя, — пришел и наш черед, сколько можно в тылу кантоваться…

Мой наблюдательный пункт находился на исходной позиции взвода. Когда немцы обнаружили наших и вдоль вражеских траншей заискрились огнем десятки пулеметов, я открыл огонь из своих гаубиц. Но едва успел уничтожить несколько пулеметов, как две мины одна за другой рванули около нашего окопа. Осколками убило разведчика и тяжело ранило связиста, а меня так стукнуло головой о бруствер, что я потерял сознание. Когда пришел в себя и поднялся со дна окопа, поразила тишина. Все вижу, но голова чугунная и ничего не слышу. Кровь из носа остановилась, и я обрадовался, что не ранен. Но вот этот физический удар по затылку, который влепил мне немец, — оскорбил до слез, как будто он не снарядом, а кулаком меня ударил!

Через день я оклемался от контузии, и Чернявский приказал мне проникнуть на тот бугорок. Надо было разведать немецкую минометную батарею, которая сильно досаждала нам своим огнем. Это ее мины чуть не угодили в наш окопчик.

Как ни изощрялся я, как ни извивался ужом между кочек, как ни прятался в мокрой траве и как ни прижимался к трупам убитых, чтоб смешаться с ними, немцы все равно меня заметили. И началось! К двум пулеметам присоединился третий. Пули со страшным шумом проносились над головой, сшибали стебли травы, зло разворачивали землю, пронизывали тела убитых. Разрывы мин глушили уши, а их осколки мириадами осыпали все вокруг. Каждый злой удар пули или осколка в недвижное тело нашего убитого острой болью отдавался в моем сердце. Им, мертвым, теперь все равно и совсем не больно, но, прикрывая меня, живого, они как бы продолжали воевать, и я относился к ним как к живым.

А немец бесился. Я вжался в землю, притворился убитым и с полчаса лежал неподвижно. Огонь противника постепенно стихал. Я поднял веки и увидел ЕГО. Он лежал на спине голова к голове со мною. Дождь хлестал его по мертвому лицу, и вода тонкими струйками стекала с небритых щек. Мне захотелось прикрыть его лицо от дождя. Потянул его же плащ-накидку и чуть не вскрикнул: глаза мертвеца приоткрылись, он стал медленно водить ими вокруг. На заросшем щетиной лице не дрогнул ни один мускул, не шевельнулась ни одна морщинка, а из груди не вырвалось ни единого стона и даже вздоха. Но безучастный взгляд светился мыслью. Он был в сознании, но не владел своим телом и языком. Наверное, он часто впадал в небытие и за двое суток, проведенных здесь, среди мертвых, под непрерывным дождем и обстрелом, смирился со своей участью. Его не удивило и не обрадовало мое появление. И то, что он еще был живой, а особенно то, что он уже перестал считать себя живым, потрясло меня.

— Ты живой! — вырвалось у меня. — Сейчас я тебя вытащу отсюда.

Но он молча продолжал смотреть на меня. Потом медленно прикрыл глаза, как бы говоря: не надо меня успокаивать, я уже ничего не боюсь.

— Обязательно вытащу! — повторил я в запальчивости. Но тут вспомнил: сначала же нужно сползать на бугор. Мысленно прикинул: проникну на бугорок, разведаю немецкую батарею и на обратном пути заберу его. Если уцелеешь, лучше не загадывай, — осторожно вмешалась новая мысль. Ничего, все равно вытащу, — стояла на своем первая, конечно, надо бы его тащить немедленно, пока живой. Однако отказаться от выполнения боевой задачи я не мог ни в коем случае, даже ради спасения человека. «Ты что же, лейтенант, струсил, — скажет Чернявский, — под предлогом спасения раненого явился ни с чем! Тебя зачем посылали?! — повысит он голос. — Немецкая батарея косит наших людей, а ты…» Но, кроме меня, его никто не спасет, снова подумал я, а человек пожилой, наверняка есть дети, поди, ждут его, а он вот тут лежит. Прикрыв лицо раненого плащ-накидкой, я огляделся, чтобы лучше запомнить место, и пополз вперед. Под самым бугром немцы потеряли меня из виду и стреляли уже не прицельно.

Низкие рваные облака быстро неслись на восток, поливая дождем и без того набухшую водой землю. Между тем огонь врага прекратился, и я вдруг почувствовал, что весь промок до нитки. Только теперь стал замечать крупные капли воды на упругих травяных стеблях. Может, в другое время эти дивные бриллианты и заворожили бы меня, теперь же они вызывали невольный озноб, постоянно окатывая холодом лицо и шею.

С бугорка, на который я выполз, были хорошо видны немецкие позиции, но, сколько ни всматривался я в лощины и впадины, следов минометной батареи не находил. Снова и снова, до боли в глазах глядел в дождливую мглу… а перед глазами то и дело возникало выхлестанное дождем лицо раненого. Оно не было перекошено испугом или болью и совсем не выражало страдания. Было в нем что-то отрешенное, но спокойное и величественное…

Вдруг вижу, вдали справа ровным рядком выпрыгивают из лощинки едва заметные голубые дымки и тут же исчезают… Да это же батарея стреляет! — внезапно догадался я. Вот где спряталась! Хорошо запомнив место расположения немецких минометов, я быстро пополз назад в лощину, к своему раненому, уже представляя, как положу его на плащ-накидку, как потяну к своим и как он обрадуется, когда придет в себя, отправим его в санбат, а там он подлечится, напишет домой… Но, сколько ни ползал я по-пластунски меж кочек по мокрой траве, как ни вглядывался в лица лежавших навзничь тел — своего солдата не находил, кругом были одни трупы. Когда поднялся на колени, чтобы получше видеть, немцы заметили меня и принялись стрелять. Долго еще я ползал по лощине, но так и не нашел раненого.

Вконец обессиленный и не просто мокрый, а перепачканный с головы до ног грязью, обескураженный неудачей, я некоторое время лежал неподвижно: меня уже не пугали ни пули, ни мины, в горле ком, в сердце щемящая боль, в душе угрызения совести, а перед глазами обреченный взгляд раненого, который в эти минуты был где-то рядом и молча умирал.

Когда добрался до своих и доложил результаты разведки, Чернявский подготовил данные для стрельбы и огнем гаубиц уничтожил немецкую батарею. Пехота и мы вздохнули облегченно: обстрелы прекратились.

А я чувствовал себя привязанным к тому островку почерневшего травостоя. Упросил командира роты, он дал мне санитара, и мы ночью поползли с ним в лощину. Замирая при каждой вспышке осветительных ракет, пережидая пулеметные очереди, мы обследовали множество тел, но ни одного живого или с лицом, закрытым плащ-накидкой, не нашли.

Прошло еще два дня. Немцы пополнили потери, и их минометная батарея заработала с еще большим ожесточением.

— Сынок, — ласково обратился ко мне Чернявский, — придется тебе снова сползать на тот бугорок. Возьми-ка с собой связиста и попробуй сам расправиться с этой батареей.

Страшно было снова ползти туда, но подкупала возможность самому корректировать огонь наших гаубиц. И заодно хотелось еще раз посмотреть, куда же девался мой раненый, не мог же он сам выбраться оттуда.

Поползли со связистом в лощину, за ним разматывался телефонный кабель. Вот и кочки, и высокая трава, и трупы. Только верхушки травостоя заметно укоротились, как будто за эти дни какой-то великан пытался скосить их большой зазубренной косой. Мы спрятали катушку с кабелем в воронку и расползлись в разные стороны искать моего солдата. Начавшийся обстрел вжимал нас в землю, но мы продолжали обследовать мертвые тела. Когда метрах в двадцати от воронки снова сблизились, связист принялся уговаривать:

— Ну чего его искать, товарищ лейтенант? Сколько дней прошло, разве можно выжить в таком аду да холоде? Ну посмотрите, сколько их тут валяется.

— Эх, Проценко, а если бы это был твой отец? Конечно, ты не видел его, он для тебя чужой.

— Может, пехотинцы вынесли, — успокаивал он меня.

И надо же такому случиться, неожиданно я наткнулся на своего солдата. Лицо у него почему-то опять было открыто. Оно сделалось еще более белым и блестящим, а щетина еще больше подросла и почернела.

— Давай ко мне, — приказываю Проценко, — нашел я его, может, еще живой!

Солдат не подавал никаких признаков жизни. Глаза закрыты, лицо каменное.

— Я же говорил, что он мертвый, — убежденно сказал Проценко.

Снова мне стало не по себе, новый приступ жалости сковал сердце: никуда он не делся, и никто его не вынес, так он и погиб под этим дождем. А в душе все же теплилась надежда: а может, и живой?

Стал тормошить его за плечи, трогать за лицо. Забывшись, высоко приподнялся над ним, и тут же хлестанула длинная пулеметная очередь. Проценко рванул мою голову вниз, прижав щекой к мокрому лицу солдата. Стрельба прекратилась, и я уловил слухом едва заметное дыхание. Неужели живой, удивился, скорее всего показалось. Скажу откровенно, в тот миг мне почему-то не хотелось, чтобы он был живой. Ну, умер и умер, что поделаешь. А если он живой… — этому сопротивлялось, отрицая, все мое существо: столько мучиться, четыре дня под таким дождем, обстрелом! Эта несуразная мысль быстро промелькнула и ушла, но то, что она все-таки была, вызвало новый прилив угрызений: все это оттого, что не нашел его тогда, не вынес. Прислушиваюсь снова… и снова чуть слышно дыхание.

— Живой он! Живой! — кричу, и принялся растирать его щеки. Раненый медленно открыл глаза, поводил ими вокруг и уставился на нас.

— Ну потерпи еще немного, теперь-то уж мы наверняка тебя вытащим. Проценко, замахни кабель за его ногу, чтобы не проползти мимо на обратном пути, — приказываю, а сам думаю: вот положение, не уничтожив немецкой батареи, мы ни в коем случае не можем возвращаться к своим, а пока ее уничтожишь, или раненый умрет, или сам…

Потрясенный случившимся, я полз на бугор совершенно механически, только инстинктивно соблюдая осторожность, — мокрое, бледное лицо солдата непрестанно маячило передо мной, а мозг сверлила мысль: почему, почему я тогда не спас его?..

Новую немецкую батарею я обнаружил сравнительно быстро, невдалеке от той, что уничтожили ранее. Передал по телефону установки на открытие огня, сделал небольшой доворот и перешел на поражение. Мы выпустили более пятидесяти снарядов. Черные клубы дыма заволокли балку с немецкими минометами. К небу летели какие-то ящики, тряпки, потом взметнулись клубы огня. Батарея была уничтожена. Но странное дело, я не испытал при этом обычной радости, какая бывает, когда уничтожишь врага.

— Вызовите на НП фельдшера, мы принесем раненого, — передал я по телефону, и мы с Проценко быстро поползли назад, к раненому.

Вот и наш раненый. Когда мы перекатывали его на плащ-накидку, он застонал. Вдвоем мы быстро потянули его к своим.

В окопе уже был фельдшер. С каким волнением ждали мы результатов осмотра! И как гром, как взрыв неимоверной силы поразил нас голос фельдшера:

— Да он же мертвый.

Чувство безысходной жалости, непоправимой беды и вины, чего-то неисполненного и навсегда утерянного!.. Перехватило дыхание, сжало сердце. За свои двадцать лет я только однажды испытал подобное, в детстве, когда, проснувшись ночью, коснулся остывшего тела матери — казалось, только что я окликал ее, она была живая… И вот — проспал!..

###### У окраины Ржева

Более убогого, неуютного и крайне опасного убежища, чем то, в котором я встречал 25-й Октябрь, и представить себе невозможно. И трудно поверить, как не хотел я его покидать, когда мне приказали сделать это.

В первых числах ноября я находился далеко впереди от нашего переднего края, на нейтральной полосе, в пятидесяти метрах от немецких окопов. От противника меня отделяло железнодорожное полотно и залитый водой мелкий кустарник, из которого, согнувшись в три погибели, чтобы быть не замеченным немцами, я по утрам рассматривал окраины Ржева. На взгорке за кустарником тянулись немецкие окопы, далее — крайние домики Ржева. Во дворах, закрытых постройками от наблюдателей с нашей стороны, хозяйничали немцы — ходили, ездили на повозках, машинах. С места, где я устраивался для наблюдения, хорошо просматривались продольные и поперечные улицы, дворики города. Где-то там, за первыми домиками, стояла немецкая минометная батарея, которая не давала нам житья, постоянно обстреливала все, что появлялось на наших позициях. Ее-то я и должен разведать и уничтожить огнем батареи.

Наступает ночь, льет холодный осенний дождь, мы со связистом Рябовым лежим в мелком окопчике за невысокой насыпью железнодорожного полотна. Сверху, от дождя, окопчик покрыт плащ-палаткой, а чтобы не замочиться в воде, выступающей снизу, мы накидали на дно сушняка. Из-за воды окоп настолько мелкий, что вползти в него можно только скользя на животе по веткам, а внутри даже на локти нельзя опереться, потому что мокрая плащ-палатка поднимется и будет видна немцам из-за насыпи полотна. Немцы и подумать не могли, что у них под носом, между их минным полем и железной дорогой, какой уже день проживают двое русских, они специально день и ночь обстреливали из минометов предполье у железной дороги, чтобы не допустить проникновения наших разведчиков к своим окопам. Мины эти постоянно рвались позади нас, и мы боялись, чтобы какая-нибудь «гулящая» не залетела к нам в объятия; да еще разрывные пули, смертоносной трелью повторяя пулеметные очереди, взрывались от ударов по кустарнику, нависавшему над нашим окопчиком, — казалось, что пулемет стреляет не в полусотне метров, а у нас над головой. Ко всему, эти постоянные обстрелы рвали телефонный кабель, который связывал нас со своими, и Рябову, исправляя его, приходилось ползать по минному полю.

От своих нас отделяли восемьсот метров нейтралки, сплошь напичканной немецкими противопехотными минами. Не всякую ночь к нам могли проникнуть разведчики с термосами каши и чая, вчера ночью двое из них погибли, не донеся до нас пищу, и мы согласны были трое суток голодать, только бы не подвергать своих товарищей смертельной опасности.

Режим у нас был такой. Ночью один из нас отдыхает, другой дежурит у телефона и присматривает, чтобы не напали немцы. Каждое утро перед рассветом я, пригибаясь, перебираюсь через железнодорожное полотно, прячусь в мелком кустарничке, по колено залитом водой, и, когда светлеет, с помощью палочки перископа, высунутой из кустарника, разглядываю окраины Ржева. Болотная вода чуть не заливает в сапоги, и стоять приходится согнувшись — присесть тут не на что, а распрямиться нельзя, так как голова и плечи окажутся над кустарником, немцы сразу заметят. В такой неудобной позе мне надо простоять часа два, пока не перебью своими снарядами все, что увижу в расположении врага. А уж потом, хочешь не хочешь, придется на виду у немцев перескакивать через железнодорожное полотно в свой окопчик.

И однажды я все-таки разглядел, как немцы снимают чехлы с минометов, чтобы стрелять по нашим, а другие солдаты разгружают с машин ящики с боеприпасами. У меня чуть сердце не выскочило от радости! Вот они, гады, где расположились! Сейчас стрелять начнут! Чтобы такое увидеть, не жалко никаких мук и лишений! Громким шепотом через насыпь передаю команды Рябову, а он повторяет их в телефонную трубку. И вот уже летят наши снаряды и рвутся среди минометов и машин. Все окутывается пылью и дымом. Минометная батарея уничтожена вместе с расчетами. На этот раз она не успела сделать ни одного выстрела.

Какой уже день я уничтожал на окраине Ржева машины, повозки, солдат, постройки, где прятался противник. Теперь фашисты не разгуливали там по-хозяйски, как прежде, а проскакивали, как крысы.

Примерно на третий день немцы вычислили меня и стали искать. Усилили наблюдение за железнодорожным полотном. В мелком болотном кустарничке я не мог просидеть на корточках дотемна и вынужден был возвращаться за насыпь в свое убежище. Справа от нас в двухстах метрах стояла железнодорожная будка — та самая будка, которая уже около месяца не давала возможности дивизии ворваться на окраины Ржева. Из ее каменных амбразур во все стороны неслись пулеметные вихри, и никакими снарядами и атаками мы не могли ее взять. Немецким пулеметчикам, располагавшимся в этой будке, наверное, и поручили выследить меня. Прямая, как стрела, дорога хорошо просматривалась из будки, а мокрое, будто вылизанное языком, полотно насыпи не скрывало ничего. Однажды, как только я перемахнул рельсы, тут же сзади меня пронеслась пулеметная очередь. Пули зазвенели по рельсам, подняли вихри щепы от шпал и со злым свистом разлетелись в разные стороны. Теперь я знал, что немцы караулят меня. Каждое мое возвращение домой превращалось в игру, кто кого обманет.

В очередной раз сижу под насыпью в кустиках и думаю: немец у пулемета с рассвета караулит меня, притомился, бедный, злится, наверное, что я долго не возвращаюсь, а сейчас, наверное, снял с пулемета руки, закурил — значит, пора! Собравшись с силами, я метнулся через рельсы. Тут же секанула пулеметная очередь. Но поздно — я уже за насыпью! Опять прозевал немец!

Чтобы немцы не догадались о существовании нашей берлоги, а думали, что я каждый раз прихожу сюда со своей передовой, железнодорожную линию я пересекал в разных местах.

Вот уже в десятый раз я возвращался с «работы» из-за насыпи к себе и думал: добром для меня эта игра не кончится — подстрелят, а то и засаду устроят. Дома заползаю на сырые палки над водой. Весь мокрый, голодный. Рябов сразу заснул. Но один из нас должен всегда быть у телефона, а сегодня еще и праздник, и, нацепив на ухо петлю из обрывка бинта, привязанную к трубке, я слушаю, что там творится у нас, в дивизионе, в День 7 ноября. А там веселые голоса, праздные разговоры про довоенные застолья, про женщин. Подвыпили ребята. У них там, в блиндажах, тепло и сухо, вот и гуляют. Внезапно в ухо врывается громкий, властный голос командира дивизиона Гордиенко:

— Михин, — обращается ко мне, зная, что я наверняка у телефона, — поздравляю тоби!

— Служу Советскому Союзу!

— А что не пытаешь, с чим поздравляю?

— С праздником Великого Октября, товарищ майор, с чем же еще можно поздравлять сегодня?

— Ни-и, — самоуверенно-протяжно, понижая голос и отрыгивая, говорит Гордиенко, — назначаю тоби начальником разведки дивизиона! Поздравляю з повышением!

Как удар молнии поразили меня его слова! Назначает на место погибшего лейтенанта и, конечно, пошлет с новой группой за «языком»! На верную погибель! Дивизия уже в течение месяца не может взять «языка», специально обученные полковые и дивизионные разведчики никак не могут добыть пленного, хотя погибло много людей. Все поиски оказались безуспешными — через немецкую оборону проникнуть было невозможно, немцы сами по ночам рыскают у наших окопов. Нужно было кропотливо искать иные способы поиска. Но Гордиенко, проявляя инициативу, вызвался с помощью своих, не приспособленных к этому виду деятельности артиллерийских разведчиков привести пленного немца. Конечно, брать «языка» — не дело артиллеристов. Но Гордиенко на то и Гордиенко:

— Кто? Я не возьму?! — самодовольно бросил начальству.

Ага, никто не может взять «языка», а он возьмет! Чужими руками, конечно, а вернее, чужими жизнями! Вот и послал неделю назад к немцам за «языком» шестерых своих разведчиков и погубил всех до одного. Но и это не остановило его! Этот мог послать и вторую группу, а то и третью — лишь бы выхвалиться и выслужиться перед начальством! И точно, послал вторую группу, причем на том же самом участке, повторяя уже использованные примитивные способы. Безрезультатно погубил одну за другой две группы разведчиков вместе с начальником разведки дивизиона! А теперь назначает меня на его место! Меня, командира взвода управления батареи, определяет командовать — разведкой! Все это за секунду пронеслось в голове, а в трубке уже звучали последние слова Гордиенко:

— Так что давай! Сегодня ночью чтоб был у меня!

Вот почему я так не хотел покидать это гнилое и опасное место. Но когда я сказал о возвращении своему телефонисту, он обрадовался: наконец-то можно вернуться к своим. Для меня же это повышение по должности и уход из-под носа у немцев были равносильны смертному приговору. Пусть я тут у черта на рогах, но все же — по эту сторону от немцев. А за «языком» надо лезть за их передний край, да и обратно вернешься ли…

###### Кому на фронте жить хорошо

Пришел я после возвращения в дивизион принимать взвод разведки и поразился. Ребята не умываются, не бреются, валяются на лежаках, задрав вверх ноги, и молчат. Они так переживали гибель своих товарищей, что на всех напала полная апатия. Подумал, хорошо еще, что не знают они о приказе Гордиенко готовить их к поиску, сам я пока и не заикался, что скоро предстоит им повторить роковой путь своих погибших товарищей.

— Ребята, — обращаюсь к ним, — русские солдаты испокон веков перед боем брились, одевались в чистое белье, чтобы умереть с честью, а вы даже умываться перестали. Неужели в жалком виде умереть легче?

Много мне пришлось потрудиться, чтобы войти в контакт с разведчиками. Первым делом сходил с ними в баню. Баня — это четыре столба, обтянутые с боков плащ-накидкой, сверху дырявая бочка, одни льют воду, а другие моются. После бани побрились, привели в порядок оружие. В дальнейшем я все время был с ними вместе: дежурил, спал, ел, рыл землю. Постепенно разведчики ко мне привыкли, стали уважительно относиться, доверять и приняли меня как командира. Однажды мы проанализировали ошибки погибшей группы и исподволь стали разрабатывать план нового поиска.

Неожиданно занятия наши прервались. В конце августа меня приняли кандидатом в партию, и тут вдруг, когда я готовил разведчиков к поиску, вызвали в политотдел дивизии получать кандидатскую карточку.

Ночью я пробрался в тылы полка и оттуда в тылы дивизии. Располагались тылы километрах в пятнадцати от нас, в районе деревни Дешевки. Немцы сожгли подо Ржевом все деревни, поэтому штабные и тыловые люди жили, как и мы, в землянках. Только находились их землянки за километры от передовой. Здесь не стреляли и можно было ходить в полный рост. Да и землянки у них выше человеческого роста, как комнаты, и с дверями, а сверху защищены накатами из толстых бревен. Да уж, не то что у нас: конура, прикрытая сверху какою-нибудь жестянкой от крыла самолета, чтобы земля не сыпалась, а дверью, как правило, служит плащ-накидка; протиснешься туда из траншеи, как сурок, и сидишь согнувшись — но радости нет конца! Ни дождя тебе, ни ветра, да и пули не залетают! Только вот мины, проклятые, попадают иногда сверху, но это редко бывает, кому не повезет.

По наивности я думал, что меня, лейтенанта с передовой, встретят и сразу вручат документ. Но часовой сказал: «Жди утра». Было прохладно, я устал, а отдохнуть негде, в блиндажи не пускают. Хорошо, что я сухой был. Присел на пригорке. Вскоре взошло солнце, теплее как-то стало.

Все в тылу показалось мне странным. Первое, что поразило в жизни тыловиков, — время подъема. Уже и солнце взошло, а они всё спят. У нас на передовой с рассветом уже стрельба идет, все люди на ногах, бывает, и всю ночь в мокрой траншее протопчешься. А тут спят себе часов до восьми, поднимаются, когда солнце припечет. Вот и приходится сидеть дожидаться начала их рабочего дня.

Часовой, пока сидел возле него, подружился со мной. Высокий, гибкий, чернявый быстроглазый парень, мне ровесник. Взял бы его к себе в разведчики, но он испорчен: хитроват и плутоват. Интересуется, как там у нас, на передовой, сетует на жизнь свою. Оказывается, у них тоже не всем поровну, а смотря чей ты ординарец: один имеет доступ на продовольственный и вещевой склады, другой за булочками в полевую пекарню наведывается, а то и в санбат за марочным вином, которым положено раненых лечить, а его начальники попивают; иных же большей частью за бельем посылают, в банно-прачечный отряд.

— Но и там поживиться можно, — подмигивает мой новый знакомый, — там же одни девушки работают.

Наконец из блиндажей прокуратуры, политотдела, редакции дивизионной газеты и всяких других служб один по одному начали выходить заспанные, в нижнем белье люди. Зевая, протирали кулаками глаза, взглядывали из-под ладони на солнце и медленно брели к хорошо оборудованным туалетам, тоже на всякий случай прикрытым сверху мощным накатом. Жмурясь на яркий свет, так же медленно возвращались в свои блиндажи. Нет, у нас на передовой так не походишь. Помню, впервые, когда еще не закрепились, не было сплошных траншей, тем более отхожих мест, только человек наверх сунется по нужде, а немец не дремлет: трах — и нет солдата. Печально было видеть, как гибнут люди в таких позах. И ведь находились шутники, зубоскалили и по этому поводу, не от вредности, конечно, — больше, чтоб себя подбодрить.

Люди в исподнем неспешно, со смаком умывались, ординарцы обихаживали начальство: одни внимательно, не отрываясь, сливали воду, другие занимались одеждой: чистили ее и любовно, двумя пальчиками, снимали пылинки, кто-то драил сапоги, другие уже несли в блиндажи котелки с завтраком. Спросил у одного в кальсонах:

— Когда кандидатские карточки будут выдавать?

— У нас рабочий день с девяти, — чинно ответил он.

Я возвратился на свой бугорок. Ко мне подошли еще два офицера, тоже пришли с передовой — получать партбилеты.

Ждем. Вдруг в одном большом блиндаже, покрытом шестью накатами бревен, послышался дружный хохот. Я не удержался, пошел узнать, над чем гогочут, и заодно поразмяться. Заглянул в открытую дверь блиндажа. На низких нарах ночевало вповалку человек семь-восемь, старший из них, редактор дивизионной газеты, ревниво оберегал свою фронтовую подругу, тоже военнослужащую, от остальных: на ночь отделял ее от соседей узкой длинной фанерой. Под утро над ним пошутили: переставили фанерку между ним и подругой, а сосед, находившийся в «заговоре» с остальными, когда проснулся ревнивец, сделал вид, что обнимает спящую женщину. «Полевой муж», не открывая глаз, протянул руку к подруге и, как ужаленный, отдернулся, наткнувшись на фанерку, отшвырнул преграду, а там… Вскочил, разразился шумной бранью — тут-то и поднялся хохот. Да, не без зависти подумал я, ничего себе, весело живут на фронте ребята. Без особого риска, шутя и балуясь. У нас так не побалуешь, спим одетые, в сапогах, только ремень на две дырки ослабишь, а чуть что, с оружием выскакиваешь в траншею. Одно только всюду общее — конечно, и мы балагурим, без этого не проживешь.

Только часов в двенадцать мы получили свои документы. Никто нас не покормил, не спросил, как мы воюем. Лишь часовой интересовался, и то только потому, что начальство пригрозило отправить его в пехоту. Майор же из политотдела театрально пожал мне руку, похлопал по плечу и сказал:

— Бей фашистов, воюй как коммунист.

Шел я к себе на батарею и думал: лучше бы в траншее вручили, как в газетах пишут, не отрывали от дела.

###### За «языком» под Ржевом

19 ноября выпал большой снег. В ночь на 20-е мы облачились в белые маскхалаты, взяли оружие и отправились в первую траншею: пришло время идти в тыл к немцам за «языком».

Командир располагавшейся там роты Барков встретил нас приветливо, с искренним сочувствием и повышенным вниманием, как смертников, понимая, что идем мы на верную погибель — из всех групп, которые он ранее провожал к немцам, не вернулась ни одна. Пообещал не спать, пока мы не вернемся. После позднего ужина пехотинцы отправились в блиндажики на отдых. Наша группа обеспечения осталась в траншее с дежурными пулеметчиками, а мы выпрыгнули из окопов, как в небытие, и поползли к немцам. Я впереди, остальные пятеро по моему следу, каждый задний постоянно касается валенка впереди ползущего, в случае чего я молча, движением ноги, подам команды разведчикам.

Хлынул сильный дождь. Наши белоснежные халаты быстро превратились в грязные рубища. Внезапно немцы перестали пускать осветительные ракеты. Дождь, темнота обрадовали нас. Ползем дальше. И вдруг вижу: впереди что-то колышется. И рядом тоже. И слева… справа… и в стороне… Да это же немцы! Ползут нам навстречу! Растянулись цепью, их уймища — не менее сотни! Целая рота решила втихую ворваться в наши окопы! Даю сигнал ногой сзади ползущему, и вся группа разом поворачивает назад. Быстро ползем к своим. Вваливаемся в траншею. Ротный недоумевает:

— Почему так быстро, где «язык»?

— Какой «язык»?! Туча немцев ползет к траншее, поднимай роту!

Полминуты — и все на ногах. Немцев еще не видно. Они ползут осторожно, рассчитывают на внезапность, считая, что по такой погоде в траншее никого нет, русские все в блиндажах спят.

— Лейтенант, — просит меня Барков, — возьми на себя правый отсек траншеи, а то у меня людей маловато. — А своим приказывает: — Не стрелять! Подпустить к самой траншее.

Дождь все усиливался, потоки воды и мокрого снега уже по колено наводнили траншею, бруствер и стенки окопов осклизли, под ногами месиво. Пока расставлял разведчиков по местам — немцы уж тут как тут! Над бруствером прямо передо мной внезапно возникает огромная фигура немца! Даю очередь из автомата. Он замертво падает в окоп. Но разом поднимаются еще двое. Стреляю в первого, левого, он падает. Правый с растопыренными руками, целясь мне в шею, прыгает на меня, я увертываюсь влево, и он не успевает схватить меня за горло, зато я успеваю преднамеренно опустить плечо, его правая рука с автоматом скользит по моему мокрому в грязи плечу, он, потеряв равновесие, сваливается в окоп, для верности бью его прикладом по затылку, и он скрывается в воде. Смотрю в растерянности на пустой бруствер и слышу крик моих разведчиков:

— Наши все целы, только двое легко ранены!

— Ну и счастливый ты, лейтенант! — восклицает и командир роты.

— Конечно, счастливый, ни одного человека не потерял!

— Да не в том дело! Мы пленных взяли!

Только теперь я вспомнил, зачем мы сюда пришли. Обрадованный удачным исходом боя, я совсем забыл про «языка».

Воистину счастливый случай! Не будь вылазки немцев и не заметь мы их первыми, вся наша группа погибла бы около их окопов.

Бегу к ротному. Разведчики бегут следом за мной, они тоже ухитрились перебить всех немцев, которые атаковали их участок траншеи. Вся траншея завалена немецкими трупами, но воды набралось столько, что она покрыла тела целиком, только кое-где торчат из воды руки и ноги. Понесла потери и рота Баркова, наши убитые пехотинцы тоже под водой лежат. Идти по траншее и наступать на что-то скользкое и мягкое очень неприятно. Но, что поделаешь, иного пути нет.

Барков передал нам восемь пленных. Мы отвели их в штаб дивизиона. Гордиенко был несказанно рад: сдержал слово, данное начальству! Не знаю, как уж он представил начальству наш поиск, но по его результатам орденом Красной Звезды были награждены только сам Гордиенко — за поимку пленных и начальник разведки полка Копецкий, этот получил медаль «За боевые заслуги» — якобы за организацию поиска.

Мы же остались довольны тем, что не потеряли ни одного человека. Для солдат и командира это выше любой награды.

### Глава четвертая

### «Я убит подо Ржевом…»

###### Ржевское великое противостояние

За три года на фронте мне пришлось участвовать во многих боях, но снова и снова мысль и боль воспоминаний возвращают меня к ржевским боям. Страшно вспомнить, сколько там людей полегло! Ржевская битва — это была бойня, и Ржев был центром этой бойни. Такого я не видал потом за всю войну. А для меня, как и для многих моих однополчан, это была еще и суровая школа войны.

Мой рассказ о боях на Ржевской земле лишь чуть-чуть обнажает подводную часть айсберга ржевской трагедии. Это лишь то, что видел и пережил я сам. Однако мою «окопную» правду подтверждают не только историки и живые свидетели-ветераны, уцелевшие в тех боях, но и книга немецкого генерала Хорста Гроссмана «Ржев — краеугольный камень Восточного фронта» — название книги говорит само за себя. По стратегической важности, по продолжительности борьбы, по напряженности усилий, по удовлетворенности своей гордыни стойкостью солдат вермахта и мнимым полководческим талантом немецкого генералитета, которому удавалось парировать все наши маневры, Ржевская битва памятна и для немцев.

Но советские солдаты превосходили своим мужеством немецкую стойкость. Немцы удерживали город за счет выгодности своих позиций, превосходства в воздухе, вооружении и материальном обеспечении: они лучше нашего были вооружены, занимали заранее оборудованные позиции на высотах, а мы под бомбами и снарядами лезли на их пулеметы снизу, из болот. Горько и обидно было нашим солдатам терпеть неуспехи по не зависящим от них причинам, страдать от необеспеченности в вооружении, от неопытности командования, компенсировать все эти нехватки своими жилами, нервами, желудками, муками, кровью и жизнями. Немцы ведь не делали нам скидок на нашу бедность.

Более шестидесяти лет прошло с окончания Ржевской битвы. Но, несмотря на ее грандиозность, не уступающую по масштабам ни Сталинградской, ни Курской битвам, о ней мало кто знает. Разве что ветеран войны, побывавший в той мясорубке, никогда ее не забудет. Да Александр Твардовский не мог не вспомнить о ней после войны в своем стихотворении «Я убит подо Ржевом». Больше никто! — ни полководцы, ни власти, ни военные историки, ни писатели, ни даже журналисты — никто! не обмолвился о ней КАК О БИТВЕ ни словом.

Наши потери убитыми и ранеными в Ржевской битве приближались К ДВУМ С ПОЛОВИНОЙ МИЛЛИОНАМ ЧЕЛОВЕК. Это превышает суммарные потери наших войск в Сталинградской и Курской битвах, вместе взятых.

Но Ржев так и не был взят.

А потому официально до сих пор ВЕЛИЧАЙШЕЕ РЖЕВСКОЕ СРАЖЕНИЕ не называется БИТВОЙ, числится в ранге «боев местного значения». Спросите любого из трех встреченных фронтовиков, и вы убедитесь, что один из них воевал подо Ржевом. Сколько же побывало там наших войск!

Возникает вопрос: откуда это умаление и замалчивание? Ведь на самом-то деле В ИСТОРИИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ НЕ БЫЛО БОЛЕЕ ГРАНДИОЗНОГО И БОЛЕЕ МАСШТАБНОГО СРАЖЕНИЯ, ЧЕМ РЖЕВСКАЯ БИТВА — ни по количеству задействованных войск — ОКОЛО ДЕСЯТИ МИЛЛИОНОВ С ОБЕИХ СТОРОН, ни по охватываемой территории — ВОСЕМЬ ОБЛАСТЕЙ, ни по длительности боев — 17 МЕСЯЦЕВ, ни по КОЛИЧЕСТВУ ОПЕРАЦИЙ и изощренности маневров, ни по хитроумности конфигураций обходов, обводов, «котлов» и контрударов, да и по СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ ДЛЯ ОБЕИХ ВОЮЮЩИХ СТОРОН эта битва была КЛЮЧЕВОЙ.

В ходе Ржевской битвы с нашей стороны было проведено невиданное для одного сражения количество войсковых операций: шесть наступательных и четыре оборонительные. В боях было задействовано 5 ФРОНТОВ, более 30 АРМИЙ и КОРПУСОВ. В сражениях принимало участие невиданное количество ТАНКОВ — БОЛЕЕ ПОЛУТОРА ТЫСЯЧ единиц. О масштабности боев говорят и наши потери: 2 060 000 человек. Это без учета потерь 39-й армии, которая в июле 1942 года была окружена юго-западнее Ржева, и немцы только в плен взяли 50 100 человек. И без учета потерь Калининского и Западного фронтов в боях на Ржевском и Сычевском направлениях в ноябре — декабре сорок второго. Каковы же были суммарные потери за 17 месяцев ржевского противостояния, никто не считал. Потому что бои шли днем и ночью более года, части постоянно пополнялись новыми солдатами и офицерами. В периоды самых ожесточенных боев дивизии теряли в день по 300–350 человек убитыми и по 700–800 ранеными. Окруженные немцами в болотистых лесах, удаленных от человеческого жилья, наши армии почти полностью уничтожались или погибали от голода. Потому-то до сих пор добровольческие поисковые отряды студентов и школьников возами вывозят и предают земле кости погибших в болотах солдат.

Обвод Ржевского выступа по дуге фронта составлял 530 километров. По глубине он заходил за Вязьму до 160 километров. А от Москвы отстоял всего на 150 километров. Важность этого плацдарма осознавали и Сталин, и Гитлер, а потому первый стремился во что бы то ни стало ликвидировать его, второй — изо всех сил удержать. О постоянном интересе, который проявляли и Гитлер, и Сталин к боям за Ржев, говорят и такие факты. Гитлеру при уходе его войск из Ржева хотелось обязательно услышать по телефону взрыв моста через Волгу. А Сталин, никогда не выезжавший на фронт, не удержался, чтобы 4 августа 1943 года, полгода спустя после боев, посетить-таки Ржев. Именно там он подписал приказ о первом салюте в честь освобождения Орла и Белгорода.

Руководили сражениями подо Ржевом с нашей стороны выдающиеся впоследствии полководцы: маршалы Сталин, Жуков, Конев, Василевский, Соколовский.

Но Ржев так и не был взят.

Вся наша трагедия состояла в том, что мы наступали, заходили обходами по болотистым лесам, по поймам многочисленных речек и речушек, по берегам бесчисленных озер, по холмам и грядам Валдайской и Смоленской возвышенностей, под нескончаемыми бомбежками вражеской авиации, часто оказываясь без продуктов и боеприпасов в безлюдных болотах и безо всякой надежды на помощь своих, а немцы перекрывали нам сообщения с тылом и держали свою оборону по сухим, возвышавшимся над нашими позициями местам, в хорошо оборудованных дзотах и блиндажах. Наши солдаты и офицеры сражались самоотверженно и героически подо Ржевом и Вязьмой, Сычевкой и Погорелым Городищем, у Оленина и Белого. Самое обидное для солдата на войне — это когда при всей своей смелости, выносливости, смекалке, преданности делу, самоотверженности он не может одолеть сытого, наглого, хорошо вооруженного, занимающего более выгодную позицию противника — по не зависящим от него причинам: из-за нехватки оружия, боеприпасов, продовольствия, авиационного обеспечения, удаленности тылов. Не виноваты были наши солдаты и офицеры в том, что понукаемые Сталиным полководцы проводили войсковые операции, не обеспеченные материально, и в первую очередь с воздуха, хотя по замыслу они были дерзки и замечательны.

Как только не называли Ржев немцы: «ключ к Москве», «пистолет, направленный в грудь Москвы», «плацдарм для прыжка на Москву». И сражались они подо Ржевом остервенело. Если у нас, по примеру Гитлера, вышел приказ Сталина № 227 «Ни шагу назад!», подкрепленный заградотрядами, которые лежали сзади атакующих с пулеметами и стреляли по отступавшим, то немцы расправлялись со своими отступавшими не менее жестоко. Кстати, наши солдаты и офицеры, устремленные в порыве наступлений, не замечали сзади себя никаких заградотрядов.

Немцы до сих пор скрывают свои потери подо Ржевом, хотя у них они тоже были очень высоки: в батальонах из 300 солдат оставалось до 90, а то и по 20 человек. Наши потери при атаке взломанной немецкой обороны в Ржевско-Сычевской операции были невелики. Они начались после проволочки из-за дождей, когда у немцев схлынул испуг и они снова крепко засели уже на внутренних, хорошо оборудованных рубежах.

Мы наступали на Ржев по трупным полям. В ходе ржевских боев появилось много «долин смерти» и «рощ смерти». Не побывавшему там трудно вообразить, что такое смердящее под летним солнцем месиво, состоящее из покрытых червями тысяч человеческих тел.

Лето, жара, безветрие, а впереди — вот такая «долина смерти». Она хорошо просматривается и простреливается немцами. Ни миновать, ни обойти ее нет никакой возможности: по ней проложен телефонный кабель — он перебит, и его во что бы то ни стало надо быстро соединить. Ползешь по трупам, а они навалены в три слоя, распухли, кишат червями, испускают тошнотворный сладковатый запах разложения человеческих тел. Этот смрад неподвижно висит над «долиной». Разрыв снаряда загоняет тебя под трупы, почва содрогается, трупы сваливаются на тебя, осыпая червями, в лицо бьет фонтан тлетворной вони. Но вот пролетели осколки, ты вскакиваешь, отряхиваешься и снова — вперед.

Или осенью, когда уже холодно, идут дожди, в окопах воды по колено, их стенки осклизли, ночью внезапно атакуют немцы, прыгают в окоп. Завязывается рукопашная. Если ты уцелел, снова смотри в оба, бей, стреляй, маневрируй, топчись на лежащих под водой трупах. А они мягкие, скользкие, наступать на них противно и прискорбно.

А каково солдату в пятый раз подниматься в атаку на пулемет! Перепрыгивать через своих же убитых и раненых, которые пали здесь в предыдущих атаках. Каждую секунду ждать знакомого толчка в грудь или ногу. Мы бились за каждую немецкую траншею, расстояние между которыми было 100–200 метров, а то и на бросок гранаты. Траншеи переходили из рук в руки по нескольку раз в день. Часто полтраншеи занимали немцы, а другую половину мы. Досаждали друг другу всем, чем только могли. Мешали приему пищи: навязывали бой и отнимали у немцев обед. Назло врагу горланили песни. На лету ловили брошенные немцами гранаты и тут же перекидывали их обратно к хозяевам.

Об ожесточенности боев за Ржев говорит такой факт. Только в одной деревне Полунино, которая стоит в четырех километрах севернее Ржева, в братской могиле захоронено ТРИНАДЦАТЬ ТЫСЯЧ СОВЕТСКИХ ВОИНОВ из СЕМИДЕСЯТИ ТРЕХ ДИВИЗИЙ И БРИГАД, воевавших здесь. Их тела собраны с окрестных полей. Над могилой возвышается обелиск. На нем высечено: «Здесь похоронены солдаты, сержанты и офицеры 2, 5, 10, 16, 20, 24, 32, 37, 43, 52, 78, 107, 111, 114, 143, 178, 182, 183, 210, 215, 220, 243, 246, 247, 248, 250, 348, 357, 359, 369, 371, 375, 379, 413, 415, 632, 879, 966-й стрелковых дивизий, 33-й отдельной бронетанковой дивизии, 4, 35, 36, 119, 130, 132, 133, 136, 153, 156, 238-й стрелковых бригад, 18, 25, 28, 35, 38, 55, 85, 115, 119, 144, 153, 238, 249, 255, 270, 298, 427, 438, 472, 492, 829-й танковых бригад, 91-й Гв. мин. бригады, 438-й отд. саперной бригады».

В каждой дивизии насчитывалось двенадцать, а в бригаде — восемь тысяч воинов. Правда, непосредственно в бою от каждой дивизии одновременно участвовало не более двух тысяч, остальные их обслуживали. Можно посчитать, сколько же наших солдат участвовало в боях только в районе деревни Полунино!

Очень правдивую оценку Ржевской военной эпопеи дал Маршал Советского Союза Виктор Куликов. Он участник Ржевской битвы, водил в атаку на немцев взвод и роту. В 1998 году в газете «Ржевские новости» за 27 февраля маршал опубликовал статью «Между Ржевом и Вязьмой», в которой очень критично рассказал о Ржевской военной эпопее. Приведенными им в статье цифрами воспользовались и мы. К сожалению, как отмечает маршал Куликов, неудачно было организовано командованием Калининского и Западного фронтов и преследование уходившего из Ржева противника, что привело к потере 138 500 человек, в том числе 38 800 убитыми. Зачем было бросать вдогонку немцам эти 140 тысяч жертв?

Однако, не будь «ржевской академии» — этой кровавой школы неудач, едва ли были бы возможны грядущие успехи наших полководцев под Сталинградом, Курском и вплоть до Берлина.

В результате ликвидации Ржевско-Вяземского выступа была окончательно снята угроза Москве. Но то, что Ржев не был взят нами ни в январе, как приказывал Сталин, ни в августе сорок второго, а был оставлен немцами лишь в марте сорок третьего, не делало чести нашему командованию. Потому так стыдливо умалчивали о ржевских боях воевавшие там полководцы. А то, что это замалчивание перечеркнуло героические усилия, нечеловеческие испытания, мужество и самопожертвование миллионов советских солдат, воевавших подо Ржевом, то, что это явилось предательством и надругательством над памятью почти миллиона погибших, останки которых большей частью до сих пор еще не захоронены, — это, выходит, не так уж и важно.

Битва за Ржев — это самая трагическая, самая кровопролитная и самая неудачная из всех битв, проведенных нашей армией. А у нас не принято писать о неудачах. Но ведь длительная война не может состоять из одних только побед. Разве трагедия миллионов не важнее сомнительной чести даже самого главного мундира?! Да и патриотическое воспитание не пострадает от показа героизма и трагедии солдат, положивших свои головы ради победы в неудавшихся войсковых операциях.

И вот мы молчим о Ржевской битве. Немцы же кичатся победами, называя Ржев «краеугольным камнем Восточного фронта». Но это был не их успех — а наш неуспех, истоки которого кроются в трагическом начале войны. Стратегический просчет Сталина в начале войны позволил Гитлеру БЕЗ ОСОБОЙ ДОБЛЕСТИ достичь не только Ржева, но и Москвы. Ну а владея превосходным оборонительным рубежом Вязьма — Ржев, немцы, под личным присмотром Гитлера, упорно оборонялись. Если бы не поспешность и нетерпение Сталина да если бы вместо шести необеспеченных наступательных операций, в каждой из которых для победы не хватало всего-то чуть-чуть, были бы проведены одна-две сокрушительные операции, не было бы ржевской трагедии.

Когда в Ржеве отмечали 55-летие освобождения города, то, как и на празднование 50-летия, никто из высоких гостей из Москвы на эти торжества не приехал. Повторилось это небрежение и на 60-летии торжеств. Ни словом не обмолвились о ржевских торжествах ни Центральное телевидение, ни радио, ни газеты. Значит, цель — замалчивать, а вернее, забыть эту ВЕЛИЧАЙШУЮ ТРАГЕДИЮ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ — достигнута.

Однако пусть молчат лицемерные власти, прислуживающие им историки, твердокаменные военные, изощренные в витиеватостях писатели, но почему не заметили ржевских празднеств вездесущие журналисты, не совсем ясно. Скорее всего по молодости лет не осведомлены они по этой части, не знают своей истории.

Ныне уже многие авторы — и не только во Ржеве, Твери и Москве — говорят о Ржевском сражении как о БИТВЕ. И я горжусь, что первым в 1993–1994 годах ввел в научный оборот понятие «РЖЕВСКАЯ БИТВА».[[3]](#footnote-3)

###### \* \* \*

Ржевско-Сычевской операции 30 июля — 23 августа 1942 года стала первым испытанием боем для нашей 52-й стрелковой дивизии. Наступали мы на Ржев с севера, прямо в лоб. А затем вместе со 2-й и 16-й Гвардейскими дивизиями брали Полунино. С августа по декабрь, за пять месяцев наступательно-оборонительных боев дивизия ТРИЖДЫ обновила свой боевой состав, потеряв до 4–5 тысяч бойцов убитыми и 13 тысяч ранеными. Ценой неимоверных усилий, крови, потерь мы смогли продвинуться всего на шесть километров и выйти на северную окраину Ржева. Таков итог полугодового изнурительного противостояния.

И все же в результате Ржевско-Сычевской операции наши войска продвинулись местами до 35 километров, освободили много населенных пунктов. Мы обескровили три танковые и несколько пехотных дивизий врага, уже приготовленных для отправки в Сталинград. Дополнительно сковали еще 12 вражеских дивизий. Более того, немцы вынуждены были оттянуть часть своих сил из-под Сталинграда на наш Калининский фронт. А главное наше достижение в этих боях состояло в том, что немецкое командование, всполошившись нашей активностью подо Ржевом, отвлеклось от Сталинграда и просмотрело сосредоточение советских войск для наступления под Сталинградом.

Но Ржев-то мы так и не взяли.

В конце концов 2 марта 1943 года немцы сами оставили город. Решающей причиной бегства немцев из Ржева было их поражение под Сталинградом. К тому же войска Калининского и Западного фронтов продвинулись вокруг города так далеко, что оставаться в нем стало бессмысленно.

Но это произойдет уже без нас.

Под Новый, 1943 год нашу дивизию вывели из-подо Ржева.

## Часть вторая

## От Сталинграда до западной границы

## Январь 1943-го — август 1944 года

### Глава пятая

### Операция «Скачок»

### Январь — февраль 1943 года

###### От Старобельска до Донбасса

Еще сопротивлялись окруженные в Сталинграде немецкие войска, а в январе сорок третьего десятью эшелонами нашу дивизию уже перебросили под Сталинград, чтобы наступать на запад. За полмесяца пути по железной дороге мы несколько оправились от кошмарных боев, пришли в себя и отдохнули. Настроение у нас было отличное: за плечами изрядный боевой опыт, и ехали мы наступать. Правда, несмотря на полученное пополнение, дивизия вместо 12 тысяч имела только 6-тысячный состав. 19 января привезли нас на станцию Калач-Воронежский. Разгрузили, посадили в кузова крытых машин тех, кто непосредственно воюет, — пехоту, артиллерию — и помчали в Старобельск, на границу с Украиной — вот куда уже отступили немцы от Сталинграда! Пока доехали до Старобельска, а прибыли мы 27 января, крепкий мороз и сильный ветер подморозили нас в машинах основательно.

После разгрома немцев под Сталинградом наше Верховное командование посчитало, что немцы отводят свои войска из Донбасса за Днепр. Была разработана операция «Скачок». Планировалось на плечах отступавших немцев прорваться в Донбасс, отрезать находящуюся там группировку немецких войск, чтобы в дальнейшем, окружив и уничтожив ее, выйти к Днепру. В это время другие войска нашего Юго-Западного фронта уже достигли Днепропетровска и Запорожья, готовясь форсировать Днепр.

29 января 1943 года под командованием генерала Ватутина началась наступательная операция по освобождению Донбасса.

52-я дивизия в составе Подвижной группы Юго-Западного фронта под командованием генерала М. М. Попова, включавшей четыре танковые бригады и три стрелковые дивизии, была направлена через Старобельск и Артемовск на Мариуполь.

Однако Верховное командование ошиблось. На самом деле, стремясь взять реванш за поражение под Сталинградом, немцы не отводили, а концентрировали мощные соединения в Донбассе, чтобы окружить, разбить и отбросить назад наши рвавшиеся вперед войска.

Сразу же за Старобельском мы наткнулись на хорошо укрепленную линию обороны. С большими потерями мы взломали ее и по глубоким снегам двинулись вперед. Каждое село брали с бою. Для командования нашей Подвижной группы, как и для всех нас, сильное сопротивление оказалось неожиданным. Но мы, воодушевленные победой под Сталинградом, преодолевая ожесточенное сопротивление врага, не щадили своих жизней, набрасывались на неприятеля с неимоверным одушевлением. Стремление победить, продолжить сталинградский триумф было так велико и неодолимо, что мы, несмотря ни на что, рвались вперед. С одной стороны, мы научились воевать, с другой — мы перестали бояться смерти. Мы обреченно, заранее, положили свои жизни на алтарь Победы, потому что опыт подсказывал: конца войне не видно, все равно не выживешь, не сегодня-завтра все равно убьют тебя — так чего бояться?

Продвижению вперед мешали не только немцы, но и непролазные снега. В глубоких снегах вязли кони, машины, орудия, люди. Спасали только волы, которых давали нам местные жители. Если бы не волы, пройти нашими маршрутами было бы невозможно.

Население Украины встречало нас с радостью. Приходили мы из снегов, с мороза, часто после боя, и нас обогревали, угощали всем, что имели, охотно давали волов, чтобы мы побыстрее освободили от немцев Украину. За шесть месяцев боев под Ржевом, где все населенные пункты были снесены с лица земли и населения в районе боев не осталось, наши солдаты так соскучились по мирным жителям и человеческому жилью! С какой радостью осматривались они в крестьянских хатах, вступали в разговоры с женщинами, детьми, вспоминая при этом свои дома, своих родителей, своих жен и детей. Встречи эти были мимолетными, но на душе становилось легче, отпускало внутри.

###### 5 танков + испуганный новобранец

Двигались мы напрямую, по снежным полям, и, пока немцы буксовали на дорогах, часто обгоняли их, тем побуждая врага отступать быстрее. Но бывало и так: немцы с танками оказывались в тылу у нас, догоняли и били неожиданно сзади, тем более что они превосходили нас в количестве танков и в небе летали только их самолеты.

Батарее нужен ЗИС-3, с которой находился я, начальник разведки дивизиона, двигаясь по заснеженной целине. Было тихо и солнечно, но мороз поджимал основательно, брал верх над солнцем, потому никто не садился на стылые стальные лафеты — шли пешком за орудиями, а то и трусцой бежали, чтобы немного согреться. На многие километры вокруг простирался чистый белый снег — завораживающе искрился на солнце, слепил глаза. Прокладывая путь по целине, могучие волы, как ледоколы, крушили толстый снежный наст, громкий хруст сминаемого снега не прерывался ни на секунду. Все приустали, но молча и уверенно делали свое дело и пусть медленно, на волах, но в точности выполняли приказ: продвигаться как можно дальше и быстрее на запад. Немцев поблизости не было, по таким снегам едва ли кто сумел бы обогнать нашу колонну.

Вдали зачернело село. Предвкушая скорый отдых, тепло и пищу, усталые солдаты оживились, послышались короткие реплики, смешки. Почуяли скорую передышку и волы — ускорили шаг, быстрее потянули тяжелые пушки. Заснеженные домики приковали к себе взоры всех едущих и идущих, оставалось совсем немного, всего с полкилометра, — последнее усилие и будем в селе. Конные разведчики уже побывали в деревне, противника не обнаружили, так что можно спокойно входить, располагаться на отдых.

Но что такое?! Из села на дорогу выкатили три танка — на них белые кресты! Откуда же они взялись? Их не было. Значит, только что вошли в село, но с противоположного конца, с ходу прошли его и теперь двигались в нашу сторону. Двигались очень медленно, мешал снег, и нас они пока не заметили, мы же не по дороге, напрямки ехали. Но как заметят — разнесут в клочья! Нельзя терять ни секунды — во что бы то ни стало надо опередить их! Громко, во все горло, подал команду:

— Танки справа! Орудия к бою!

Ездовые остановили волов, расчеты быстро сняли станины с передков и развернули стволы.

— По танкам! Огонь!

Раздались частые выстрелы четырех наших пушек. Все три танка окутались черным дымом. Но не успели мы прийти в себя, как из села ударили один за другим два танковых выстрела. Приземистые наши пушки почти не были видны в глубоком снегу, поэтому немцы ударили по волам. Пронзив тела животных, танковые болванки со страшным свистящим шумом пронеслись дальше — ни орудия, ни людей не зацепило. Солдаты тут же спрятались в снегу за орудиями, залег левее пушек и я с биноклем. Дымки от выстрелов еще не рассеялись, а я уже разглядел два танка, они с боков прижались к крайней хате. Пока немецкие танкисты рассматривали результаты своей стрельбы, я подал новую команду:

— Танки у крайней хаты! Батарее! Огонь!

Танки успели сделать еще по одному выстрелу, и тут их поразили снаряды наших пушек. Правый танк сразу же загорелся ярким пламенем, видно, он стоял к нам задом и снаряд попал в мотор, а левый быстро скрылся за хатами, вероятно, снаряды попали в башню и водитель тут же среагировал, позже мы обнаружили этот танк брошенным на другом конце села. Но два повторных выстрела немецких танков причинили нам большой урон: была разбита пушка первого расчета, убит наводчик, и ранило двух солдат.

Как только начался обстрел батареи, один молодой солдат из недавнего пополнения испугался и бросился бежать от орудия в поле, но не успел сделать и пары шагов, как танковый снаряд-болванка проскочил у него между ног. Корчась от боли, парень с диким воем упал в снег. Сразу же после боя мы подбежали к нему. Солдат был бледен от боли, сказал, что ранило в обе ноги. Но на брюках не было никаких пробоин и крови. Пока снимали с него брюки, чтобы перевязать, он страшно кричал. Но никаких ран на ногах мы не увидели, только согнуты они были неестественно, не в коленях. Стало понятно, что кости обеих ног парня были искрошены. Вместе с еще двумя ранеными мы отправили его в санбат.

— Как мог снаряд, не коснувшись ног, переломать кости? — недоумевали солдаты.

Я и сам видел такое впервые, удивлялся не меньше, но решил объяснить бойцам случившийся феномен, и мыслил я правильно:

— Снаряд прошивает танковую броню. Он несет в себе такую энергию, что вокруг завихряется воздух. Этот вихрь рвет вблизи несущегося снаряда все на свете. Вы видели борозды на снежном насте, которые от наших орудий бегут к селу? И кто их пропахал? Пропахали их летевшие над снегом наши снаряды, взламывая на своем пути крепкий наст. Вернее, их пропахал тот воздушный вихрь вокруг снаряда, что воет, когда снаряд летит к цели.

###### Форсирование Северского Донца

Из района севернее Старобельска, преодолевая сильное сопротивление врага и глубокие снега, мы наступали успешно до самого Северского Донца у села Закотное, что западнее Лисичанска, и форсировали Донец.

Много крови стоило нам это форсирование. Немцы хорошо укрепили и вооружили свой высокий правый берег, на котором располагалось село. Трудно было по низкой, открытой, равнинной местности, по глубокому снегу незаметно подобраться и форсировать Донец. Немцы взорвали лед на реке и залили водой свой десятиметровой высоты берег, превратив его в ледяной барьер. Решающий вклад в форсирование реки внесли артиллеристы нашего 1-го дивизиона. Средь бела дня, при ослепительном сиянии солнца командиры орудий Скрылев, Хохлов, Катечкин и другие, надев белые маскхалаты и замаскировав пушки белыми простынями, сумели продвинуть их к Донцу и прямой наводкой быстро расстрелять немецкие долговременные укрепления.

Сколько мужества, выдумки и сноровки потребовалось от артиллеристов, чтобы по полыньям, ледяному крошеву переправить пушки на правый берег реки, — в ход шли бревна, доски, двери, ворота!

После артобстрела село Закотное было взято нашей пехотой. В тот же день, 1 февраля, было освобождено и село Ново-Платоновка.

###### Гибель Чернявского. 2 февраля 1943 года

После Закотного наш 1-й дивизион вместе с 431-м полком и двумя танками Подвижной группы выбил немцев из Кривой Луки и вошел в село Ворошиловка. Впервые за длительные бои и трудный путь солдаты выспались и отогрелись.

С рассветом пехота выступила в направлении на станцию Соль под Артемовском. Вслед за нею вытянули в походную колонну вдоль улицы свои пушки на волах и мы. Только выбежал на улицу из хаты, в которой ночевал, чтобы направиться в голову колонны, как заметил подходившие к селу из нашего тыла четыре танка, обрадовался: пополнение пришло! И вдруг эти танки с расстояния двести метров открыли бешеный огонь из пушек и пулеметов по нашей колонне орудий! Поняв, что это за «пополнение», я тут же громко прокричал: «Танки!» — а сам бросился к пушке, которая стояла против меня, замыкая колонну. Падали в снег подкошенные пулями и осколками орудийные расчеты, взревели и заметались в упряжках живые и раненые волы. Трескотня, грохот, снежная пыль, дым от разрывов снарядов! Пушка, к которой я кинулся, была ближе остальных орудий к танкам, сама она не пострадала, но из расчета уцелел только один человек, а убитые и раненые волы попадали на дышло передка. Вдвоем с уцелевшим бойцом отцепили пушку от передка, развели станины, и я бросился к прицелу, а солдат стал заряжать пушку. Подвожу перекрестие прицела к ближайшему танку, а поворота орудийного ствола чуть-чуть не хватает: надо развернуть влево всю пушку.

Схватился за правило станины, а на него наехал осью передок, когда обезумевшие волы подали назад. Летящие осколки и пули не давали возможности подняться в полный рост, и мы с солдатом делали все ползком, подлезли под ось передка, чтобы освободить станину, а ее не поднимешь — на дышло упали мертвые волы. Стали стаскивать волов — никогда раньше не думал, как они тяжелы! Все же мы сдвинули их, подняли своими спинами ось передка и освободили станину орудия. На все это ушло несколько секунд, и я наконец снова припал к прицелу: подвожу перекрестие к танку, жму рычаг спуска — гремит выстрел, и снаряд подбивает передний танк. Целюсь во второй — и только хотел нажать на спуск, как кто-то на долю секунды опередил меня, и его снаряд брызнул огнем по броне немецкого танка. Потом оказалось, это был Чернявский. Но и моя рука рванула спуск, и в ту же секунду второй снаряд пронизал танковую броню. Стальной монстр окутался черным дымом.

Остальные два танка, которые находились сзади и были едва видны, ретировались, задним ходом скрылись за бугром. Это была разведка находившейся в нашем тылу немецкой танковой колонны, их часть стояла у нас в тылу, на станции Яма, но мы тогда об этом не знали, хотя вскоре нам предстояло с ней сразиться.

В бою погиб командир батареи Чернявский. Он выбежал из хаты и, прячась за орудийным щитом, успел произвести из гаубицы своей батареи выстрел по одному из танков, танк загорелся, но Чернявский был тяжело ранен и вскоре скончался от полученных ран.

Шесть месяцев воевал Чернявский подо Ржевом и ни разу не был ранен. Погиб здесь, на украинской земле. Своим примером он увлекал нас в бой, и воевали мы самоотверженно. Даже с помощью песни. Однажды, еще подо Ржевом, в минуты затишья в траншее нашего НП громко и дружно зазвенела задорная русская песня, долетела она и до немцев: до них было всего метров пятьдесят. Некоторое время, притихнув, они молча слушали. Потом наше веселье смутило и обозлило их, скорее всего разгневалось их начальство. Последовал бешеный обстрел наших позиций. Но, как только наступало затишье, снова звучала песня. И так несколько раз. Фашисты бесились, наше пение действовало на них сильнее стрельбы.

Всего в том бою под Артемовском мы потеряли восемь человек убитыми и двенадцать ранеными. А также три орудия и несколько волов.

Раненых оставили в селе, так как санбат наш затерялся где-то в снегах. Крестьяне дали нам новых волов, и мы двинулись вперед, догонять свою пехоту, которая уже подходила к станции Соль.

2 февраля, к середине дня, совместно с танками 178-й танковой бригады мы окружили и освободили от немцев станцию Соль и поселок Свердловка. Отходя, немцы держали под постоянным артиллерийским огнем поселок и станцию. Горели дома, были жертвы среди нас и местного населения.

Далее наступать мы не могли, поэтому здесь, на станции и в поселке, заняли оборону.

###### Герои-танкисты!

Где-то на пути к Соли отстал наш 2-й дивизион. Командир артполка Чубаков находился в нашем 1-м дивизионе и приказал мне разведать, что случилось с отставшими. Это было дело полковых разведчиков, но он почему-то поручил его мне, начальнику разведки 1-го дивизиона.

Солнечный день клонился к вечеру. Немецкие самолеты весь день безнаказанно бомбили наши подразделения и населенные пункты. Безобидная прогулка в свой тыл на поиски отставшего дивизиона показалась мне весьма привлекательной. Разведчиков в дивизионе почти не осталось, и я пригласил с собою в дорогу своего дружка, тоже бывшего студента, лейтенанта Гришу Куртию. Двинулись с ним по дороге на деревню Сакко и Ванцетти, которая находилась немного западнее Ворошиловки.

До деревни оставалось менее километра, когда мы увидели выходившие из нее танки. Шли они развернутым строем, как в наступление. Пока мы рассматривали, чьи же это танки: наши, немецкие? — ближайший танк выпустил по нам длинную пулеметную очередь. Мы залегли и быстро, прячась в снегу, поползли назад за бугор. Потом поднялись в полный рост и побежали рысью. На бегу стали совещаться, что делать, если немцы возьмут нас в плен. Гриша сорвал с петлиц кубики. Я посмотрел на него, увидел на петлицах темные следы от кубиков и свои срывать не стал.

Танки шли по глубокому снегу медленно и очень осторожно, минут десять их не было видно на бугре. Хотя мы отбежали километра на полтора, угроза плена еще не миновала: танки вполне могли нас догнать, и мы продолжали волноваться.

Смерти мы уже не боялись, страшил плен.

Бежим мимо копны из кукурузных стеблей. Около нее двое танкистов греют на костерке чай в котелке. Оказалось, это не копна, а замаскированный танк. Когда бежали к деревне, мы его не заметили, оказалось, немецкие самолеты еще утром его подбили, и два члена экипажа ушли в тылы за запасными частями.

— Ребята, с тыла немецкие танки идут, — на бегу предупредили мы танкистов, но они только рассмеялись.

Обо всем увиденном я доложил командиру полка Чубакову. Он тут же выставил у въезда в поселок навстречу немецким танкам пушечную батарею. Прошло более часа. Меня вызвал командир дивизиона Гордиенко.

— Ну, и где твои танки? Хиба коруци[[4]](#footnote-4) якие побачилы та и перелякались, — зло посмеялся он над нами в присутствии Чубакова.

— Какие коруци! — возмутился я. — Они стреляли по нам! А куда делись — не знаю!

— Бери пяток ребят и снова иди в Сакко и Ванцетти, ищи Второй дивизион и немецкие танки! — снова приказал комполка Чубаков.

У меня был только один разведчик — Яшка Коренной, мой одногодок. Еще четверых солдат дал стрелковый полк. Но, узнав, что надо в разведку идти, двое пехотинцев демонстративно закашлялись, а третий объявил, что у него куриная слепота. Я взвел затвор автомата, сказал строго:

— Кто слепой, отходи! Больные тоже. Быстро!

Все трое сразу выздоровели. Уже в дороге пехотинцы подружились с нами, сделались своими в доску.

Луна освещала заснеженную дорогу, под ногами громко хрустел снег. Когда прошли километра три и перевалили через бугор, заметили на дороге костры. Подошли поближе и увидели беспорядочное нагромождение большого количества горящих танков с белыми крестами на башнях. Горело десять машин! Еще два танка темнели в стороне молчащими черными глыбами. Положив двух солдат с автоматами у дороги для охраны, с остальными я стороной пополз к негорящим танкам. Подползли, прислушались. В темных танках тишина, только на горящих машинах потрескивает огонь. Постучал автоматом в подбитый танк. Ни звука. Взбираюсь к открытому люку, направляю внутрь автомат и даю очередь. Снова тишина. Перевесился в темноту люка и наткнулся вытянутыми руками на мертвое тело танкиста. Под руку попал подвешенный к его груди фонарик, нажал кнопку, он высветил внутри танка… головку швейной машинки. Такое мародерство не столько возмутило, сколько удивило: ходить в бой, имея в тесном пространстве танка швейную машинку, — это уже сверхжадность! Забираю у убитого немца пистолет, документы и блокнот. Потом мы прочли в блокноте панические записи о больших потерях и как громят немецкие горе-танкисты русские тылы, расстреливают повозки, а далее мечта: «Но мне хочется лично подбить русский танк!» Между тем мои спутники вытащили из соседнего танка много вина, консервов, галет и успели так набить трофеями все карманы, что с трудом передвигались. Приказал все выложить и припрятать в снегу до возвращения. А сам подумал: если вернемся.

Кто же подбил все эти танки? Пройдя несколько сотен метров дальше по дороге, мы увидели развороченные снопы кукурузных стеблей, множество стреляных гильз и глубокие следы от танковых гусениц. И тут я вспомнил двух танкистов 178-й бригады, которые кипятили чай, когда мы с Куртией бежали от немецких танков. Значит, они все же вняли нашему предупреждению и успели забраться в замаскированный танк до появления из-за бугра стрелявших в нас танков. Немцы не обратили внимания на «копну», проехали мимо. А герои-танкисты пропустили немецкие танки мимо себя и уже потом ударили по колонне: подожгли передний и замыкающий танки, а когда остальные стали расползаться в стороны, уничтожили и их.

Нас поразил тогда не только результат единоборства одного нашего подбитого танка с целой танковой ротой немцев. Мы дивились мужеству и выдержке двух наших танкистов! Каково сидеть в танке, когда мимо тебя неспешно проезжают более десятка вражеских машин. Наверняка хоть одному из немецких танкистов придет в голову прошить на всякий случай подозрительную копну возле дороги. Но обошлось. И вся пропущенная мимо нашего танка колонна немецких машин была уничтожена в течение одной минуты. Ну а к тому времени подоспели и их товарищи с запасными частями. Исправили танк, развернулись и уехали.

###### Проспал свою смерть

Деревню Сакко и Ванцетти мы увидели всю в огне. При въезде на дороге валялись разбитые повозки, мертвые волы и трупы красноармейцев. Далее стояли подбитые орудия, видимо 2-го дивизиона нашего полка, и два подбитых немецких танка. Мы поняли, что 2-й дивизион постигла та же участь, что и нас вчера утром в Ворошиловке. Расправились с ним как раз те немецкие танки, которые обстреляли нас с Куртией и затем нашли свой конец после встречи с героями-танкистами.

Мне захотелось найти в горящем селе кого-то из солдат 2-го дивизиона, хотя бы раненого. С правой стороны чернели две не тронутые огнем хаты. С мерами предосторожности я вошел в одну из них. Хата была пуста, но голодные бойцы сразу же кинулись к русской печке. В ней оказались чугунки с горячими щами и картошкой. Быстро поели. Уходя, кто-то заглянул за печь. В свете фонарика показался наш заспанный солдат. Я обрадовался: сейчас расскажет, что произошло в деревне. Но солдат, продрав глаза, удивился, что соседние дома горят. Это оказался ездовой 2-го дивизиона, который привез со старшиной продукты, подмерз и после обеда улегся за печку отдыхать.

###### «Глупая шутка»

В Соль мы вернулись поздно ночью, не преминув по дороге заглянуть под один из подбитых танков за трофеями.

Штабная изба была забита спящими солдатами. Я доложил результаты разведки, и все мы, вместе с командиром полка, пристроились у подоконника отведать немецких вин и закусок-консервов. Втиснуться среди спавших не было никакой возможности, даже на полу негде примоститься — я так и уснул, облокотясь на подоконник.

Проснулся я оттого, что кто-то с силой сдернул меня за ноги на пол.

— Что за глупые шутки! — падая на пол, не успев продрать глаза, возмутился я.

Мой возглас заглушила пулеметная очередь по окну. Грохнула она с такой силой, что всего меня окатило щепой от подоконника и осколками вдребезги разбитого стекла. Открыв глаза, увидел совершенно пустую хату, один лишь мой ординарец Яша Коренной сидел на полу. Он-то и успел стянуть меня с подоконника за секунду до выстрелов. В комнате уже было светло, я увидел плотную кучку следов от пуль на стене против окна. Яша молча показал рукой на соседнее с разбитым окно. Я осторожно заглянул в него. В двухстах метрах, прямо перед нашей хатой, на шоссейной дороге Яма — Артемовск стояла сплошная стена немецких танков, пушки их были направлены в нашу сторону, из всех пушек и пулеметов они палили по поселку.

Мы с Коренным низом выкатились во двор, и вдруг увидели у стены соседней хаты заброшенную немецкую пушку, направленную стволом прямо на дорогу, рядом аккуратными штабелями лежали снаряды. Я не удержался, подполз к прицелу пушки, Яшка подскочил к затвору. Целюсь в ближайший танк, бронебойный снаряд уже в казеннике. Выстрел! Танк загорелся. Но едва мы спрятались за стену хаты, тут же чесанула длинная пулеметная очередь. Прячась за домами, мы направились на противоположную окраину поселка. Сзади раздался взрыв. Оглянулись — немецкая пушка, из которой мы только что стреляли, взлетела на воздух.

Удержать Соль нам не удалось. Немцы подбросили к станции до сорока танков. У нас же танков не было, много орудий было подбито. Через три дня изнурительных боев с превосходящими силами мы получили приказ оставить Соль и Свердловку. В ночь на 6 февраля нам пришлось отойти. Нас было так мало, что и выводить-то было почти некого, сотни полторы пехоты да десяток орудий нашего артполка.

Стояла тихая морозная зимняя ночь. Многие домики поселка горели, никто их не гасил, и пламя мерно потрескивало в морозном воздухе. Как начальник разведки 1-го дивизиона, я был направляющим при выводе своих семи орудий. Только миновали подъезд под железнодорожное полотно, как меня остановил помначштаба полка и передал приказ командира вернуться в поселок и проверить, не оставила ли какая батарея подбитые орудия, а если таковые обнаружатся, вытащить их любыми средствами. Последние военные покидали поселок, немцы не могли не заметить нашего отхода и, вполне возможно, в этот самый момент уже входят в него с другой стороны. Как-то мне боязно стало с двумя разведчиками возвращаться назад, и не просто возвращаться — придется обойти по периметру весь поселок, осмотреть все его закоулки.

Только вышли на первую улицу, как встретили лейтенанта из 3-го дивизиона, на двух волах он с тремя солдатами вез пушку без одного колеса, вместо колеса к оси было подвязано полено.

— Куда ты?! — остановил он меня. — Там уже немцы вовсю орудуют, наших никого не осталось, мы последние. Помоги-ка нам лучше пушку тащить.

Мы, все трое, впряглись вместе с расчетом в пушку, и волы потащили орудие повеселее.

Отошли мы от Соли всего километров на десять, в деревню Федоровку. Здесь нас в течение недели пополнили людьми, вооружением, и мы, в обход Артемовска, через Славянск, направились освобождать город Барвенково, расположенный на юге Харьковской области по железной дороге Красный Лиман — Славянск — Барвенково — Лозовая.

### Глава шестая

### В окружении

### Конец февраля 1943 года

###### «Дяденька, не уходи!..»

Барвенково — единственный на земле город, где в ходе боевых действий одной воюющей стороне удалось дважды окружить войска другой. Многие фронтовики с волнением и печалью вспоминают этот город.

В Барвенково мы вошли 25 февраля почти беспрепятственно: немцы оставили город. Но вскоре танки противника уже со всех сторон рвались в город. А сверху нас бомбили самолеты. Бомбили нещадно и безнаказанно: у нас не было зениток. Да у нас почти ничего не было. В непрерывных боях на тысячекилометровом пути от Сталинграда мы потеряли много людей и техники, в глубоких снегах застряли наши тылы. Два обессиленных стрелковых полка и с десяток орудий — вот и все наши силы в городе.

Мне, командиру взвода разведки 1-го дивизиона, поступил приказ явиться в штаб полка: надлежало получить пакет с донесением и доставить его в город Изюм, в штаб армии. Приказ поступил рано утром 27 февраля, и с передовой я ушел еще затемно, обрадованный возможностью на пару дней вырваться из-под огня, предвкушая предстоящую прогулку в тыл.

В Барвенкове штабы полков располагались в домах при въезде в город, на противоположной от передовой окраине. Донесение составляли в моем присутствии, в ожидании пакета я непривычно беспечно сидел на стуле в штабной комнате и от нечего делать лениво рассматривал хитроумные завитки морозных узоров на окне, иногда посматривая по сторонам. Ранее мне не приходилось бывать в штабе полка, лишь однажды, полгода назад, еще в боях за Ржев, мне случилось посетить расположение тылов дивизии, когда ходил в политотдел получать кандидатскую карточку. И сейчас мне интересно было наблюдать за жизнью людей вдали от переднего края, где не надо припадать к земле, ползать под вражеским обстрелом. Находясь в приподнятом настроении, я с нетерпением ерзал на стуле в ожидании пакета, совершенно не вслушиваясь в содержание донесения, тем более не замечая обеспокоенности в поведении и на лице начальника штаба. И вдруг до моего уха донеслись слова: «Город Барвенково окружен крупными силами танков и пехоты противника. Мы удерживаем город, не имея связи с командованием. Все наши попытки связаться со своими не увенчались успехом…»

Я вскочил как ошпаренный! Вмиг слетело все благодушие! Всегда самым страшным для меня были окружение и плен. И значит, предстоит мне не приятная безобидная прогулка по тылу, а опасная попытка средь бела дня проникнуть к своим сквозь кольцо окружения!

— А как же я-то пойду?! — вырвалось у меня.

— Потому и посылаем тебя, лейтенант, что сделать это будет очень трудно, но мы надеемся на тебя, — ободрил меня майор.

Сунув пакет за пазуху шинели, я бегом направился в свой дивизион, чтобы взять с собой в путь разведчика.

И тут налет! Самолеты начинают нещадно бомбить именно эту окраину города. Бросаюсь в кювет. Кругом творится что-то страшное. Сорок самолетов, зайдя с тыла, двумя колоннами пикируют на оба порядка домов — рушат каждый дом. Ревут моторы, воют сирены, трещат пулеметы, свистят бомбы! Земля ходит ходуном! Крупные осколки бомб крушат деревья, с неимоверной силой врезаются в землю. Мелькают желтыми брюхами выходящие из пике «костыли». На фоне серебристо-белого снега в лучах яркого солнца высоко вверх вздымаются клубы дыма — черные от взрывов бомб, красные от битого кирпича, желтые от самана и глины. Обгоняя пыль и дым, из зловещего разноцветия вверх и в стороны вырываются обломки строений, заживо хороня под развалинами мирных жителей. Внезапно все это — ярко-красное, черное, желтое и белое, клубящееся и вырывающееся, летящее и рушащееся, воющее и грохочущее — рассекается, как кинжалом, тонким, пронзительным, душераздирающим женским криком. Этот нечеловеческий вопль поднял меня из кювета, заставил оглянуться вокруг. В клубах дыма я едва различил стоящую в полный рост худощавую женщину. Заломив руки за голову, она стояла в одном легком платье, с распущенными длинными волосами и, показывая на рухнувший домик, кричала и кричала, многократно повторяя:

— Там дети! Там дети! Дети!..

Весь ее облик внушал тревогу, жалость, а крик безотлагательно звал на помощь. Я вскочил и, невзирая на грозящую опасность, сломя голову бросился к рухнувшему домику. Сгоряча схватил торчащую из развалин слегу, с большим трудом вытянул ее, схватил другую — и тут начал понимать, что таким образом я не скоро доберусь до детей — они там задохнутся, и помочь некому: все попрятались от бомбежки. Снова с яростью принялся за работу, вновь и вновь с надеждой оглядываясь вокруг, но нигде никого не было, и женщина куда-то пропала. (Потом я узнал: это была родственница двух заваленных ребятишек, она сама только что чудом выбралась из завала, у нее был вырван глаз.) Вдруг заметил: неподалеку частыми перебежками перемещается человек. Позвал его, он приподнялся, и я увидел незнакомого старшину, он оценивающе взглянул на пикирующие самолеты, на развалины и, махнув рукой, дескать, чего там искать, все разбито, быстро побежал по своим, видимо, неотложным делам.

— Ко мне! — с надрывом, остервенело закричал я, хватаясь для убедительности за кобуру пистолета.

Старшина нехотя подчинился. Он оказался вдвое старше меня и всем своим видом показывал, что вынужден подчиниться мальчишке-лейтенанту, хотя наперед знает, что затеянное мной дело совершенно бессмысленно. Вдвоем, хватая бревна сразу за оба конца, мы быстро раскидали направо-налево развалины в центре домика и обнаружили мертвого старика и убитую молодую женщину с бездыханным младенцем на руках.

— Ну что, лейтенант, хватит? — с издевкой укоризненно сказал старшина.

Мне ничего не оставалось, кроме как извиниться перед степенным старшиной, ведь я напрасно заставил его рисковать жизнью. В досаде я рванул обнажившуюся в завале спинку кровати и сквозь образовавшуюся щель внезапно увидел под кроватью живые глаза.

— Дяденька, не уходи! Спаси нас! Я вырасту большой — тоже тебе помогу! — послышался из-под кровати тоненький мальчишеский голосок.

О господи! Сколько же всего слышалось в этом плаче-мольбе, призыве-обещании! Страх и тревога!

Надежда и боязнь быть неуслышанным, непонятым, неуваженным! Этот кричащий мальчик хотел заранее задобрить, не упустить возможного спасителя; после страшного удара и потрясения, жуткой могильной темноты и тесноты вдруг появился просвет и с ним — надежда на спасение! Наверное, ни один, даже самый гениальный трагический артист не в состоянии вложить в свой голос столько чувств и переживаний, страданий и надежды, что скороговоркой вырвались из груди погибающего ребенка.

Старшина тоже понял, что под кроватью есть кто-то живой, перестал обижаться, бросился ко мне, и мы вдвоем приподняли конец кровати. Показалось заплаканное детское личико, мальчик просунул голову в образовавшуюся щель, вздохнул полной грудью и рванулся вперед, пытаясь расширить лаз, и так ему хотелось побыстрее выбраться, что он быстро-быстро заработал изнутри ручонками. Мы же со старшиной едва удерживали заваленную обломками стен кровать — не могли ни опустить ее на голову ребенка, ни приподнять повыше. И не только из-за тяжести. Под другим ее концом послышались приглушенные крики придавленных детей.

— Быстро снимай штукатурку с кровати! — распорядился я, изо всех сил удерживая в одиночку тяжеленный груз.

Опрокинув наконец кровать, в небольшом пространстве мы обнаружили пятерых детей и мертвую женщину: своим телом она обеспечивала жизненное пространство детям, погибнув под тяжестью смятой кровати. На перекошенных страданием и страхом лицах ребятишек живо блестели широко раскрытые глаза, сжатыми в кулачки ручонками они быстро-быстро растирали глаза, размазывая по щекам слезы, пыль и кровь. Под лучами яркого зимнего солнца радость воскрешения тут же переводила страдальческие лица от плача к улыбке. А бомбежка продолжалась, грохот и визг рвали барабанные перепонки, едкая пыль, затмевая клубами солнце, першила в горле. Принялись со старшиной быстро вытаскивать детей из завала, осторожно беря в руки теплые, мягкие и, казалось, такие исчезающе-хрупкие тельца. За годы войны, общаясь с холодным грубым металлом, наши руки настолько огрубели, что эта деликатно-нежная работа потребовала от нас большего напряжения, чем расчистка завала.

— Дяденька, а под столом тоже ребята были, — подсказал мальчик, которого мы спасли первым.

Из-под раздавленного стола мы вытащили еще четверых. Пока я усаживал на дно образовавшейся ямы спасенных ребятишек, старшина молча куда-то исчез, я даже не успел узнать его фамилии. А одетые в домашние рубашонки детишки, ежась от холода, дрожа всем телом от страха, присели в тесный кружок, натянув на коленки платьица. Я, как единственный ответственный за жизнь детей взрослый человек, не мог их оставить. Осмотрелся вокруг, куда бы их пристроить, но бомбежка продолжалась, и кругом ни души, а у меня в кармане пакет, я и так задержался. На свое счастье, заметил высунувшуюся из погреба-шалашика голову какого-то старика.

— Дедушка, — взмолился я, — возьми ребятишек, а то мне некогда.

Что стало дальше с детьми, я не знал. О происшедшем я никогда никому не рассказывал и не докладывал.

###### \* \* \*

И вот однажды, в шестьдесят втором году, почти двадцать лет спустя, я проезжал мимо станции Барвенково, прочитал название и вспомнил тот случай. Подумал, из девяти ребят кто-то все же, должно быть, выжил. Приехал домой в Курск и написал письмо в Барвенково, в школу. Директор школы собрал учащихся в актовом зале и стал читать мое письмо. Вдруг с задних рядов поднялась библиотекарь школы Александра Степановна Тимченко, кричит:

— Это же мой муж Ваня был среди тех ребят, которых спасал лейтенант! Он мне рассказывал!

Учащиеся школы № 2 организовали поиск остальных спасенных тогда детей, к поиску присоединилась работница райисполкома А. С. Валиева. Разыскали всех бывших мальчиков и девочек, которые прятались все вместе в том, стоявшем в лощинке немного позади других домике. Многие из ребят оказались родственниками, выяснились их имена: Ваня Тимченко, Володя и Шура Малые, Вера, Нина и Галя Забудченко, Володя Пивень, Саша Скиба и Рая Диденко. Это мама Раи с ее же братиком погибли вместе со стариком, и ее тетя — Анастасия Барбашева призывала к спасению детей. Сама же Рая вскоре скончалась от полученных травм. Мертвой под кроватью была мама Володи Малого, того самого, что так жалобно просил спасти всех ребят и один за всех обещал помогать мне, когда вырастет большой.

Вскоре я получил ответное письмо из школы, где подробно было описано, как сложилась жизнь каждого спасенного. Завязалась переписка. В шестьдесят третьем году по пути на юг я снова проезжал Барвенково, не думал останавливаться: поезд проходил Барвенково в шесть утра, зачем так рано булгачить людей, но сообщил о проезде. Утром вышел в тамбур, у открытой двери вагона стоял мужчина, собираясь сходить, выглядывал наружу:

— Кого-то встречают, оркестр играет, народу полно.

Я тоже глянул из-за его спины:

— Да, кого-то встречают.

Поезд остановился, а стоять ему всего две минуты. Мужчина сошел, а я продолжал стоять в дверях. Вижу, к моему вагону со всех сторон бегут люди и выкрикивают:

— Петр Алексеевич! Петр Алексеевич!..

Мое имя?! Тут я понял: встречают меня. Поезд задержали, меня без разговоров стащили вместе с вещами, и на привокзальной площади начался митинг. Его открыли руководители города. С разных сторон со слезами на глазах ко мне подбегали с объятиями незнакомые мужчины и женщины — это были мои «крестники»! Но я еще не знал их в лицо. А возле нас бегали их дети — такие же по годам, каких я вытаскивал из-под развалин. Волнующая встреча продолжилась в школе. Потом мы коллективно, вместе с начальством города, поочередно побывали у многих моих подопечных: обедали, узнавали друг друга. Так все мы подружились.

После этого прошло еще двадцать пять лет. Вместе со своими однополчанами из 52-й дивизии в сентябре восемьдесят восьмого года я снова оказался в Барвенкове. Когда на экскурсионном автобусе мы подъехали к городу, я как бы между прочим сообщил своим друзьям, что в сорок третьем во время окружения в Барвенкове мне удалось спасти девять ребятишек, и прочитал на лицах однополчан недоверие, дескать, брось загибать, если такой неординарный случай был, что же раньше-то молчал? Но вот въехали мы в город на Центральную площадь, а там пионеры, народу полно, и к нашему автобусу с разных сторон бегут мои друзья — и уже не только с детьми, но и с внуками. Снова митинг и коллективный обед. Когда мои однополчане услышали, что «крестники» по случаю радостной встречи предлагают и водочки выпить, от души одобрили эту инициативу. А вот районное начальство вынуждено было покинуть трапезу: шла борьба за трезвость, не захотели себя компрометировать. Ветераны же нарушили свою святость.

Наступил сентябрь девяносто третьего. Мы, россияне, оказались с украинцами по разные стороны границы, руководители государств делят газ, Крым и флот. А нам, простым людям, делить нечего, мы по-прежнему остаемся друзьями. И всех нас, ветеранов 52-й, из разных городов Украины, России, Узбекистана пригласили праздновать 50-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков в Соледар (Артемсоль) и в Барвенково. Радушие и теплота приема, которые оказали нам, участникам освобождения Соледара и Барвенкова, руководители городов, предприятий и колхозов, местные жители и семьи спасенных нами в войну детей, глубоко тронули нас. Невольно подумалось: никакие политические распри в верхах не поколеблют веками установившиеся дружеские отношения людей и народов.

Идут годы, но традиция этих встреч не нарушается и поныне. В сентябре 2003 года я опять побывал в Барвенкове. Трудно было сдержать слезы радости от встреч бесконечно родных душ. А переписка?! В ней все подробности жизни многочисленных отпрысков моих «крестников». Дожить бы до 2008 года и снова съездить в Барвенково…

###### Сквозь окружение — в штаб армии

Но вернемся в прошлое. Мне, двадцатилетнему лейтенанту, вручили пакет и приказали вынести его из окружения, доставить в штаб армии. Я бежал в свое подразделение, чтобы взять с собой разведчика и лошадей, и попал под налет. Бомбежка задержала меня, да еще пришлось спасать попавших в беду ребятишек. В общей сложности задержался я минут на сорок. Прибежал наконец на передовую, к своим. Но командир дивизиона жадюга майор Гордиенко ни разведчика, ни лошадей мне не дал.

— Пойми, — объяснял майор, — ты же на верную погибель идешь, а не идти нельзя, приказ надо выполнять. Сам ты, ясно, пропадешь, но зачем же коней губить? Да и разведчика жалко, он и тут нам пригодится. Бери вон ездового Ахмета, у него коней поубивало, а мы без него обойдемся, — капитан указал на пожилого ездового, который временно прислуживал ему по хозяйству. И заключил: — Не все ж на конях гарцевать, дойдете и пешком.

И пошли мы с Ахметом вдоль передовой — искать место, где можно проскочить сквозь немцев в наш тыл. Ослепительно сияло солнце, синевато-белый нетронутый снег простирался от самых наших окопов до ползавших вдали немецких танков, они медленно перемещались в километре от города, изредка постреливая по нашим окопам и окраинным домикам.

— А чего же наши по ним не стреляют? — удивился Ахмет, подползая ко мне.

— А чем стрелять-то? Тылы отрезаны, остатки снарядов берегут, когда немцы сюда полезут. Да еще из окружения прорываться придется, — разъяснил я.

Но что же нам делать? Ночи ждать нельзя. Ползти, тем более бежать на виду у немцев без маскхалатов бессмысленно — тут же заметят и расстреляют. Только в одном месте расстояние между немецкими танками было метров восемьсот, их разделяла не то крупная проталина, не то озерцо, лед которого, отполированный поземкой, блестел, как зеркало. Вот через это озеро мы и решили проскочить в ближайший снег, потому что шире прогала между танками не было.

Прячась в снегу, мы по-пластунски добрались до края озера. Немцы нас не заметили. Оставалось одолеть озеро.

— Ахмет, — строго сказал я ездовому, — будешь бежать вместе со мною, не отставая ни на шаг. Я лягу — и ты ложись. Я встаю — и ты вскакивай. — А сам лежу и думаю: за три броска одолеем мы это озерцо, только вот как-то схитрить надо, обмануть немцев.

Поборов волнение, как перед броском в холодную воду, мы вскочили и изо всей силы помчались по льду. Немцы тут же заметили нас, и танки справа и слева открыли огонь из пушек. Зловещие удары выстрелов с характерным металлическим дзиньканьем и гулким эхом, как хлесткие кнуты, стеганули по нашим ушам, острыми шипами вонзились в сердце, шершавый комок застрял в горле, подкатывая тошнотой. Снаряды разорвались совсем рядом, оглушив и окатив нас и все вокруг мириадами осколков. Образовавшиеся воронки источали вонючий желтый дымок, черными кратерами обезобразили вспаханный осколками лед. А мы, покрытые белоснежной ледяной пылью, лежали, как святые: ни один осколок не коснулся нас, только шум стоял в ушах, да все тело содрогалось от частых толчков сердца.

Некоторое время немцы усиленно наблюдали за нами, решая, убили они нас или нет. Мы же недвижно лежали, чтобы убедить их в своей гибели. Пусть они убедятся в этом, надо только подольше полежать. А когда надоест им смотреть, отвлекутся, забудут про нас, вот тогда сделаем еще один рывок.

Минут через пятнадцать вскакиваем и мчимся вперед, пока танки снова не повернули в нашу сторону жерла своих пушек. Как артиллерист, я точно знал, что делают в данный момент наводчики танковых пушек, — и мы с Ахметом вовремя упали на лед. Едва припали к земле, как снова раздались выстрелы. На этот раз творилось что-то страшное! Разрывы снарядов, свист осколков, облака дыма и снежной пыли окутали все вокруг, земля ходила ходуном, а мы лежали ни живые ни мертвые… — но чудо — снова невредимые! Немцы стреляли с упреждением в расчете на наш бег, а мы упали чуть-чуть раньше, не добежали до места разрыва: снаряды рванули в семи метрах впереди, и все осколки дугой перескочили поверх нас — за нашими спинами и вокруг посекли весь блестевший до того лед!

Побесившись, немцы снова успокоились. А нам оставалось сделать один, последний рывок до спасительного снега. Но теперь они, конечно, не спустят с нас глаз, и, чтобы убедить их в своей гибели, на этот раз придется, притворившись мертвыми, лежать еще дольше. Лежим, а мысли роятся в голове: что и как будет дальше, перебираю все варианты развития событий… И тут внезапная мысль кинжалом вспорола состояние относительного благодушия: а вдруг им придет на ум подойти к нам, «мертвым», чтобы обыскать?! Тогда придется вступать с ними в бой и никто уже наше донесение в штаб армии не доставит.

Но немцы, видно, поленились или не захотели рисковать, не стали к нам подходить, и мы долго еще лежали, пока совсем не продрогли. И вот последний рывок! Но что такое?! Бежим, а немцы не стреляют! Они или не видят нас, или совсем забыли про нас? Ну повремените хоть минутку еще, пока мы в снег не бросимся! — молю на бегу не то немцев, не то господа бога. И вдруг страшная догадка мелькает: мы нужны им живыми! Наверное, они уже ползут по снегу наперерез, чтобы взять нас в плен! Во все глаза всматриваюсь в белеющий впереди снег — но ничего подозрительного не замечаю. Поднимаю глаза чуть выше и вижу летящий навстречу немецкий самолет. Он быстро приближается, уже хорошо видны зловещие кресты на его крыльях. Неужели будет бомбить?! Нет, не станет он тратить бомбу на двоих. Но ведь двое-то из окружения выходят — это же связь. Однако летит-то он из нашего тыла, уже отбомбился, у него и бомб-то нет. А потом, он уже так близко подлетел, что и бомбить-то опоздал. Теперь, если и кинет, она далеко сзади нас упадет. Только я все это обнадеживающее передумал, как увидел, что от самолета отделяется какое-то полено. Да это же бомба! Схватил Ахмета за руку, и мы изо всех сил припустили вперед, чтобы как можно дальше отбежать от места вероятного падения бомбы. Но тут мой Ахмет поскользнулся, упал, схватив меня за шинель, и мы вместе забарахтались на отполированном поземкой льду. А бомба уже в свист перешла, ее и не видно. В какое-то мгновение я с лютой злостью и смертельной обидой вспомнил своего погубителя — командира дивизиона, который пожалел для меня коней, а главное, не отпустил Яшку Коренного, моего разведчика, — тот бы не споткнулся, и мы бы успели убежать от своей смерти!! Пока мы с нерасторопным Ахметом пытались расцепиться и подняться для бега, бомба рванула! Но не сзади, как я предполагал, думая, что немец запоздал бомбить, — а в десяти метрах перед нами! Земля содрогнулась, с жутким шипением и свистом проскочили поверх наших голов бесчисленные осколки. Мы так близко оказались от бомбы — как раз в ее мертвом пространстве, что на нас не упал ни один осколок. И тут я подивился точности расчета немецкого пилота: он суммировал свою скорость и скорость нашего бега. Не упади мы — точно бы оказались под бомбой.

Надо же, как вовремя поскользнулся Ахмет!

Вот так получилось, что от смерти нас спасли жадность и бессердечие Гордиенко, который не дал мне в дорогу хорошего разведчика. Не пожадничай командир, мы с Яшкой подбежали бы точно под бомбу — и не было бы в живых ни резвого Яшки Коренного, ни меня. Оказывается, и во зле благо таится.

Не мешкая, вскочили с Ахметом, обежали еще дымившуюся воронку и кинулись в снег. Все! Прозевали нас немецкие танкисты! Не стреляли в нас — наверное, гадали, будет нас самолет бомбить или нет, а не будет — всегда, мол, успеем их пристрелить. А вот и не успели! Но скорее всего немецкие танкисты успели связаться с самолетом по радио и уступили ему лакомую цель. У них же, не то что у нас, связь по радио очень четкая.

###### Умный Ахмет

Итак, самый опасный участок нашего пути позади. Счастье улыбнулось нам: мы с Ахметом живы. Теперь надо поскорее выбираться отсюда. По-пластунски, зарываясь в глубокий снег, мы быстро поползли к ближайшему омету соломы. Передохнув, дальше двинулись уже в рост. Но населенные пункты, чтобы не встретиться с немцами, обходили стороной.

К вечеру, совсем обессиленные, зашли в небольшую деревушку. Там оказалась полевая армейская хлебопекарня дивизии, снабжавшая хлебом все наши части и подразделения. Голодные, мы так обрадовались, что сейчас раздобудем буханочку хлеба и подкрепимся! Но откормленный лейтенант-тыловик Букреев, начальник пекарни, проверив наши документы, потребовал продовольственный аттестат. А откуда он возьмется у нас, этот аттестат, мы же не в командировку направляемся, а с донесением бежим! Как ни умоляли его, как ни убеждали, что вот-вот в деревню придут немецкие танки, хлеба он нам так и не дал. Обозленные, мы молили бога, чтоб этот жирный тыловик в лапы к немцам попал вместе со своим хлебом.

Уже после войны на одной из встреч ветеранов дивизии капитан Букреев, кстати тоже курянин, к старости располневший до неприличия, полез со мною приятельски обниматься как старый боевой друг. Вспомнив тот случай, а больше я с ним за всю войну ни разу и не встречался: он — в далеких тылах, я — на передовой, я едва удержался, чтобы не дать ему в морду. Тем более что бывшие штабные работники ранее рассказали мне, как Букреев все три года, пока мы воевали, услужливо кормил начальство мучными деликатесами, а четверых девушек-пекарей отправил в тыл рожать, пообещав каждой после войны пожениться.

Получив от ворот поворот в родной пекарне, мы направились к очередной деревне. Зашли в одну из хат и слезно попросили покушать. Милосердная старушка поделилась с нами тем, что имела, сварила картошки, и мы вместе с хозяйкой поужинали.

За оставшуюся ночь мы испытали множество мытарств. Под утро, проделав за ночь более двух десятков километров, а идти приходилось осторожно, зашли мы в одну небольшую деревеньку. Немцев в ней не было. Стучимся в опрятный домик с верандой. Нам долго не отвечали и не открывали. Попытались докричаться через наглухо запертую дверь:

— Мы — советские солдаты, дайте нам попить!

После долгих уговоров дверь все-таки открылась. Зашли в темную комнату, свечу фонариком. Человек в нижнем белье сидит, свесив ноги, на кровати, в руке направленный на меня пистолет. Обезоружив его, я выяснил, что это наш, советский военнослужащий, старшина, направляющийся из госпиталя в свою часть. Взмолился старшина: пистолет ему нужен для самообороны в дальнейшем пути — и я вернул оружие. Хозяйка, до смерти перепуганная нашей схваткой со старшиной, чуть не упала в обморок. Но быстро справилась с волнением и решила нас с Ахметом задобрить. Продолжая метаться по комнате в одной спиднице, выставила на стол кринку молока и краюху хлеба. Мы подкрепились и пошли дальше.

Уже светало, когда на нашем пути оказался небольшой хутор, дворов на десять. Одинокий старик предложил нам часок поспать в его хате. Настелили соломы на полу, улеглись. Но только заснули, как он будит:

— Хлопцы, вставайте, немецкие танки въезжают в хутор. Да вы не торопитесь, они еще только на краю хутора. — В представлении старика, сто метров для танков — большое расстояние.

Мы мигом выскочили во двор; пригнувшись, проскочили вдоль плетня, через огород — и к ометам соломы, а дальше, уже бегом, направились на Изюм.

Опять на пути хутор. Но, в какую хату ни зайдем, никто не хочет нас покормить: все немцы позабирали, отвечают. Несолоно хлебавши, вышли мы из очередной хаты. Смотрю, а у Ахмета под мышкой деревянное корыто с мукой — прихватил в сенях хаты, где нам также отказали в куске хлеба. Спрашиваю:

— Ахмет, зачем нам эта мука?

Ахмет молча ссыпал муку в вещмешок, а корыто бросил хозяйке во двор.

— Была бы у вас мука, я бы вам испекла лепешек, — посочувствовала нам хозяйка следующей хаты, подбрасывая в русскую печь сухой хворост.

Тут Ахмет и высыпал на стол муку из вещмешка. Через пятнадцать минут мы уже ели горячие лепешки.

К вечеру второго дня пути мы вошли в село, располагавшееся на правом берегу Донца, почти напротив Изюма. Там оказался штаб артиллерии нашей дивизии. Командующий артиллерией дивизии полковник Чубаков обрадовался нашему приходу, тут же передал по связи содержание донесения в штаб армии, а мне разрешил перемещаться дальше вместе с его штабом.

Много обстрелов миновали мы со стариком Ахметом, но задание выполнили. А у меня будто гора с плеч свалилась.

Так закончилась моя вожделенная «прогулка» в тыл. С пакетом-донесением средь бела дня я сумел-таки выбраться из окружения и, отмахав более полусотни километров, доставил его по назначению. А наши окруженные в Барвенкове полки получили приказ вырваться из окружения. Что они и сделали следующей ночью. С боями им удалось прорвать кольцо немцев. Не без потерь, конечно. На то и война.

Из Барвенкова мы отступили к Изюму, за Донец. Здесь, за рекой, мы заняли оборону и держали этот рубеж с марта по июль сорок третьего, до самой Курской битвы.

###### Санбат оказался на передовой. Рассказ военврача В. Сомовой

Два полка 52-й дивизии ушли вперед на Барвенково, а застрявшие в глубоких снегах остальные части, тылы и санбат растянулись на десятки километров, догоняя передовые полки, и до Барвенкова не дошли. Как оказалось, к счастью. В конце февраля город оказался в окружении. Расширяя кольцо окружения вплоть до Северского Донца, немцы прошлись танками и по тылам дивизии, которые поначалу в окружение не попали.

Передовой отряд 106-го медсанбата находился впереди основного состава, был развернут в небольшой деревушке Голая Долина у шоссе Красный Оскол — Барвенково, в семи километрах западнее Северского Донца. Я находилась в составе этого передового отряда, и мы ничего не знали о прорыве немецких танков. Только вчера вечером, изнуренные заснеженной дорогой, мы прибыли на место. В течение месяца дивизия интенсивно наступала от Старобельска до Артемовска, потом через Славянск к Барвенкову, было много тяжелых боев и много потерь, постоянные маневры и переезды по глубоким снегам, бомбежки, нескончаемый поток раненых. Напряженные дни и бессонные ночи так измотали нас, что, как только мы прибыли в Голую Долину, сразу же повалились спать.

В передовом отряде нас было человек десять. Командовал отрядом фельдшер старший лейтенант Попов. Пожилые солдаты-санитары несли охрану. Разместились мы в двух хатах, в одной — женщины-врачи и медсестры, в другой — фельдшер с мужчинами-санитарами. Еще три хаты приготовили для приема раненых и населения. В ходе боев мы оказывали медицинскую помощь не только воинам, но и жителям местных сел. На оккупированных территориях не работали никакие лечебные учреждения, поэтому, прослышав о нашем приезде, гражданские люди шли к нам за помощью. Трудно описать радость, которую испытывали излеченные нами люди.

Встречали нас очень радушно и относились внимательно, особенно к нам, девушкам. Вот и на этот раз хозяйка отварила картошки, подала соленых огурцов, и мы с большим аппетитом позавтракали. К обеду у нас все уже было готово к приему раненых. Но раненые не поступали. Да они и не могли поступать, так как воевавшие полки были окружены немцами, о чем мы не знали. После обеда, едва обмолвились между собой, что давно не мыли головы, как хозяйка тут же приготовила нам крепкий щелок из древесной золы и горячую воду. Только мы намылили головы, в хату ворвался встревоженный запыхавшийся санитар, с ходу закричал:

— Быстрее одевайтесь, бегите во двор, на улице немецкие танки!

Для нас это было настолько неожиданно, что в первые секунды, ошарашенные, мы замерли, молча в ужасе обмениваясь взглядами. Однако за полтора года пребывания на фронте мы уже привыкли к самым ужасным и самым непредсказуемым поворотам судьбы. Едва санитар скрылся за дверью, натянули на намыленные головы шапки-ушанки, накинули шинели и принялись обуваться. Намотали на ноги портянки, поверх надели большие шерстяные носки — подарок омских колхозников. Ищем валенки, а их нигде нет. Ни одного валенка. Кинулись под кровать, под стол, под лавку, даже в сени выглянули — нет валенок, как провалились, и хозяйка, как на грех, куда-то отлучилась, а с улицы все громче доносился шум танковых моторов.

Выскочили во двор, глянули сквозь высокий плетень. Возле нашей хаты стоял только что подошедший танк. Может, это наш танк, напрасны все наши волнения? — шевельнулась робкая надежда: танк весь был в снежной пыли, сразу да через плетень и не разглядишь, чей он.

— Да немецкий он, видишь, контуры белого креста проступают, — прошептала Зоя Овсянникова, моя подруга-хирург.

Когда из люков танка стали деловито вылезать фашисты, наши сомнения и надежды рассеялись окончательно. Поворачиваемся от плетня, чтобы бежать в огород, навстречу нам с подойником из хлева выходит хозяйка.

— Да что же вы босиком-то, ваши валенки в печке. Я посушить положила. Сейчас достану.

— Какие тут валенки, коль немцы уже в хате, сейчас во двор выйдут?! — Мы опрометью бросились бежать со двора в огород и, проваливаясь в глубокий снег, направились к видневшемуся невдалеке омету соломы.

Немецкие танкисты от других хат заметили нас и открыли огонь из автоматов и пулеметов. К счастью, нас не убило и не ранило, мы упали в снег и по-пластунски поползли к омету. Немцы потеряли нас из виду, постреляли-постреляли наугад, а преследовать не стали: не то поленились, не то побоялись застрять в сугробах.

Отдышавшись за ометом, мы потуже притянули портянки, благо не оторвали мешавшие нам тесемки на концах брюк. Зачем их пришили?! — со злостью думали каждый раз, когда обувались. И вот они пригодились.

Двинулись мы к Донцу. А до него напрямую — километров семь. Измученные, сами потные, а ноги, как ледяшки, ничего не чувствуют, подошли к реке. К нашему ужасу, посередине русла река не замерзла. В обе стороны, насколько глаз хватало, тянулась водяная полоса шириной метра два-три. Что делать? Вот-вот сумерки наступят. Искать деревню? Где ее найдешь, и, может, в ней немцы. И тут, на наше счастье, как из-под земли, появились трое ребятишек лет по десять-двенадцать.

— Тетеньки, а чего это вы босиком-то, холодно же, где же ваши валенки? — в недоумении обращаются к нам.

— Вы лучше скажите, как нам на ту сторону перебраться, а то сюда немецкие танки идут, — перебили мы любопытство подростков.

— А по мосту! Он вон там, за поворотом реки, — показали они направо.

И впрямь, метрах в трехстах ниже по течению стоял высокий деревянный мост. Но когда мы подошли, оказалось, что мост разрушен, посередине зиял двухметровый прогал, с обеих сторон вертикально вниз свисали доски.

— Да ведь он же взорван!

— А мы ходим. Мы там длинную доску кладем. Но мы ее прячем. Кроме нас, никто не пройдет! — гордо заявили дети. — Пойдемте, мы вас переведем на ту сторону.

Подошли к середине моста. С обеих сторон щетинился обломками настил, между сторонами — где два, где четыре метра пустоты, и далеко внизу зловеще чернеет вода, под мостом лед протаял еще шире, черная водяная прогалина между кромками льда достигала метров восьми. Между тем ребятишки притащили неширокую длинную доску и протянули одним концом на другую сторону. Самый резвый, выбросив руки в стороны, почти бегом перескочил по доске на ту сторону пролома и уже подбадривал нас:

— А теперь, тетеньки, мы будем держать концы доски, а вы по одной перебегайте на ту сторону. Не бойтесь, доска выдержит, только вниз не смотрите, а то голова закружится — упасть можно.

Деваться некуда. Собрав в комок всю волю, преодолевая сильнейший страх, мы по очереди перебрались на другую сторону. Ребята повели нас в свою деревню.

Мы шли по дороге и все время оглядывались назад. Далеко за нашими спинами остались и Голая Долина, из которой так и не выбрались пятеро наших мужчин, и мост с его страшным проломом. Когда мы подходили к крайним хатам, на том берегу в сумерках показались немецкие танки. Но нам они были уже не страшны.

###### Подведем итоги

Как уже говорилось, наш Генштаб ошибся: посчитал, что немцы собирают в Краматорске танки для отступления за Днепр, а оказалось, они готовились окружить наши войска в районе Барвенкова — взять реванш за Сталинград. Что им и удалось. Когда мы, изменив маршрут, двинулись мимо Краматорска в Барвенково — тут нас и окружили немцы. Превосходящими танковыми и воздушными силами они разбили наши войска под Артемовском и окружили наши части в Барвенкове. В предшествующих непрерывных боях мы потеряли слишком много людей и техники, поэтому сопротивляться в Барвенкове нам уже было нечем. Два наших попавших в кольцо полка, как и тылы, все-таки сумели вырваться из окружения и воссоединиться с дивизией, но в конечном счете немцам удалось вытеснить нас за Северский Донец.

Таким образом, наши войска не сумели полностью выполнить грандиозные планы наступления после поражения немцев под Сталинградом. Не удержали Харьков, не освободили Донбасс и не закрепились за Днепром. Наверное, эти планы были слишком большими, не по силам армии, да и немцы были еще очень сильны. И все же именно в результате победы под Сталинградом была прорвана блокада Ленинграда, немцы вынуждены были оставить Ржев и убраться с Ржевско-Вяземского выступа; были освобождены многие города, и линия фронта отодвинулась на сотни километров на запад — с Волги на Северский Донец.

Наше движение по снегам Украины в феврале сорок третьего от Старобельска до Барвенкова было столь стремительно, что мы ни разу не остановились, разве только под Солью, на пополнение. За месяц солдат ни разу в бане не искупали. Когда вспоминаю тот бросок — не даром называлась операция «Скачок», перед глазами сплошные снега, немецкие танки, бои с ними, разбитые повозки на дорогах и трупы, трупы… Ну и, конечно, вспоминаются спасенные нами в Барвенкове ребятишки, та страшная бомбежка, грохот, свист, летящие в небо бревна и соломенные крыши, глубокие воронки и душераздирающий женский крик…

Так, волею судеб в свой первый год пребывания на фронте наша 52-я дивизия приняла участие в двух крупных сражениях: подо Ржевом и в Донбассе. К сожалению, несмотря на большое мужество, проявленное в этих кровавых боях солдатами и офицерами, оба сражения не были победоносными.

Подо Ржевом были страшнейшие бои, редко кто там уцелел. Но и на пути от Старобельска до Барвенкова и Изюма было не легче. И там, и тут погибал в основном боевой состав дивизии: роты, батареи, батальоны. Перед отправкой из-подо Ржева нас полностью укомплектовали, а под Артемовском снова две трети состава потеряли и пушки почти все были побиты. Восполнили потери, а в Изюм опять пришли только остатки дивизии, в Барвенкове даже тылы пострадали. Воистину, попали мы из огня да в полымя!

И несмотря ни на что, настроение у выживших в этих боях было приподнятое. Потому что наступали! Вон какие пространства отвоевали! Да и немцев много перебили.

### Глава седьмая

### На Курской дуге

### Март — август 1943 года

###### За «языком» на Курской дуге

Немцы жаждали вновь перехватить инициативу в войне. С этой целью всю весну и начало лета сорок третьего года они готовились к наступательной операции «Цитадель» в районе Курского выступа. Планировалось мощными сходящимися танковыми ударами из Орла и Белгорода окружить Курск и уничтожить наши войска Центрального и Воронежского фронтов. Затем повернуть на север, войти в тылы Юго-Западного фронта и двинуться с юга на Москву. С этой целью они оснастили свои войска мощными новейшими танками «Тигр» и самоходными орудиями «Фердинанд», а также скоростными истребителями «Фокке-Вульф».

52-я стрелковая дивизия в составе 57-й армии с марта по июль сорок третьего держала оборону по реке Северский Донец южнее Белгорода, тридцатью километрами южнее Волчанска. Позднее мы узнали, что именно в лесах на Донце от Чугуева до Белгорода — как раз напротив позиций нашей дивизии — фашисты сосредоточивали танковые соединения в ходе подготовки к операции «Цитадель», и делали они это в великой тайне: чтобы не рассекретить номера частей, у солдат даже были отобраны солдатские книжки.

Концентрацию своих войск в этих лесах немцы держали в таком секрете и охраняли настолько тщательно, что наша дивизионная разведка за два месяца, в течение мая — июня, не смогла взять ни одного «языка». Командование 57-й армии не знало, какими частями и какими силами располагает стоящий напротив нас противник. Разведданные были жизненно необходимы. Нашему командиру дивизии начальство даже пригрозило трибуналом за неспособность должным образом организовать разведку. Комдив, в свою очередь, приказал каждому подразделению: «Любой ценой добыть «языка»! Но и это дела не изменило: «языка» раздобыть никак не удавалось.

А ситуация была такая. Немцы сидели на высоком западном берегу, сплошь покрытом могучим лесом. Наша же оборона располагалась в низине, в километре от реки, по мокрому пойменному лугу. Сквозь густую крону вековых деревьев нам, снизу, не было видно, что делается у немцев в лесу, тогда как наши позиции были у них на виду как на ладони. Наши разведчики не могли не то чтобы переплыть Донец и захватить «языка» — даже приблизиться к берегу не удавалось. Немцы всецело хозяйничали на реке, а по ночам постоянно освещали наш пойменный берег ракетами и выставляли на нем боевое охранение, скрытно поджидавшее наших разведчиков.

Через мой НП каждую ночь отправлялись за «языком» группы поисковиков. Наш участок привлекал разведчиков тем, что по лугу до самой реки через каждые полсотни метров росли густые кусты, тогда как у соседей впереди простирался только голый песок. Однако и кусты не спасали — немцы превратили их в хорошо организованные засады. За два месяца мимо меня прошли за «языком» двадцать две группы по десять-двенадцать человек, и каждый поиск заканчивался полным уничтожением всей группы: немцы подкарауливали разведчиков под кустами, расстреливали и брали в плен. Лишь изредка из десятка ушедших возвращались двое, таща на плащ-накидке тяжелораненого.

Нам, артиллерийским разведчикам, не положено было ходить за «языком», у нас были другие задачи, да и не имели мы необходимой подготовки. Но командир нашего дивизиона майор Гордиенко вспомнил, как удачно мы сходили за «языком» подо Ржевом, хотя две предыдущие группы тогда полностью погибли — но этого он, конечно, не вспомнил. Надеясь и в этот раз на нашу удачу, он решил отличиться, вызвался добыть «языка». А поиск осуществить приказал мне, так как раньше я был начальником разведки дивизиона. За год боев из группы, ходившей за «языком» подо Ржевом, выжили только трое: два разведчика и я, их командир. На нас-то и рассчитывал Гордиенко.

###### \* \* \*

Когда я объявил своим разведчикам, что нам приказано взять «языка», ребята приуныли. Все мы восприняли приказ как смертный приговор, хотя никто при этом и словом не обмолвился. Каждый знал, что взять «языка» невозможно и живым вернуться тоже нельзя. Но каждый понимал: «язык» необходим.

Стали искать место поиска. На правом фланге дивизии у деревни Хотомли Донец делал петлю и глубоко вдавался в лес к немцам. Как раз в этом месте в Донец с востока, с нашей стороны, впадала небольшая речка Хотомля. Между устьем речушки и петлей Донца образовалось большое, километра два в поперечнике, болото. У верхушки петли левый берег Донца образовывал обширный остров, и нам пришло в голову: а что, если попробовать пробраться к немцам по болоту — через старицу — через этот остров — и там, под носом у немцев, глубоко в их тылу, переплыть Донец? Вдали от передовой немцы наверняка менее бдительны.

Приказал сержанту найти лодку и готовить группу из десяти человек к поиску. Сам же с Яшей Коренным, который еще подо Ржевом ходил со мною за «языком», решил ночью пробраться на заветный островок и с него через Донец посмотреть на немцев.

Когда стемнело, прихватили с собой боевое охранение из пехоты и двинулись. Перебрались через нашу колючую проволоку и минное поле, прошли еще метров двести по нейтралке в сторону болота и вышли к «точке»: здесь, в высокой траве, было замаскировано пулеметное гнездо с телефоном. Лейтенант-пехотинец остался на своей «точке», а мы с Яшкой почапали дальше в неизвестность, к болоту, падая при каждом отсвете ракеты. Нам нужно было посмотреть, что за болото, можно ли его одолеть, есть ли на острове немцы, что представляет собой протока. Оказалось, болото полностью заросло густой травой, только старица Донца светлой полосой разделяла его на две части. Густые заросли травы, глубокий ил и пышная ряса затрудняли движение. От света ракет прятались в воду. Вода была сначала по колено, потом по пояс, а кое-где до подбородка. Чтобы не оставить после себя борозду-след — немцы утром сразу заметят его в нетронутой рясе болота, мы двигались зигзагами вправо-влево; хотя путь наш утроился, зато образовавшиеся прогалины на воде перекрывались травой и камышом.

Наконец мы ступили на твердь острова. Замаскировались на нашем берегу протоки, то есть уже в немецком тылу, в двух километрах от своих. Прислушались, всмотрелись в темноту того берега. Все было мертво. Ни шороха, ни звука, ни огонька. Значит, охраны на берегу нет. С рассветом увидели тот берег: крутой, лесистый, метрах в пятидесяти от воды параллельно реке по скату натянута колючая проволока — значит, перед нею минное поле, в бинокль различались и проволочные растяжки. Пустынность берега и радовала, и тревожила: где же немцы? Ждем. И едва взошло солнце, в кустах среди деревьев мелькнули два белых колпака. Преодолев проходы в колючке и минах, два повара с автоматами на шеях и ведрами в руках шумно сбежали к воде. Они деловито и осторожно осмотрелись, особенно внимательно оглядев наш берег: нет ли там русских, затем бросили в воду несколько гранат, подобрали оглушенную рыбу, набрали в ведра воды и отправились восвояси. Вот этих голубчиков мы завтра и сцапаем, обрадовались мы с Коренным.

Больше за целый день на том берегу не появилось ни души. Лишь изредка из глубины леса доносились отдаленные голоса. С наступлением темноты мы пустились в обратный путь. В траншее нас уже ждали в полном снаряжении и с лодкой десять моих разведчиков. Взвалив лодку на плечи, не теряя времени, мы двинулись разведанным путем к острову.

Снова вода, трава, зигзаги. Лодку едва дотащили до старицы, дальше нести ее на плечах не было никаких сил. Коренной сел в лодку и погнал ее в основное русло реки, чтобы подняться по течению вверх и причалить к тому месту, где мы сидели с ним целый день.

Вышли по острову на место — а Яшки с лодкой нет! Страшная тревога пронзила сердце: неужели поймали немцы?! И Яшку жалко, и поиск сорвется! Успокоились, когда лодка Коренного въехала в траву берега.

Напомнил разведчикам об их действиях в различных ситуациях. Оставил группу обеспечения на нашем берегу, приказав сразу же отрыть в кустах траншею, а сам с группой захвата переправился на тот берег. Предварительно к корме и носу лодки привязали по длинному концу немецкого сталистого кабеля, носовой конец я прицепил под водой у немецкого берега, и группа обеспечения, потянув за кормовой конец, возвратила лодку к своему берегу, чтобы спрятать там в высокой траве; немецкий берег был песчаный и совершенно голый — лодку не спрячешь.

Расположились мы в кустах недалеко от воды, рядом с поварской тропой. С рассветом стали ждать поваров. А их все нет и нет. Уже и солнце поднялось, к обеду дело — их нет. Вот уже солнце за гору переместилось, а немцев нет как нет. Обеспокоенные, вконец искусанные комарами, голодные и злые, мы приуныли. Неужели не придут? Тогда придется ночью лезть через мины и проволоку наверх, искать блиндаж и блокировать его, а это очень рискованно и ненадежно: и сами можем не вернуться, и «языка» не добудем.

Весь план наших действий был рассчитан исключительно на появление немцев на берегу, что они войдут в воду. Соответственно и роли были заранее распределены: я с напарником уничтожаю левого, могучий Захаренко с разведчиком берет в плен правого, пятый с автоматом прикрывает тропу, а шестой бежит в воду, находит кабель и тянет лодку к нам.

Мы уже и ждать перестали немецких поваров, как вдруг наверху дзинькнули пустые канистры. И радость: идут! И тревога: как-то все получится?! — рассчитывали-то брать на рассвете, когда все еще спят, а тут конец дня, все на ногах, да и наши на том берегу не ждут нас, считают, что дело на ночь откладывается. Взглянули наверх: у колючей проволоки стоят два немца. Молодые блондины в черных кителях, без головных уборов, с автоматами на шеях и канистрами в руках. Это не повара, а танкисты. Они очарованы красотой нашего луга: освещенный заходящим солнцем, он изумрудно сиял… Но время-то идет! Немцы любуются, а нам не терпится, так и хочется крикнуть: ну, чего стоите, бегите скорей к реке! Наконец немцы пробежали мимо нас. Вошли в воду, нагнулись, вдавили пустые канистры в реку и, вытянув шеи, стали пристально смотреть на наш берег. Булькая и брызгаясь, канистры медленно наполнялись, я молча поднял и резко опустил правую руку. Это был сигнал к действию. В два прыжка оказался у левого немца и уже занес для удара финку, как он резко шагнул дальше в воду, бросил канистры, схватился за автомат и повернулся ко мне лицом. Наши прыжки по песку были бесшумны, немец едва ли что уловил, скорее сработал какой-то инстинкт или интуиция. Используя инерцию, я завалил его на спину и ухватился левой рукой за автомат, правой же стал наносить удары финкой в грудь. Перемещая автомат перед грудью, немец парировал мои удары, одновременно пытаясь развернуть оружие. Все же я нанес решающий удар, немец обмяк. В этот миг, как резаный, а он и в самом деле был резаным, заорал правый немец. Я поручил своего немца напарнику, который до этого бездействовал у меня за спиной, чтобы тот добил немца и обшарил его карманы, а сам бросился к Захаренко — не зарезал бы он «языка»! Свернув блином пилотку, я сунул ее в рот фашисту, он замолчал. Оказалось, завалив немца, Захаренко хотел затолкнуть ему в рот кляп, но запутался в прорези маскхалата, не нашел приготовленный в кармане брюк кляп, схватил горсть гальки с песком и всыпал немцу в рот, а немец схватил большой палец разведчика зубами и ударил его сапогом в лоб, от пальца осталась косточка, и под действием дикой боли разведчик всадил немцу в бок финку — вот тут-то немец и заорал.

Сразу же послышались тревожные крики наверху. Стреляя на ходу, к нам по лесу уже бежали немцы. Наш лодочный никак не мог найти в воде конец кабеля, чтобы притянуть к себе лодку, со страху бросился в воду и поплыл к нашему берегу, хотя после говорил, что поплыл за лодкой. Сколько промашек совершили мы из-за своей профессиональной неподготовленности! Я вбежал поглубже в воду, наткнулся на кабель и подтянул к себе лодку, раненого немца бросили на спину в лодку, я оседлал его, и ребята с того берега потянули нас за свой конец. Пятеро разведчиков, находясь в воде, ухватились за борта лодки. Кабель натянулся как струна! Вот-вот лопнет! Пятерка державшихся за лодку оказывала ей в воде громадное сопротивление. С неимоверным страхом всматривался я в вибрирующий трос, ежесекундно ожидая разрыва, уже представляя, как понесет нас по течению под пули дзотов… Но кабель выдержал. А разведчики, как только ощутили дно реки, стали толкать лодку к берегу. Наконец, торопя «языка», мы перебежали в готовую траншею. Я успокаивал ребят, перевязывал немца, а сам тревожно думал: сейчас немцы переплывут реку, захватят брошенную нами лодку, переправятся с подмогой на этот берег, завяжут бой, и останемся мы навечно на этом острове вместе с «языком».

Немцы открыли огонь по нашему берегу из всех видов оружия. Этот яростный обстрел мы переждали в траншее. Снаряды и мины рвались близко, но никто из нас не пострадал: спасал глубокий окоп. А вскоре немцы медленно покатили огневой вал к болоту, предполагая, что как раз там мы и ползем по высокой траве. Мы же отсиделись в траншее, а потом поползли по высокой траве вслед за огневым валом. Ползли мы снова зигзагами, долго и трудно. Но одолели и болото.

В свою траншею мы ввалились еле живыми, уже было темно. О нашем успехе по телефонам сразу же узнала вся дивизия. И вся дивизия неимоверно ликовала, ведь все знали, как дорого обошлись нам все ранее произведенные попытки. И вот он, долгожданный пленный! На нашей передовой! Удаче радовалось и все начальство, вплоть до штаба армии. Заранее присланный комдивом переводчик уже ждал нас в блиндаже, он сразу же приступил к допросу пленного: все боялись, как бы раненый немец не умер. Фашист, в надежде на сохранение жизни и медицинскую помощь, сказал правду: он из танковой дивизии «Великая Германия», прибыла она из Франции.

###### Почтовая квитанция

К утру мы вместе с немцем были у полковника Фадеева. Комдив обнял каждого и обещал наградить. Мы радовались, как дети, — гуляй, ребята! Расположились на полянке вблизи блиндажа комдива, все наше мокрое обмундирование сохло на кустах, а мы согревались пробежками. И вдруг полковник снова вызвал меня к себе. Ну, думаю, снова хвалить будет. Радостный, в одних трусах вбегаю в блиндаж комдива. Сразу насторожило озабоченное лицо полковника.

— У пленного не оказалось документов, — печально сказал Фадеев, — штаб армии потребовал добыть контрольного пленного. Кроме вас, никто с этой задачей не справится, поэтому даю тебе двое суток, и чтобы новый «язык» был у меня.

Как громом поразили меня эти слова! Ну, где его найдешь, второго пленного?! По старому следу не пойдешь, а больше подходящего места не сыщешь! Как я скажу об этом ребятам?! Это равносильно смертному приговору! Но делать нечего. Иду к разведчикам.

Ошеломляющую новость и они встретили с великой печалью. Сначала у всех моих ребят отнялись языки, наступила мертвая тишина. Но деваться нам было некуда. Такова наша участь.

— Ну что раньше времени умирать, — обратился я к своим друзьям, — будем думать, как выполнить приказ.

— А у второго немца, которого прирезали, неужели в карманах не оказалось никакой бумажки? — осведомился Коренной у моего напарника: все знали, что ему было приказано все забрать из карманов убитого.

Сначала напарник клялся, что ничего у второго немца в карманах не было, а когда друзья по-настоящему прижали его, признался:

— Да была одна маленькая, да, наверное, ее из брюк водой вымыло, когда через реку и болото переправлялись, резинка-то на концах брюк ослабла.

— А может, вытряс при сушке? — не унимались товарищи.

Выстроились в шеренгу, сели все на колени и поползли по поляне искать в траве заветную бумажку. Прочесали каждую травинку на поляне — и ничего не нашли. Вдруг под кустом, где сохли маскхалаты, кто-то заметил: торчит сморщенная полоска бумаги, уже подсохшая в лучах солнца. Ребята осторожно положили ее ко мне в раскрытые ладони, и я, не дыша, как великую святыню, понес бумажку к полковнику.

Переводчик бережно разгладил бумажку и начал внимательно всматриваться в нее. Мне показалось, что рассматривал он ее целую вечность. Сам я смотрел не на бумажку, а на лицо переводчика: что-то сейчас на нем высветится — десять жизней или десять смертей?.. И вдруг лицо переводчика стало медленно просветляться, глаза расширились, и он медленно проговорил:

— Это почтовая квитанция, немец посылку отослал, на ней можно разобрать номер полевой почты.

— Да разбирай же! — почти в один голос вскрикнули мы с полковником.

Наконец переводчик назвал номер полевой почты. Его тут же сообщили в штаб армии. Теперь с замиранием сердца я начал ждать ответного звонка из штаба.

Трубку взял комдив:

— «Полевая почта «Великой Германии»? — переспросил он, лицо полковника расползлось в улыбке, и мы с переводчиком поняли, что наш пленный правильно назвал свою часть.

Ну, а когда полковник сказал мне, что контрольный пленный не нужен, я чуть не подпрыгнул до потолка и помчался к своим разведчикам. Наверное, я сообщил им самую радостную весть, какую каждый из них когда-либо слышал за всю свою жизнь. Все мы пережили второе рождение и боготворили бумажку, спасшую наши жизни.

Да, повезло нам несказанно. Маленькая бумажка спасла не менее десятка жизней.

###### Кочелаба-спаситель

В июне сорок третьего я командовал гаубичной батареей, поддерживал огнем стрелковый батальон. Мой наблюдательный пункт на опушке рощицы располагался рядом с КП комбата. Впереди, двадцатью метрами ниже, проходила наша первая траншея, дальше нейтралка, Донец и, за рекой, на высокой лесистой горе правого берега — немцы.

На мой наблюдательный пункт пришел капитан Кочелаба, помначштаба нашего артполка, пришел проверить, на самом ли деле я сижу там, где показал на схеме. Для меня такое недоверие штаба было оскорбительным. Но такие проверки были необходимы. К стыду нашему, некоторые трусливые службисты из числа кадровых офицеров в целях собственной безопасности устраивали свои наблюдательные пункты где-нибудь на задворках, откуда и противника-то толком не видно, а то и в погребах располагались. А докладывали, что сидят на самой передовой. Именно эти щеголеватые лжецы преувеличивали силы немцев, чтобы получить от начальства побольше подкреплений, называли завышенные цифры уничтоженных ими сил противника. Штабы заранее не верили им и вносили нужные коррективы в сообщения лжецов, потому что и сами грешили подобным образом в своих донесениях наверх, особенно в наградных документах. А страдали от этой заскорузлой армейской болезни честные офицеры. В основном из числа запасников, бывших студентов и десятиклассников, которые не прошли вредную школу очковтирательства. Начальство сомневалось в правдивости их донесений, а потому автоматически раза в три изменяло полученные от них данные. А главное, страдало от таких махинаций дело, страдали честные офицеры.

Но мне на фронте везло в другом: меня долго не убивало и редко ранило. Ну а коли долго остаешься жив, постепенно приобретается опыт, а потому и убить меня было уже не просто. Разве что случайно. Но случайности у меня тоже были счастливыми. Капитан Кочелаба пришел меня проверять ровно за пять минут до обстрела немцами моего НП. Если бы он пришел с проверкой на шесть минут позже или совсем не пришел, я бы неминуемо погиб.

А дело было так. Местность на берегу реки у сосенок была сплошь песчаная. Окопы нельзя было отрывать глубокими — при обстреле засыплет песком. А стояла жара. Мой разведчик для прохлады выбухал себе в песке окоп метра полтора глубиной. Я на ночь выгнал его, от греха, из этого ровика. Случилось так, что той ночью спать мне было некогда, и я лег отдыхать только утром. И конечно же, спасаясь от жары, устроился, подостлав шинель, на дне именно этого злополучного, но прохладного окопа: мне-то никто не мог запретить сделать это.

Только заснул, и тут пришел Кочелаба. Поднял меня из окопа, и устроились с ним в тенечке под сосной; мы хорошо знали друг друга и рады были встрече.

— Ну чего я тебя проверять буду? Ты всегда сидишь в пехоте, потому за тебя и бьются комбаты, — сказал Кочелаба.

— Ты слышал, Толю Григорьева убило? — спросил я.

— Знаю, — горестно откликнулся Кочелаба. — Они там, в тыловой деревне, в бесхозной хате организовали баню, в нее-то и попала бомба, всех четверых разнесло в клочья.

— А Толя мне всегда сочувствовал, — вспомнил я друга, — он-то, техник, в тылах обитал, надеялся выжить. «А вот тебе, — говорил, — каждую минуту смерть грозит». Он был из Ленинграда…

Нашу беседу прервал характерный клекот летящего тяжелого снаряда. Тут же метрах в двухстах грохнул мощный разрыв. Мы успели прилечь, и над нами зло прошумели осколки.

— Килограммов сто, не меньше, — определил я.

— Какими чушками вас тут угощают, могут и убить, — пошутил Кочелаба, — пойду-ка я лучше к себе в штаб, там поспокойнее.

Он вскочил и быстро побежал в тыл, в глубь рощицы. Вскоре послышался клекот нового снаряда, я мигом бросился в ближайший ровик — тот самый злополучный глубокий окоп, в котором собирался продолжить свой сон. Едва, полуприсев, я коснулся ногами дна, как грянул неимоверной силы взрыв близко упавшего тяжелого снаряда. Земля вздыбилась, и весь песок со стен ровика хлынул на меня. В полусогнутой позе меня засыпало целиком, поверх песка торчали только глаза и ноздри. Но вдохнуть воздух и крикнуть я не мог: песок сжал грудь, как клещами, к тому же, приземляясь, я почти целиком выдохнул из легких воздух. Любому человеку, не побывавшему в такой переделке, может показаться: а чего сложного, взял и вытащил из песка руки вверх, как из воды, да и откапывайся. Но опущенными во время прыжка вниз руками в песке невозможно даже пошевелить! Ко всему, громадный осколок снаряда размером с лопату, как бритвой, срезал сосну, под которой сидели мы с Кочелабой, она с шумом рухнула на мой ровик и своими ветками полностью закрыла меня.

Мои разведчики в момент взрыва тоже юркнули в ровики. А когда стали звать меня, то увидели на месте глубокого ровика лежащее дерево. Пока стаскивали его, а это быстро втроем не сделаешь, у меня потемнело в глазах, и я будто куда-то провалился. Потом ребята начали руками разгребать песок. Когда освободили грудь, моя посиневшая голова безжизненно опустилась. Стали копать дальше. По пояс откопали, и все равно вытащить никак не могли. Поднатужились и рванули так, что мои плотно прилегавшие к ногам сапоги остались в песке. Их с трудом откопали, а шинель с пилоткой так и остались в глубине под песком.

Ну а меня, бездыханного, посчитали мертвым. Похоронить решили в рощице. Но тут кто-то предложил сделать искусственное дыхание. Яшка Коренной был мастером в этом деле, когда-то в Приморье он откачал утопленника. Сил и времени разведчики не пожалели. Трудились изо всех сил по очереди. И я задышал, открыл глаза.

Ну а если бы Кочелаба не пришел, не поднял бы меня со дна глубокого окопа? Меня засыпало бы так, что, пока откопали, никакое искусственное дыхание не помогло бы.

Падения снаряда в назначенное время вблизи моего окопа никто бы не отменил, а вот появление посланца штаба перед самым обстрелом спасло мне жизнь.

###### Наступление

Начало операции «Цитадель» на Курской дуге немцы наметили на июль. Однако их планы стали известны советскому командованию, которое приняло меры для отражения удара и нанесения противнику ответного контрудара. Была построена невиданная до тех времен многополосная оборона глубиной до трехсот километров. На ней сосредоточили войска, оснащенные небывалым количеством танков и самолетов.

За два часа до начала немецкого наступления по противнику был нанесен неимоверной силы артиллерийский удар. Это вызвало переполох среди немцев. Однако, отсрочив время, они все же начали наступление. Завязались грандиозные танковые сражения при поддержке самолетов и пехоты. В сражении с обеих сторон участвовало более четырех миллионов солдат, свыше тринадцати тысяч танков и двенадцать тысяч самолетов.

С 5 по 12 июля наступали немцы. Они вклинивались в нашу оборону на 10–12, а местами до 35 километров. Но дальше пробиться не смогли. Советские солдаты стояли насмерть. 12 июля началось наше контрнаступление и продолжалось до 23 августа.

Наша дивизия вела бои на южном фасе Курской дуги. Бои гремели севернее нас, под Понырями и Обоянью.

С началом Курской битвы немцы пытались наступать и на нашем участке. Но мы крепко держали оборону.

9 августа мы форсировали Донец и заняли плацдарм на их, правом, берегу. Но укрепления у немцев были такие мощные, а оборонялись они так упорно, что одолели мы их с невероятным трудом. Бои грохотали под стать ржевским. Потери мы несли огромные. Только за первую неделю ожесточенных боев дивизия потеряла до семидесяти процентов своего состава — около двух тысяч убитыми и более четырех тысяч ранеными. Немцы постоянно контратаковали нас танками при поддержке самолетов. Наступая, мы постоянно оборонялись.

Где-то на полпути к Харькову батарею, как и всю дивизию, пополнили людьми и дали новые орудия. Медленно, но мы продвигались вперед. И вот он, Харьков. Взяли мы его наконец 23 августа. Курская битва закончилась. Немецкие войска были разгромлены. Освобождены Орел, Белгород и Харьков. Но нашу дивизию заставили идти дальше, на юг.

### Глава восьмая

### Артбатарея в действии

###### Занятие боевого порядка

Расскажу немного об артбатарее времен Великой Отечественной войны, отвечая на вопросы, которые чаще всего задают люди, читая или слушая мои рассказы.

Артбатарея поддерживает огнем какой-нибудь — какой прикажут — стрелковый батальон, их в дивизии 9. Артбатарея и батальон — это связка: они вместе передвигаются и ведут бой. Позднее, командуя дивизионом, я поддерживал огнем уже стрелковый полк.

По дороге в пешем строю поротно — рота за ротой — движется батальон в 200 человек. Впереди — командир батальона и командир поддерживающей его батареи, тут же управленцы — связисты и разведчики. Километрах в 4–5 впереди — конные или пешие разведчики-пехотинцы, вслед за ними и по бокам движется боевое охранение — 3–5 человек с пулеметом.

Артбатарея на конях едет следом за пехотой. Каждое орудие везут запряженные цугом три пары лошадей, каждой парой коней управляет свой ездовой, сидит он при передвижении всегда на левой лошади. Длина одного поезда с 76-мм орудием в походном положении — 20–22 метра.

Если орудия везут машины, то они движутся перекатами: догонят пехоту и стоят на месте, пока пехота не уйдет километров на семь вперед. Длина поезда: машина + передок + 122-мм гаубица — соответственно: 5 метров + 3 + 8 = 16–20 метров.

Как только разведчики обнаружили противника, сразу же посыльный извещает об этом комбата. А командиры еще по ходу передвижения смотрели по сторонам, мысленно подбирая места для занятия обороны: где на пригорке пехоту расположить, куда поставить орудия, где будет наблюдательный пункт.

По команде командира батальона пехота рассыпается вправо и влево в линию на километр. Залегает и малыми саперными лопатами окапывается. Сначала роют ямку, чтобы голову и грудь спрятать, потом ровик по колено. Если же надолго остановятся в оборону, то вырывает каждый ячейку, затем соединяется с соседями — и получается сплошная траншея.

А командир батареи уже послал к орудиям разведчика с указанием, где ставить орудия. Связисты потянули бегом связь к орудиям.

Через 5 минут батальон готов к бою.

Солдаты лежат метрах в 4–5 друг от друга. Командир батальона располагается метрах в ста позади цепи солдат. Командир батареи рядом с комбатом оборудует НП.

Орудия ставятся в лощинке и приводятся в боевое положение. Сначала роют ровики сзади орудий для расчетов, потом заглубляют орудия, снаряды.

А вот и противник появился. По нему открывают по команде командира огонь.

При орудиях всегда боевой комплект — возимая постоянно норма снарядов на каждое орудие. Для пушки — 70 снарядов: по 5 снарядов в ящике, 14 ящиков. Для гаубицы — 60 снарядов: 2 снаряда и 2 гильзы в ящике, 30 ящиков по 60 кг.

При артподготовке, когда прорывают оборону противника, в течение часа выпускают по три БК (боевых комплекта).

Снаряды.

У взрывателей снарядов навинчены маленькие защитные колпачки. Если нужно, чтобы снаряд до взрыва глубоко вошел в строение, в блиндаж и лишь потом разорвался, то колпачок не снимают, а на взрывателе поворачивают стрелку на букву «з» — и взрыв произойдет с замедлением, то есть фугасный. А если стреляют по пехоте, то взрыватель осколочный: нужно попросту свинтить колпачок, и снаряд разорвется при встрече с землей, с веточкой. А если стреляем шрапнелью или бризантным, то подводят кольцо с цифрами на нужный номер.

У пушки — унитарный, то есть единый патрон: снаряд плюс прикрепленная к нему гильза с порохом. Его одним махом бросают в казенник. Если стреляет гаубица, то к снаряду передается еще заряд-гильза с мешочками пороха. У гаубиц снаряд тяжелее — 23, а то и 43 кг, поэтому гильзу с зарядом вкладывают после снаряда, отдельно. Гильза закупорена пропарафиненной толстой картонной крышкой. Ее установщик за тесемочную ручку срывает, вынимает тонкий картонный кружок и выбрасывает из гильзы пару мешочков пороха — если команда: «заряд второй». Самое большее — 8 мешочков выбрасывает. Потом тонкой крышкой закрывает гильзу и подает ее заряжающему. Тот точно вгоняет снаряд в казенник.

Тактико-технические данные дивизионной артиллерии времен Великой Отечественной войны:

###### Команды на открытие огня, или на стрельбу

Стрельба с закрытой позиции

Закрытая огневая позиция (ОП) — это когда орудия стоят в тылу, в 2–5 км от передовой, и стреляют по приборам, не видя цели, — через лес, дома, горы. Цель видит командир батареи. В бою он находится вместе с пехотой и комбатом — в цепи атакующих или на НП.

На НП я наблюдаю за противником, выделяю цели: орудия, пулеметы, наблюдательные пункты, скопления пехоты, танков, машин. Недалеко от меня три-четыре разведчика и три-четыре связиста, последние постоянно, днем и ночью, дежурят у телефона по очереди, исправляют порывы проводов.

На НП у меня — бинокль и стереотруба. Последняя крепится на треноге в траншее или на штыре, вбитом в землю или ввинченном в дерево. В нижней части стереотрубы — два окуляра для глаз, а на концах двух расходящихся и направленных вверх труб — большие круглые стекла-объективы. Верх трубы высовывается из окопа, а голова наблюдателя — ниже уровня земли, чтобы не застрелили. Увеличение трубы — 10-кратное, а с насадками на объективах — 20-кратное. За километр видишь как со ста метров.

Это на НП. В атаке — иначе. Я бегу, ползу, лежу на земле рядом с комбатом под огнем врага. Тут же — мой связист, он всегда возле меня с телефонной трубкой, привязанной к уху, и с аппаратом в руке, за спиной у него карабин и катушка с кабелем. Справа или слева бежит или ползет, лежит пехота, солдаты. Я зорко смотрю на немецкие позиции, а для этого надо приподняться под пулеметные струи и автоматный огонь неприятеля. Как увидел с НП или в атаке, что бьет по нашей пехоте пулемет или орудие стреляет, танк выползает, кричу:

— По местам! — Это чтобы все расчеты встали у орудий. — По пулемету (по пехоте, по танку)! Правее (левее) 0-15. Прицел 8–5 (8–5 = 85). Первому один снаряд, огонь! — Это моя команда на пристрелку.

Телефонист точно, громко повторяет мою команду в трубку. По телефонному проводу — который постоянно с катушки за спиной связиста разматывается, куда бы мы ни бежали, ни лезли — на омет ли соломы, на дерево, под завал — команда от моего связиста попадает на телефонный аппарат связиста, который сидит около орудий на огневой позиции. Тот громко повторяет мою команду старшему на батарее:

— По местам! По пулемету! — И т. д.

Старший на батарее — замкомбатареи, офицер, — вскакивает на ноги и во все горло, на всю батарею дублирует команду до слова «огонь»:

— По пехоте, правее 0-15, прицел 8–5, первому — один снаряд! — И всё.

Командиры орудий повторяют мою команду своим расчетам. Все номера расчетов всех четырех орудий батареи принимаются за дело. Наводчики ставят довороты, прицелы, поворачивают стволы орудий. Замковые открывают затворы орудий, поднимают стволы, совмещая риски прицела и ствола. Ящичные выхватывают нужные снаряды из ящиков, тряпкой обмахивают их и передают подносчикам. Подносчики переносят снаряды установщикам. Те готовят снаряды — в зависимости от типа стрельбы, устанавливают взрыватель снаряда на осколочное, замедленное или фугасное действие.

Команды командира батареи с передовой принимают и исполняют все расчеты, но заряжают только то или те орудия, которым отдан приказ. Если:

— Первому! — то заряжают только первое орудие.

Остальные ждут команды. Когда же надо стрелять всей батареей, каждое орудие уже готово к этому. Я на передовой наблюдаю и корректирую точность попадания снарядов. Пристрелка закончена, передается моя команда с НП на поражение:

— Батарее! — Это касается всех орудий, теперь заряжаются сразу все орудия.

После заряжания замковый закрывает казенник затвором. Все! — орудие готово к выстрелу.

Командиры орудий наблюдают за быстрой работой расчетов и, подняв руку вверх — знак готовности (голоса в грохоте боя могут не услышать), кричат:

— Первое готово!

— Второе готово! — И т. д.

Старший на батарее, офицер, кричит:

— Первое! (Или: Батарее!)

Командир первого орудия резко опускает руку и кричит:

— Орудие! — это его команда наводчику на выстрел.

Наводчик «рвет» — резко и сильно тянет боевой шнур у гаубицы, а у пушки резко жмет рычаг спуска. Происходит выстрел, и наводчик докладывает командиру орудия:

— Выстрел!

(А бывает, что нет выстрела, тогда наводчик докладывает: «Орудие не стреляет!»)

Командиры орудий громко повторяют старшему на батарее:

— Выстрел!

Старший офицер повторяет телефонисту:

— Выстрел!

Его телефонист — в трубку:

— Выстрел!

У меня на передовой, сзади-справа от меня, слышу голос связиста:

— Выстрел!

Секунд через 6–8 рвется снаряд.

Долго я описывал. На самом деле все происходит очень быстро. В любую погоду, в любое время суток и время года стоит мне только подать команду: «По местам!» — и через 15–20 секунд разорвется, где нужно, мой снаряд. Связь у артиллеристов работает как часы. Каждую секунду ловит мою команду связист. Он не уснет! И они же, связисты: мой с передовой и старшего офицера на огневой позиции, — при порыве кабеля бегут с двух концов навстречу друг другу, держа провод в руке. Находят и ликвидируют порыв. Считаные минуты уходят и на это. Трудное и опасное дело: бежать со всех ног под огонь устранять порыв провода.

Когда я вижу разрыв первого снаряда, делаю поправку, и уже второй, а то и все 16 снарядов всей батареей беглым огнем упадут в нужное место. Цель уничтожается. Пехота спасена и аж вопит от восторга и радости. Как признательны бывают солдаты такому артиллеристу, который спасает их от неминуемой гибели! Пехота ли врага перед последним броском в наши траншеи бывает разметана разрывами; или танки неприятеля останавливаются под градом рвущихся снарядов — все в дыму, в облаках пыли, ничего не видно, куда им ехать.

Итак, моя команда на поражение:

— По пехоте! Батарее, четыре снаряда, беглый огонь! — Это значит, как можно быстрее каждое из четырех орудий делает четыре выстрела.

На месте падения снарядов ничто не уцелеет.

Стрельба прямой наводкой.

Прямая наводка — это когда орудия (обычно пушки) ставят на открытую позицию так, чтобы наводчику была видна цель: танки, пехота, пушки и пулеметы противника.

Если батарея стоит на прямой наводке и на нее несутся немецкие танки, то дело происходит так.

Батарея — в окопах, замаскирована. Расчеты — у орудий, на местах. Тревожное ожидание. Как только до танков остается 800–600 метров, командир подает команду:

— По танкам огонь!

Иногда подпускают врага на 400 метров. И пошла «быстрая стрельба»! Некоторые танки горят, останавливаются, будучи подбиты. Остальные открывают стрельбу по орудиям и продолжают мчаться вперед, на батарею.

В результате короткого боя: или танки наполовину перебиты, остальные уходят назад; в батарее убитые, раненые, из четырех орудий целыми остаются 2–3. Или: танков много, часть подбита, но остальные врываются на огневую позицию батареи и давят орудия и расчеты гусеницами, а пехота врага соскакивает с танков и добивает уцелевших артиллеристов.

Остатки вражеских танков идут дальше. Но в тылу нашем стоят другие батареи, они добивают прорвавшиеся танки неприятеля.

Вообще бой с танками — страшное дело. Обоюдно страшное.

Классически бой с танками происходит так. Чаще навстречу танкам на конях или на машинах выбрасывается батарея. Танки уже стреляют, а орудия под огнем разворачиваются стволами к противнику, приводятся к бою: станины раскидываются в стороны, укрепляют сошники (концы станин) в грунте для упора при стрельбе, а то орудие от выстрела покатится назад. И начинают стрельбу по танкам. А уже много людей побито, одно-два орудия разбиты. Тут сверху падают мины и снаряды немецких артиллеристов, вдобавок к танковым. Но, несмотря ни на какие потери, оставшиеся в живых под огнем бьют немецкие танки.

###### Прочее вооружение и амуниция

Мины противопехотные и противотанковые устанавливаются перед колючей проволокой переднего края в шахматном порядке. Они зарываются в землю или в снег, маскируются, торчит только усик, зацепив за который произведешь взрыв. Иногда натягивают тонюсенькие, незаметные проволочки. Натянул или порвал проволочку — последует взрыв. Противотанковые мины более мощные, взрываются от нажатия колесами или гусеницами.

Колючая проволока в шесть колов — это шесть рядов кольев высотой два метра, вбитых в глубь земли на полметра, вдоль, поперек, по всем диагоналям которых через каждые 20 сантиметров натянута колючая проволока, прибитая гвоздями к кольям. Ни подлезть, ни перелезть, ни просунуться через множество колючих струн невозможно. Единственное средство преодолеть колючку — ножницы по металлу. При наступлении колючую проволоку сметают снарядами, танками или накануне ночью саперы делают проходы ножницами.

Спираль Бруно — это моток колючей проволоки диаметром 1,2 метра, кольца которого тоже перехвачены проволокой. Спираль растягивается вдоль окопов за минным полем.

За колючку привязывали пустые консервные банки, которые ночью гремели, если кто-то касался проволоки.

Карабин. У артиллеристов, чтобы не мешал в работе на орудиях, с лошадьми, личным оружием служил карабин, а не длинная винтовка. Карабин носили на ремне за спиной или ставили в пирамидку у орудий. Карабин — это укороченная за счет ствола винтовка, чаще без штыка или с примкнутым штыком в свою сторону. При необходимости штык разворачивался в сторону противника.

Гранаты ручные и противотанковые

У нас были лимонки с насеченным стальным корпусом — большое яйцо. Поражала лимонка до 250 метров. Граната с рукояткой бросалась после встряхивания. Через 3 секунды — взрыв.

Противотанковая граната тоже с ручкой, но железной. Размер стакана с литровую стеклянную банку.

У немцев ручные гранаты были похожи на пасхальные яйца — темно-синие. Из конца торчала «пуговица». Резко потянешь, вытащишь шнурок — и граната через 5 секунд взорвется. Другие гранаты были с длинной ручкой, чтобы удобнее бросать. Взрыв тоже замедлен по сравнению с нашими гранатами. Мы успевали ловить немецкие гранаты, бросать их обратно противнику, и они взрывались у хозяев.

Плащ-накидка — прямоугольник из тонкого брезента защитного цвета. На одном углу продет полукругом шнурок. Если надеть накидку по диагонали, то круг ляжет на плечи, а угол прикроет голову. Противоположный угол прикалывался коклюшкой в отделанную металлом дырку, чтобы не тащился по земле. С боков проделаны дыры-клапаны, чтобы просовывать наружу руки. Вместо пуговиц — деревянные коклюшки на шнурочках; вместо петель — ометалличенные дырки.

Плащ-палатка — квадрат (2 х 2 м) из тонкого брезента. На двух противоположных сторонах — ометалличенные дырки. Палатку клали на палку-поперечину на высоте метра над землей, и края притягивали шпагатом за дырочки к земле. Получался шалашик.

Фляжка алюминиевая для воды — на 0,7 литра. Иногда были стеклянные, в чехле.

Котелок алюминиевый, приплюснутый, с крышкой, которая защелкивалась алюминиевой же скобой. Эта скоба являлась и ручкой, когда в крышке несут второе блюдо, а первое — в котелке.

###### СПРАВКА

В стрелковую дивизию времен Великой Отечественной войны входили:

1. Три стрелковых полка по 2,5–3,0 тысячи человек — пехота. Полк состоит из трех батальонов. Стрелковый батальон (800 человек) — основная тактическая боевая единица дивизии.

2. Один артиллерийский полк — 2,0–2,5 тысячи человек, 32 орудия.

3. Штаб дивизии.

4. Саперный батальон — наводит переправы, ставит колючую проволоку и мины перед передним краем. Строит блиндажи начальству.

5. Разведывательная рота.

6. Рота связи — обеспечивает связь полков с командованием дивизии.

7. Противотанковый дивизион — охраняет штаб дивизии: 12 76-мм орудий.

8. Зенитно-пулеметная рота.

9. Минометный батальон.

10. Пулеметный батальон.

11. Учебный батальон. В нем готовят из рядовых солдат сержантов — командиров отделений и орудий.

12. Ротахимзащиты.

13. Медсанбат.

14. Тылы — обеспечивают жизнь и бой всех четырех полков — питанием, боеприпасами, амуницией и т. д.

15. Полевая хлебопекарня.

16. Ветеринарный лазарет — лечит лошадей.

17. Автомобильная рота — осуществляет перевозки, подвоз.

18. Политотдел. В дивизии 16 первичных и 87 ротных парторганизаций, 16 первичных и 126 ротных комсомольских организаций. В каждой из них — парторг и комсорг. Офицеры-политработники подчиняются политотделу.

19. Прокуратура и суд.

20. Особый отдел и Смерш (Смерть шпионам) — контрразведка.

21. Редакция дивизионной газеты.

22. Оркестр, клуб. Начальник-дирижер, певцы, певицы, танцоры и др.

23. Полевая почта.

24. Магазин военторга.

При формировании — в дивизии 12 тысяч человек. Из них воюют с немцами менее половины всего личного состава. Остальные обслуживают, агитируют, лечат и т. д.

Воюют, пока остается в дивизии 2,5–3,0 тысячи человек. А пополняют каждый раз всего до 6–7 тысяч. Но ведь выходят из строя люди в основном на передовой. Их-то, оставшихся, со всей дивизии (9 батальонов) и сводят в один батальон, он и воюет. А в тылах — штабы, политотдел, службы вещевые, продовольственные, артснабжения, горючего, хлебопекарня, суд, прокуратура, особый отдел, банно-прачечный отряд, почта, магазин, клуб, оркестр, певцы и танцоры. Кому они пели? Непонятно. Ни они на передовую не ходили, ни к ним — с передовой. Немца-то не оставишь без присмотра!

### Глава девятая

### По пятам врага

### Конец августа — сентябрь 1943 года

###### Спасибо Капитонычу!

Обескровленная после харьковских боев дивизия с боями продвигалась по Украине. Наша задача: не дать закрепиться противнику, на плечах врага продвинуться как можно дальше на юг. Немцы отступали от села к селу, от одной лесозащитной полосы к другой — и всякий раз каждое село, каждую полосу мы вынуждены были брать с бою! Они сидят с пулеметами в окопах полного профиля, стреляют по атакующим, а мы бежим на их стреляющие пулеметы по ровному голому жнивью. Но главная наша беда — это отсутствие снарядов. А как без снарядов выковырнешь фашистов с очередного рубежа?! Я со своей гаубичной батареей поддерживал батальон капитана Абаева, а это значит — все время находился вместе с атакующими, и, по мере нашего продвижения, следом переезжали повзводно на новые огневые позиции и орудия моей батареи.

Вот и на этот раз бежим мы с телефонистом рядом с комбатом в цепи наступающей пехоты. Бежим мы за отступающими немцами, перемещаясь от одного омета соломы до следующего. Дело происходит в последние дни августа, в поле тепло, солнечно, хлеба все убраны, куда ни глянь — чистым золотом светится ровное жнивье, по нему тут и там беспорядочно разбросаны высокие, еще не успевшие осесть и уплотниться ометы душистой соломы. Пехота обегает ометы, а мы с комбатом Абаевым вскакиваем на каждый, чтобы сверху лучше все видеть. Смотрим, немецкая пехота заскочила в лесополосу. Едва наши солдаты, а их в батальоне человек пятьдесят осталось, приблизились к этой полосе метров на двести, как неожиданно навстречу им из лесопосадки вываливается густая черная цепь фашистов — человек двести! Противник контратакует свежими силами! Наши бойцы оторопели, залегли. А немцы, стреляя на ходу, изо всех сил бегут нам навстречу, и с флангов по атакующим открывают огонь вражеские пулеметы.

Наши пехотинцы испугались такой силищи, и один за другим начинают отползать назад, потом все поднялись и бросились бегом отступать. Я ударил своими снарядами по немецкой цепи — фашисты залегли. Абаев соскочил с омета и с поднятым над головой пистолетом побежал останавливать убегающих солдат — на ходу пятится назад, стреляет вверх, ругается, но никак не может остановить свой отступающий батальон. И в этот критический момент боя у меня вдруг прекратилась связь с батареей! Наверное, порвался телефонный провод, думаю, и посылаю единственного связиста по линии исправлять кабель, а сам с телефонной трубкой возле уха беспомощно, с замиранием сердца наблюдаю с омета за происходящим. Немцы, видя, что около них перестали рваться снаряды, вскочили и продолжили преследование нашего малочисленного батальона. И вот уже мимо омета, на котором я сижу, пробежала не только наша отступающая пехота, но и немцы, по которым я только что стрелял из своих орудий, — и я оказываюсь в тылу у немцев! А связи все нет и нет! Я беспомощен. Время идет. Пробежавшие мимо меня немцы удалились в наш тыл уже метров на пятьсот! Что делать?! Навстречу моему связисту для исправления связи с огневой позиции должен бежать другой связист, судя по времени — они давно должны были бы встретиться на середине пути! Что же случилось?! Почему нет связи?! Мало, что я сам могу оказаться в плену у немцев, немецкая пехота ворвется на нашу батарею, завладеет орудиями!

Повернулся назад и продолжаю смотреть, как удаляется от меня на нашу территорию проклятая густая черная цепь немецкой пехоты. Ах, как нужна сейчас мне связь, чтобы своими снарядами остановить немцев! Вдруг в телефонной трубке захрустело, и басок Минеева:

— «Коломна», как слышишь?

— Прицел двадцать, батарее, огонь! — вместо ответа кричу команду.

Положил несколько снарядов перед бегущей цепью врага, немцы залегли. Открываю беглый огонь по лежащим. Они сначала медленно стали отползать назад, а потом дружно вскочили и бросились бежать восвояси. Я переждал, пока они минуют мой омет, отпустил их на голое жнивье — и уж тут-то я разговелся немчурой как следует! Мои снаряды рвались в самой гуще убегавших немцев! Их оставалось все меньше и меньше! Когда я добивал последние группки убегавших к посадке фрицев, на омет вскочил запыхавшийся Абаев. Его батальон преследовал теперь уже отступавших немцев. Наблюдая избиение фашистов, он завизжал от радости!

— Вон, еще двое поднялись, ковыляют к посадке! Ударь по ним! — умоляет меня.

Прозвучала в трубку новая команда на батарею. Взрыв — и немцы уничтожены.

Когда все немцы были перебиты и я успокоился от пережитого, стал разбираться, почему же во время боя подвела нас связь.

— Почему не было связи?! — необычайно строго спрашиваю по телефону у сержанта Минеева, командира отделения связи моей батареи, сейчас сержант находится на огневой позиции у орудий в двух километрах сзади меня за бугром, а я — на наблюдательном пункте на передовой.

— Подо мною снаряд разорвался, — не объясняет, а жалуется мне сержант, — поэтому и не было связи, товарищ старший лейтенант.

Любому другому я бы сказал вгорячах: брешешь, сержант! Уж больно дорого обошлось нам на передовой это десятиминутное отсутствие связи в самый критический момент боя: я не мог стрелять батареей по немцам, пехота под натиском превосходящих сил противника отступила и понесла потери, а сам я чуть к немцам в плен не попал. Но сержанту Минееву я ответил более сдержанно:

— Ты в своем уме, Капитоныч?! Как это: под тобой снаряд разорвался, а ты разговариваешь со мной!

— Так точно, товарищ старший лейтенант, подо мною разорвался снаряд. Не верите — приходите и посмотрите, — в голосе сержанта слышалась такая обида, такая горечь и такое разочарование в самом близком ему человеке, который почему-то не поверил ему, что мне вдруг стало жалко его.

С сержантом Минеевым у меня сложились самые теплые отношения еще два года тому назад, со времени формирования дивизии в Коломне. Минееву лет сорок пять, он в отцы мне годится. Среднего роста, коренастый, подвижный; глаза, волосы и щетина на лице — черные как смоль; голос спокойный, низкий. Этот степенный пожилой человек, умудренный жизненным опытом, хозяйственный и заботливый, на которого можно положиться, сразу же привлек мое внимание. К тому же он оказался хорошим специалистом, связь в батарее под его руководством всегда работала как часы: в любую секунду, днем и ночью, я мог вызвать огонь батареи в нужную точку.

Я делал все, чтобы в боях сохранить этому хорошему человеку жизнь, все-таки четверо ребятишек у него в Пензе, поэтому держал его постоянно на огневой позиции, у орудий, подальше от передовой — там не стреляют, а с собой на передовую, под огонь, брал всегда молодых связистов. Обращался я к нему не иначе как «Иван Капитоныч». По-отцовски относился и Минеев ко мне. Приду, бывало, с передовой часа на два на батарею, мокрый, голодный, усталый, так он внимательно-заботливо и обувь, и одежду мою просушит, чайком угостит и радуется, что я из-под огня и непогоды невредимым явился. Но то, что он говорил сейчас про взорвавшийся под ним снаряд, ни в какие ворота не лезло. Недоумение мое лишь усилилось.

— Обязательно приду и посмотрю, — ответил я сержанту по-прежнему сухо и формально.

Между тем наша пехота достигла вслед за немцами лесополосы и начала по ту сторону от нее окапываться, потому что противник залег в очередной посадке и открыл сильный огонь.

Видя, что и наши, и немцы до завтрашнего дня атаковать друг друга не собираются, я решил сбегать на батарею, посмотреть, что же там случилось. Связиста Штанского оставил с телефоном в лесопосадке около Абаева. Если немцы снова зашевелятся, Абаев вызовет меня к себе по телефону.

Огневики, как всегда, встретили меня восторженно:

— Старший лейтенант пришел!

— Живой-невредимый!..

Иду к первому орудию, позади которого обычно находится Минеев. Он, радуясь встрече, встал на ноги и, как всегда, заулыбался. Но, вспомнив мой взыскательный тон, опустил голову.

— Ну, показывай, где снаряд разорвался, — даже не поздоровавшись, строго спрашиваю провинившегося сержанта.

— Я стою на том месте, куда меня отбросило. Пойдемте, покажу, где сидел, когда подо мною снаряд разорвался.

Вижу, среди травы уходящая вертикально вниз дыра размером с ведро. Края дыры сплошь утыканы осколками от снаряда.

— Вот тут, над самой дырой, я и сидел, передавал старшему на батарее ваши команды…

Он продолжал объяснять, но я уже все понял. В метре от него в землю угодил снаряд, прошел наискосок по грунту и разорвался точно под ним. Земляная подушка спасла телефониста, но взрыв отбросил его вместе с землею метров на шесть в сторону. А Капитоныч продолжал рассказывать:

— Слышу, прицел все время уменьшается, понял, что немцы наступают. Вдруг в метре перед собою ощутил сильный удар по почве, земля вздрогнула, и, не успел опомниться, как подо мною что-то лопнуло, и я полетел вверх, боль дикая прошибла спину, голову. Пришел в себя — в руке трубка, а на ней обрывок шнура. Когда очухался, пополз сюда, к воронке. А тут аппарат с обрывком шнура на боку валяется. Что делать? Запасные телефоны еще не привезли со старой позиции, знаю, что у вас там бой идет, надо поскорей шнур исправить, а в нем вместо разноцветных проводов — все белые! Какой с каким соединять — неизвестно! Пока перепробовал наугад концы да вдобавок голова кружится, не отошел еще от прыжка, вот время-то и ушло.

— Да, — сказал я примирительно, — не хватает на заводах разноцветных проводов, вот и застопорилось у тебя соединение. Однако — счастье твое, что немец по ошибке или случайно поставил взрыватель снаряда не на осколочное, а на замедленное действие, вот и получился подземный взрыв. А может, взрыватель неисправным оказался. Слой земли и спас тебя. Взорвись снаряд нормально — от тебя бы и кусочков не осталось. Ты прости меня, Иван Капитоныч, что не поверил тебе. Да ведь и неудивительно: любому скажи, что под человеком снаряд разорвался, а он через десять минут по телефону говорит, — ну кто бы поверил?

А сам подумал: хорошо, что Капитоныч остался жив, даже сумел наладить связь и мы отогнали немцев на их старые позиции, а то бы так и остался я у немцев в тылу — или погиб, или в плен бы попал.

— Вы — специалист, бывалый фронтовик, и то не поверили, — уныло сказал мой сержант. — Кто же мне дома-то поверит, если живой вернусь?

Иван Капитоныч остался живым и невредимым. Ни немцы, ни японцы не убили его. В ноябре сорок пятого я демобилизовал и проводил его из Монголии в Пензу.

Только в шестидесятом году я вспомнил про Минеева и его снаряд. Написал в «Пензенскую правду», хотел разыскать сержанта. Какой-то бездушный формалист ответил мне: «Мало ли каких случаев не бывало на войне». Что тут скажешь?

###### Полсекунды спасли две жизни

Дивизия продолжала наступать в южном направлении. С тяжелыми боями мы овладели станцией Борки. Впереди был маленький хуторок Сидоры — ну что там, подумалось, какой-то десяток дворов. А оказалось — сильно укрепленный опорный пункт немцев! Дался он нам неимоверно тяжело. Три дня кровопролитных боев поставили десятидворок Сидоры в один ряд со Ржевом, Солью, Днестром, Белградом, Веной и Прагой, при взятии которых дивизия понесла особенно большие потери.

Я со своею батареей продолжаю поддерживать батальон Абаева. Гаубицы стоят в двух километрах позади, за рощицей, а мой наблюдательный пункт располагается чуть правее хутора, на песчаной опушке небольшой сосновой рощицы, рядом с КП Абаева. В ста метрах впереди окопались роты батальона. Первой из них командует лейтенант Спартак Беглов. В восьмидесятые годы это будет талантливый телевизионный комментатор, а в том бою 5 сентября сорок третьего лейтенанта Беглова тяжело ранят.

Фашисты не только стойко оборонялись, но и часто контратаковали нас пехотой и танками, поэтому с рассветом я уже сижу у стереотрубы, рассматриваю, что изменилось у немцев за ночь. В песчаном грунте мы, как и пехота, вырыли ровики только по пояс. В полуметре перед моим ровиком стоит молодая сосенка, к ней мы и привинтили стереотрубу. Рядом со мною, тоже на бруствере ровика, сидит с телефонным аппаратом самый молоденький в батарее связист Володя Штанский. Мы хорошо замаскированы сосновыми ветками, только кончик стереотрубы чуть-чуть возвышается над маскировкой. Стереотруба имеет десятикратное увеличение, поэтому расположенные в полукилометре от меня немецкие позиции я вижу как с пятидесяти метров. Слева восходит солнце, его острые лучи попадают под козырьки объективов стереотрубы, мешают мне смотреть. Вдруг вижу: из-за бугра позади немецких окопов показались башни немецких танков. Они быстро растут в размерах, обнажая все больше деталей стальных чудовищ. Вот уже видны орудийные стволы, на их концах набалдашники дульные тормоза, — значит, это «Пантеры»!

— По местам! — полетела по телефону моя команда на батарею. — По танкам, прицел… батарее, десять снарядов, беглый. Огонь!

Танки двигаются быстро, уже миновали бугор и приближаются к траншее своей пехоты. Я верно рассчитал скорость движения немецких танков и время полета моих снарядов. Телефонист докладывает: «Выстрел!» — значит, снаряды уже в полете. Танков более двадцати. Только они достигли рубежа окопов своей пехоты, на них посыпались мои снаряды. Мчащаяся на нас стальная армада тонет в дыму разрывов и мелкой песчаной пыли. Танки ослеплены. Им ничего не. видно ни спереди, ни с боков. Куда двигаться и во что стрелять — неизвестно, да и невозможно в таком затмении. Поэтому они поворачивают назад. Когда оседают пыль и дым, на опустевшем солончаке сплошь зияют большие воронки и жарко горят два танка. Тяжелые полуторапудовые гаубичные снаряды сделали свое дело.

Но немецким танкистам неймется. У них приказ: заживо закопать в песок нашу пехоту. Поэтому, сманеврировав за бугром, они снова идут на нас, теперь — по лощинке справа. Но и там настигает их неистовый наш огонь! Высокие фонтаны земли вздыбились между танками, снова весь фронт и все пространство, занятое танками и далеко впереди них, окутались пылью и дымом. Танки опять ретировались за бугор. На этот раз им повезло — ни в один танк снаряды не попали. Мы ведь стреляем по ним не прямой наводкой, когда наводчик видит танк и уничтожает его с первого выстрела. Мои снаряды летят из-за рощицы и падают на танки сверху, неприцельно.

Когда танки уходили назад во второй раз, я заметил, как один из них отделился от группы и ушел далеко влево. Симулянт, с неприязнью подумал я, все танки воюют, а он уклоняется от боя. Снова веду огонь по выехавшим танкам и опять загоняю их за бугор. Но на всякий случай время от времени посматриваю на «симулянта». Когда в очередной раз я резко перевел стереотрубу влево и в объективе застыл «симулянт», я увидел, как он шустро рыщет стволом своего орудия по нашим окопам. Чего это он ищет? — подумал я. И сразу же пришла догадка: никакой это не «симулянт», а ас-охотник, задача которого во время боя втихую, со стороны, выискивать наблюдательные пункты, пушки и танки противника, чтобы поражать их невзначай сбоку.

Немецкие танки, боясь моего огня, вынуждены были уйти далеко вправо и попытать счастья в бою с нашими соседями. Но и на этот раз им не повезло: их попытку атаковать первую траншею соседей пресекла выставленная там ночью на прямую наводку пушечная батарея. Немцы не знали о ней, и она внезапным кинжальным огнем сразу же подожгла более десятка фашистских танков. Остальные успели позорно смыться. Теперь сам я уже не стрелял, а с удовольствием наблюдал, как горят танки противника.

И вдруг будто кто в бок меня кольнул: посмотри налево, что там «симулянт»-то делает? Быстро перекинул стереотрубу влево, глянул и обомлел: «симулянт» вел ствол своей пушки в мою сторону, вот уже совсем исчезло орудие, вот уже вместо ствола вижу черный кружок дульного среза… Но я был уверен, что меня он не видит, мы же хорошо замаскированы, и злорадно подумал: если бы немецкий танкист знал, что под дулом его орудия сидит тот, кто беспощадно стрелял по их танкам и два уже спалил, да если бы он знал это и сейчас выстрелил, то мгновенно разнес бы меня на кусочки! Но он этого не знает и не видит меня, поэтому мне ничуть не страшно смотреть в дуло его пушки. Не успела радость отпустить меня, а счастливая улыбка покинуть лицо, еще все мое существо продолжало пребывать в победной эйфории, а перекрестие стереотрубы злорадно покоиться на зловещем жерле нацеленного в меня вражеского орудия, как, к ужасу своему, я вдруг явственно вижу жуткое: танк содрогнулся, упруго дрогнул ствол пушки, брызнув синим дымком! Мгновенно понимаю: случилось самое страшное, что только могло произойти, — пушка выстрелила в меня! Смертельный страх в тысячные доли секунды перевел мое сознание из состояния блаженной веселости в стремительную самозащитную реакцию — хватаю за что попало сидящего рядом ничего не знающего о танке Штанского, стремглав сую его под себя, и мы вместе рухнули на дно окопа. Тут же над нами грохнул разрыв танкового снаряда. Снаряд разорвался в основании сосенки, разнес в клочья стереотрубу вместе с деревцем, на головы сыпануло песком с бруствера, но взрывная волна скользнула по поверхности земли и миновала нас, лишь обрушила песчаные стенки ровика, завалив нас только по колено. Весь окоп окутало дымом. Противный запах тротила ударил в нос. Но медлить не приходится! Пока немецкий танкист рассматривает результаты своей стрельбы, мы в клубах дыма быстро выскальзываем из ровика и прячемся в ближайших кустах. Немец остался доволен своею стрельбой и, наверное, записал в боевой журнал: уничтожил русский наблюдательный пункт. А я, не мешкая, подаю команду на батарею, благо телефонный аппарат упал на дно окопа вместе со Штанским и уцелел. Пока довольный немец делал победную запись, мои снаряды уже летели на его голову. Нацеленные в танк шестнадцать снарядов батареи своими мощными разрывами подняли такой тарарам, что немцы в танке ухватились, наверное, за головы. А когда один снаряд угодил в моторную часть и танк загорелся черно-красным пламенем — не знаю уж, успели ли фашисты выскочить, стереотрубы у меня теперь не было, а в бинокль трудно было сквозь дым что-либо рассмотреть.

Уже после боя, окончательно придя в себя, я прикинул, сколько же у меня было времени с того момента, как я увидел роковой выстрел танка в мой НП, до разрыва снаряда у нас над головой. До «Пантеры» шестьсот метров, скорость ее снаряда — тысяча двести метров в секунду. Значит, снаряд летел всего полсекунды. Но эта половинка секунды дала мне возможность успеть спасти две жизни. Как хорошо, что я вовремя взглянул на танк и, главное, увидел момент выстрела. Ну и быстрота реакции, само собой, необходима. Если бы я не увидел момент выстрела, снаряд разнес бы нас со Штанским в клочья. Но как немец сумел обнаружить наш наблюдательный пункт?! Ведь мы так хорошо были замаскированы! Он бы и не заметил нас — если бы не солнце. Нас выдало солнце. Низкий луч всходившего светила попал под козырек объектива стереотрубы и, отразившись, ударил немецкому танкисту по глазам. Представляю, какой пожар увидел немец, когда взглянул в нашу сторону! Ведь даже маленькая стекляшка костром вспыхивает на солнечной дорожке, а тут в глаза немцу отразили солнце два громадных объектива моей стереотрубы.

Всю жизнь я вспоминаю тот роковой случай, когда вижу отблеск стекляшки на солнечной дороге или мелькание десятых долей секунды в спортивных передачах по телевидению — слова не успеешь сказать, как промелькнет пятерка десятых долей секунды. А я за эти мгновения сумел не только сам нырнуть в ровик, но и связиста своего запихнуть под себя. Наше счастье, что я увидел момент выстрела! Не иначе как ангел-хранитель в нужный момент толкнул меня в бок, чтобы я взглянул на «симулянта».

###### Невероятные случаи на войне

Немецкая мина, описав невидимую дугу в небе, со страшным свистом приземлилась на нашей позиции. Она угодила прямо в траншею. И не просто попала в узкий окоп, а врезалась в солдата, который бегал по траншее, греясь от холода. Мина как будто специально подкараулила красноармейца, упала в траншею в тот момент, когда он подбежал под нее. От человека не осталось ничего. Разорванное в клочья тело было выброшено из траншеи и на десятки метров разбросано вокруг, на бруствере лежал только штык от карабина, который висел у него за спиной. Не могу без волнения говорить об этом, потому что точно такое же случилось с моим связистом. Мы шли с ним по траншее в противотанковый ров, я уже шагнул в ров и свернул за глиняный угол, а он еще оставался в траншее, буквально в двух шагах сзади меня. Мина угодила в него, а я не пострадал. Если бы мина не долетела всего на один метр, то попала бы в меня, а связист за углом остался бы жив. Недолет мины мог случиться по разным причинам: недосыпали в заряд крупинку пороха или притормозил ее едва заметный встречный ветерок. Да и мы могли чуть побыстрее идти — оба уцелели бы. А чуть медленнее — оба погибли бы.

В другой раз все произошло точно так, как описано вначале: немецкая мина, описав невидимую дугу в небе, со страшным свистом приземлилась на нашей позиции. Она угодила прямо в траншею. И не просто попала в узкий окоп, а врезалась в солдата… Но на этот раз мина не взорвалась. Она пробила солдату плечо и наполовину высунулась ему под мышку. Случайность? Да. Целых три. Первые две были для солдата пагубными, а третья — спасительной. Человек остался жить. Его спасла счастливая случайность: мина не взорвалась!

Вот они, сплошные случайности. Счастливые и несчастные, хорошие и плохие, а цена им — человеческая жизнь.

Ах, как редко появлялся на передовой этот желанный гость — господин Счастливый Случай! На тысячи смертей везло единицам. Почему именно этому солдату повезло — вопрос особый. Случай ли угождал под человека или человек под случай — этого никто не знает. Однако можно смело утверждать, что каждый уцелевший на передовой боец может припомнить не один случай, когда его неминуемо должно было убить, а по счастливой случайности он уцелел. Может, Всевышний вмешивался? Кто знает.

Все мы с детских лет были воспитаны атеистами, большинство в бога не верило. Но как только, бывало, прижмет: бомба ли, снаряд или мина рванет, а то и пулемет чесанет, и ты готов сквозь землю провалиться, лишь бы уцелеть, вот тут — где он тот атеизм?! — молишь бога: «Господи, помоги! Господи, помоги!..» Некоторым помогал. Но редко.

Счастливые случаи на войне по своим проявлениям были удивительно разнообразны, необычны, редки, неповторимы, непредсказуемы, неожиданны и капризны. И являлись они совсем не по мольбе или состраданию, даже не ради утверждения справедливости или свершения возмездия. Мы на фронте знали, что бывают счастливые случаи, втайне и сами рассчитывали на них, но говорили о них с душевным трепетом, с суеверной деликатностью, неохотно, тихо, чтобы ненароком не спугнуть. А многие суеверные люди — а на войне почти все были суеверны — в разговоре вообще старались не касаться этой темы. Боялись.

Смерть часто карала не только трусость, нерасторопность, но и сверхосторожность, а то и вызывающее бесшабашное геройство. И наоборот, по большей части щадила мужество, храбрость, самопожертвование, осмотрительность. Война бывалого, опытного, идущего на опасное дело, как на обычную работу, смерть частенько обходила. Иного человека посылали на верную смерть, а он, сделав крайне рискованное дело, возвращался живым. Здесь, безусловно, играл свою роль и опыт. Но больше зависело от случайностей — повернется в твою сторону немец или пройдет мимо без внимания. Были случаи, когда спасение от неминуемой смерти приносили самая обыкновенная глупость, самодурство, это и жадность начальника.

Мне, как и некоторым другим, везло на войне. За три года пребывания на передовой при постоянных обстрелах, бомбежках, атаках, вылазках к немцам в тыл — меня только три раза ранило. Правда, много раз контузило. Но не убило. А случаев, когда меня или нас должно было неминуемо убить, было предостаточно. Но по какому-то странному, иногда противоестественному стечению обстоятельств не убивало.

Командир нашего дивизиона заядлый служака Гордиенко отличался солдафонством. Он требовал и от нас, окопников, чтобы наши видавшие виды, только что введенные тогда погоны не были мятыми и потертыми, а торчали в стороны, как крылья у архангелов. Мои разведчики вставили в свои погоны фанерки, а мне — стальные пластины от сбитого немецкого самолета, хотя это и мешало нам в бою. Вскоре мы попали под бризантный обстрел: снаряды рвались над нашими головами, и негде было укрыться от стального ливня. Сели на землю «горшками» — поджав ноги к животам, чтобы уменьшить поражаемость. Удар осколка в левое плечо свалил меня на землю. Думал, руку оторвало. Сняли с меня гимнастерку: все плечо черное и распухло. Оказалось, маленький осколочек летел с такой силой, что пробил стальную пластину и запутался в «язычке» погона. Если бы не пластина, он пронзил бы мне плечо и сердце. Так глупость начальника спасла мне жизнь.

Или другой случай. У меня убило единственного связиста, и я вынужден был сам тянуть дальше кабель и нести на себе телефонный аппарат и катушки с кабелем. Жаль было оставлять вместе с мертвым связистом и его карабин. Пришлось закинуть его за спину. Тяжело мне было все это имущество тащить на себе под холодным осенним дождем и немецким огнем. Однако карабин спас мне жизнь. Рядом разорвался снаряд, и один из осколков угодил мне в спину. Не будь карабина, осколок пронзил бы мне сердце. Но он попал в карабин. И не просто в круглый ствол, с которого он легко бы мог соскользнуть мне в спину, а в плоскую грань патронника. Скорость осколка была так велика, что он на целый сантиметр врезался в стальной патронник. На спине у меня отпечатался длинный синяк от карабина. Не было бы у меня на спине карабина — не жить бы мне. Снова выручила счастливая случайность.

И еще что удивительно: некоторые спасительные случайности, как, между прочим, и трагические, повторялись точь-в-точь с разными людьми. Аналогичная ситуация с карабином позднее спасла жизнь и моему связисту Штанскому: осколок угодил в патронник его карабина.

С другой стороны, тысячи осколков в тысячах других случаев миновали спасительные портсигар или складной ножичек и поражали людей насмерть. А иным спасали жизнь орден на груди или звездочка на пилотке.

За всю войну таких спасительных для меня случайностей я насчитал двадцать девять. Наверное, всевышний в эти мгновения вспоминал обо мне и даровал повинному жизнь.

Вот и загадка читателю. В этом рассказе я описал три невероятных случая, происшедших лично со мной. Найдите в этой книге еще 26.

### Глава десятая

### В обороне на реке Ингулец

### Ноябрь 1943-го — начало марта 1944 года

###### Туман

Продолжая преследование противника после Курской битвы, наша дивизия больше месяца продвигалась с боями в южном направлении. Мы освободили город Красноград и вошли в Днепропетровскую область. Однако в непрерывных боях дивизия так истощилась, что от трех стрелковых полков остался один неполный батальон, а в орудийных расчетах — по одному-два солдата. С конца сентября по 26 октября в городе Мерефа под Харьковом мы получали пополнение. Подучили его самому необходимому и, опять пешью, отправились через Красноград, Полтаву, Днепр догонять фронт, который продолжал наступление.

3 ноября 1943 года по понтонному мосту мы переправились через Днепр и только на реке Ингулец в районе Петрова, это в Кировоградской области, догнали фронт. Наша пополненная после Курской битвы 52-я стрелковая дивизия в ходе наступления должна была сменить вконец обескровленную в наступательных боях 80-ю дивизию, ее остатки уже не продвигались вперед, а с трудом отбивали контратаки фашистов.

Утром 13 ноября густой белый туман молоком заливал все вокруг, в двух шагах ничего не было видно. Ориентируясь по компасу, мы с моим подчиненным, командиром взвода управления Завьяловым бежали по осеннему полю на передовую к высоте 203,0. За нами резво поспешал связист Штанский, весело стрекотала за его спиной катушка, и на влажную землю черной змейкой ложился телефонный кабель — связь с батареей, которая осталась сзади, у деревни. Я тогда командовал гаубичной батареей, всю ночь мы спешно ехали, позавтракать не успели, продрогли до костей в своих истлевших за лето гимнастерочках и теперь, несмотря на быструю ходьбу, никак не могли согреться, давно бы пора телогрейки надевать, а нам их все не дают, «не подвезли».

— Осторожно, товарищ капитан, здесь же рядом немцы, — постоянно сдерживал мой бег взводный.

— Тебе все немцы мерещатся! — зло огрызнулся я и ускорил шаг: надо спешить, пока еще держат оборону те, кого мы сменяем.

Командир взвода управления лейтенант Завьялов еще два часа назад должен был установить с ними связь и организовать там наш наблюдательный пункт, а в случае надобности и поддержать их огнем батареи. Но он, как всегда, струсил. Испугался тумана и немцев, вернулся ни с чем. И вот теперь, виляя хвостом, бежит следом за мной, оправдывается. Терпеть не могу трусов! Он бы и теперь побоялся идти, но вынужден, раз с ним рядом командир батареи.

Встревоженный и обозленный, я стиснул зубы и молча бежал по бывшему кукурузному полю. Что теперь без толку ругать его! Пока не отрешится от мысли любой ценой выжить — будет трусить. Мне ведь тоже страшновато бежать в неизвестность, но я и виду не подаю, раз надо. А этот — подвел всех на свете! И нас, и тех, кого сменяем! Это же его прямая обязанность: установить связь с пехотой, разведать немцев, оборудовать НП. Четыре месяца я был в его шкуре — да где, подо Ржевом! И чтобы не выполнить боевое задание — никогда! Умри, а сделай! А как иначе? А ведь он не мальчик, ему тоже двадцать два, он мой ровесник. И взгляд-то у него какой-то испуганный: вожмет голову в плечи и смотрит, как сурок. Так и норовит, куда бы спрятаться или в хвост пристроиться.

— Товарищ командир, остановитесь, мы же на немцев нарвемся, — опять жалобно скулит Завьялов.

— Сначала будут наши, а уж потом немцы, — невольно отвечаю, хотя и разговаривать-то с ним не хочется. Трус несчастный. Уже разведчики смеются над ним, а он никак не перевоспитается.

Обжигая ладонь скользящим в ней кабелем, нас догонял разведчик Мясников. Доложил, что батарея к стрельбе готова, а батальон, который мы поддерживаем огнем батареи, прибыл в Николаевку, скоро будет здесь.

Молодец Мясников. Он, правда, постарше нас лет на восемь, семья у него, дети, а никогда не боится. Иной раз пожалеешь его, не возьмешь на опасное дело, все же отец семейства, так он под любым предлогом все равно увяжется вместе со всеми.

А все же: где передний край? По времени уже должен быть. Ага, подъемчик начался, это скат высоты. А за нею должны быть наши. Так рассуждая про себя,

я неожиданно наткнулся на мягкий бугорок свежевырытой земли. Приостановился и в шаге впереди увидел глубокий окоп. Подумал, вот обрадуются ребята — смена пришла. На бруствере стоял ручной пулемет. Заглянул в окоп. На дне лежали двое убитых красноармейцев. И больше ни души вокруг. К нашему удивлению, траншея была безлюдна. Значит, это и есть те пехотинцы, которых должен сменить наш батальон. Сменять было некого. Мертвые защитники произвели на нас тягостное впечатление. Шли к живым, а получается, и спросить не у кого. Но немцы еще не знают об этом, а то бы заняли эту позицию. Видно, случилось все совсем недавно, и отступавшие немцы, они и теперь были где-то поблизости, скрытые туманом, не знали, что обороняются от никого, а потому и не предприняли никаких действий по занятию когда-то своей, а теперь нашей траншеи. Ребята тоже склонились над окопом, а Завьялов, опасаясь обстрела, тут же с шумом прыгнул вниз, прямо на убитых. Только подумал, что это из-за его трусости мы не успели к этим пулеметчикам, пока они еще живы были, как спереди грянула резкая, с близкого расстояния пулеметная очередь. Это Завьялов своим прыжком обнаружил нас. Немцы оказались так близко, видно, во второй своей траншее, что сквозь туман услышали движение в окопе. В отличие от нашего пулемета «максима» с его характерным «та-та-та», немецкий, более скорострельный, выдает очередь кратко: «фру». Адский шум свинца ошеломил, пули с шумом пронеслись мимо наших голов, страшный треск выстрелов больно ударил по барабанным перепонкам, упругая струя пороховых газов, казалось, обожгла наши лица. К счастью, никого не зацепило, однако неожиданный обстрел напугал нас, и мы тут же бросились в окопчик.

От быстрой ходьбы, а больше от неожиданной стрельбы, сердце мое чуть не выскакивало наружу.

Придя в себя, я вжался в пулемет и длинными очередями стал поливать окутанное туманом пространство. Но фашисты больше не подавали никаких признаков жизни, хотя находились где-то совсем рядом.

— Смотри, товарищ старший лейтенант, они уже зимнее обмундирование получили, — не то с удивлением, не то с завистью проговорил Мясников, ощупывая новенькие ватные фуфайки на убитых.

И хоть все мы жестоко страдали от холода в своих полуистлевших гимнастерках, зависть к убитым показалась кощунственной — никто ему не ответил.

Мы отползли метров на двести в тыл, выбрали место для наблюдательного пункта и стали быстро его оборудовать. Вскоре прибыл и батальон, который мы должны поддерживать огнем своей батареи, и почему-то сзади нас стал рыть свои окопы.

— Опустись чуть пониже по скату, — попросил я молодого комбата, которого ранее не знал.

Он было заерепенился, но когда я сказал: «Что ж, в спину мне будете стрелять?!» — усовестился-таки и продвинулся немного вперед, за мой ровик.

— Товарищ старший лейтенант, — обратился ко мне Мясников, — а что, если я сползаю в тот окопчик и сниму с убитых фуфайки? Ведь холодно, а им они теперь все равно не нужны.

— Да ты что?! Рисковать из-за фуфаек! Ни в коем случае. Категорически запрещаю!

И Мясников, как ни в чем не бывало, снова начал оборудовать наблюдательный пункт. Однако ему по-прежнему не давали покоя эти фуфайки. Снова подходит:

— Товарищ старший лейтенант, вон там, слева, тоже есть окоп с убитыми, и немцев там поблизости нет. Разрешите, я туда схожу за фуфайками.

— Не разрешаю и запрещаю по этому поводу обращаться!

И Мясников снова принялся оборудовать ровик. Лопата, как смычок скрипача, виртуозно мелькала в его сильных руках — казалось, не лопата движется вверх-вниз, влево-вправо, аккуратно подтесывая неровности окопа, а стройное, гибкое тело разведчика выписывает замысловатые фигуры вокруг трости-лопаты. Мясников всегда все делал основательно и красиво.

Минут через десять в районе злополучного окопа, где нас обстрелял немецкий пулеметчик, резкая пулеметная очередь и душераздирающий человеческий крик вспороли необычную тишину переднего края. У меня так и оборвалось все внутри — уж не Мясников ли?

— Где Мясников?!

Мясникова нигде не было. Посылаю двоих ребят с плащ-палаткой в район окопа:

— Только осторожно, сами не нарвитесь на пулемет!

С нетерпением хожу вдоль линии обороны, всматриваюсь в туман, жду ребят. Наконец из тумана высовываются двое и что-то тянут за собой: не то пулемет, не то еще что. Находившийся рядом со мною пехотинец бросился к стоявшему у его ног на сошках пулемету и уже успел оттянуть затвор, но я резким ударом сапога сваливаю пулемет набок. Пехотинец со злобным недоумением взглянул на меня и снова схватился за пулемет. Он принял наших разведчиков за немцев, а меня посчитал предателем.

— Это же наши! — кричу ему.

Мясникова положили на мягкий бруствер окопа. Он был живой и в полном сознании. Пулеметная очередь попала ему в живот и вывернула наружу всю печень в районе поясницы. Из большой красной дыры в его теле торчал и сильно кровоточил кусок разорванной печени. На мгновение я задумался, не зная, то ли втолкнуть печень внутрь, потом забинтовать рану, то ли прибинтовать ее к телу. Решил, чтобы не загрязнять рану, крепко прибинтовать все как есть к телу. Мясников за время перевязки не издал ни единого стона. Его стройное длинное тело было покорно податливым, а печальные глаза спокойно и умиротворенно смотрели на меня. В них была тоска от непоправимости случившегося и молчаливая благодарность за то, что я не упрекаю его и что мы быстро пришли на помощь. В конце перевязки, виновато глядя мне в лицо, он тихо, но твердо проговорил:

— Простите меня, товарищ старший лейтенант, обманул я вас!

— Да ты себя обманул… Но не волнуйся, потерпи немного, сейчас мы отправим тебя в санбат, еще повоюешь! — успокоил я разведчика, искренно надеясь на выносливость этого сильного человека.

На самодельных носилках ребята понесли раненого в тыловую деревню, где был развернут медпункт. Минут через сорок они вернулись. По их печальным лицам я понял, что Мясникову не повезло.

— Скончался он в дороге, товарищ старший лейтенант, не донесли мы его. Попросили ребят из санроты, чтобы похоронили.

А потом началось привычное: снова наше наступление, цепкое сопротивление немцев, бой, потери. Но наша все-таки взяла, и мы заняли очередное село Графит. А когда приблизились к верховью Ингульца, то небольшой хуторок Байрак на той стороне взять не могли в течение недели. Не помогли и прибывшие на подмогу танки. Это была заранее подготовленная, хорошо укрепленная линия обороны немцев.

Так мы и весь 2-й Украинский фронт, закончив расширение Кременчугско-Днепропетровского плацдарма за Днепром, остались на всю зиму на реке Ингулец.[[5]](#footnote-5) Заняли и обустроили свою оборону. По ночам рыли траншеи, землянки, оборудовали наблюдательные пункты, пулеметные ячейки, ниши для патронов и гранат, отхожие места.

###### В обороне — значит, не давать покоя врагу

Жизнь в обороне своеобразна: наблюдение за противником, разведка, охрана, дежурства, обстрелы и коротание времени в блиндажиках. От разрывов снарядов и мин, ружейно-пулеметного и снайперского огня изредка, не то что в наступлении, появляются убитые и раненые. Главная наша задача — знать, что делается у немцев, и не давать им покоя ни днем, ни ночью. Надо в любую секунду быть готовым выскочить из землянки в траншею и вступить в бой. Поэтому на ночь самое большее, что могли мы позволить себе, — это отпустить на пару дырок ремень и снять валенки.

День и ночь в траншее у пулеметов стоят, подпрыгивая для сугрева, дежурные. Рядом на бруствере укреплена стереотруба артиллеристов, они рассматривают оборону противника: не появилась ли какая цель. И если увидят в глубине обороны неприятеля группу солдат, машину, повозку — тут же открывают с закрытой позиции огонь. Снаряды летят через наши головы и рвутся на позициях немцев.

Траншея отрывается зигзагами, чтобы пули и осколки от снаряда не поражали насквозь все пространство и чтобы за выступом можно было спрятаться. Глубина траншеи полтора метра плюс бруствер из насыпной земли. Стоя можно видеть противника и стрелять с бруствера. Но ходить по траншее надо пригнувшись. В стенке траншеи торчит дверца — крышка от снарядного ящика, это лаз в землянку. Летом дверью служит свисающая плащ-накидка. Сверху землянка перекрыта палками, ветками, какой-нибудь жестянкой от сбитого самолета, истерзанной плащ-накидкой и присыпана землей толщиной в ладонь. Надо, чтобы верх землянки не выпирал над поверхностью, а то немцы сразу же засекут и будут минами стрелять.

Землянки обычно размером два на два и высотой метр тридцать, а в болотистой земле и полметра. У входа канавка для обуви, дальше — постель из сена или соломы, прикрытая плащ-накидкой. В головах, вместо подушек, вещмешки. Шесть-семь человек лежат, накрывшись шинелями. Или, полусогнувшись, сидят, упираясь головой в потолок. Это в тылах — в штабах и политотделах отрывают землянки в полный рост и перекрывают их тремя накатами бревен, чтобы снаряд не взял, хотя туда и снаряды-то не долетают.

Справа в стене выдолблено углубление для светильника — гильзы от малокалиберной пушки, сплющенной сверху. В нее вставляется фитиль — полоска сукна из полы шинели. В дырочку заливается бензин и засыпается соль, чтобы бензин не вспыхнул. Далее в земле гарнушка (ниша) побольше — это печка. Над нею ломом делается в грунте дыра-дымоход. Ночью, когда можно зажечь костерчик из досок от снарядных ящиков, над дырой ставится жестяная труба для тяги. Такая печка и обогревает, и можно воды из снега в котелке согреть. А слева в углу, в ногах постели, стоят два ведерных термоса: один с кашей, другой со сладким заваренным чаем. Здесь же, в левом углу, всегда лежат буханок пять хлеба и стоит бутылка водки — фронтовые, или наркомовские сто грамм для согрева. Личные вещи — котелки, полотенца, табак — в вещмешках у солдат; ложки, бритвы — за голенищами сапог. Пищу артиллеристам приносят, а пехоте привозят на санях.

Днем разведчики дежурят по очереди у стереотрубы, а связисты, тоже по очереди, сидят у телефона. На ночь у блиндажа выставляем часового. Телефонная связь с орудиями постоянная. Здесь — на НП, и на другом конце провода — на огневой позиции, постоянно с трубкой у уха, привязанной обрывком бинта, неотлучно дежурят телефонисты. Чтобы не заснуть, переговариваются между собой или с телефонистами других батарей. Но время от времени обязательно окликают друг друга:

— «Орел», как слышно?

— «Супа», слышу тебя хорошо.

Я, командир батареи, в любую секунду подаю команду:

— По местам!

Телефонист дублирует ее, и она принимается на огневой позиции, взводный там кричит на всю батарею:

— По местам!

Из всех землянок сломя голову несутся к орудиям расчеты. Огневики у орудий и мига не промедлят! Не проходит и пятнадцати секунд — снаряд разрывается у цели.

Если происходит обрыв телефонного кабеля — повозка или автомашина порвала, а то и разрыв снаряда, сразу же с обоих концов бегут, держа кабель в ладони, друг другу навстречу связисты. Выскользнул из руки кабель — ищи другой конец и соединяй их вместе. Ночью разведчики противника специально обрывают кабель и поджидают связиста, который прибежит исправить порыв. Его-то и хватают в качестве «языка». Связь для артиллериста — важнее воздуха! Без связи орудия молчат.

Такова жизнь солдата-артиллериста в обороне.

То же самое происходит и у немцев. Только у них блиндажи более комфортабельные, обшиты тесом, удобные нары, печки чугунные, да еще подушки и одеяла, взятые у населения.

Наши солдаты менее прихотливы и более выносливы. К холоду, голоду, грязи, физическим, да и нервным нагрузкам более приспособлены. У немцев в обороне — чирья на теле и вши появляются. У нас кожа толще. А если вши завелись от посещения немецких блиндажей, то старшина с санинструктором на огневой позиции ставят на костер бочку, в нее — ведро воды, пяток поленьев, на поленья загружают белье, обмундирование, целый час паром обрабатывают — и никаких тебе вшей. В тылы, в баню, мы ходили по очереди. Дырявая бочка на четырех кольях, обтянутых плащ-накидкой, — вот и вся баня. Успевай лей горячую воду в бочку, чтобы другие мылись. А твоя очередь подошла — успевай мойся, чтобы не окоченеть на морозе.

Если немцу не в блиндаже, а в ровике случается спать, он голову кладет, как и наш солдат, на рюкзак. Но рюкзак немца — не чета нашему: обшит телячьей кожей, для мягкости. Да и в рюкзаках у них побогаче, чем в наших вещмешках. У нас если и есть какой НЗ продуктов, так это сухари, редко — консервная банка с американской тушенкой, да и тот НЗ солдаты съедают заранее, а то убьет — и пропадет тогда продукт. А у немцев чего только нет в рюкзаках! Складные таганки и кусочки сухого спирта для подогрева пищи, баночки-светильники с парафином и фитильками, туалетные принадлежности, ложка с вилкой, нож, консервы, даже шпроты португальские, вино французское, галеты, искусственный мед, шоколад, сыр, копченая колбаса. Обязательно — письма и фотографии, часто — губная гармошка. В наступлении наши солдаты, когда позволяет обстановка, охотятся за немецкими рюкзаками. Догоняет мой связист отступающего немца с рюкзаком на спине, а тот со всех ног убегает. Кричит ему — не останавливается. Стреляет в спину — но так, чтобы рюкзак не повредить! Немец падает плашмя на живот. Солдат срывает со спины рюкзак и с нетерпением открывает его — чем бы поживиться?! А немец-то оказался не убит — только ранен; пока солдат разглядывал содержимое рюкзака, фашист приподнялся, направляет автомат на него… Хорошо, что напарник связиста следом бежал, успел опередить немца, выстрелил в него. А то бы жизнью поплатился наш связист за свое любопытство.

Целую зиму провели мы в тесном убежище. Блиндажики просторнее не строили — это увеличило бы площадь поражения и вероятность прямого попадания мины или снаряда. Да и теплее в тесноте. И чего только не переговорили за три с половиной месяца. Чаще разговаривали о том, чего не было рядом, по чему соскучились, — о доме, о женщинах, о довоенных праздниках, застольях. Всех родных, знакомых, даже соседей каждого обитателя блиндажа знали все остальные его жильцы. А также любили рассказывать и слушать всякие интересные приключения, события. Я много рассказывал о Ленинграде, дворцах, музеях, театрах, о прочитанных книгах. За всю зиму ни один политработник дивизиона не посетил нас. Боялись они передовой, даже в обороне, когда не так уж часто убивает. Поэтому я сам исподволь вел со своими солдатами воспитательную работу и боевую подготовку.

Вот так размеренно протекала на передовой и жизнь наблюдательного пункта командира батареи. А мои четыре гаубицы стояли в лощине двумя километрами позади НП, и невидимые противнику огневики, расположившись в блиндажах, поставив орудия в окопы, были всегда готовы к открытию огня.

За зиму нашего пребывания в обороне никаких особых событий не произошло. И все же мы потеряли одного человека. А виной тому была проклятая немецкая пушка! Об этом следующий рассказ.

###### Проклятая пушка

В феврале зашумели метели, замела поземка. Если бы можно было подняться в полный рост и оглянуться вокруг, то под тонким слоем поземки мы увидели бы лишь широкое заснеженное поле заснувшей на зиму земли. И только опытный взгляд солдата различал тянущиеся по обоим берегам Ингулыда скрытые под снегом ряды траншей и окопов да пушистые шапки блиндажей: на уходящем к горизонту взгорке — немецкие, а в низине — наши. Выбор места обороны — за отступающими фашистами, потому расположение их войск господствует над нашим.

Сотни солдат, наших и немецких, сидят в земле, в блиндажах под снегом. Лишь единицы продрогших на морозе дежурных стоят в окопах у стереотруб и пулеметов. Они то и дело зорко всматриваются в расположение противника. Но ни движения, ни дымка по-прежнему не видно. Все притаилось, замерло. От холода и скуки дежурные подпрыгивают на обеих ногах, хлопают в ладоши и усиленно изображают бег на месте.

Чтобы не обнаружить себя и не подвергнуться минометному обстрелу, днем пулеметы обычно молчат. Зато ночью беспрерывно трещат, выстукивая затейливую дробь в меру фантазии и музыкальных способностей их хозяев.

Молчат и орудия. Стрелять не по кому, да и лимит снарядов в обороне невелик. Только изредка в шум поземки тонким посвистом вплетается звук двух-трех летящих мин и тут же с надрывным треском обрывается взрывом. Поземка быстро заметет черные пятна следов на снегу. И снова тишина. Вреда от таких мин немного, вот только телефонный кабель они часто рвут, и связистам приходится вылезать из блиндажей, бежать по целинному снегу, искать порыв и соединять кабель.

С двумя парами разведчиков и связистов я сижу на передовой в блиндажике на наблюдательном пункте недалеко от КП комбата Абаева. И днем, и ночью двое из пятерых дежурят. Один в землянке у телефона, другой — в траншее у стереотрубы. Случись что, батарея в ту же минуту прикроет своими снарядами позиции батальона в полосе трех километров. Я хорошо изучил оборону противника, знаю расположение всех его блиндажей, пулеметов, траншей, ходов сообщения и «присматриваю» за немцами, не позволяю им высовываться из траншей, открывать огонь из пулеметов. Только попробуй ослушаться — сразу же получишь «щелчок по носу»: прилетит и разорвется наш снаряд.

Но вот неделю назад немцы поставили на возвышенности в глубине своей обороны пушку на прямую наводку. Пушка была так хорошо замаскирована, что мы никак не могли ее обнаружить. И теперь с ее помощью немцы уже целую неделю терроризируют всю полосу обороны дивизии на десять километров по фронту и на восемь в глубину. Что бы ни появилось в полосе нашей обороны, пушка с одного выстрела прямой наводкой уничтожает цель: внезапный выстрел — и молчок! Попробуй уследи за ней! Вся дивизия со всех наблюдательных пунктов выслеживает эту проклятую пушку и никак найти ее не может.

От их пушки на нашей стороне все видно вокруг как на ладони. Мы же смотрим в их сторону снизу, будто из подворотни, да еще поземка бьет в глаза, забивает окуляры оптических приборов — ничего не видно, кроме белого снега, и подняться над окопами в полный рост, чтобы как следует посмотреть, тоже нельзя: сразу же превратишься в мишень, и пулемет или та же пушка уничтожат тебя.

Целыми днями я стоял в траншее у стереотрубы и во все глаза смотрел на немецкий бугор, ожидая выстрела пушки. Обследовал в расположении противника каждую опушенную снегом кочку, но ничего подозрительного не находил. Колючая поземка била в глаза; как наждаком, обдирала щеки. Промерзший до костей, с распухшими глазами, мокрым красным лицом влезал на полчасика в блиндажик, чтобы хоть чуть-чуть согреться в нетопленой землянке, днем ведь не затопишь, — и тут же по телефону гневный голос командира дивизиона Гордиенко: «Так тебя и так! Разведали пушку?!» — и пошло-поехало. Горечь неоправданных потерь, наглость фашистов, оскорбленное самолюбие и какой-то злой охотничий азарт не давали покоя.

Вот и сегодня целый день простоял в траншее, замерз, шапка вся инеем покрылась, глаза и щеки поземка иссекла, но так и не нашел проклятую. Стало смеркаться, залез в блиндажик, развязал шапку, ребята выдолбленную в стене печурку разожгли, чайку согрели. Только принялся за кипяток, как опять Гордиенко вызывает, орет в трубку:

— Хиба тоби повылазыло! Какую-то задрипанную пушку найти не можешь! Тоже мне, бывший разведчик! Лучший командир батареи! Ты что, думаешь, так всю зиму и будет их «дура» нас под страхом держать?! Вчера трех связистов убила, сегодня две повозки разнесла! Смотри мне, ноги повыдергиваю, если не обнаружишь и не уничтожишь! — закончил очередной разнос Гордиенко.

Ночью в блиндажике, когда горит печурка, только и разговоров — о пушке: кого убила, где может прятаться, почему неуловима… Куда девались воспоминания о девушках, довоенных пирушках. Единственное, на чем сходились все, — это на том, что пушка кочует: перевозят ее по ночам, потому что выстрелы слышны что ни день с другого места.

— А сколько бы ты, Хлызов, дал, чтобы обнаружить пушку? — озабоченно, с украинским юмором спрашивает разведчика Штанский.

— Тысячу рублей не пожалел бы, — искренно, не подозревая подвоха, отвечает Хлызов, который, по его словам, никогда в руках не держал более тридцатки.

— Да я бы ничего не пожалел! — вторит ему Яшка Коренной.

— Двенадцать человек уже порешила, проклятая! — сокрушается связист Драчев.

— А связиста-то вчера убило, это же моего дружка из батальона, — грустит Штанский.

Только я хмуро молчу. За целую зиму обитания в блиндаже я еще ближе узнал каждого из своих солдат. Втайне я по-хорошему завидовал Драчеву: он хотя и мой ровесник, но уже женатый, сынишка у него растет, а меня убьет — даже потомства никакого не останется; и я постоянно оберегал этого своего связиста, насколько это возможно на передовой.

Только в очередной раз залез в блиндажик погреться, как одна за другой наверху разорвались две мины.

— Связь порвало, — встревоженно поднял на меня глаза Штанский.

— Сейчас исправим, — скороговоркой проговорил Драчев и тут же метнулся из блиндажика.

— Маскхалат надень! — кричу ему вслед.

Он отмахнулся:

— Да я быстро. — И уже был наверху.

В ту же минуту раздался глухой выстрел «той» пушки и донесся близкий разрыв снаряда. Я встревожился:

— Не по Драчеву ли? Посмотрите-ка, ребята.

Вскоре в блиндажик втащили умирающего Драчева. Пока перевязывали, он скончался. Трудно представить, что делалось в блиндажике. Его обитатели не находили себе места, смерть Драчева потрясла нас.

После очередного безрезультатного дежурства у стереотрубы вернулся под вечер в блиндаж, и тут снова меня вызвал к телефону Гордиенко, без вступления, строго приказал:

— Визьми карту! Квадрат 10–17 бачишь?

— Вижу.

— Шобы у мэнэ завтра утром был з радыстом в сим квадрати, разведал и уничтожил огнем батареи ту пушку! Понял?!

Я всмотрелся в карту, и по телу побежали мурашки: квадрат-то находится за немецким передним краем, чтобы в него пробраться, надо преодолеть минное поле, колючку, траншеи с немцами.

— По-о-онял… — медленно говорю, продолжая всматриваться в топографическую карту, — но туда же очень трудно попасть.

— А ты знаешь, шо легко? — зло и ехидно процедил Гордиенко.

— Что? — механически, думая больше о страшном приказе, глупо, по-детски наивно переспросил я.

— В бане поссять! — пояснил майор Гордиенко и бросил трубку.

— Что он сказал, товарищ старший лейтенант? — послышались вопросы.

— Приказано в тыл к немцам идти, пушку искать, — отвечаю, стряхнув набежавший испуг.

— А как же туда проберешься-то?!. — загомонили солдаты.

Я внимательно посмотрел на всех и сказал:

— Мне нужен один человек. Кто со мной?

В ответ раздалось три «Я».

— Пойдет Володя Штанский, мне радист нужен, — кратко резюмировал я. И обратился к Коренному: — Яша, приготовь нам пару маскхалатов и наволочку для рации. Да консервов с сухарями. А ты, Володя, оберни автоматы бинтом и лимонок штук пять прихвати. Тело Драчева, как ужин привезут, в деревню отправьте, пусть там похоронят.

— А вам письмо, товарищ старший лейтенант. С ужином привезут. По телефону передали, — известил Штанский.

— Ужина ждать не будем, Володя, — сказал я, а сам подумал: нечитанным письмо останется.

Через полчаса мы со Штанским уже стояли в траншее в белых маскхалатах и в полной готовности. Провожали нас разведчики и комбат Абаев. Попрощались. Уже положив ладони на бруствер траншеи, чтобы выпрыгнуть наверх, я невольно задержался. Представилось вдруг, что сейчас, как только покину вот эту самую последнюю нашу траншею, все наше, советское, родное, останется позади и не будет уж ни соседей, ни тылов. Никогда раньше я не задумывался, как тяжко, как страшно порывать последнюю ниточку, связывающую тебя с Родиной. Тут, хотя и на самом последнем краешке страны, в самой последней от центра страны траншее, где сыро и холодно, где ты под огнем неприятеля, — а все же тут ты дома.

Глубоко увязая в снегу, мы медленно продвигались через нейтральную зону к переднему краю немцев. Впереди, метрах в трехстах, потрескивали пулеметы. То тут, то там вдоль их переднего края взлетали осветительные ракеты. Пришлось продвигаться ползком, замирая на месте при вспышке каждой ракеты. Скоро должно быть минное поле, надо Штанского предупредить, я пополз медленнее. Слева впереди, совсем близко, хлопнула ракетница, я прильнул к земле, но голову не опустил, чтобы лучше осмотреться при свете ракеты. В неверном мертвенно-бледном свете взлетевшей ракеты прямо перед глазами блеснули витки колючей проволоки. Озноб пробежал по спине: я с ужасом понял, что лежим мы на минном поле.

— Осторожно, мы на минах, — шепнул Штанскому. Спираль Бруно наполовину выпирала своими колючими кольцами из снега. Хитрые переплетения витков не дадут возможности проникнуть через ее середину, хотя мы надеялись, что валенки, телогрейки и ватные брюки спасут нас от травм, позволят перебраться через колючую спираль. Но только, воспользовавшись темнотой, положили автоматы поперек колец спирали, как загремели пустые консервные банки, привязанные к колючке, и тут же пулеметная очередь резанула слева, обдав лицо снежной пылью. Мы поглубже вжались в снег. Штанский лежал сзади меня. Одна за другой в небо стали взмывать осветительные ракеты. К первому пулемету присоединились еще два. Стреляли трассирующими пулями. Три ярко-красные змейки метнулись из траншеи к моей голове. Спас глубокий снег. Но шум проносившихся над головой пуль был страшен: оказывается, пули, когда пулемет бьет тебе в лицо с расстояния в пятьдесят метров, вовсе не свистят, а зловеще шумят. Целый час, пока не произошла у них смена пулеметчиков, мы лежали недвижно под яростным пулеметным огнем. К великому счастью, ни одна пуля не зацепила нас. Выждав еще минут тридцать, пока новая смена фашистов окончательно не успокоилась, стали осторожно и очень медленно преодолевать колючку.

С исполосованными в кровь запястьями и животами, прячась в снегу, мы приблизились к передней немецкой траншее между двумя стреляющими пулеметами. Растаявший снег смочил ссадины, они стали гореть огнем. Но было не до боли. Улучив момент, перескочили через траншею и стали быстро продвигаться в тыл немцев. Мы рассчитывали подняться повыше на взгорок, чтобы разыскиваемая пушка оказалась сзади и ниже нас. С высоты взгорка, из немецкого тыла, мы сможем лучше рассмотреть оборону фашистов и разведать эту проклятую пушку, ведь она прячется где-то здесь, на этом длиннющем взгорке. Порезы от колючей проволоки на животе и руках неприятно саднили, особенно на запястьях. Но опасность предприятия, важность задания заглушали боль. Наконец, ориентируясь по взлетавшим в небо ракетам, мы решили, что достигли запланированного места.

Рассвет застал нас в глубокой снежной яме. Ночная поземка надежно замела следы, а выступавшие из ямы белые капюшоны слились с комьями снега. Сели в яме лицом друг к другу так, чтобы Штанский смотрел в тыл немцам, а я — в нашу сторону. Штанский настроил рацию. Мне же не терпелось определиться, где мы находимся, но было темно. Когда развиднелось, глянул в бинокль и поразился.

— Володя, — закричал, — ты глянь, наши позиции как на ладони! Да отсюда на десять верст все кругом обстреливать можно!

Осмотрев с интересом свой передний край, я опустил бинокль ниже и вздрогнул: приближенный шестикратно биноклем, почти рядом торчал затылок пулеметчика в немецкой траншее, а вдоль траншеи ритмично подпрыгивали закутанные в какое-то тряпье головы других фашистов.

— Замерзли черти, греются, — усмехнулся я. — А ты внимательно в их тыл смотри, — напомнил Штанскому, — мало ли что.

Тщательнейшим образом часа два я осматривал все вокруг: вся немецкая оборона в нижней части пригорка просматривалась прекрасно, но пушки нигде не было. Да чем же они замаскировали ее, где она, проклятая?! — начиная нервничать, думал я. Холод пробирал до костей, но еще больше беспокоила неудача с пушкой. Вдруг меня с силой толкнул Штанский.

— Смотрите! — испуганно показал он в немецкий тыл.

Я повернул голову и ужаснулся: перевалив через бугор, прямо на нас из немецкого тыла шла группа фашистов в белых маскхалатах. Поверх наших голов они внимательно всматривались в даль, в сторону наших позиций, ничего не замечая поблизости. Ну и угораздило же нас расположиться на самой дороге у немцев, подумал я с горечью.

— Автомат и гранаты к бою! — приказал Штанскому, направив и свой автомат в сторону фашистов.

А немцы приближались, уже доносился их оживленный лающий разговор. Все пропало, сокрушался я, конечно же, они увидят нас, придется вступить в бой, и некому будет проклятую пушку искать.

— Давайте постреляем их, товарищ старший лейтенант, пока они нас не заметили.

— Всех сразу не убьешь, а себя обнаружишь. Может, не заметят, — успокоил я радиста, а сам подумал: главное, в плен не попасть.

Внезапно фашисты остановились, еще пристальнее, из-под ладоней, стали осматривать дальние наши позиции: что-то заметив, они возбужденно обменивались мнениями. Потом пригнулись, круто повернули направо и рысью побежали в сторону. Метров через двести они остановились, попадали в снег и быстро поползли вниз по бугру к своей передовой.

— Кого они испугались, почему стали петлять и прятаться? — спросил радист.

— Уж конечно, не нас с тобой, нас они не заметили. Прячутся от наблюдателей с наших позиций. Но нам с тобою на этот раз здорово повезло — ненароком оползли нас.

Теперь фашисты неподвижно лежали в снегу и, приподняв головы, внимательно смотрели в сторону нашей обороны. Вдруг они что-то заметили, засуетились, загалдели, показывая руками на наши позиции. Я не удержался, посмотрел в бинокль в том же направлении: в далеком нашем тылу по дороге легко катила пароконная повозка. Два немца быстро приподнялись на колени, поковырялись в снегу. Внезапно распахнулись в стороны две большие белые простыни… и передо мной предстал темно-зеленый казенник 75-мм пушки! Я чуть не умер от удивления и радости! Наконец-то я видел то, ради чего мы так рисковали и рискуем, оказавшись здесь!

— По местам! — крикнул Штанскому для передачи по радио. А сам не переставал удивляться: как же я раньше-то не заметил этих простыней?!

— Цель — блиндаж, правее ноль-тридцать, прицел восемь-ноль, — полетела на батарею команда.

Немецкие артиллеристы не успели произвести роковой для нашей повозки выстрел — впереди их пушки разорвался снаряд! Они присели, прячась за орудие. Было смешно наблюдать спины фрицев, как они прятались от наблюдателей с нашей передовой, не подозревая о зрителях из собственного тыла.

Второй пристрелочный снаряд взорвался сзади вражеского орудия и загнал немцев под пушку. Но осколки этого снаряда щедро окатили и яму, где мы сидели.

— Товарищ старший лейтенант, а по себе не угодим? — взволнованно спросил радист.

— Свои снаряды нам не страшны! Передавай на батарею: «Веер сосредоточить к первому! Батарее, четыре снаряда, беглый, огонь!»

Шестнадцать мощных снарядов накрыли цель. Один из них разорвался между станинами проклятой пушки и, разметав орудийный расчет, опрокинул ее.

— Ура! — послышалось в наушниках рации — это радовались наши батарейцы, наблюдавшие разгром пушки с наблюдательного пункта.

Наконец-то! Заветное дело сделано! Проклятая пушка уничтожена! С чувством исполненного долга мы с радистом откинулись к стенкам своей снежной ямы.

Прошло с полчаса, и к разбитой пушке пришла из тыла группа солдат в маскхалатах, с носилками. Только они принялись осматривать валявшиеся в снегу тела своих товарищей, чтобы забрать живых и отнести в тыл, как я подал по радио команду:

— Огонь!

Спустя полминуты к разбитой пушке прилетели новые шестнадцать снарядов и с неистовой силой стали взрываться среди новой группы немецких солдат. Вся она была уничтожена.

Больше к пушке никто не приходил.

Остаток дня мы использовали на уничтожение огневых точек врага, которые хорошо были нам видны из немецкого тыла. Теперь нам было не страшно: что бы ни случилось, основное задание мы выполнили — проклятая пушка уничтожена.

Когда стемнело, двинулись домой. Трудное возвращение проходило удачно. Чтобы тяжелая рация не вдавливала связиста в снег и он не подорвался на мине, я приказал ему снять рацию со спины и тянуть сзади на проволочной антенне. Но, как известно, лучшее — враг хорошего! Тяжелый ящик рации запахался углом в снег, наткнулся на мину, и произошел взрыв. Взрыв разнес рацию и всполошил немцев. Взлетели в небо осветительные ракеты, затрещали наперебой пулеметные очереди.

Страшные близкие пули взрывали снег на минном поле… Но стреляли немцы по черному пятну, образовавшемуся при взрыве, — мы же успели откатиться в сторону и зарыться в снег.

Обстрел длился больше часа, пулями был иссечен весь снег там, где мы раньше лежали. Если бы мы не откатились с этого места, они бы изрешетили нас.

Сколько же этих «если бы» нам пришлось преодолеть за 24 часа! Если бы не свет ракеты и я не увидел, что мы на минном поле, а впереди спираль Бруно… Если бы не глубокий снег, когда трассирующие пули шли прямо в мою голову… А если бы немецкий расчет не свернул, когда мы сидели в своей снежной яме?.. Или если бы чуть сильнее промахнули наши огневики… Или если бы мы вовремя не откатились после взрыва на минном поле… Но судьба и на этот раз сберегла нас.

Опять долго пришлось ждать, пока немцы успокоятся и можно будет снова двинуться в путь.

Какая же была радость в дивизионе, когда мы вернулись невредимыми на свою батарею! Радовался не только 1-й дивизион, радовалась вся передовая всей дивизии, потому что со всех наблюдательных пунктов следили за поединком немецких и наших артиллеристов.

###### Просчет комбата Абаева

Всю зиму мы простояли в обороне на реке Ингулец в Кировоградской области Украины. Перед новым, весенним наступлением сорок четвертого года жизнь на передовой заметно оживилась. Стали вспыхивать бои по улучшению позиций. Моя батарея продолжала поддерживать огнем батальон Абаева. Капитан Абаев был умным и храбрым офицером, правда, немного упрямым и излишне самоуверенным.

Мартовской ночью, когда густой туман окутал землю, съедая остатки снега, батальону Абаева было приказано захватить немецкую траншею. Растянувшись в цепь метров на триста, изреженный батальон покинул свои окопы и перебежками направился к немецким позициям. Когда до противника, судя по всему, оставалось метров двести, батальон по команде Абаева залег и тихо, по-пластунски пополз к немецким окопам. Комбат был слева, а в центре и справа атаку возглавляли командиры рот. Взводные давно вышли из строя.

Я полз вместе с Абаевым на левом фланге батальона. Со мной был только связист Прокушев, всегда готовый подключить телефонный аппарат к проводу, чтобы вызвать огонь батареи.

— Слушай, мы ползем вдоль немецких траншей, — насторожился я, обращаясь к Абаеву.

— Правильно ползем! — упрямо ответил комбат, не считаясь с моими опасениями.

Проползли в вязком тумане еще метров двести.

— Мы обогнали правый фланг и цепь развернулась вправо! Мы же вдоль немецких окопов ползем! Поэтому их так долго и нет, — снова обеспокоился я.

— Правильно ползем! — уже сердито огрызнулся Абаев.

Абаев был моим фронтовым другом, но он был лет на восемь старше меня и не хотел считаться с мнением вчерашнего студента. Ну что ж, он хозяин, батальон его, моя батарея только поддерживала его огнем. Правда, я не подчинен ему, но бросить его, вернуться назад я не мог: скажут, струсил, не поддержал в бою. Потому — куда Абаев с батальоном, туда и я со связистом.

— Вперед! Вперед! — постоянно передавалась по цепи жесткая команда Абаева.

Растянувшись в цепочку, под покровом темноты и тумана, такого густого, что никакие осветительные ракеты не пробивали, батальон бесшумно, но проворно продолжал ползти — как ему казалось, к немцам. Чтобы атаковать их спящих, бесшумно.

Вдруг ни с того ни с сего полил дождь. Туман рассеялся, и сквозь просветлевшее утро атакующие — к ужасу своему! — увидели в сорока метрах слева от себя немецкие окопы. Фашисты тоже увидели наших, и тут же пулемет открыл кинжальный огонь. Вскоре длинной очередью полоснул второй пулемет, потом к ним присоединились еще несколько ручников, и все поле оглушил сплошной треск пулеметно-автоматной стрельбы.

Все случилось так внезапно, что многие наши не успели даже развернуть в сторону противника оружие. Страшной силы фланговый огонь мгновенно прижал к земле все живое — ни шевельнуться, ни развернуться никто уже не мог. Только отдельные смельчаки, несмотря на бурю огня, вразнобой ударили в сторону немецких окопов и тут же, пораженные пулеметными очередями, умолкли. А немцы будто взбесились! К дежурным пулеметчикам торопливо присоединялись выбегавшие из блиндажей проснувшиеся солдаты. Положение стало слишком неравным: немцы были в окопах, над брустверами мелькали только котелки их касок, местность перед их окопами за целую зиму они изучили до мельчайших подробностей; наши же лежали на открытом мерзлом грунте, прижатые к земле мощным ливнем пулеметно-автоматного огня.

Я полз самым левым, справа был связист Прокушев, дальше Абаев и весь батальон в цепочку, человек семьдесят. Первая же пулеметная очередь резанула слева-спереди, со страшным шумом над головой пронеслись первые пули. Едва я успел вжать голову в лощинку, как немец, чуть опустив ствол пулемета, вспорол левое плечо моего полушубка.

— Лежать, не двигаться, — послал по цепи команду Абаев, и сам замер на месте.

Связист Прокушев был сражен сразу же, как только он попытался подключить телефонный аппарат к кабелю. Абаева же не коснулась ни одна пуля: своими телами мы с Прокушевым полностью закрыли его от огня немцев. А замерший от страха батальон нещадно косили немецкие пулеметы и автоматы.

Хотя дождь продолжался, видимость постепенно улучшалась, и немцы, покончив с батальоном, принялись, как вошедшие в азарт охотники, выискивать с помощью биноклей уцелевших красноармейцев. Стоило кому шевельнуться или попытаться сменить положение затекшего тела, а то и просто открыть глаза, как тут же следовала прицельная пулеметная очередь, к ней присоединялся огонь тех, кто не отыскал себе цели самостоятельно, — стрельба велась по человеку до тех пор, пока не обнаруживалась очередная жертва.

Стиснув зубы от злости я лежал на правом боку лицом к немцам. Правая щека моя прижималась к мерзлой земле. Приоткрывая находившийся у самой земли, в тени, правый глаз, я время от времени смотрел на немцев. А те, вытянув шеи, изо всех сил всматривались в лежавших красноармейцев в надежде заметить малейшие признаки того, что кто-то еще жив. Вдруг самый высокий из толкавшихся в траншее немцев быстро, с силой взмахнул правой рукой над окопом. Не успел я сообразить, что это значит, как метрах в пяти впереди меня на землю шлепнулась ручная граната. Она подскочила вверх, несколько раз подпрыгнула и подкатилась к самой моей голове. Ожидая взрыва, я в страхе прикрыл глаза. По счастью, граната вкатилась в ямку и тут же взорвалась. Тупой, короткий удар взрывной волны обжал со всех сторон мою голову, и тут же прошумели многочисленные осколки.

Дождь усилился. Полушубки и шинели набухли от воды и покрылись ледяной коркой. Теперь не только пули, но и каждая капля дождя, ударявшая по одежде, тяжелым молотом отдавалась в ушах. День длился бесконечно. Я совсем замерз, временами впадал в беспамятство, и тогда в туманном сознании тягуче медленно чередовались видения: немцы… выстрелы… дождь… стоны… холод… боль… сон… пробуждения… и снова дождь, выстрелы, беспамятство… Бесконечно долго все мы, еще живые, ждали спасительной ночи.

Когда наконец стемнело, приползли наши санитары. Они стали нащупывать раненых, с трудом отрывать примерзшие к земле тела и вытаскивать к своим окопам. Несколько человек, в том числе и Абаев, по счастью, оказались невредимы. Долго мы не могли расшевелить свои окостеневшие тела, чтобы двинуться в направлении своих покинутых окопов. Немцы же принялись пускать осветительные ракеты и вести беспорядочную стрельбу в сторону погибшего батальона.

Человек десять спасенных раненых санитары отправили в санбат. Семерых нетронутых счастливчиков, оказавшихся в своих старых блиндажах, растерли и напоили спиртом. Сочувствовавшие бойцы соседнего батальона, на глазах которого происходила эта трагедия, сняли с себя кто что мог и передали пострадавшим. Нас переодели во все сухое, накормили ужином и уложили спать. Большое количество выпитой водки оказалось безотказным лекарством. На другой день все чудом уцелевшие солдаты как ни в чем не бывало, даже без насморка, снова вступили в бой.

Я оказался в числе тех счастливчиков, которых чудом не коснулась ни одна немецкая пуля. Но на всю жизнь запомнил, как трудно было размять закоченевшие за день от неподвижности и стылости руки и ноги и самостоятельно выползти из той мясорубки, а потом, когда вернулся в свой блиндажик, как ребята растирали все мое тело спиртом, одели в сухое и чуть не насильно влили в меня целый стакан спирта. Затем последовали ужин и мертвецкий сон.

Проснулся я тогда поздним утром и увидел, что лежу снова в воде и от моего тела поднимается легкий пар. Глиняное ложе-корытце, в котором я спал всю ночь, до краев заполнила дождевая вода, лившаяся с потолка блиндажика. Не мешкая, я выполз из утлого убежища, переполз по-пластунски бугорок позади передовой и понесся на огневую позицию своей батареи. Там родненькие мои огневики проделали со мною те же «процедуры», что и вчера связисты на передовой, я вдоволь выспался в тепле и на другой день в полном боевом уже был снова на своем НП.

### Глава одиннадцатая

### Весеннее наступление

### Март — начало апреля 1944 года

###### Чуть не застрелился

Наступил март, а с ним и ранняя украинская весна. Сошел снег, и вся оборона у нас и у немцев оказалась на виду — вот они, совсем рядом, немецкие траншеи, блиндажи, колючая проволока спиралей Бруно и круглые железные банки на земле — противопехотные мины.

8 марта 1944 года в составе 64-го стрелкового корпуса 57-й армии 3-го Украинского фронта мы поднялись в новое, уже весеннее наступление, чтобы освободить Правобережную Украину. Дело происходило так: мы наступали, а немцы, дав очередной бой на заранее подготовленном рубеже, быстро отступали. Но, будучи более маневренными, они часто при отступлении контратаковали нас пехотой и танками. Иногда мы не успевали их догонять — они ведь на машинах, а мы пешью. Вот и сейчас мы отстали и упустили их, потеряли из вида. Наш артполк уже пришел в небольшое село Ворошиловку, а пехота приотстала. Комдив генерал-майор Миляев приказал: пока подойдут стрелковые полки, на случай атаки танков выставить на прямую наводку перед селом все восемь батарей артполка.

Наш 1-й дивизион упредил приказ командира дивизии, свою 1-ю пушечную батарею мы уже поставили на прямую наводку в трех километрах правее дороги на запад, так как по подсохшей степи танки дорог не признают. Ну, а нас, командира 2-й батареи и меня, командира 3-й, Гордиенко повел в поле левее дороги, чтобы выбрать тактически выгодные позиции для установки наших батарей. Исходили мы километров пятнадцать, пока нашли подходящие места для орудий, село с нашими пушками осталось далеко позади.

Мартовское солнце на Украине печет нещадно, особенно если ты в полушубке, кирзовых сапогах, облепленных стопудовой грязью, и в шапке-ушанке. Перед возвращением решили на подсохшем бугорке немного передохнуть. Я не утерпел, улегся на спину на покрасневшую прошлогоднюю травку. Онемевшие руки и ноги раскидал во все стороны. Устали мы настолько, что я подумал: все, больше никуда не пойду, стреляй меня на месте — не поднимусь, пока не передохну. Усталость эта была не сиюминутная. Мы, кто воевал на передовой, постоянно находились в стрессовом состоянии. Ну, а те из нас, кого к тому же долго не ранило и не убивало, испытывали неимоверную усталость от войны. Хотя вслух никто из нас об этом никогда никому не говорил. Сразу же донесут, и тебя потащат в особый отдел за упаднические настроения. В этом вся трагедия «неубиваемых».

В непрерывных, изо дня в день боях все твое тело измочалено до последней жилки. Да разве только тело? Умереть бы на этом солнечном взгорке, и всему конец. Но вот полежал немного, передохнул, вспомнил Лермонтова: «Но не тем холодным сном могилы…» — да, «не тем холодным сном могилы я б желал навеки так заснуть, чтоб в груди дремали жизни силы, чтоб дыша вздымалась тихо грудь…» Открываю глаза — а небо-то голубое-голубое, бездонное, не звенят еще в нем жаворонки да и вообще никакой птицы не видно, а все равно хорошо… Не знаю, о чем в эти минуты блаженного отдохновения на солнечном припеке думали мои товарищи, оба они молчали, а я, продолжая смотреть широко открытыми глазами в небесную синеву, воспел про себя: «Дывлюсь я на небо, та и думку гадаю: чому ж я нэ сокил, чому ж нэ летаю?..» Но, видно, время, отпущенное на лирику, закончилось, меня будто кто в бок кольнул: ВЗГЛЯНИ-КА НА ЗАПАД! Приподнимаюсь, всматриваюсь, оглядывая горизонт, и вижу: далеко-далеко, километрах в семи, высоко в небо поднимаются клубы пыли.

— Товарищ майор, — обращаюсь к командиру полка, — вроде бы танки пылят, посмотрите-ка во-о-н туда.

Гордиенко поднялся во весь свой могучий рост, присмотрелся:

— Похоже, танки. Вставайте, хлопцы, айда к своим пушкам в деревню.

Ох, как не хотелось вставать! Нисколько не отдохнул еще ни от марша, ни от этой проклятой ходьбы. А подниматься надо. И мы быстро пошли в Ворошиловку. А до нее километра четыре. Сначала шли скорым шагом, потом, постоянно оглядываясь, побежали рысцой. Когда же увидели, что часть танков отделилась от основной группы и направилась в нашу сторону, припустили уже изо всех сил. А силы уже давно кончились. Тяжело дыша, впереди несся долговязый, немного трусливый Гордиенко, за ним Ковалев, я замыкаю группу. Постоянно оглядываясь, четко вижу, что танки несутся двумя группами: большая часть нацелилась на нашу 1-ю батарею, остальные приближаются к нам. Мы уже и забыли об отдыхе, продолжаем бежать, пустив в ход не второе, а, наверное, уже пятое, а то и седьмое дыхание. Горячий выдыхаемый воздух жжет горло, в груди горит огнем, а сердце готово выскочить наружу. Головной танк дал несколько очередей из пулемета, пули пронеслись низко, над самыми головами, чуть не зацепив шапки, и тут же пули просвистели справа и слева. Танк гнался за нами, стреляя поверх голов, мы убегали по ровному полю — ему ничего не стоило прикончить нас из пулемета, тем более из пушки, до нас было всего метров восемьсот, но он этого не делал. И мы с ужасом поняли: мы нужны им живыми! Им нужно знать, где находятся наши войска: вперед ушли или еще на подходе. Чтобы выяснить это, они и хотели поймать нас, а при мне была топографическая карта с нанесенным расположением наших войск. Выстрелами поверх голов танкисты предупреждали и настойчиво требовали: остановитесь! Но мы убегали изо всех сил: пусть лучше поубивают, чем в плен попасть! Плена мы боялись пуще смерти!

Гордиенко, не оборачиваясь, прибавил скорость, мы с Ковалевым начали от него отставать. Передний танк уже нагонял нас, придвигался все ближе и ближе, а до деревни — еще с километр! На наше счастье, началось высохшее русло небольшого ручья; изгибаясь, оно виляло из стороны в сторону и быстро углублялось — пригнувшись, мы бросились бежать спасительными зигзагами. Теперь на какое-то время танк терял нас из вида, но, как только на очередном изгибе мы попадали в поле зрения, тут же выпускал пулеметную очередь. Пули сбивали шапки, но не убивали нас. Вскоре русло ручейка кончилось, и мы снова оказались на ровном поле, потеряв хотя и призрачное, но все-таки хоть какое-то убежище. К ложу ручейка с обеих сторон тянулись неглубокие промоины, по ним когда-то стекала талая вода, из промоин торчала щетина высокой прошлогодней травы, и я понял, что это единственное место в голой степи, где можно спрятать карту. Нагнувшись, но не останавливаясь, сунул карту под корни одного из кустиков. Сзади грянула пулеметная очередь, выпущенная так близко, что звук выстрелов с чудовищной силой ударил по барабанным перепонкам, а пули со страшным шумом пронеслись у самого плеча. Оглядываюсь, танк — вот он, в пятидесяти метрах и вихрем приближается к нам! В смятении мы остановились и закружили на месте, не зная, что предпринять. Наше положение сравнялось с участью мышки, зажатой кошкой в углу. Не сговариваясь, все разом мы вытащили пистолеты. Но не для того, чтобы стрелять по танку. Для того, чтобы вовремя застрелиться. Некуда нам было деться: ни стрельнуть нечем, ни спрятаться негде, и сквозь землю не провалишься. Мы не знали, что будет в следующее мгновение — расстреляют нас из пулемета, ударят ли из пушки или размажут гусеницами по земле, коли мы в плен не сдаемся. Танк остановился, водитель дал между нашими головами пулеметную очередь, принуждая лечь. Тут же приоткрылся стальной люк башни, из него высунулся немец, крикнул:

— Рус! Бросайт оружие!

Люк сразу же захлопнулся. Танк двинулся на нас. Справа и слева подъехали остальные танки группы, взяли нас в клещи, нацелив пушки и пулеметы. Положение стало безвыходным. Я взвел курок пистолета и приставил ствол к виску. Оставалось только чуть нажать на спусковой крючок. Но я не смог в одно мгновение осилить это роковое движение. Кто не пережил подобного состояния безвыходности и отчаяния, когда нет никакой возможности миновать плена, когда в твоей воле и власти за считаные секунды принять роковое решение, пересилить высочайший барьер, отделяющий жизнь от смерти, — нажать на спуск и застрелиться, тот может, спустя полвека, хладнокровно и публично вопросить: «Почему же не застрелился?» И такой вопрос первым ставили воинам, побывавшим в плену. Выходит, все шесть миллионов, оказавшихся в плену, должны были застрелиться?

А нам было страшно стреляться. Даже когда немецкий танк двинулся давить нас. Требовалась пара секунд, чтобы пересилить себя. И эти две секунды нерешительности спасли нам жизнь. Внезапно танк резко, как запнулся, встал, мгновенно крутанул на одной гусенице на сто восемьдесят градусов и помчался что есть силы восвояси. За ним последовали остальные. Мы в растерянности оглянулись… Десятки наших танков выезжали из села! Их-то и испугались наши мучители, в одно мгновение позабыв про нас. Случилось, как в кино, невероятное: уже и курки взвели, и пистолеты к вискам приставили — и тут!.. До роковых выстрелов в собственные головы не хватило какой-то секунды.

Между тем наша 1-я батарея вела жаркий бой с подошедшей к деревне основной группой немецких танков, несколько танков уже было подбито…

###### Погоня

Немец убегал от меня изо всех сил. Из-под мостика их выскочило двое, но второй, когда я припустил за ними, развернулся и дал по мне автоматную очередь, я ответил тем же, и он упал замертво. Этот же немец пытался удрать в поле следом за отступившими из деревни фашистами. До него оставалось метров пятьдесят.

Хорошо, что я не стал ждать свою пехоту, а бросился с тремя управленцами вдогонку за отступавшими фашистами. Иначе мостик взлетел бы на воздух! И хорошо, что я догадался заглянуть под этот мостик, когда двое в мышиных шинелях выскочили из-под него. Так и оказалось — подложили под сваю взрывчатку! И по бикфордову шнуру уже бежал огонек! Мостик, конечно, — не мост, так себе переправа, но если бы немцам удалось взорвать его, мои гаубицы, которые уже снялись с закрытой позиции, не смогли бы вовремя одолеть заболоченный ручей и надолго отстали бы от нас. Я вырвал горящий шнур, отбросил в сторону и кинулся за убегавшими взрывниками.

А командир батальона Морозов задержался перед деревней потому, что никак не мог вытащить из немецкой траншеи своих измученных, полуживых пехотинцев. Они как ввалились в траншею, когда из нее выскочили немцы, так и остались лежать на дне окопов. Морозов истерически кричал, ругался на чем свет стоит, угрожал пистолетом, даже стрелял в воздух, топтал солдат ногами, остервенело пинал их сапогами — но они, как убитые, не шевелились. А батальону надо было не только эту траншею захватить, но и деревню взять. И сделать это надо быстро, пока немцы не очухались, не закрепились в ней. Но солдаты оставались недвижны. Какой уж раз кончались их физические и духовные силы за пять атак на эту злосчастную траншею. Люди, уцелевшие после пяти атак, ничего уже не боялись. Весь взгорок на подступах к этой траншее был устлан нашими убитыми и ранеными. И что им теперь комбат со своим пистолетом — всех не перестреляет.

Морозов как-то вдруг понял все это, плюнул и устало опустился на край окопа. Этот высокий, стройный, энергичный красавец сам вдруг сник, согнулся и сгорбился, уперся локтями в колени, прижав к глазам свои могучие кулаки. Выглядел он самым несчастным человеком на земле. Он и сам с рассвета вымучился не менее любого из своих солдат. И, как всегда во время боя, не было рядом с ним ни замполита, ни парторга, ни комсорга. А командиры рот, не говоря уже о взводных, давно вышли из строя. Сегодня погиб последний ротный. Да и от батальона осталось человек тридцать. В ушах Морозова все еще хрипел срывающийся голос комполка по телефону: «Расстреляю, такой-сякой, если не возьмешь деревню!» А как ее было взять?!! Перед деревней — траншея в полный рост! Наши снаряды рвутся в самой близи от нее, попадают в бруствер, осыпают стены, — а немцы отлеживаются себе на дне окопов! Только прекращаем стрельбу, чтобы не искалечить свою наступающую пехоту, — немцы вскакивают, кладут пулеметы на бруствер и давай крошить наших! Да, как легко было в сорок первом немцам занимать российские просторы, нам же теперь приходится с бою брать каждый взгорок!

Захлебнулась бы и пятая атака. Но, к нашей радости, на мою батарею подвезли бризантные снаряды. Только этими снарядами можно вышибить врага из окопов. Во взрывателе такого снаряда имеется трубка с пороховой мякотью, которая загорается при выстреле. Пока снаряд летит, мякоть в трубке горит и взрывает снаряд при подлете к цели. Но очень трудно рассчитать время горения этой мякоти — решают сотые доли секунды. Только артиллеристы-виртуозы у нас и у немцев могли стрелять бризантными снарядами. Не зря же над пушкарями шутили: «Трубка пять, по своим опять!» К счастью, я умел с ними управляться, и все эти редкие, дорогие снаряды направляли на мою батарею.

Такими снарядами выкуривают неприятеля из траншей: оглушительный взрыв над головой, страшный град стальных осколков сверху — и никакая траншея не спасет. И сейчас, когда над головами фашистов загремели в воздухе разрывы и огненный град осколков окатил траншею сверху, немцы взвыли, заметались в окопах, как тараканы на горячей сковородке, а уцелевшие выскакивали и бежали в деревню. Но я такими же снарядами выкурил их вон и из деревни. Вот тут-то наши пехотинцы, поднявшись во весь рост, доковыляли до траншеи и ввалились в нее. Но я не стал их ждать, бросился с управленцами вдогонку за подрывниками, чуть не взорвавшими мост.

Расстояние между мной и убегавшим немцем быстро сокращалось. Бегал я с детства хорошо, много тренировался в институте и во время формирования в запасном полку; сначала мы проклинали мучителя-майора, гонявшего нас ежедневно по утрам на десять километров, зато на фронте благодарили. И вот теперь мне предстоит потягаться в беге с немцем. Не знаю, на что он рассчитывал, ведь я в любую секунду мог выстрелить ему в спину. Но на войне всякое случалось. Бывало, что и убегали. И мы, и немцы.

Когда до немца оставалось метров пять, он сбросил шинель и начал удаляться, я тоже скинул шинель… Немец скинул китель. Опять припустил! А у меня уже кончились все жизненные ресурсы — от частого горячего дыхания огнем пылает горло, сердце вырывается наружу. Ну все, думаю, сил больше никаких нет, не догоню немца. Длинноногий попался, тренированный. Я уже вскинул автомат, нащупываю на бегу спусковой крючок… И тут неистовое желание поймать немца — ЖИВЫМ! — пересиливает все на свете. Такое жгучее, все исключающее желание бывает только у детей. Уже после войны пятилетний сын запросил однажды: «Папа, поймай воробушка, я только подержу его и отпущу!» Вспомнив «своего» немца, я понял желание ребенка ухватиться за невозможное, за небесное, и поймал-таки ему молодого воробья, хотя и сильно рисковал: птенец прятался в нависавших над пропастью кустах.

В какой уже раз делаю еще рывок, и до немца остается пара шагов. Вижу пар над его нательной рубашкой. Дело происходит ранней весной, снег уже стаял, но под раскисшей землей лежит мерзлый грунт, грязь с него соскальзывает, ноги то и дело разъезжаются в стороны. Двое моих связистов и Коренной, нагруженные катушками с кабелем, далеко отстали; давно уже скрылись впереди за бугром убегавшие из деревни фашисты — и мы с немцем вдвоем, один на один, несемся по скользкому голому полю. Он изо всех сил убегает от смерти, а я догоняю его, чтобы насладиться отмщением. Мне надо во что бы то ни стало поймать его живым! Что ни говори, а живого немца — нет, не пленного, уже сникшего и беспомощного, как бочечная селедка, а бьющегося, сопротивляющегося, как только что подцепленный на крючок голавль, — захватить очень заманчиво! Не часто удавалось нам с близкого расстояния видеть живого врага. Во время атак — расстояние десятки метров, лиц не видно. И в рукопашной схватке врага не разглядишь, тут все происходит быстро, неожиданно, лица озверелые, искажены, мелькают, сливаются в красное месиво, да и самому не до созерцания выражений лиц и глаз врагов.

Что-то загадочное, чуждое, опасное и непонятное чувствовали мы всегда в немцах. Злые, коварные, хитрые, ловкие, жилистые, техничные, стойкие и надменные. Мирное, близкое соседство с фашистами было у нас немыслимо. Если ты, даже случайно, увидел его — стреляй немедленно, иначе он тебя убьет! Немцы тоже не терпели и боялись нас, «зелеными привидениями» называли. Но кроме зла и отвращения был у нас какой-то тайный интерес к противнику. Хотя боже упаси поделиться этим даже с близким другом! Это был такой криминал, который пресекался и карался нещадно. Естественным было желание нашей пропаганды — воодушевить своих и унизить противника. Но карикатурный показ немцев как трусов и дурачков развлекал бывалых воинов и вводил в заблуждение новичков. Истинную силу немцев мы познавали в бою, на передовой.

Кто же они такие, немцы? Во имя чего так отчаянно и храбро воюют? Почему так хорошо оснащены — от оружия до амуниции и продовольствия? У нас же вечно чего-то не хватало. И в бою эти нехватки оборачивались немыслимыми страданиями, перенапряжением сил и излишними потерями. Немцы-то не послабляли нам в счет наших нехваток. Зато как радовались мы, когда было у нас всего в достатке — и продовольствия, и боеприпасов, да вдобавок прибывали на подкрепление еще и прославленные «катюши»! Само их присутствие удесятеряло наши силы!

Немцы никогда не экономили боеприпасов, никаких лимитов у них не было. Бьют и бьют, и ты уж не смерти ждешь, а конца обстрела. Когда мы были уже в Германии, нас поразили ломящиеся от копченостей чердаки. А нам-то говорили: «С голоду мрут». И все-то у них отполировано, тонко окрашено, подогнано, приспособлено, предусмотрено, безотказно… Однако немецкое благополучие вызывало у нас не только тайную зависть, но и дополнительную злость. Поэтому интерес к немцу как к человеку был на втором плане. На первом было — зло и отмщение за все, что натворили они. А ЭТОТ убегавший от меня немец-подрывник олицетворял собою самое вредное и отвратительное, что было во всех немцах, вместе взятых! Не кому-нибудь, а именно ЕМУ поручили подорвать мостик. ЭТОТ и подорвать сумеет, и своих догонит, и в плен не сдастся, и убежать сможет. Это ОН сидел в траншее и крушил нас из автомата. Сколько вчерашних колхозников ОН умертвил, скольких ребятишек осиротил, пока наши пять раз в атаку бегали!

Вот это зло с чудовищной силой сжимало сердце и не давало ему вырваться наружу от тяжкого бега. Не второе, а, наверно, уже седьмое или десятое дыхание преодолевал я и делал новое, еще одно усилие, чтобы сблизиться с немцем. Ведь он совсем уже рядом! Поднимаю автомат, хочу дотянуться до его спины, чтобы толкнуть и свалить его в грязь. Но никак не могу этого сделать — не хватает каких-то пары сантиметров! Немец слышит мое тяжелое дыхание, оглядывается, бросает автомат и, облегченный, снова ускоряет бег. Стрелять в безоружного я уже не могу. Но поймать его надо обязательно! С него же надо спросить за все! В памяти вспыхивают одна за другой страшные картины. Во время второй или третьей атаки немецкая пуля перебила моему связисту сонную артерию — вижу ударившую фонтанчиком из его шеи кровь, падаю вместе с ним на землю, он откинул голову мне на грудь, кровь ключом бьет из сосуда, пытаюсь зажать рану рукой, ничего не получается, кровь сочится между пальцами. Это мой связист Коля Леонов! Совсем еще мальчик! Такой быстрый и резвый! И сейчас он сначала храбрится, потом как-то вдруг сник, уставился на меня немигающими, полными слез глазами и как закричит: «Вы понимаете — я сейчас умру!» Этот душераздирающий крик невозможно ни забыть, ни передать! В нем все! — и отчаяние, и мольба, и прощание с жизнью, и желание донести до нас весь трагизм своего положения…

Ствол моего автомата почти касается пузыря оттопырившейся на ветру нательной рубахи немца, но дотянуться, преодолеть эти сантиметры я никак не могу. Все силы мои давно кончились. Неужели упущу фашиста?! А ведь это не рядовой немец! ЭТОТ — самый изощренный из них! Вернись он к своим, сколько еще вреда нам причинит! Ему не только мостик подорвать поручили. В занятом нами вчера селе из колодца вытащили трупики трех ребятишек. Их родителей немцы расстреляли, а дедушка держал на вытянутых руках тело младшего внука и горько вопрошал: «За что? За что?» Дети были мертвы, им не поможешь, но смотреть на страдания живого старика было сверх наших сил. Самый молодой связист нашей батареи Володя Штанский, он сейчас бежал сзади меня, настолько был потрясен увиденным, что поклялся: «Поймаю живого немца — на кусочки разрежу!» Наверняка утопить детей в колодце в самый последний момент бегства из села немцы поручили именно ЭТОМУ резвому фашисту.

В том же селе мы освободили семерых наших пленных. Они лежали на сырой земле в запертом сарае и настолько были истощены — кожа и кости, что не могли даже голоса подать. Зачем же так мучить людей?!!

Все эти воспоминания усиливали мою злость, но уж никак не прибавляли сил. Чувствую, и немец обессилел, длинные ноги заплетаются, из горла вырывается свист, вся фигура обмякла, вот-вот рухнет — в надежде на скорую развязку уже и сам он нестерпимо ждет моего толчка в спину. И вот я наконец дотягиваюсь до его спины и не толкаю, а едва касаюсь ее. Немец спотыкается, падает на четвереньки, потом на живот, пашет грязь носом. Я едва держусь на ногах, никак не могу справиться с дыханием, но подбегаю к его голове и направляю на нее автомат. Фашист на мгновение цепенеет, ожидая выстрела или удара, потом быстро переворачивается на спину, подтягивает ноги к животу, растопыренными пальцами рук закрывает голову. Из-под ладоней выглядывает искаженное злобой и страхом, перепачканное грязью рыжее лицо. Суженные глаза смотрят настороженно. Он продолжает ждать выстрела или удара.

Радости моей нет конца! Догнал-таки я злодея! Он у моих ног! Могу что угодно с ним сделать — и застрелить, и на кусочки порезать, и просто по морде дать! Чем страшнее и горше немцу, тем спокойнее и радостнее мне. Теперь можно спросить с него за все, что он натворил! Наверное, радость пленения затмила на моем лице злость и решимость расправиться. Немец уловил это, животный страх смерти отпустил его, и он открыл лицо. Ему было под тридцать. Матерый, хитрый и надменный. Он и не думает раскаиваться.

Тут подбежали мои управленцы. Рослый, с вытянутым лицом и длинным носом Коренной, единственный выживший со дня формирования дивизии разведчик, вместе за два года боев мы сполна натерпелись лиха от немцев. Молоденький, юркий, с мальчишеским лицом Штанский и степенный, неторопливый связист Карпов.

— Ну что, догнали, товарищ старший лейтенант?! — удовлетворенно, с оттенком восхищения закричал Коренной. — Да что вы на него смотрите! Дайте я врежу ему! — и, не дожидаясь моего ответа, изо всей силы ударил немца сапогом в бок.

Фашист охнул, сморщился от боли и закрыл лицо руками. Угроза смерти снова нависла над ним. Вслед за Коренным к немцу кинулся Штанский. Хотел ли он начать резать его на кусочки? — но я выбросил вперед ногу и защитил немца. Непросто было мне успокоить разъяренных управленцев. Уравновешенный Карпов, он года на три постарше нас с Коренным, ему уже под двадцать пять, спокойно предложил:

— Давайте пристрелим его, товарищ старший лейтенант, и с концами.

— Нельзя этого делать, ребята, он же пленный. — И строго подытожил: — Ответит по закону. Коренной, отконвоируй пленного в штаб. Да смотри не своевольничай! Проверю! — Это уже был строгий приказ, а не уговоры и разъяснения.

Немец со страхом следил за нашим разговором, ожидая своей участи. Коренной вскинул автомат на изготовку и зло крикнул:

— Ком!

Немец с опаской поднялся и, опустив голову, пошел впереди разведчика. Подошел и Морозов с остатками своего батальона. С интересом и злобой во взгляде проводили пехотинцы пленного немца. Мы присоединились к пехоте, и все вместе пошли под пули таких же, как этот, брать очередное село.

###### Не растерялись

Заканчивался март. Продолжая весеннее наступление, перед рекой Ингул мы встретили новую линию обороны немцев. Одолеть ее у нас уже не было сил.

Пару дней назад мы форсировали небольшой приток Ингула. Той темной ночью по-весеннему разбухшая река поглотила много плотов с нашими солдатами и орудиями. В кромешной темноте бросались мы в быстрый ледяной поток, который буквально кипел от разрывов снарядов и мин. Пулеметные вихри хлестали нас со всех сторон. Осветительные ракеты врага раз за разом выхватывали из темноты множество плывущих, высвечивая своим мертвенно-бледным отсветом взвихренные разрывами столбы воды, дыбом встававшие плоты, и снова все погружалось в темень. Оставшиеся в живых, изо всех сил преодолевая течение, плыли в одиночку и остервенело гребли на уцелевших плотах, устремляясь к тому берегу. Но и там нас ждало не спасение, а жестокая схватка с врагом. Ощутив под ногами твердь, мы выскакивали из воды, пригибаясь бежали, стреляя на ходу, теснили врага, занимали плацдарм…

Нелегко давались нам и сухопутные рубежи. И вот теперь остатки батальона Абаева, человек пятьдесят, до полуночи пролежали перед немецкими окопами под секущим огнем пулемета, не решаясь лезть на рожон.

— Что-то у немцев подозрительно: стреляет только один пулемет, — говорю Абаеву, — пошли-ка ребят проверить, не снялись ли они.

Я опять с комбатом Абаевым, поддерживаю его батальон своей батареей, мог бы и сам послать разведчиков, да некого посылать, всех повыбило, на моем НП нас трое: Абаев, я и мой последний связист.

Разведчики доложили, что немецкие окопы пусты. Решаем с Абаевым свернуть батальон, обойти стреляющий пулемет справа и направиться в Сидневку — деревушку на берегу Ингула, пока немец не успел закрепиться там.

— А ты — бегом на батарею, — посоветовал мне Абаев. — Если немцев в Сидневке нет, дам тебе по радио сигнал «Двигай», и ты прямо с орудиями приезжай в Сидневку.

Едва мы привели гаубицы в походное положение, как от Абаева по радио поступил сигнал «Двигай». Значит, немцев в деревне нет — переправились за Ингул, а батальон Абаева уже прибыл в деревню. Сажусь в головную, уже выехавшую на дорогу машину с орудием, и мы всей батареей пускаемся в путь к Сидневке.

Светает. Смотрю на карту: сейчас минуем еще одну балку и за бугром — Сидневка. Теперь все мое внимание вперед, на дорогу. Тяжело груженная машина с передком и гаубицей на прицепе медленно преодолевает взгорок. Уже видно, как где-то далеко-далеко впереди засинели поля, потом, ближе, блеснула река, и вскоре из-за капота машины выплыли домики Сидневки. А когда мой тяжелый трехосный «Студебеккер» почти полностью выехал на бугор, внизу-впереди в двухстах метрах выросли крайние хаты деревни, плетни и, ближе к нам, огороды. Освободившаяся от снега земля уже подсохла, на голых огородах резко проступают травянистые межи.

Но что такое?! Совсем рядом, перед огородами, бродят немцы: обустраивают окопы, расставляют пулеметы. К немцам приехали! — мелькнула страшная догадка. Внутри так все и оборвалось! Но мгновенный испуг был тут же подавлен натренированной за годы войну волей. В голове быстрее молнии засверкали, забились варианты решений. Что делать?! Наверное, кипящий котел испытывает меньше ударов пара о стенки, чем ощутила тогда моя черепная коробка под напором лавины мыслей. И главный вопрос: как спасти батарею?! Свернуть в сторону нельзя — с обоих боков саженные кюветы. Подать назад — бесполезно, сразу же подвернется гаубичный передок и застопорит движение, а там подпирают еще три «Студебеккера» с орудиями, а в кузовах полно снарядов и расчеты сидят. Услужливая память тут же высветила случай с 7-й батареей: в пылу наступления она влетела в деревню к немцам и вся была уничтожена. Мой шофер Небылицкий тоже увидел немцев. Непривычный к боевой обстановке, он со страха отпустил руль и поднял ногу с газа. Машина, уравновешивая на противоположной стороне бугра 2,5-тонную гаубицу, затормозила, солдаты, сидевшие на снарядных ящиках в кузове, забарабанили кулаками по железной кабине: дескать, куда же едем?! Единственно верное решение пришло мгновенно:

— Вперед! — гаркнул шоферу, левой ногой уперся в сапог водителя, мотор взревел, и машина на полной скорости помчалась вниз, к немцам.

Небылицкий, испугавшись меня больше, чем немцев (ранее таким он меня не видел), вжался в руль и вновь обрел способность управлять машиной. Правой рукой я махнул в открытое окно кабины сидевшим в кузове: мол, вижу, действую. Батарейцы с высоты кузова открыли огонь из автоматов. У врагов — суматоха, замешательство, но вот они тоже взялись за оружие, вижу, как у одного никак не встает на сошки пулемет, другой панически шарит по брустверу: никак не может отыскать автомат. Мы проскакиваем мимо немецких окопов, влетаем на улицу; резко крутанув, сворачиваем в палисадник, чтобы орудие развернулось стволом вперед. Еще на развороте выскакиваю из кабины, бросаюсь к орудию, открываю затвор. Не успел никакой команды подать, а кто-то уже сует в казенник снаряд, другой — заряд, рву за боевой шнур — и гремит выстрел. Орудие не приведено к бою — не снят чехол со ствола, не разведены станины, нет упора — так стрелять ни в коем случае нельзя! Но жизненно необходим был БЫСТРЫЙ выстрел! И он раздался! И этот скорый выстрел в никуда решил все дело. Немцы бросились бежать вдоль улицы к реке, в их представлении, мы намеренно ворвались в их расположение и уже ведем огонь из орудий. Ставлю второе орудие рядом с первым, приказываю лейтенанту Ощепкову из двух гаубиц уничтожать убегающих фашистов, а сам встаю на подножку третьей машины и веду второй взвод переулком к мосту.

Открываю огонь по тому берегу, чтобы воспрепятствовать немцам взорвать мост и подбросить подкрепление. И тут к мосту подбегают с нашей стороны уцелевшие немцы, что бежали с передовой. Открываю по ним огонь картечью — загоняю их в воду и уничтожаю в реке.

Так, не потеряв ни одного человека, мы перебили около полутора сотни фашистов, а главное, захватили мост. Мост — дело великое на войне!

Но где же Абаев с батальоном?! Без пехоты я не удержу мост! Послал на тот берег трех связистов с пулеметом, а сам стал вести беспокоящий огонь из орудий.

Наконец, часам к десяти, появился Абаев с батальоном. Оказалось, ночью, обойдя немецкий пулемет на развилке дорог, он попал в другую прибрежную деревню, двумя километрами выше Сидневки, в темноте не разобрался и радировал мне.

Когда Абаев с батальоном прибыл к нам в деревню, плацдарм на том берегу Ингула уже прочно удерживала разведрота дивизии, ее на машинах прислал комдив, как только ему стало известно от Гордиенко, командира артполка, о захвате моста. Ну а своему командиру я доложил об этом по радио еще когда заканчивался бой по уничтожению немцев на реке.

Вот так и вышло, что наша мгновенная реакция и быстрая стрельба прямо с передков ошеломили фашистов, мы сумели перебить их и захватить село и мост через Ингул. Спрашивается, кто в одно мгновение влил в нас разум, смелость, быстроту и взрывной напор?

###### Форсирование Южного Буга

22 марта 1944 года передовой отряд 52-й дивизии в составе 1-го батальона 429-го стрелкового полка капитана Абаева и моей батареи достиг Южного Буга в районе Александровки. Используя внезапность, мы с Абаевым решили форсировать реку и захватить плацдарм на том берегу. В соседнем селе из досок, бревен, дощатых дверей и ворот настроили за день плотов для орудий, минометов и станковых пулеметов и с наступлением темноты тихо подвезли в балку метрах в ста от берега. Противник не ожидал нашего появления и вел себя спокойно, лишь редкие ракеты освещали немецкий берег. Дул порывистый северовосточный ветер с дождем. Широко разлившаяся река бурлила и громко плескалась о берега. Когда мы подкатили две гаубицы к берегу и притащили плоты, пехота уже ждала команды на форсирование. И вот, по знаку Абаева, солдаты, поеживаясь от холода, стали медленно и нехотя заходить в ледяную воду. Мы спустили на воду плоты, скатили на них орудия, привязали веревками к доскам, погрузили по пять ящиков снарядов на каждый плот и отчалили от берега. Стоя у орудия, я подавал команды, и расчет принялся большими саперными лопатами грести к противоположному берегу. Справа и слева торчали из воды головы пехотинцев — держась одной рукой за доску или бревно, они подгребали другой и с разной скоростью тоже устремлялись к вражескому берегу.

Вдруг пуск немецких осветительных ракет участился, вся река осветилась, и видно стало как днем. Разом грянули с того берега пулеметные очереди, а сверху посыпались снаряды и мины, со страшным грохотом из реки вырвались многочисленные фонтаны воды, засвистели осколки. Бревна, доски и плоты вздыбились. Люди, лишившись опоры, с дикими криками стали тонуть в стремнине. Бурный поток понес вниз по течению все наши утлые плавсредства, живых и мертвых людей. Под угол нашего плота попал снаряд, плот вздыбило, с мокрых досок скинулись в воду орудие, снаряды и люди. Кто-то успевает ухватиться за доски, а я и другие огневики мгновенно оказываемся далеко от плота. Меня погрузило с головой под воду. Работая изо всех сил руками, кое-как всплываю на поверхность. И в этот момент подоспевшее бревно ударяет меня в затылок, а крутая волна захлестывает и вновь накрывает с головой. Набухшая одежда, автомат за спиной и гранаты в карманах неотвратимо тянут на дно. Из последних сил еще раз выныриваю вверх, и — о счастье! — около меня болтается на волнах бревно. Хватаюсь за него — и уже больше не отпускаю! Страх утонуть и быть убитым заслоняют адский холод ледяной воды, кажется, заморозившей даже кости.

Изо всей силы гребу к берегу. Течением снесло нас на целых полкилометра. Но вот под ногами ощутилось дно, и я выбираюсь на берег. А осветительные ракеты продолжают своим мертвенно-белым всплеском выхватывать на мгновения застывшие и остановившиеся картинки огненно-водяного месива на реке. Когда выбрался на берег, вода полилась из одежды отовсюду, под ногами грязь. Но отряхиваться, выжимать амуницию некогда: из вражеской траншеи уже грянули автоматные очереди. Хорошо, что с нашего берега тут же ударили по траншее пулеметы. Немцы спрятались в окопах, а мы в это время бросились к траншее. Нас на берегу оказалось человек пятнадцать. А немцев, судя по стрельбе, не более пяти. Чтобы не зацепить нас, пулеметы с нашего берега смолкли. Немцы опять высунулись, но мы резанули по ним из автоматов. Немцы пустили в ход гранаты, но они перелетали нас и рвались далеко внизу. Ракеты стали взлетать реже, и больше стояла темнота, чем мы и воспользовались — бросились в траншею. Но в глазах — одна чернота! Упав в траншею, даю очередь вправо, так как слева наш солдат. Когда небо осветилось, я увидел вблизи труп фашиста — не то я, не то пулемет его прикончил, не знаю. А слева рукопашная идет: наш солдат схватился с немцем. Оба орут, пыхтят, барахтаются, и не сразу в темноте различишь, где наш, где немец. В свете ракеты блеснула немецкая каска, даю под нее очередь. Фашист рухнул. А наш никак отдышаться не может. Тут же на траншею посыпались немецкие мины. Значит, немцев здесь больше нет. А к берегу уже прибило плот с нашим вторым орудием. Быстро скатываем его, сбрасываем ящики со снарядами.

— На колеса! — даю команду, и орудие медленно покатилось от берега.

А пехотинцы постреливают из траншеи в темноту, чтобы немцы не вернулись.

До рассвета мы просидели в траншее. Подзамерзли.

Подкрепление к нам не подошло: немцы превратили противоположный берег в огненный кошмар и нашим даже приблизиться к нему было невозможно.

Весь день мы обороняли траншею. С наступлением темноты к нам пробились солдаты 2-го батальона 429-го полка. Они переправились сюда по переправе соседа слева — 58-й Гвардейской стрелковой дивизии. Она не только успешно захватила плацдарм, но и переправу навела. По этой переправе и преодолела Южный Буг вся наша дивизия.

###### Трофейные орудия

Наступил апрель; продолжая наступление на Кировоградчине, мы форсировали Ингул, Южный Буг, выбили фашистов со станции Веселый Кут и устремились к Днестру. Противник оставлял один рубеж обороны за другим. Вот и сейчас под нашим напором немцы оставляли траншею. А мы, кто остался в живых, настолько были измучены тремя подряд атаками этого рубежа, что не бежали, а устало брели под ярким весенним солнцем к немецкой траншее. Солнце уже к одиннадцати часам пригревало так, что в расстегнутых шинелях нам было жарко. Пехотинцы устало сели на край траншеи, свесили в нее ноги и стали лениво вытирать пилотками пот с лица. Черт с ними, с этими немцами, пусть убегают, нет уже никаких сил снова бежать за ними.

Я по-прежнему с батальоном Абаева, у меня из трех связистов в живых остался только один. Это «неубиваемый» семнадцатилетний Володя Штанский. Я взял его в батарею прошлой осенью по настоянию родителей в одном украинском селе, где мы заночевали.

— Товарищ старший лейтенант, — умоляли меня родители Володи, — возьмите к себе нашего парубка, пусть он с вами воюет, к вашим ребятам он уже привык за ночь, да и вы нам понравились. Мы хоть будем знать, с кем он вместе воюет. А то придут русские, организуют военкомат, заберут парня, а куда он попадет, кто его знает.

— Да ведь, — отвечаю, — ему только семнадцать, пока год погуляет, призовут, обучат — и война кончится, а мы-то воюем.

И все же желание Володи быть у нас в батарее связистом мы удовлетворили. Когда после завтрака старшина переодел его в военную форму и он стал прощаться с родителями, мать в голос:

— Что хотите, товарищ старший лейтенант, делайте с ним, только чтобы живой остался!

И Володя хорошо воевал, удачливо, сколько раз смерть над ним витала, а остался жив. Получилось, что я выполнил просьбу его матери: вернулся он после войны домой. А дважды сам лично спас его от неминуемой смерти.

У Абаева из пятидесяти пяти солдат в строю осталось чуть более тридцати, а ведь совсем недавно было под двести. Итак, пехота делает передышку, а у меня нет связи с батареей, я не могу стрелять, и немцы безнаказанно бегут к своему новому рубежу, до них уже более километра. Штанский побежал исправлять кабель, и я с нетерпением держу возле уха трубку — ну как появится связь и я успею еще влупить немцам, а то они уже уверены, что живы остались. И тут знакомый ровный басок сержанта Минеева с огневой позиции:

— «Коломна», как слышите?

— Слышу хорошо, передавай команду: прицел шесть-ноль, батарее, беглый, огонь!

Сорокапятилетний степенный пензяк Минеев на радостях, что появилась связь, так заорал, передавая команды на орудия, что у меня затрещала трубка. Минеев в батарее давно, дома у него детишки, и я постоянно держу его на огневой позиции, подальше от передовой.

Секунд через двадцать над нашими головами прошуршали снаряды — десятки мощных разрывов накрывают поле, по которому бегут фашисты. Пехотинцы сразу встрепенулись, вытянули шеи, пристально всматриваются вперед, в подсохшую после снега степь. Когда рассеивается поднятая разрывами пыль, все увидели вместо убегавших немцев разбросанные тут и там по полю тела. Часть чернеющих трупов так и осталась лежать на серо-жептоватом поле, но некоторые из упавших, кто остался в живых, то в одном месте, то в другом, поднимаются на ноги и снова бегут, пытаясь спастись. Их не так много, они кучкуются в небольшие группы, человека по три-четыре. На лицах наших пехотинцев такая радость, они так возбуждены, что сначала никто не может проронить ни слова. Потом вдруг все разом загомонили, оглядываются на меня, Абаев тоже доволен, схватил меня за плечи и изо всей силы встряхнул на радостях:

— Ну-ка, дай вон по той группе! Видишь, сколько их там!

Последовала команда на батарею, и снаряд разметал удиравших фрицев. Солдаты загалдели еще громче, теперь уже каждый показывал, по какой группе драпающих немцев надо побыстрей ударить. Радость отмщения быстро восстанавливает силы, освобождает от только что пережитого в атаках страха, унимает скорбь по погибшим в бою товарищам. Воочию зримая смерть врага, подобно бальзаму, успокаивает нервы.

Итак, немцы уничтожены, пехотинцы отдохнули и повеселели. Абаев поднимает батальон на ноги, и все мы редкой толпой устремляемся вперед по голому непаханому весеннему полю. Постепенно остатки батальона растягиваются в цепь, на левом фланге цепи бежим и мы с Абаевым. Штанский с катушками кабеля на плечах едва поспевает за мной, болтающийся на опущенной руке телефонный аппарат мешает ему бежать, ударяет по ногам. Отнимаю у него телефон, и ему теперь сподручней бежать. Перевалив взгорок, видим вдали новую немецкую траншею. Подумалось, сколько же их будет еще, этих траншей, пока добежим до Берлина! Немцы заметили нас и тут же окатили, как бы для разминки, пулеметной очередью. К пулеметам присоединились разрывы снарядов — стреляла видневшаяся позади пехоты гаубичная батарея. Наш батальон залег. Штанский уже присоединил к кабелю телефон, и я открываю артиллерийский огонь по немецким гаубицам. Они не окопаны — видно, только-только второпях заняли огневую позицию. Это нам на руку. Разрывы мощных снарядов покрыли всю батарею. Она тут же умолкла, расчеты залегли возле своих орудий. Даю, для верности, еще одну очередь снарядов по батарее и переношу огонь на только что выявленную траншею. Мои снаряды рвутся по всей длине траншеи, немецкие пехотинцы не выдерживают, выскакивают наружу и снова спасаются бегством. Даю возможность им отбежать, чтобы не вздумали вернуться обратно в траншею, и накрываю отступающих разрывами снарядов.

Потом опять переношу огонь своих орудий на немецкую батарею, чтобы она не возобновила стрельбу. Удирающая немецкая пехота поравнялась со своими орудиями, уцелевшие артиллеристы присоединяются к бегущим. Абаев тотчас поднимает свой батальон, и все мы мчимся вслед за отступающими немцами. На бегу бросаю взгляд налево, на оставленную немцами батарею — орудия целы, надо попробовать пострелять из них!

Когда батальон залег в последний раз и мы с Абаевым поняли, что на сегодня наше наступление закончилось, а пехотинцы принялись спешно окапываться, я связался со своей батареей, приказал старшему на батарее лейтенанту Ощепкову:

— Оставь две гаубицы на месте, с остальными выезжай вперед, поставь их рядом с брошенной немцами батареей. По готовности к стрельбе подтяни остальные два орудия. И срочно знакомься с немецкими гаубицами — возможно ли их использовать, в каком состоянии прицелы, панорамы. Если стрелять из них можно, разворачивай все на сто восемьдесят градусов.

Уже вечерело. Ощепков поделил орудийные расчеты пополам, поставив наиболее толковых ребят к немецким гаубицам. Немецкие орудия оказались в исправности, более того — на огневой позиции стояли четыре тягача и лежало около тысячи снарядов. Вот только таблиц стрельбы не было, неизвестна цена деления прицела и панорама поделена не на 60 делений, а на 64. И еще: увеличиваешь угломер, а ствол идет влево — перепутано «правее» и «левее» в сравнении с нашими орудиями. Подаю команду:

— Стрелять немецкими гаубицами. Буссоль шестнадцать, прицел семь-ноль, первому — один снаряд, огонь!

С нетерпением ждем с Абаевым разрыва немецкого снаряда. И вот он треснул метрах в пятидесяти впереди нас. Быстро кладу рядом свой снаряд и сравниваю прицелы. Оказалось, немецкому прицелу 70 соответствует наш 44, то есть 2 километра двести метров. Затем, с помощью стрельбы из немецкого и нашего орудий, устанавливаем соответствие прицелов на 3, 4, 5 и 6 километров.

Все! Завтра с утра дадим жару немцам из их же орудий!

Так и получилось. Наступая к Днестру, я стрелял по фашистам только из их орудий. Снарядов — завались! Целые эшелоны стоят на станциях Веселый Кут и Долинская, и никому они не нужны, то есть никаких тебе лимитов, разрешений, отчетов. А я заимел сразу две гаубичные батареи — нашу 122-мм и трофейную 105-мм. Конечно, моим батарейцам мороки прибавилось, приходилось обслуживать не четыре, а восемь гаубиц. Зато вдоволь стреляй себе по фашистам!

Эти трофейные орудия сослужили нам большую службу. С их помощью мы неожиданно для немцев вырвались к Днестру и завоевали плацдарм на том берегу. Со своими гаубицами я бы не рискнул к немцам в тыл поехать, а с немецкими поехал: их, в случае чего, и бросить не жаль.

### Глава двенадцатая

### Днестровский плацдарм

### Апрель — август 1944 года

###### Форсирование Днестра

11 апреля дивизия подошла к Днестру пятью-шестью километрами севернее Бендер. В ночь на двенадцатое основные силы противника скрытно покинули свои позиции и переправились за Днестр, оставив сильные заслоны у дорог. По приказу комдива Миляева 1-й батальон 429-го стрелкового полка и я с трофейной гаубичной батареей, объехав немецкие заслоны, вырвались на машинах к Днестру. Генерал так и сказал мне по телефону:

— Дуй с трофейными гаубицами вместе с батальоном Морозова к Днестру. В случае чего орудия бросишь, только выведи их из строя. Задача: захватить плацдарм на том берегу Днестра.

За час до рассвета мы с Морозовым уже лежали в высокой траве на кромке берега Днестра. Вспученная половодьем река разлилась очень широко, холодный ветер нагонял высокие волны, они с шумом выплескивались на берег. Батальон наш окапывался чуть позади, а трофейная батарея заняла закрытую огневую позицию в километре справа-сзади от нас, в неглубокой балочке.

Наш левый берег возвышался над водой метров на двадцать, а низкий немецкий фруктовыми садами уходил от самой воды к молдавскому селу Гура-Быкулуй и хорошо просматривался вплоть до села, тогда как немцы могли увидеть нас только с колокольни церкви: ее верхняя часть чуть возвышалась относительно нашего берега.

Немцы никак не ожидали нашего появления на берегу. Не догадываясь, что мы уже здесь и следим за ними, они беспечно разгуливали по селу, спокойно, по-хозяйски обустраивали свою оборону, заканчивали маскировку переднего края на огородах, некоторые тихо прогуливались по не успевшим еще одеться в зелень прозрачным садам. Это был гарнизон боевого охранения, окопы которого подходили к самой воде.

— Первый раз вижу фашистов на реке сверху, — отметил комбат Морозов, — обычно их правый берег возвышался над нашим.

— Ох ты, как хорошо отсюда все видно! — восхищались и солдаты, заглядывая за кромку берега.

Между тем мои разведчики выяснили, что из деревни Бычок, что в полукилометре слева-сзади нас, шла подземная дорога к реке, образовавшаяся в результате выработки камня-ракушечника. По ней в мирное время вывозили камень, и выходила эта дорога к берегу прямо под нами.

Решили с Морозовым так. Огнем батареи я перебью немцев, которые бродят по садам, остальных загоню в село и буду не подпускать их к берегу. В это время батальон спешно спускается в деревню Бычок, заготавливает плоты, выискивает лодки — наверняка они имеются в прибрежной деревушке, и все это по подземной дороге перетаскивает к воде. Часам к двенадцати дня я усиливаю огонь по тому берегу, Морозов с батальоном переправляется через реку и атакует село Гура-Быкулуй.

Разрывы трофейных снарядов, как гром среди ясного неба, повергли фашистов в смятение. Они суматошно заметались в садах, по селу, ища спасения в траншеях, окопах и ровиках. Мне они видны были сверху как на ладони, и я уничтожал их сначала группами, а потом стал охотиться и за одиночками. Мне важно было запугать их, загнать в село и предоставить Морозову возможность бескровно переправить батальон.

В разгар боя на берег вдруг прибыли полковые и дивизионные начальники: командир артполка майор Гордиенко, стрелкового полка подполковник Азатян и начальник оперативного отдела штаба дивизии майор Нестеренко. Генерал прислал их возглавить захват плацдарма.

Они подползли ко мне в ровик с тыла, как раз в то время, когда наши трофейные снаряды крушили фашистов, а немцы еще не сделали по нашему берегу ни одного ответного выстрела, и только теперь, по прибытии командиров полков, на нашем берегу стали рваться первые пристрелочные снаряды.

Я сразу понял, что немцы наблюдают нас с колокольни, и решил уничтожить ее. Но попасть снарядом в колокольню с закрытой позиции, когда орудие стоит сзади-справа от тебя в километре, практически невозможно. Это прямой наводкой легко выстрелить в оконце колокольни, с закрытой же позиции, да еще когда снаряды летят по навесной траектории, сделать это помешает даже закон рассеивания снарядов.

Но не зря у меня было высшее математическое образование и очень большой практический опыт корректировки артогня. Подготовив данные для стрельбы, я пристрелял площадку за церковью и, мысленно уловив пересечение траектории снаряда с плоскостью внешней стены колокольни, подкорректировал снаряд так, что он влетел в окно колокольни. Дым и пыль брызнули из всех окон колокольни, разрывом снаряда разрушило пол, и наблюдательный пункт врага был уничтожен. Обстрел нашего берега прекратился. Все это произошло на глазах прибывшего к нам начальства и многочисленных обитателей наблюдательных пунктов.

— Да он сделал невозможное! — воскликнул Гордиенко. — Положить снаряд в окно! Да из гаубицы! Еще и трофейной! С закрытой позиции!

Между тем в деревне Бычок кипела работа. Из бревен, дощатых ворот, дверей наделали плотов, разыскали лодки, все это стянули по подземной дороге к воде. Я не утерпел, оставил за себя на НП командира взвода управления, а сам спустился к воде. Солдаты батальона Морозова загрузили плоты вооружением и погнали их с помощью самодельных весел к тому берегу, многие воспользовались лодками.

Мой план удался. Бескровно, как в праздник на пикник, батальон, а затем и весь полк были переправлены на западный берег Днестра под грохот разрывов трофейных снарядов.

К вечеру батальон Морозова вместе с подоспевшими частями дивизии полностью захватили село Гура-Быкулуй.

Мы не знали, что наша с Морозовым группа была не единственной, что начальство считало ее вспомогательной, даже запасной — на всякий случай. Основной отряд 431-го стрелкового полка при поддержке двух дивизионов артполка одновременно с нами форсировал Днестр двумя километрами выше по течению, у деревни Красная Горка. Но наших соседей постигла неудача: почти все они были потоплены немцами в бурной реке, лишь спрятавшаяся в кустарнике на том берегу небольшая группа лейтенанта Кулакова была позже вызволена ротой, переброшенной на тот берег с помощью нашей переправы.

Обрадованный успехом завоевания плацдарма, командир 429-го полка подполковник Азатян обещал наградить меня высшей наградой — орденом Ленина. Но этот орден где-то затерялся.

###### Выручили «блинчики»

Весь апрель шли кровопролитные бои за расширение плацдарма. За месяц боев, к середине мая, мы расширили плацдарм за Днестром до трех километров в глубину. Но наши соседи слева, за озером Бык, никак не могли одолеть небольшой взгорок, сильно укрепленный немцами. Противостоящие соседнему батальону немцы находились позади нас и стреляли не только в атакующих соседей, но и нам в спину, когда мы вели бой со «своими» немцами. Вся сила тех, «не наших» немцев заключалась в глубоких и очень прочных окопах в глиняном грунте, снаряды такой грунт не брали. При обстреле фашисты прятались на дне траншеи, а как только наша пехота начинала атаковать, выставляли наверх пулеметы и давай строчить.

Накануне весь день соседний батальон бился с немцами за этот злополучный взгорок, провел несколько безуспешных атак, но так и не завладел возвышенностью. Вся нейтральная полоса оказалась усыпана телами погибших наших солдат. Время от времени я наблюдал за трагическим боем соседей, но помочь им не имел возможности, так как сами мы весь день бились со «своими» немцами. Вот и сейчас захлебывалась уже третья атака наших соседей, и весь взгорок усеяли новые трупы наших солдатиков. Сжалился я над соседями и решил помочь им, хотя они меня и не просили. Как только выдалось у меня несколько минут более или менее свободного времени от участия в бою своего батальона, я повернулся назад и всмотрелся с помощью бинокля в тот бугор: снова безуспешно атаковавшие соседние пехотинцы откатываются назад, в свои вырытые за ночь окопы. А поддерживающие их артиллеристы ничем помочь не могут: их снаряды рвутся по разные стороны немецкой траншеи, совсем близко от нее, но не попадают в траншею, и немцы отлеживаются на дне окопов. Думаю: как же выкурить немцев из окопов, ведь по закону рассеивания и мои снаряды в траншею не попадут. А что, если попробовать стрельбу на рикошетах? Моя батарея стоит на закрытой позиции далеко позади — но как раз на уровне этого взгорка. Чтобы стрелять по «не нашим» немцам, орудия придется развернуть почти на девяносто градусов влево, а расстояние всего с километр. Должно получиться. Подаю команду на свою батарею:

— Левее пятнадцать ноль, прицел двадцать, взрыватель замедленный, заряд полный, первому один снаряд, огонь!

Мои огневики подумали, что я с ума сошел: прицел на километр, а заряд на всю катушку — на двенадцать километров! И зачем-то орудия командир разворачивает на девяносто градусов влево, да и взрыватель почему-то замедленный… Батюшки! — орудийный ствол стоит почти горизонтально — снаряд пойдет настильно над самой землей. Да так никогда не стреляли! Но приказ есть приказ, команду надо выполнять, капитан знает, что делает. И команда была быстро исполнена. Грянул ожидаемый мною выстрел из гаубицы. Телефонист с огневой позиции тут же передал ко мне на НП: «Выстрел!»

Услыхав это, я стал еще пристальнее смотреть назад — на склон бугра, усыпанный телами наших погибших в атаках солдатиков. Прилетевший на большой скорости, наш гаубичный снаряд чиркнул по склону, поднял небольшое облачко красной пыли, отскочил вперед-вверх в сторону немецкой траншеи — и разорвался в воздухе прямо над траншеей! Громовой раскат воздушного разрыва потряс находившихся в траншее немцев. Лавина стальных осколков окатила траншею сверху. Я подал новую команду:

— Батарее, четыре снаряда, беглый, огонь!

Через двадцать секунд над головами фашистов загрохотали шестнадцать воздушных разрывов. Их раскатистые, страшнее близкого грома, удары грянули с такой силой, а град смертоносных осколков секанул сверху так разрушительно, что спрятавшиеся на дне окопов немцы почти полностью погибли. Оставшиеся в живых единицы выскальзывали из траншеи, как тараканы с горячей сковородки, и неслись восвояси. Я отпустил их на ровное место и уничтожил всех до единого обычной стрельбой.

Наблюдая в бинокль за разрывами своих снарядов и поведением немцев, я не упускал из виду и многострадальных соседских пехотинцев. Расслабившись, они живо наблюдали, как метались по траншее немцы, когда над их головами трескались разрывы моих снарядов. Измученные атаками, соседи радовались, прыгали, хлопали в ладоши, как малые дети. А когда с немцами было покончено, они вылезли наружу из своих окопов и медленно, во весь рост побрели к немецкой траншее. Подойдя к ней, они уселись на бруствер, свесили ноги в окопы и долго рассматривали убитых немцев. А наглядевшись, вытерев мокрые лица пилотками, стали всматриваться строго направо — в сторону моей батареи. Как они были благодарны ей! Уж они смотрели, смотрели, не отрываясь, на мои орудия… а мне немного обидно стало, так и хотелось крикнуть им: да вы посмотрите вперед, вдоль озера, на меня — это я догадался с помощью стрельбы на рикошетах выкурить фашистов из траншеи! Но они были от меня в полутора километрах, и мой голос все равно бы не услышали.

Редкий мальчишка не умеет делать камешком «блинчики» на воде. Стоит только сильно, метнуть этот камешек над самой водой, как он, коснувшись воды, подпрыгнет, а пролетев еще немного, снова чиркнет по водной поверхности и опять поднимется, да и утонет в пруду или речке. А в местах касания станут быстро расходиться круги на воде — это и есть «блинчики».

То же происходит и при стрельбе из орудий на рикошетах. Выпущенный с большой скоростью настильно над землей снаряд чиркнет по грунту, отскочит вверх и в воздухе взорвется, потому что взрыватель у него поставлен на замедленное действие, иначе он взорвался бы при касании о грунт, — это самый страшный и губительный для противника огонь. Вот так все просто. Но редкий артиллерист умеет это делать. Трудно «уронить» снаряд в такой точке перед траншеей, чтобы он, отскочив от земли, взорвался как раз над траншеей. Да надо еще, чтобы угол встречи снаряда с землей был не больше определенной величины. За всю войну я ни разу не наблюдал такой стрельбы со стороны немцев. Значит, немецкие артиллеристы не умели стрелять на рикошетах. Да и наши нечасто пользовались этим видом стрельбы. Меня же на такую сложную и трудно осуществимую стрельбу подвигло страстное желание помочь беднягам-пехотинцам соседнего стрелкового полка. Сколько людей уже положили, а никак не могли выбить фашистов из глубоких, как в камне отрытых окопов. Да и ненависть к засевшим в траншее немцам была у меня сверхнеуемна!

Попутно вспомнил еще один эпизод, который произошел тут же и явился следствием вышеописанного. Потеряв упорно обороняемую высоту, немцы решили подорвать железную дорогу, которая шла из их тылов за озером мимо утраченной высоты. Я заметил, как бежит по железнодорожному полотну немец и постоянно припадает к земле, что-то оставляя между рельсами. Откуда он взялся и что «сажает» там на бегу, на железнодорожном полотне? Сначала я не понял, только удивился его деятельности. Но когда некоторое время спустя вслед за «сеятелем» последовали взрывы, я уразумел, что фашист подрывает каждую свинченную с другими рельсу. Перед глазами сразу же встала такая картинка: в морозный зимний день, обливаясь потом, наши солдаты-железнодорожники в белых исподних рубахах опиливают ножовками обезображенные взрывами концы стальных рельсов, чтобы потом просверлить в них отверстия и болтами соединить между собой на шпалах. Те рельсы в свое время тоже были подорваны немцами. Какой же это был долгий и тяжкий труд! Шло восстановление железной дороги. Нас тогда эшелонами перебрасывали с одного фронта на другой, и мы оказались невольными свидетелями ликвидации последствий взрывов рельсов немцами при отступлении. Поэтому, чтобы воспрепятствовать безобразному действу немецкого подрывника, я не пожалел нескольких снарядов на фашиста-варвара. Повесил пару «блинчиков» над его головой, и взрывы на железной дороге прекратились.

###### Любовь фронтовая

Май выдался ненастный, вторую неделю нас поливают холодные весенние дожди, вода стоит на дне окопов, стенки траншей набухли, оползают и пачкают глиной. Постоянные обстрелы рушат окопы и еще теснее вжимают в грязь уцелевших защитников плацдарма. Стоим мы здесь насмерть. На том берегу, где располагаются наши, нам места нет. Мы это хорошо знаем, хотя и не говорим об этом. Эта обреченность и печалит, и сплачивает нас, и обостряет ответственность.

Снова над Днестром опустилась ночь. Солдаты попрятались по своим норам-блиндажам. Только часовые сутулятся под дождем у пулеметов. А в землянках благодать: над головой слой земли в ладонь прикрывает от дождя, на глиняных лавках сухая трава, а в стене выдолблена печурка: кинь туда дощечек от снарядных ящиков — и запылает желанный огонек. Ночью ведь дыма не видно.

— К вам можно на огонек? — В узкий лаз протискивается командир соседней батареи Бобров.

Догадливый Коренной покидает второй лежак и оставляет нас вдвоем.

— Почему так несправедлив мир? — с ходу ставит философский вопрос старший лейтенант. Наболело у него: передовая осточертела, о родителях ничего не известно, да вдобавок невеста замуж вышла.

— Что такой мрачный? На немцев гневаешься аль на природу?

— Ну почему одни под огнем в грязи по передовой ползают, а другие в тылах дивизии на том берегу сухие и сытые, с хозяйками по хатам живут?

— Каждому свое, — успокаиваю друга, — не заменит же тебя какой-нибудь начхим, он и стрелять-то не умеет. А потом, его же и убить здесь могут.

— А в глубоком тылу? Ну что за негодяй к моей в Вологде подкатился?

Безысходная тоска и столетняя усталость придавили моего друга. Всегда был веселым, розовощеким, с улыбкой, шутил. Теперь же помрачнел, осунулся, замкнулся, только со мной еще делится переживаниями. Отведя душу, часа через два пошел мой друг к себе. Дождь продолжался. Кромешная тьма окутала все вокруг, лишь редкие ракеты вспыхивали вдоль немецких позиций, да длинные пулеметные очереди кромсали мокрую землю брустверов.

На другой день Бобров снова появился в траншее. Его девичье лицо плыло в улыбке, он весь светился радостью и счастьем. Поздоровавшись, схватил меня за руку и потянул в блиндаж.

— Слушай, капитан, есть все же справедливость на свете! — радостно закричал он и стал рассказывать о ночном происшествии.

— Пришел я вчера от тебя, разведчик уже растопил печурку, я перекусил, снял сапоги, прикрылся шинелью и задремал. Вдруг часовой кричит:

— Товарищ старший лейтенант, задержал тут одного!

— Давай его сюда, — приказываю.

Смотрю, в блиндаж просунулся небольшой солдатик, весь мокрый, в грязи, и зуб на зуб не попадает. Из-под капюшона маленький носик торчит.

— Кто такой? — спрашиваю.

— Да заблудился я, столько траншей понарыли, никак в темноте свой НП не найду, — тоненьким голоском отвечает задержанный.

— Документы! — Смотрю в красноармейскую книжку и глазам не верю: Гриценко Галина Николаевна. — Да неужели ты — девка?!

— Красноармеец Гриценко я, товарищ командир.

Уж не немецкий ли лазутчик, думаю. Оказалось, это связистка с НП соседнего артполка.

— Носят тебя черти по такой погоде! — говорю строго. — Дорогу домой найдешь?

— Да я вся мокрая и не знаю, куда идти.

— У меня нет провожатых. Как выйдешь из блиндажа, поворачивай направо, в ста метрах — ваш НП.

А она дрожит вся и просит:

— Я боюсь. А можно у вас погреться?

— Тогда снимай свою мокроту и погрейся, — сжалился я.

— У меня и гимнастерка мокрая, и в сапогах полно воды. Ты понимаешь, она настолько замерзла, что руки не слушались, и сидя, в тесноте никак шинель не могла снять.

— Давай помогу, — предлагаю, преодолевая, так сказать, служебный барьер. Ты знаешь, со своими телефонистками я всегда обращаюсь подчеркнуто строго, чтобы не распускались, хотя и оберегаю, к себе на передовую не беру.

Когда верхняя одежда была снята и по плечам ночной пришелицы раскинулись черные кудряшки, на меня, в свете тлеющей печурки, стыдливо глянуло красивое, хотя и заплаканное личико, а в хрупком теле угадывалась приятная фигуристость. Я подбросил дровишек и, чтобы не смущать ее, откинулся на лежак, укрылся с головой шинелью. Конечно, сквозь прорези петлиц мне хорошо была видна ее спина. Она оглянулась и, убедившись, что не смотрю на нее, стала быстро снимать мокрую гимнастерку. Круглые покатые плечи и голые руки мягко зарозовели в отсветах пламени. Она повесила на протянутый перед печуркой кабель свои вещи и, свернувшись калачиком, легла на соседний лежак, продолжая дрожать всем телом. Я снял с себя шинель и укрыл ее сверху.

— А как же вы? Вам же холодно!

— Не могу же я тебя голую под шинель взять.

— А мне все равно холодно, — по-детски пожаловалась она.

— Тогда иди ко мне, и будет тебе от меня тепло.

К удивлению, девушка перепрыгнула на мой лежак и, прижавшись мокрой грудью к моей спине, продолжала мелко дрожать. Скажу тебе откровенно, продолжал мой товарищ, страшновато мне было, да и стыдно немного. Я хоть и храбрился, а на самом деле никогда ранее ни с одной девушкой так близко не бывал.

— Это я из-за вас так промокла, все искала вас — думала, уже не найду. Обидно было бы. Конечно, меня накажут. Ну и пусть! — призналась она.

— Да откуда же ты меня знаешь?

— А вы приходили к нашему командиру, вот я вас и видела.

— Я тоже тебя вспомнил. А почему ты тогда под дождем сидела?

— А не могу я с подполковником вместе сидеть, он привязывается ко мне. Нужен он мне, старый. Мне хотелось на вас посмотреть. Понравились вы мне, вот я вас и искала. А вы хотели прогнать меня.

— И вы мне тогда понравились, — перешел я тоже на «вы», разговаривая уже на равных, а не как офицер с солдатом.

Потом старший лейтенант, не касаясь деликатных подробностей, в общем плане рассказал мне, как они перестали бояться друг друга, как подружились.

— В общем, — закончил он, — высушил я ее, угостил чаем, и уже утром она ушла на свой НП. Вот я и говорю: есть на свете справедливость!

Потом Галя еще несколько раз навещала моего друга. Она всем нам понравилась, и мы всегда ждали ее прихода.

Кончились дожди, засветило яркое молдавское солнце. Меня назначили командиром дивизиона, и я стал чаще бывать у соседа-подполковника. Вел он себя грубо, высокомерно, даже чванливо. В глубине души я порадовался тогда, что девочка ускользнула от него. Но он жестоко отомстил ей. Направил ее на передовой наблюдательный пункт, который особенно часто обстреливался немцами.

Через неделю мы с горечью узнали, что Галя погибла.

Все мы тяжело переживали смерть девушки, а старший лейтенант не находил себе места. Пока мы стояли на этом плацдарме, Бобров носил на могилу Гали цветы. Это были дикие маки, которых так много было в ту весну около наших окопов.

###### Безрассудство генерала Миляева

На войне мне часто приходилось выполнять самые опасные боевые задания: идти за «языком», когда никто из разведчиков-специалистов не смог его добыть, а несколько поисковых групп как в воду канули, ушли и не вернулись — гадай, что там случилось, чтобы не повторить их ошибку; ползать дождливой ночью через минное поле и колючую проволоку к немцам; поднимать в атаку роту на неприступный немецкий ДОТ; с одной батареей противостоять двум десяткам фашистских танков. И все это я делал вместе со своими подчиненными, которые верили в меня и надеялись на мой боевой опыт. Они знали, что делать это необходимо, невзирая на смертельную опасность.

Но когда на плацдарме за Днестром я получил приказ командира артполка выбросить среди бела дня на открытое место, обстреливаемое с трех сторон немцами, гаубичную батарею на прямую наводку, я пришел в ужас! Это означало отдать батарею на съедение противнику! Едва покажутся четыре груженные снарядами машины с орудийными расчетами в кузовах и с прицепленными к ним тяжелыми гаубицами, немцы отовсюду и из всего, что стреляет, откроют по ним уничтожающий огонь. Мои батарейцы не успеют даже привести орудия в боевое положение, сделать хоть один выстрел под градом пуль, снарядов и мин. Да и куда они стрелять-то будут, совершенно не зная местности и противника?

Первый раз в жизни я, молодой командир дивизиона, возразил полковому командиру по поводу целесообразности этой затеи:

— Зачем же понапрасну губить орудия и людей?

— Ты когда забудешь свои студенческие замашки?! Это приказ генерала, а я только передаю его! Твое дело — выполнять! — выругал меня майор Гордиенко, а за невыполнение приказа пригрозил расстрелять.

Ему, служаке, кадровому довоенному офицеру, сподручнее было выполнить приказ, не считаясь с потерями, чем возражениями навлечь на себя немилость начальства: ну что, мол, поделаешь, если погибнет батарея, на то и война. Не сам же он поведет ее на лобное место. К тому же его только что назначили командиром нашего 1028-го артполка — где уж тут возражать начальству!

Если бы выдвижение тяжелой батареи под обстрел противника повлияло на расширение плацдарма, я бы сам пошел с нею в бой. Но в данном случае бессмысленная гибель батареи для меня недопустима. Не отдам ее на растерзание даже под угрозой расстрела! Я давно обречен на смерть на передовой — пусть расстреливают!

Новоиспеченный командир артполка и ранее любил чужими руками зарабатывать себе славу. Достаточно вспомнить хотя бы случай в боях подо Ржевом, когда он, как я теперь, командовал дивизионом и, проявляя инициативу, вызвался с помощью своих, не приспособленных к этому виду деятельности артиллерийских разведчиков привести пленного немца — послал нас на верную погибель. Тогда нам лишь случайно повезло. И вот теперь, два года спустя, зная повадки майора, я усомнился: генерал ли приказал выдвинуть батарею, не инициатива ли это самого Гордиенко?

— В таком случае разрешите обратиться к генералу, — продолжал я настаивать на своем.

Ох, как не любил меня за это Гордиенко!

— Обращайся, коли смел.

Генерал наш был умным и справедливым человеком, и я был уверен: докажу ему, что выброс тяжелой батареи не испугает немцев: у них достаточно огневых средств, чтобы мгновенно расправиться с нею. Но я ошибся. Миляев и слушать меня не стал. Вполне возможно, что Гордиенко опередил меня и нажаловался, а может, нашему генералу командир корпуса, не знавший обстановки, приказал это сделать. Генерал был краток и крут, а по поводу моего обращения рассердился еще больше, чем Гордиенко. Только мой высокий боевой авторитет спас меня тогда от генеральского гнева. Потребовав безоговорочного выполнения приказа, он все же уважил мою просьбу выдвигать батарею не всю сразу, а повзводно. Я мотивировал это так: пока два орудия будут занимать позицию, двумя другими я буду уничтожать проявившие себя огневые точки противника. На самом же деле я, планируя отстреливаться, рассчитывал еще и на благоразумие начальства: когда они увидят гибель первых двух орудий, поневоле отложат выдвижение остальных двух. Так у меня появилась надежда вдвое сократить бессмысленные потери.

Но ведь и два орудия с расчетами жалко терять без толку!

Конечно, генералу хотелось любыми средствами расширить шестикилометровый плацдарм за Днестром. Но ни сил, ни средств на это не было. Вот он и решил испугать немцев выездом огромных орудий. Не знал он истинного положения дел на плацдарме, находясь за шесть километров в тылу, но ведь Гордиенко-то видел все со своего НП.

А положение было такое. Уже три месяца, изо дня в день, ценою огромных потерь мы ежедневно расширяли плацдарм на десятки метров. Когда же уперлись в высокие сопки, на которых неприступно сидели немцы, а наши силы истощились до предела, мы перешли к обороне. Теперь уже немцы каждодневно атаковали нас, пускали танки, бомбили самолетами, стремясь во что бы то ни стало столкнуть нас в реку, а мы зубами держали свои позиции. Отсутствие авиации, танков и «катюш», изреженность личного состава и постоянные потери настолько изнурили нас и физически и психологически, что мы, те, кого долго не убивает и не ранит, дошли до полного физического и нервного истощения. Тяготила мысль: налетят сотни две самолетов, смешают нас с землей — и конец плацдарму. А уцелевших, если им удастся переплыть реку, расстреляют свои — как отступников.

Особенно тяжко переживал я предстоявшую бессмысленную, заранее известную гибель батареи и неимоверно терзался своей беспомощностью. Повинуясь приказу, я собственными руками подставлю под огонь своих людей. Правда, сначала погибнет только один взвод. Но как выбрать, какой взвод из двух обречь на верную смерть? Оба они одинаково мне дороги. Ведь это моя родная батарея, которой я командовал более года, сам вырос в ней от безусого лейтенанта до аса-командира. За два года боев в смертельных схватках с врагом я настолько сроднился с батарейцами, что знал характер и боевые качества каждого человека, знал, что им пишут родные, как ждут их дома. Перебираю в памяти орудийные расчеты: каким двум из четырех даровать жизнь, пусть временную, а какие послать на верную погибель? Решаю, чтобы чиста была совесть, брать орудия по порядку номеров: первое и второе.

Времени на операцию мне дали час. Связываюсь по телефону со старшим на батарее — красавцем Ощепковым. Подтянутый, стройный, умный, исполнительный лейтенант. Обрисовал ему обстановку, дал советы, как и что делать. Одного не сказал: какая ждет их участь. Поговорил и с командирами орудий Браилко и Бобылевым. Цены нет этим славным сержантам. А какие вышколенные у них расчеты: в любую секунду дня и ночи даю по телефону команду — и через тридцать-сорок секунд точный выстрел. Послал на батарею разведчика, который знает, куда ехать, где ставить орудия, по каким целям стрелять. Он поведет машины. И тоже погибнет.

Было двенадцать часов дня. Июнь, безоблачно, палило солнце. На нашей и немецкой передовых никого и ничего не видно: все зарыты в землю, только ветер шевелит иссохшую траву, даже сусликов не видать. Внезапно на нашей стороне из-за бугра появляются и на полной скорости мчатся по лугу к нам на передовую две машины-громадины с прицепленными к ним двумя высокими гаубицами, покачивающимися на рессорах. Я высунул голову из окопа и повернулся назад — они хорошо мне видны. Машины проезжают в десяти метрах от моего ровика. Из кузовов выглядывают радостные, улыбающиеся, родные мне лица. Это они увидели и приветствуют меня, бывшего командира их батареи, а теперь командира дивизиона, по приказу которого они несутся на бессмысленную и неминуемую смерть, хотя они об этом не догадываются. Присутствие здесь, на передовой, рядом с ними родного человека радует их, воодушевляет и успокаивает. Они уверены, что я, как всегда ранее, не оставлю их в беде, обязательно выручу. Уверены, что едут они делать смертельно опасную, но нужную работу. В ответ я приветствую их, пытаюсь улыбаться, а слезы застилают глаза: в последний раз вижу ребят. На душе кошки скребут. Они-то только в принципе знают, что едут на передовую, где все просматривается и все простреливается, и будут стрелять прямой наводкой по целям, видным в прицел. Я же наперед знаю, что их ожидает по генеральской прихоти, но поделать ничего не могу. Невыполнение приказа не только грозит мне смертью предателя — приказ выполнит другой, сам же факт невыполнения приказа сыграет на руку врагу.

Эти люди, орудийные расчеты, привыкли жить на войне около орудий, вне видимости противника. Они не видят, куда летят посланные ими по моим командам с наблюдательного пункта снаряды, и только по телефону узнают результаты своей стрельбы. У них в тылу трудная работа: надо постоянно рыть громадные окопы для орудий, перемещать к ним гаубицы и снаряды. До седьмого пота, сноровисто и точно ведут они огонь из гаубиц, постоянно подбрасывая на руках полуторапудовые снаряды. Зато живут они, как правило, в блиндажиках, в сухости и тепле. Ходят во весь рост. Их редко обстреливают и бомбят, потому что ставлю я их всегда в укромных, мало заметных местах, а они хорошо закапываются и маскируются. Когда мы приходим к ним с передовой, чтобы помыться, обсушиться, обогреться и походить в полный рост, они встречают нас по-братски, с такой радостью. Сочувствуют нашей опасной, собачьей жизни и всегда испытывают перед нами угрызения совести: мы постоянно находимся под огнем, нас чаще ранит и убивает, мы ползаем в грязи, прячась от взоров и пуль противника, а они живут как у Христа за пазухой, как колхозники на полевых работах. И если им уж выпадает жребий выехать на прямую наводку, на передовую, под огонь противника, то делают они это мужественно. Вот и сейчас, подавив страх, они едут к черту на рога.

Машины с гаубицами, влетев на большой скорости на луг, остановились в двухстах метрах впереди моего НП на нейтральной территории, как того требовало начальство. Не успели солдаты спрыгнуть с машин, как по ним с трех сторон ударили пулеметы. Затем посыпались мины и снаряды. И все же под все уничтожающим огнем, когда машины были пронизаны пулями и осколками, окутаны дымом и пылью, батарейцы сумели сбросить с машин ящики со снарядами и отцепить гаубицы. Раненые шоферы успели вывести машины и уехать в тыл, на свою огневую позицию, а расчеты припали к земле — кто убит, кто ранен, живые прячутся под стальными станинами и колесами родных гаубиц.

Огненный смерч бушевал целых полчаса, пока враги не насытились уничтожением грозных, но беспомощных в данной ситуации орудий и их расчетов. Наши были подобны щукам, выброшенным на берег. Для немцев лучшей цели для стрельбы не придумаешь. Так и стояли весь день на голом лугу под огнем противника две гаубицы. Дымились их резиновые колеса, а под ними лежали перебитые в прах их хозяева.

В течение первых минут я успел засечь два неистово стрелявших пулемета и уничтожил их с помощью второго взвода гаубиц. Минометные и артиллерийские батареи немцев били из-за горы, воздействовать на них я не мог. Но вот слева, из-за озера Бык, совсем близко от меня, сбросив маскировку, поднимает ствол немецкая противотанковая пушка. Ее расчет не выдержал, решил полакомиться беззащитной целью, даже ценой выдачи места своей засады. Но выстрелить она не успела: снаряд нашего третьего орудия разорвался прямо впереди этой пушки. Спохватившись, немецкий расчет быстро опустил ствол орудия, и пушка, с которой специально, для маскировки, был снят высокий щит, снова утонула в высокой приозерной траве. Но от меня-то она теперь не спрячется! И тут слышу по телефону взволнованный голос Гордиенко, он наблюдает со своего пункта за ходом операции и теперь, поняв мою правоту, жалеет, наверное, о содеянном, кричит:

— Петя! Пушку видишь?!

— Смотрите, уже летит второй снаряд по ней, — отвечаю сдержаннее, чем всегда, когда «Летя» своим мастерским огнем обычно выручал гонористого майора.

Взрыв моего второго снаряда произошел как раз между станин, как между ног, зловредного орудия. Пушка полетела вверх тормашками, высоко запрокинув станины, а расчет частями тел разбросало вокруг орудия.

Радость у всей передовой, наблюдавшей трагедию, была неимоверной: возмездие свершилось! Хвалил меня и Гордиенко. Уничтожение вторым снарядом с закрытой позиции этой пушки запомнили многие. Даже после войны иные с восхищением и радостью вспоминали этот эпизод. Но мне тогда было не до похвал: дымят среди луга колеса осиротелых гаубиц — грозы для немцев; лежат под ними бездыханные тела дорогих мне людей, погибших совсем напрасно.

Посылать разведчиков к орудиям, чтобы помочь, может быть, уцелевшим раненым из расчетов гаубиц, было невозможно: их тут же, как ни хоронись, расстреляют немцы. Только когда наступили сумерки, разведчики поползли к гаубицам. Притянули на плащ-палатках двоих тяжелораненых, оба были без сознания. Мы отправили их в санбат. Остальных одиннадцать человек похоронили в молдавском селе Гура-Быкулуй, стоявшем позади нас на берегу Днестра. Ночью вывезли и орудия. У них пострадали только колеса и прицелы.

Но своему генералу этого безрассудства я и теперь не прощаю.

### Глава тринадцатая

### Отчаяние

###### «Неубиваемые»

Что ни говори, а самое страшное на войне — это не выход из окружения и не ночной поиск «языка», даже не кинжальный огонь и не рукопашная схватка. Самое страшное на войне — это когда тебя долго не убивает, когда в двадцать лет на исходе все твои физические и моральные силы, когда под кадыком нестерпимо печет и мутит, когда ты готов волком взвыть, в беспамятстве рухнуть на дно окопа или в диком безумии броситься на рожон. Ты настолько устал воевать, что больше нет никаких твоих сил. Случается это с немногими, потому что на передовой долго не проживешь: или убьют, или ранят. В наступлении рядового хватает в среднем на пару атак, взводный живет день, ротный — неделю, командир батальона — месяц. Но если человека держать на передовой год или два, он сойдет с ума. Не случайно у немцев существует система отпусков с фронта. У нас этого нет. Практически нам это и не требуется — ну кто на переднем крае доживет до отпуска? Однако исключения бывают. Трудно таких людей назвать счастливыми, скорее в этом их несчастье. На всю войну везения не хватит. Все равно ведь убьют. Пуля или осколок всегда находят человека. Ежеминутно, каждый день и каждый час. Вся штука в том, что неизвестно, когда тебя убьет — в атаке, при обстреле, за приемом пищи, во время сна, а то, бывает, и еще хуже. Правда, каждый молит про себя и втайне надеется, что вот в этот страшный миг ты уцелеешь. Но убивает всегда неожиданно. Кругом гибнут люди — конечно, настанет и твоя очередь. Однако, если не убили в первом бою, человек еще поживет. С каждым счастливым для него боем он обретает опыт, и его уже труднее убить.

От излишних переживаний и постоянного страха долгожителя на передовой спасает однажды пришедшая мысль: а чего бояться-то? Всех убивает, конца войне не видно, убьет и тебя, а когда — в конце концов, не так и важно. А все равно страшно, все равно не хочется умирать. Однако, свыкнувшись с мыслью о неминуемой гибели и положив свою жизнь заранее на алтарь Победы, ты как бы перешагиваешь психологический барьер боязни умереть и тебе не так уж и страшно. Каждая отсрочка смерти поначалу тебе в радость. Но со временем тысячи смертей и еще большее количество самых изуверских ранений, которые приходится видеть каждый день, накапливают столько впечатлений, требуют так много сострадания, что это тоже выматывает твои психические силы. К гибели товарищей привыкнуть невозможно. Потому что каждый из них — это личность. Со своей историей жизни, своими родными, мечтами, судьбой.

Но долгое покровительство всевышнего и балует человека. Ты уже привыкаешь быть неубиваемым, подспудно растет уверенность, что тебя вроде бы и убивать нельзя. А как же без тебя, кто же воевать-то будет, кто будет взводом или батареей командовать? Кто будет заботиться и оберегать твоих людей, чтобы кого из них не убило или не ранило? Особенно по недосмотру, по-дурному, без пользы и боевой необходимости. У тебя постепенно уходит постоянный страх за себя, ты вроде бы прозрачным становишься, а потому неуязвимым. Знай воюй себе, бей немцев да своих береги.

Иные молят, чтобы их ранило. Но когда на твоих глазах пулеметная очередь выворачивает наружу печень или превращает в кровавую маску лицо, а осколки отрывают руки и ноги, такое желание как-то стихает.

У нашей дивизии позади бои за Ржев и под Сталинградом, в Донбассе и на Курской дуге, на Днепре и Ингульце. Много боев провели мы на пути к Днестру! Каждый хуторок, каждый бугорок и каждую лесную посадку брали с боем. Немцы — в глубоких траншеях, их пушки, пулеметы, а то и танки вкопаны в землю. А мы ползем, бежим на эти пулеметы снизу, по равнине. Молодыми телами усеяли мы этот путь по Украине…

А сколько рек мы форсировали! И все они, как на грех, текли поперек нашему движению. И Ингул, и Южный Буг, и Днестр, и десятки рек поменьше. Ранней весной, в марте — апреле, реки на Украине вспухают, становятся широкими, бурными. Вода в них ледяная. Правые берега их, где сидят немцы, обычно крутые и высокие, а наши низкие и плоские — мы на виду у немцев. И вот попробуй, подберись к реке да под кромешным огнем доплыви до того берега в ледяной воде. Делали мы это обычно ночью, но немцы и ночью освещают все вокруг ракетами — им хорошо нас видно. А переправлялись мы на подручных средствах: шли в ход бревна, доски, двери, ворота; на плотах — только станковые пулеметы и пушки. И вот одной рукой держишься за бревно, другой гребешь к тому берегу. А до него далеко. А еще и стремнина сносит. А кругом фонтаны воды от снарядов, и по головам бьют пулеметы. Вздыбливаются наши утлые плавсредства, сбрасывая цепляющихся людей, даже плоты кренятся, переворачиваются, скатываются и тут же тонут орудия, боеприпасы, снаряжение. Водяной поток несет вниз по течению убитых и раненых. Четвертая часть, а то и меньше, добирается до того берега. Отстреливаясь, взбираемся по скользкому берегу наверх, бежим на пули к немецким траншеям. Только единицы впрыгивают в окопы противника. Но это — самые сильные и самые счастливые люди. Им-то и удается в рукопашном бою перебить немцев в траншее, а самых трусливых из нее вытеснить. Наконец траншея занята, в нее впрыгивают другие подоспевшие наши солдаты. Теперь задача удержаться на взятом берегу и расширить плацдарм, уже подвозят с нашего берега боеприпасы, устанавливается телефонная связь, и артиллеристы уже рядом, тут же начинают бить по отступающим немцам из орудий.

Но не всегда с первого раза удается форсировать реку. Часто это происходит со второй, а то и с третьей попытки. А не сумели зацепиться за немецкий берег или противник сбросил высадившихся обратно в реку — тогда держись! Уцелел, вернулся на свой берег — обязательно спросят! Офицеров уж обязательно расстреляют или в штрафбат отправят. Не поздоровится и рядовым. Так что не только боевой порыв заставляет людей, вцепившись, держаться за плацдарм. Тут действует и страх за жизнь, если невредимым к своим вернешься. И вульгарный вопрос: чья пуля слаще? — всегда встает в критических ситуациях перед теми, кто воюет. Ничего этого не испытывают, конечно, армейцы в тылах передовой.

###### Что это значит: зубами вцепиться в землю

Ползком, перебежками, вставая и падая, оставляя позади себя убитых и раненых, под кромешным огнем противника всего за месяц добежали мы от Ингульца до Днестра. А сколько жизней стоило нам расширение и удержание этого плацдарма за Днестром, на котором мы сейчас бьемся! Почти три месяца мы держим его буквально зубами. И что только не делают немцы: бомбят нас, утюжат танкам и, чтобы сбросить в реку, — а мы держимся. У противника и танки, и самолеты, а мы совсем обессилели. И ничего-то нам не подбрасывают, ни танков, ни «катюш». Хотя бы союзники Второй фронт открыли, все, может, полегче бы нам стало. Но союзники какой уж год тянут время, не открывают Второй фронт. Вся надежда только на своих. А свои, хоть и надрываются, не в состоянии в полной мере помочь нам. Потому у нас постоянные нехватки в снарядах и продовольствии, «катюшах» и самолетах. За всю весну ни один наш истребитель над нами не пролетел.

И зениток у нас нет. А немцы постоянно бомбят нас. Массированно и безнаказанно. Налетят и пикируют, никого не боясь. А мы, беззащитные, со страхом смотрим, как из раскрытых желтых брюх немецких самолетов громадными пригоршнями высыпаются и падают на нас страшные упаковки смерти. Отделившиеся от самолета бомбы сначала хорошо видны. Потом они теряются из виду, слышен только зловещий свист, который перекрывает даже рев моторов. А ты вожмешься в землю там, где тебя застала бомбежка, лежишь ни живой ни мертвый и молишь бога, забыв, что ты атеист: «Господи, спаси, господи, только бы не в наш ровик угодила…» И все бомбы — сорок, пятьдесят, а то и двести, — достигнув земли, начинают взрываться. Дым, грохот, земля поднимается дыбом, подбрасывает тебя, уходит из-под твоего тела — ты на какое-то мгновение находишься в невесомости и как бы в небытии. Но страшная явь снова сжимает тебя в своих смертельных объятиях, и в грохоте разрывов ты снова слышишь пронзительный свист, вой, шум, писк, фурчание, шлепки и короткий, сердитый звук врезающихся в землю возле тебя летящих с громадной скоростью и силой смертоносных осколков. А там кричат раненые, просят помощи. Особенно берут за душу совсем еще детские от переживаемого ужаса голоса раненых молоденьких солдат, они всегда напоминали мне моего семнадцатилетнего младшего брата Николая, который погиб в сорок первом, в ополчении под Вязьмой. И если ты после бомбежки случайно уцелел, то долго еще будешь приходить в себя.

А неделю назад мы чуть не умерли со страху. Нет, не от бомбежки, а скорее от предполагаемых ее последствий, если тебя не убьет… Солнце только встало — еще не греет, но, если взглянуть на него, сильно бьет в глаза жесткими, ослепляющими лучами. Я выполз из блиндажика в траншею. Над передовой стояла непривычная тишина, как в мирном чистом поле далекого детства. Потянулся, прищурился на сияющее, чистейшее, отмытое за ночь росой солнце. Благодать-то вокруг какая… И вдруг уловил с противосолнечной стороны, с запада, слабый низкий гул. Прислушался: надрывно гудят моторы. Много моторов. Приближается армада самолетов, хотя их еще не видно. Но вот они выныривают из-за горизонта, растут в размерах. Их тьма-тьмущая. Сразу и не сосчитать. Около сотни. А может, и больше. Тяжелые бомбардировщики. Промелькнула тревожная мысль: решили стереть с лица земли весь наш плацдарм. Сейчас как сыпанут тысячами бомб! Но самолеты уже над нами и не бомбят. Наступает радость облегчения: не будут бомбить, далеко в наш тыл идут. И вдруг все мы, кто оказался в траншее, видим, как вся армада грандиозно разворачивается налево почти на сто восемьдесят градусов. Снова страх-догадка: конечно же, нас они прилетели бомбить, только решили зайти от солнца. Страх ожидания опускает сердце в пятки. Уж очень их много! Но нам, командирам, нельзя показывать подчиненным свой страх. Стисни зубы и не суетись. Однако самолеты приближаются, от зловещего рева моторов трепещет трава на лугу. Сейчас сыпанут, и бомбы упадут точно на нас. Но самолеты не бомбят и не пикируют. Они чуть свернули влево и направились на соседний с нами плацдарм, в пяти километрах выше по течению. Немножко от сердца отлегло: нас бомбить не будут. Но жалость к обреченным на погибель с новой силой сжимает сердце. И вот видим, как самолеты пошли в пике на соседей. Их плацдарм утонул в сплошном дыму и пыли. Через десяток секунд оттуда послышался страшный гул — к самолетам присоединились артиллерия и минометы. Потом на соседний плацдарм напали танки. Они все время разворачиваются своими корпусами то налево, то направо, как бы виляют, — это они утюжат окопы, сравнивая их с землей, заживо хоронят защитников плацдарма. Весь соседний плацдарм буквально вспахан бомбами, снарядами и гусеницами танков; после такой обработки немецкой пехоте и делать нечего.

Чудом уцелевшие в этом аду защитники плацдарма ночью пробрались к Днестру. Кто сумел, переплыли к нашим, на тот берег. Особисты тут же их переловили и отдали под суд. Рядовых отправили в штрафроты, а офицеров, кого не расстреляли за возможный контакт с немцами, сослали в штрафбаты. Приказ о карах по стрелковому корпусу, в который входила и наша дивизия вместе с соседней частью, был доведен до офицеров нашего плацдарма, чтобы знали о последствиях в случае повторения атаки немцев и на наш плацдарм. Как мы сочувствовали своим соседям и как боялись их участи! Но наш плацдарм, к счастью, не был сметен немцами с лица земли, как соседний, и мы продолжаем удерживать его изо всех сил, почти каждый день отбиваем страшные атаки танков и пехоты.

###### «Прогулка»

Ценою многих жизней, неимоверных страданий уцелевших достается нам этот многокилометровый плацдарм. Вот и нынче только что отбили одну из самых яростных атак танков, восемь штук еще дымятся на нейтралке, а мы еще не опомнились от происшедшего… Жуткий обстрел, нещадная бомбежка, надвигающиеся танки, озверелые физиономии фашистов. Шум, вой, треск, грохот, скрежет, визг, истошные крики, дым, гарь, комья земли, пыль, стоны раненых!.. Оставшиеся в живых немцы только что отползли в свои окопы, еще зияют дыры и ямы в наших блиндажах и окопах, еще не убраны трупы фашистов и тела наших погибших бойцов, еще корчатся неперевязанные раненые бойцы, не восстановлена связь, не подсчитаны потери. Во рту у меня земля, пилотку где-то потерял, гимнастерка разодрана, в ушах какой-то шум, в голове тяжесть. Сижу на дне окопа. Вроде бы не ранен. А тело измочалено, как после непривычной вчерашней работы. Подползает Яшка Коренной. Тоже живой и невредимый. Волосы всклокочены, лицо в грязи. Яшка — долговязый, никогда не унывающий и очень добродушный. Улыбается, испачканный длинный нос скобой соединяет наморщенный лоб с подбородком.

— Живой, товарищ капитан?! — радостно спрашивает.

— Ну и живучи мы с тобой! — отвечаю.

Мы с ним еще со Ржева. Из всех управленцев дивизиона, начавших воевать подо Ржевом, кроме нас с ним никто не уцелел. Коренной и в атаки вместе со мною бегал, и за «языком» ходил, и тоже два года без передышки на передовой воюет. Такой же живучий, как и я. Мы с ним одногодки, умудрились дожить до двадцати трех, вот и сегодня повезло. Конечно, у рядового разведчика хлопот и забот поменьше, чем у командира батареи или дивизиона, но мы с ним дружим и всегда вместе. Во 2-й батарее уже пятый командир сменился, а нашей везло — я был только третьим, и таковым оставался, пока не назначили меня командиром дивизиона.

В пехоте командиры еще чаще меняются, чем в артиллерии. Задержался только Морозов, около года командует батальоном. Выбьют дивизию, сведут остатки в один батальон — 1-й, и командиром назначают Морозова. Ну а он — мой друг, поэтому поддерживала его батальон всегда моя батарея. Сколько за год мы с ним боев провели! А здесь сколько людей потеряли, расширяя и удерживая этот плацдарм. И всегда лично нам везет. Может, опыт сказывается. Ведь мы с Морозовым — «неубиваемые». В стольких передрягах побывали. И сегодня вместе отбивали атаку танков и пехоты.

Часа через три после атаки, когда все ее последствия уладились, в траншее остаются только наблюдатели у пулеметов. Как после тяжкой работы, люди расслабились, забрались в блиндажики, отдыхают. Лежу и я в своей конурке на сухой траве. Вдруг завешивающая вход плащ-накидка с шумом поднимается, и в блиндажик просовывается Морозов. Иван старше меня, призван из запаса, бывший агроном и выглядит куда солиднее меня. Его лицо не только война опалила, но и довоенные жаркие полевые ветры.

— Ну, чего дрыхнешь? — весело говорит.

Сел на Яшкин лежак, уперся головой в потолок. Я присмотрелся к нему при свете «катюши» — на улице хоть и солнце, но в землянке всегда сумрачно, и невольно залюбовался Морозовым: только из боя, а выглядит — как с парада! Портупея блестит, гимнастерка будто из-под утюга. Успел переодеться. Знает службу его ординарец. Да и сам он из дворян, затерявшихся в годы советской власти где-то в сибирской глуши под видом ссыльных царских времен революционеров. А может, и в самом деле революционерами были, а теперь уже от репрессий тридцатых годов спрятались. Рассказывал-то он больше про Ленинград, видно, там еще до революции его предки жили, да и он там родился. Помню, я от него впервые узнал о скрипичном мастере Страдивари. Меня он очень уважает. И не только потому, что я до войны учился в Ленинграде, хорошо знаю этот город и нам есть, что вспомнить. Имея высшее математическое образование и большой опыт войны, я хорошо корректирую огонь своих батарей. Сам Морозов и его бойцы надеются на мой дивизион, точно на палочку-выручалочку, «как на каменную стену», — говорит Морозов. Когда мои снаряды рвутся в гуще атакующих фашистов и их атака срывается, а потом я начинаю уничтожать остатки убегающих немцев, Морозов радуется, как ребенок, по-мальчишески подпрыгивает и чего только не выкрикивает.

Морозову уже тридцать. Высокий, стройный. Всегда серьезный. Улыбка только чуть-чуть осветляет его лицо и распрямляет две крупные морщины, что тянутся от носа к его крепко сжатым челюстям. А в темных глазах всегда чертики играют. Я с такой радостью сменял бы свои румяные мальчишеские щеки на его смуглое волевое лицо. Особенно величав бывает Морозов, когда поднимает батальон в атаку. Мечется перед цепью лежащих солдат со вскинутым над головой пистолетом, а они не встают. Двое-трое поднимутся и тут же замертво падают под вражеским огнем. А Морозов как заговоренный! Хватает одного за шиворот, другого, и вот поднялась вся цепь и понеслась вперед вместе с Морозовым. А тут еще мои снаряды рвутся во вражеской траншее. И противник не выдерживает натиска, выскакивает из траншеи и удирает в тыл. Я со своими разведчиками и связистами, свернув связь, догоняю батальон, и теперь изо всех сил мы бежим уже вместе, минуем брошенные немцами окопы, к новому их рубежу. А этих рубежей!.. Да через каждые триста метров! И ох, как до Берлина их еще много! Продули начало войны, подпустили немцев к Москве и Сталинграду, вот теперь и бейся за каждый укрепленный немцами рубеж, поливай землю кровью!

— Ну, чего задумался? Пойдем прогуляемся, — предлагает Морозов, — посмотрим, что от твоих пушек осталось.

— Ты о моих пушках не беспокойся. Свои остатки успел посчитать?

— Да мне твои орудия дороже, чем тебе, — парирует батальонный, — если бы не твои пушки, хана бы нам! Радует, что и студенты соображают. Молодец! Как знал, ночью поставил пушки на прямую наводку.

Действительно, я как чувствовал, что сегодня будет такая страшная заваруха. Вчера вечером будто кто толкнул меня: поставь гаубицы на прямую наводку! И я вытащил их из-за бугра, с закрытой позиции, и поставил в двухстах метрах позади себя. Огневики за ночь хорошо окопали орудия, замаскировали сетками, свежей травой. Немцы не ожидали такого подвоха и утром не заметили наших орудий, потому смело и поперли на танках — хотели гусеницами вмазать нас в землю, заживо похоронить решили! До чего же мы осточертели им! Ну а сегодня утром все случилось наоборот. Только танки вышли из лощинки и направились на наши окопы, мои пушкари по ним и ударили. В течение двух минут все восемь и загорелись. Правда, с пехотой пришлось повозиться, до рукопашной дошло. Слишком много их было. А если бы мы танки не сожгли, плохо бы нам пришлось. Морозов был так рад. Вот ему и не терпится повидать моих огневиков, предлагает:

— Пойдем, сходим к твоим пушкарям, поблагодарить хочу, здорово они нас выручили.

Протиснулись в ярко освещенную солнцем траншею и по соединительному ходу направились в тыл.

Закончились окопы, вылезли мы из траншеи и пошли по изумрудному лугу к моим пушкам.

— И у нас луг такой же красивый, только маков нет! — восклицает Морозов.

Большими неровными пятнами на фоне яркой зелени то тут, то там разливаются заросли цветущих ярко-красных диких маков. Красота неимоверная! И непривычная тишина! Никто не стреляет — ни немцы, ни наши. Только черные пятна воронок безобразят пейзаж. Мне вдруг вспомнилось босоногое детство, вот так же шли мы с отцом на сенокос. Где-то он теперь? Тоже воюет…

Прошли метров сто, когда откуда-то из поднебесья послышался тонкий посвист. Свист быстро перешел в низкий шумок, и недалеко от нас разорвался снаряд. Вскоре по другую сторону рванул еще один — мы поняли, что немцы нас заметили, ведут пристрелку. Видно, не понравилась немцу-артиллеристу наша прогулка. Услышав зловещий шум следующего снаряда, я бросился в ближайшую старую воронку. Рванул снаряд, пролетели осколки. Поднимаю голову посмотреть, где залег Морозов, жив ли. И глазам не верю: стоит в полный рост на прежнем месте, еще и ухмыляется.

— Ты чего?! — в недоумении кричу.

Но тут очередной снаряд снова вмял меня в землю. Опять поднимаю голову — а он стоит в той же позе! Я успел даже подумать: смелее он меня или бесшабашнее? Раньше за ним такого не замечал.

— Ты с ума сошел?! Ложись!

— Да нет. Хочу лишь посмотреть, как ты решил выжить, — саркастически отвечает Морозов, не тронувшись с места.

Со страшной силой налетела и стала рваться целая очередь новых снарядов. Немец перешел на поражение. От множества мощных и частых разрывов затряслась земля, пыль и дым окутали наше расположение, мириады стальных осколков со зловещим разноголосым шумом рассекали все пространство вокруг. Я содрогнулся всем телом и по привычке хотел снова укрыться в воронке. Но надменно-осуждающий взгляд Ивана, по-прежнему стоявшего в полный рост рядом, остановил меня. И тут взыграло самолюбие. Я тоже выпрямился в рост и небрежно спросил:

— Пойдем, что ли?

— Пошли, — как ни в чем не бывало, спокойно-буднично сказал Морозов, и мы медленно, выхваляясь один перед другим, пошли сквозь разрывы к пушечным окопам.

Немецкий артиллерист в поднявшейся пыли и дыму потерял нас из виду. Но когда вновь увидел целыми и невредимыми, обозлился и такой беспощадный огонь открыл, что, казалось, теперь на этом месте не должно остаться ничего живого. Я сам однажды стрелял так по двум убегавшим фашистам, но, когда рассеялся дым после третьего снаряда и уцелевший немец взвалил себе на плечи раненого товарища, я перестал стрелять, подивившись живучести немецких солдат и умилившись доброте истинного филантропа. Настроение немецкого артиллериста мы ощутили, как только на наши головы очередь за очередью посыпались новые вражеские снаряды. Рисуясь друг перед другом, мы под обстрелом шли дальше, не ускоряя шага. Как снежная буря, наши тела со всех сторон овевали тысячи осколков. Творилось что-то невообразимое! Но, как в кинофильме, когда героев по сценарию убивать еще рано, так и мы шли сквозь огонь невредимыми — ни один разрыв снаряда, ни один осколок не коснулись нас. А немец, мне не чета, не стал восторгаться и умиляться нашей храбрости. Взбесившись, он еще больше усилил огонь — палил уже из всех шести орудий своей батареи! Такого длительного и дотошного обстрела я не видел и не испытал после за всю войну. Снаряды рвались впереди и сзади, слева и справа, пыль и дым лезли в глаза, в уши, а осколки, злобно рыча, тонко посвистывая, жалобно завывая, летели мимо наших дурных голов и волшебно-неуязвимых тел. Мы шли все так же не спеша и молча, не глядя друг на друга. Мои огневики, вытянув шеи из орудийных окопов, настоятельно и зло жестикулировали нам: дескать, ложись! А мы продолжали свою прогулку. Когда мы впрыгнули в орудийные окопы, немец потерял нас из виду и перестал стрелять. Бледные и потные, мы сняли с голов пилотки и, не спеша, стали вытирать ими лица. Верх пилотки Морозова был надвое рассечен осколком.

— Товарищи капитаны! Как вам не стыдно подставляться?! — в один голос гневно загудели пожилые солдаты.

— Ну и дураки мы с тобою, — сказал я убежденно Морозову.

Вдруг лицо его дико перекосилось, из зажмуренных глаз брызнули крупные слезы, на виду у солдат он поднес к глазам свои могучие кулаки, разрыдался и срывающимся громким мальчишеским голосом отчаянно закричал:

— Я больше не могу-у-у!!! Не могу-у-у! Больше не могу-у-у!!!

Никогда раньше я не только не видел его в таком состоянии, но и представить себе не мог, что этот волевой и смелый человек может дойти до такого полнейшего нервного истощения, до стресса. Сам я был точно в таком же психологическом состоянии, и только какая-то тоненькая ниточка еще удерживала меня от точно такой же истерики. Наверное, меня сдержало еще и присутствие собственных солдат. А вот благоразумие уже было утеряно и мною. Три месяца непрерывных боев, атаки и обстрелы, танки и самолеты, немцы, стремящиеся сбросить нас в реку, — все это совершенно доконало нас, все нервы вымотало, мы дошли до полного нервного и физического изнеможения, готовы были волками взвыть, броситься на рожон. Других ранит, убивает и этим прекращает мучения, — мы же как завороженные!

Конечно, с нашей стороны это было отчаянное безумие, безысходное стремление умереть. Но какая сила отводила от нас смерть?..

К вечеру по явным и тайным каналам о нашей выходке уже было известно комдиву. Генерал вызвал нас поодиночке на командный пункт и после крепкой ругани, поняв все же наше состояние, отправил обоих в Одессу, в офицерский дом отдыха. Ранее мы и не слышали о существовании таких домов, где отдыхали в основном люди из штабов, тылов и политработники. Генерал так и сказал нам:

— Жертвую единственные две путевки в санаторий на море, впервые пришли в дивизию. И то потому, что хорошо знаю вас как самых незаменимых боевых офицеров.

Он бы отдал нас под суд, если бы мы с Морозовым не были его опорой в любом бою. А особый отдел был уже тут как тут.

И почему у нас отпуска с передовой не давали? Немцы своим давали, хотя дефицит личного состава у них был куда больше нашего. Не думаю, что доброта и жалость толкали их на это, скорее практичность. Немецкое командование понимало, что отдохнувший солдат в три раза лучше воюет, а наше об этом даже и не задумывалось. Воюй, пока тебя не ранит или не убьет. А этого ждать было недолго. Так оно и получалось. А что было с теми, кого щадили пули? По себе знаю — чуть с ума не сходили.

Десять дней, проведенных на берегу моря, вдали от фронта, как рукой сняли с нас все напряжение, и мы вернулись на передовую, как новые пятиалтынные. Нам еще чудился шум накатывающих волн голубого моря, мраморный блеск дворцовых стен, как вдруг оказались мы в земляном окопе, развороченная снарядами сырая земля почти коснулась наших губ, дохнула свежим черноземом, чем-то родным, привычным, близким… и страшным.

А потом мы снова пошли в наступление, окружили немцев под Яссами и Кишиневом…

### Глава четырнадцатая

### Герои мои, огневики!

###### Бой 26 августа 1944 года

Мы чуть не опоздали, хотя и мчались на машинах с пушками к деревне Каракуй в Молдавии на самой высокой скорости. Мне, командиру дивизиона, полковой командир приказал экстренно, в течение десяти минут, собрать и возглавить пушечную батарею и упредить немцев. В двадцати километрах от нашего расположения большой отряд из окруженной Ясско-Кишиневской группировки вырвался ночью из кольца и по широкой многокилометровой балке уходил на запад. Нам приказано во что бы то ни стало опередить, задержать и уничтожить прорвавшихся немцев. Вторая батарея в минувших боях потеряла сразу командира и всех трех взводных, поэтому из трех батарей я выбрал для дела именно ее. Погрузил на машины пять сотен снарядов, посадил в них бойцов орудийных расчетов, санинструктора, и мы двинулись.

Солнце уже всходило, на небе ни облачка, все предвещало жаркий летний день. Но, как это обычно бывает в конце лета, заря была прохладной. Только подъехали к краю широченной балки и отцепили пушки, как в километре слева из-за поворота балки показались передовые подразделения противника.

Это была мощная, густая лавина!

Они двигались в нашу сторону сплошной темной массой по всей ширине балки, беспорядочно, но довольно быстро. Каждый фашист на исходе сил стремился обогнать других, поэтому вся масса как бы кишела и шевелилась изнутри. Ее хребет поблескивал металлом и переливался в лучах восходящего солнца. Машины, повозки, бронетранспортеры, пешие и конные солдаты плотно жались друг к другу, не оставляя ни малейшего просвета.

Мои батарейцы, увидев надвигавшуюся громаду врага, в душе содрогнулись, но ни один не выказал ни страха, ни сомнения, а только, сжав зубы, с еще большим остервенением продолжал готовиться к бою.

За какие-нибудь три минуты с машин были сброшены ящики со снарядами и орудия приведены в боевую готовность. Окапываться было некогда. Едва укрепили сошники станин, как я подал команду на открытие огня. Надо было спешить, чтобы остановить немцев как можно дальше от батареи, уничтожить их на расстоянии. Если им удастся сблизиться с нами, они обтекут батарею с разных сторон и уничтожат. Мои солдаты сознавали, что силы были слишком неравны. Четыре орудия — против такой громадины! Но ни у кого не было сомнения: биться будем до последнего.

Решаю поставить перед колонной немцев мощный заградительный огонь, чтобы напугать их и преградить путь. А потом, повернув их вспять, уничтожить. Немцы в лучах бившего им в глаза восходящего солнца не успели разглядеть нас, поэтому наш огонь был для них неожиданным. Грохот разрывов двух десятков снарядов и мощные фонтаны взлетавшей вверх земли перед самым носом первой шеренги привели фашистов в замешательство. Вмиг остановились машины, вздыбились кони, попадали в траву пешие солдаты. Но задние продолжали напирать, и махина, подмяв лежавших, обтекая разрывы снарядов, продолжала как ни в чем не бывало с еще большей скоростью двигаться вперед.

Я лежал с биноклем в траве левее самого левого, четвертого орудия, у самой кромки балки. Остальные орудия располагались ниже, уступом справа-сзади от меня. Ошеломив неприятеля заградительным огнем, орудийные расчеты замерли у пушек в ожидании новых моих команд.

Неожиданно для нас справа от немецкой колонны, ближе к верху балки, фашисты установили несколько станковых и крупнокалиберных пулеметов. В считаные секунды они окатили нашу позицию мощным пулеметным огнем. Открыли по нам огонь и разбросанные по всей площади лавины бронетранспортеры. Пули градом посыпались на расчеты. Огневики схоронились за орудийными щитами. Но немцы сделали свое дело: у нас появились первые убитые и раненые.

— Четвертому, — подаю команду, — уничтожить пулеметы!

Команда выполнена. Фашистские пулеметы вместе с расчетами тут же взлетели в воздух.

— Батарее! По голове колонны, беглый, огонь!

Лавина переместилась по балке уже метров на сто пятьдесят и продолжала ускоренно двигаться к нам. Обозленные настойчивой дерзостью противника и огорченные первыми потерями товарищей, огневики принялись уничтожать немцев с утроенной энергией. В течение двух минут орудия выпустили более сотни снарядов. Я наблюдал в бинокль за разрывами своих снарядов и поведением противника. Никогда еще за всю войну мне не приходилось вести огонь по такому скоплению врага. Снаряды рвались в самой гуще неприятеля. Бегущие плечом к плечу солдаты, конные фургоны, зажатые в людской теснине машины в мгновение ока разбрасывались разрывами во все стороны. Сначала в людском муравейнике разрывами наших снарядов были выхвачены единичные пятна, потом эти пятна-пустоты из трупов и транспортных обломков стали сливаться в обширные черные разводья. Сквозь космы сизого дыма я видел поверженные машины, разметанные тела людей, коней, перевернутые повозки. В считаные секунды голова колонны по всему фронту и в глубину метров на двести перестала существовать. Но настойчивость немецкого командования и отрешенность войск были несгибаемы. Повернуть назад они ни в коем случае не хотели. Основная масса лавины длиной в полкилометра, обтекая разрывы снарядов, высоко поднималась к краям широченной балки и непреклонно рвалась вперед. Перепрыгивая обломки повозок, трупы людей и лошадей, падая и поднимаясь среди воронок и разрывов, немцы все ближе и ближе подходили к нам. Самим им было не до стрельбы по нам, но их командование находилось где-то сзади и, не выпуская из рук управления адским процессом, продолжало гнать в зловещую мясорубку тех, среди которых еще не рвались наши снаряды, кто за спинами впереди бегущих не видел всего того ужаса, что их ожидал.

Меня до крайности удивляла непреклонность воли вырывавшихся из окружения солдат противника, и невольно возникала мысль: ну и нашкодили негодяи, коли лезут в пекло, чтобы избежать плена и возмездия за содеянное. Но было не до анализа поведения врага. Главная моя задача: выполнить боевой приказ, не пропустить противника, уничтожить, невзирая ни на какое его упорство. Не думал я и о том, во что это обойдется нам самим.

Только я хотел подать команду на перенос огня в глубину колонны, как где-то в вышине раздалось знакомое шуршание, переходящее в посвист. Впереди и сзади батареи разорвалось несколько пристрелочных мин. Сейчас немцы внесут поправки к прицелам и перейдут на поражение. Десятки мин обрушатся на наши головы. Предотвратить их падение и то страшное, что сотворят они с нами, взрываясь у орудий, разя осколками все живое, у нас нет никакой возможности. Мы обречены на погибель, так как окопаться не успели и находимся на плотном дерне склона балки, на ровном голом месте. Укрыться нам негде. Да и некогда. Мы должны продолжать интенсивную стрельбу, не считаясь с собственной погибелью, а вражеские минометы нам не видны, мы не можем ни уничтожить их, ни воспрепятствовать их смертоносному действу. Остается одно: пока немецкие минометчики корректируют свой огонь и пока будут находиться в полете их мины, надо уничтожить как можно больше врагов из орудий.

— Батарее, по всей колонне, беглый, огонь! — подаю команду, не отвлекаясь на раздумья.

Беглый огонь — это как можно более быстро. Беглый огонь — это сумасшедший темп ведения огня.

Скорые выстрелы всех четырех наших орудий упруго затрещали по всему фронту батареи — десятки снарядов рвут, опустошают вражескую колонну. Она все редеет и редеет. Уже не тысячи, а только сотни фашистов надвигаются на нас. Их надо успеть уничтожить, пока они не ворвутся на батарею и не довершат нашу гибель, если к тому времени кто-то из нас останется в живых после минометного обстрела. Надо успеть выпустить еще сотню оставшихся у нас снарядов, чтобы они не пропали даром.

И вот они — немецкие мины! Они рвутся все ближе к нам, все кучнее ложатся возле орудий. Зловещие черные пятна от их разрывов покрывают огневую позицию, не оставляя никого живого вокруг. Уж если осколки сбривают всю траву до черноты, то человека они изрешечивают так, что от него тоже ничего не остается.

И вот пошло чудовищное соревнование: кто у кого успеет больше уничтожить людей!

Клубы пыли и дыма окутывают всю батарею. Мириады осколков пронизывают пространство. А расчеты работают, как звери. Один солдат падает на землю, второй. Но третий, превозмогая боль, лежа на спине, все же дотягивается до казенника и вкладывает снаряд. Убитые и раненые устилают землю между станинами. А оставшиеся — на коленях, на четвереньках, на спине, но все же передают снаряды заряжающему и продолжают стрельбу. Поредевшие расчеты из двух-трех раненых, вместо шести здоровых, мелькают у пушек.

Вот мина падает между мною и четвертым орудием. Она уничтожила почти весь орудийный расчет. У пушки остается только один заряжающий. Становлюсь к прицелу, и мы вдвоем ведем интенсивный огонь. Рвутся новые мины. Одна из них отрывает ноги заряжающему, мне осколок пронизывает сустав правого колена. Боль неимоверная, кровь заполняет сапог. Стоя на одном колене, продолжаю целиться и стрелять. Смотрю: второе и первое орудия умолкли. Уже прекратились доклады:

— Сидорова убило!

— Николенко ранен!..

Убитых и раненых становится все больше и больше. Расчеты первых двух пушек лежат на земле, около них хлопочет санинструктор Груздев. Но перевязывать приходится уже по третьему, а то и четвертому разу или констатировать смерть. Весь в бинтах подползает к первой пушке ящичный Похомов. У него изранены ноги. Поднимается, держась за казенник руками, вкладывает снаряд и жмет на педаль спуска. Целиться уже некому, да и незачем. Цель слишком широка — километровая балка, снаряд кого-нибудь да найдет.

Единственный человек на батарее — командир третьего орудия сержант Хохлов — не получил еще ни одного ранения. Вместе с ящичным Кругловым он ведет интенсивный огонь из своей пушки. Но у него кончаются снаряды. Согнувшись, Хохлов в несколько прыжков достигает соседнего орудия, производит из него выстрел, прихватывает снаряд и возвращается к своей пушке. Так он имитирует живучесть батареи: стреляют-де все орудия.

А мины все плюхаются и плюхаются около пушек. Их разящие осколки умерщвляют тех, кто только что был после нескольких ранений еще жив. Застывает с бинтом в руке и санинструктор Груздев. Он только что доложил, что раненых больше нет. После многократных ранений все они погибли.

Противник понес большие потери. На батарею движется уже не лавина, а уцелевшие группы людей. Но и их мы с Хохловым удачно уничтожаем. По полю с диким ржанием носятся обезумевшие кони, здоровые и раненые.

Навожу прицел на ближайшую к нам группу бегущих фашистов. Она как раз умещается в кругу прицела. Ставлю перекрестие прицела в центр группы, жму педаль спуска и вижу, как снаряд разметывает бежавших.

Между тем минометный обстрел нашей батареи постепенно стихает и совсем прекращается. Видно, у немцев кончились боеприпасы. Мины уже не взрываются, но и батарея, по существу, мертва. Немцы от нас в двухстах метрах, они бегут уже не вдоль балки, а по диагонали, по направлению к нам, постепенно поднимаясь по пологому краю балки. Ну все, думаю, снаряды у нас кончаются, стрелять некому, в живых только мы с Хохловым, сейчас прибегут фашисты, прикончат нас, и приказ до конца не выполним.

Целюсь в новую группу, их человек двадцать, все умещаются в поле зрения прицела. Только хотел нажать на спуск, как увидел в стане врага что-то белое. Смотрю, не то нательная рубашка, не то белые кальсоны в спешке на штык надеваются. Потом, раскачиваясь из стороны в сторону, белое пятно поползло вверх. Да неужели в плен сдаются? — не поверил я своим глазам. И впрямь: машут белым флагом.

— Стой, — подаю команду на батарею на прекращение огня, хотя кроме Хохлова ее исполнять некому.

Хохлов отпрянул от прицела. Он тоже непонимающе смотрит на белое.

— Хохлов, — кричу, — бегом изо всех сил к немцам, пока не передумали! Прикажи сложить оружие! Пусть сами строятся, а ты веди их на противоположный край балки, чтобы они не рассмотрели, что батарея пуста!

Длинноногий сержант Хохлов, делая саженные шаги, помчался вниз-наискосок к немцам. А я подумал: сейчас они схватят его и растерзают. Но Хохлов подбегает к немцам, останавливается метрах в десяти, держа автомат навскидку. Что-то говорит им, жестикулирует. Наверное, перед Хохловым была группа немецких командиров. Они стали голосом и сигналами подавать своим разрозненным группкам команды. Вижу, к белому флагу со всех сторон начали стекаться остальные немцы. Сбрасывают в кучу оружие, строятся в колонну по восемь или десять человек. Старший немец встал во главе колонны, и все они двинулись на тот край балки.

Хохлов с автоматом на изготовку бодро шагает сбоку. Сколько же их там, думаю, пятьсот, тысяча? Спохватился и стал ползать от орудия к орудию, поворачивая стволы пушек направо, в сторону немецкой колонны. Пусть оглядываются и чувствуют себя под прицелом. А у нас и стрелять-то нечем и некому. Батарейцы, двадцать четыре человека, лежат мертвыми.

Многие изуродованы разрывами мин до неузнаваемости, погибли после многократных ранений. Да разве можно было уцелеть в таком аду?!!

До сих пор считаю, что в ближнем бою, кроме пулемета, нет страшнее и эффективнее оружия, чем 82-мм миномет. Мина падает почти вертикально, и на месте падения остается лишь маленькая воронка размерами с котелок. Но, взрываясь, мина разметывает свои осколки во все стороны низом, над самой землей в таком количестве и с такой силой, что буквально сбривает всю траву, оставляя черное пятно до пяти метров в диаметре. Все живое, находившееся на этом зловещем черном пятне, перестает существовать — разрывается на кусочки и разбрасывается вокруг. А когда эти черные пятна перекрывают друг друга, когда они накрывают орудийные расчеты в ходе боя — ну кто же тут уцелеет?!

Из двадцати шести уцелели только мы с Хохловым. Ползая от орудия к орудию, чтобы навести их стволы на пленных немцев, я одновременно тщательно осматривал лежащие тела — с надеждой, что кто-нибудь еще дышит. Но все мертвы.

А время идет. Стоят на том краю балки в полукилометре от батареи немцы. Они повернуты лицом к нашим пушкам, ждут своей участи, а Хохлов в нетерпении переминается с ноги на ногу, тоже ждет — но чего, он же знает, что я на одной ноге? Меня в тот момент возмутили водители наших автомашин. С началом боя я отправил их в соседнюю балку, в укрытие. Но когда бой кончился, они же слышали, ну почему никто из них не едет сюда?! Может, думают, что батарея погибла, и боятся появиться здесь? Это же шоферы — народ тыловой, в боях не участвуют. Неужели и командир полка не побеспокоится о нашей участи? Сейчас пленные задушат нас. Их же сотни. На том и конец будет.

Пока я разрезал перочинным ножом штанину, перевязывал рану, никто из наших на горизонте не появился. Страх стал одолевать меня больше, чем во время боя. Срезал куст, сделал посох — не такую уж толстую, но довольно прочную палку, можно опереться. И вдруг слышу — шум моторов! Неужели наши шоферы опомнились?! Показались грузовые машины, в кузовах — солдаты. Оказалось, это разведрота дивизии. Из первой машины вышел капитан Михайлов, командир разведроты, он хорошо знал меня еще с тех пор, когда я ходил за «языком».

— Бери пленных, — говорю, — вон они стоят.

Михайлов отправился к пленным немцам. Их оказалось восемьсот с лишним человек. Он привел их в село Каракуй, что стояло в двухстах метрах от нашей батареи, построил в широком дворе в полукаре. Когда я появился в этом дворе, Михайлов окончил говорить, а один из пленных вышел из строя. Я стоял, опираясь на палочку, рядом с Михайловым. Немец вытащил из кармана желтого цвета целлулоидную баночку, отвинтил крышку и показывает содержимое:

— Вот как мало немцы дают нам масла! Своим-то солдатам больше! — сказал пленный на чистом русском языке. — А ведь мы воюем даже лучше немцев! Вы это на себе сегодня почувствовали. Это мы в вас из минометов стреляли.

— Кто это? — спрашиваю Михайлова.

— Власовец. Их тут большинство, а всего восемьсот двадцать шесть человек.

— Ах гад! Похваляется, как он нашу батарею истреблял! — Обращаюсь к пленному: — Откуда же ты родом?

— Я воронежский.

— Ты смотри, земляк! — воскликнул я и поковылял к власовцу.

Тот в растерянности смотрит на меня. Изо всей силы, на какую я только был способен во зле, бью «земляка» палкой по голове. Он рухнул на землю. Не знаю, что с ним было. Не интересовался. Возвращаюсь на середину к Михайлову и громко спрашиваю строй:

— Еще воронежские есть?

Молчание.

— Ах вы сволочи! Своих убивали да еще жалуетесь нам на немцев, что плохо вас кормили!

На этом закончился наш разговор с пленными.

Я оказался с раненой ногой в санбате. Никто из начальства не поинтересовался мной, не позвонил по телефону, не навестил, чтобы сказать доброе слово за сделанное нами в той балке под селом Каракуй в Молдавии.

После войны посетил я нашего генерала, он спросил:

— А не знаешь ли того командира, который в Молдавии лавину фашистов остановил, столько перебил и в плен под тысячу взял? Я ездил смотреть ту балку. По-моему, он жив остался.

Когда я ответил, что перед ним тот самый командир, он удивился и спросил:

— А почему же мы тебе Героя не дали?

Ну что я мог сказать генералу?

## Часть третья

## Вот она, Восточная Европа!

## Сентябрь 1944-го — май 1945 года

### Глава пятнадцатая

### Румыния — Болгария — Югославия

### Сентябрь — октябрь 1944 года

###### Русские румыны и братушки-болгары

К концу августа 1944 года была уничтожена Ясско-Кишиневская группировка противника, и мы наконец-то изгнали немецких оккупантов из пределов своей страны. Но они были еще сильны, и нужно было их добивать. Сколько еще потеряем мы наших людей, пока добьемся окончательной победы! Но воевать стало веселее — мы все время наступаем. Пока мы бились с окруженными немцами, наши войска форсировали Дунай, перешли румынскую границу и взяли порт Констанца. И вот мы в Измаиле — городе суворовской славы. Дальнейший боевой путь нашей дивизии намечен через Балканские страны. Впереди за Дунаем — Румыния.

31 августа мы переправились через Дунай у Измаила и направились на юг, к болгарской границе.

Румынское население пряталось от нас, особенно женщины: боялись, что мы будем мстить им за бесчинства румынских солдат в России. А нас поразила сплошная нищета народа. Убогие, ободранные, когда-то побеленные мелом хаты. Зашли в один из домишек. Глиняные полы и пустота внутри. Вместо кроватей — настеленные на козлы доски, прикрытые обрывками старых домотканых дорожек. Ни занавесок, ни единой вещицы из фабричной ткани. На хозяевах — тощей, согбенной старушке и ее супруге, давно не бритом старике, — грязные, замусоленные одежды. Когда мы присели на лавку спинами к столу, старушка жестами показала: не хотим ли мы есть? Мы из любопытства не возразили, и женщина достала из печки горшок с мамалыгой. Это единственная еда у них: темно-коричневая каша из кукурузной крошки. Ни хлеба, ничего больше нет. И ничем эта каша не заправлена. Без жира и масла еда была безвкусной. Чтобы не обидеть стариков, мы пожевали пару ложек и поблагодарили хозяев. Аналогичная картина и в других хатах. Встречались домики без дымовых труб и без окон. На полях — сплошные межи, так как очень маленькие земельные наделы. А боярские усадьбы окружены со всех сторон каштанами, тополями, черешней.

Но вот на топографических картах замелькали русские названия деревень: Бабадаг, Чернавода, Хыршово. А когда мы вошли в них, нас приветливо и радостно встречали празднично одетые русские люди. Русская речь, угощения. На травке у амбаров, как когда-то у нас в Воронежской области в двадцатые годы, сидели карагодами разодетые в старинные платья женщины с ребятишками, закусывали, играли в карты, смеялись, пели песни, у них праздник: пришли русские солдаты. Оказалось, это русские села, когда-то переселенные Екатериной Второй из России в Румынию. Они сохранили язык и российский уклад жизни восемнадцатого века. Помнят и любят Россию.

8 сентября мы оказались у болгарской границы. Советский Союз 5 сентября объявил войну союзнице фашистской Германии — царской Болгарии. Мы заняли боевой порядок и приготовились с боем переходить границу. Послали разведчиков на видневшиеся болгарские пограничные посты. Вскоре разведчики подали сигнал: не стреляйте, болгары сдаются. Оказалось, малолетний болгарский царь вместе с регентами сбежал за границу, в стране восстание, власть взял Отечественный фронт, всюду распоряжались люди с белыми повязками на рукавах с надписью «ОФ».

В первых же населенных пунктах нас встретили толпы народа с плакатами «Добре дошли, братушки!». Нас угощали вином, фруктами, обедами, вспоминали 1878 год, когда русские солдаты вызволили Болгарию из турецкого ига, просили остановиться, погулять вместе с ними. Но мы двигались по строгому графику: за две недели нам предстояло пешком и на лошадях пройти всю Болгарию и оказаться на югославской границе.

Случались в общении с болгарами и забавные истории. Спрашиваешь, например, как проехать в следующий населенный пункт, отвечают: направо. Сворачиваем направо, едем, снова спрашиваем, говорят: налево. Непонятно, зачем же ходить туда-сюда? Оказалось, у болгар слово «направо» означает «прямо».

Нам выдали болгарские деньги, левы. Солдату понравился в магазине поджаренный батончик, да и саму куплю-продажу приятно осуществить, давненько ведь в магазинах не бывали. Спрашивает у пожилого хозяина:

— Сколько стоит булка?

Тот, хитро улыбаясь, отвечает:

— Мы булками не торгуем.

— Да вот же они, лежат на полках!

— «Булка» по-болгарски означает «жена», мы женами не торгуем.

В сентябре в Болгарии стоит сильная жара, пить хочется неимоверно. Забегаю в сени хаты, вижу полное ведро прохладной воды. Спрашиваю приветливую хозяйку:

— Вода има?

Она отрицательно качает головой.

— Как нет воды? — спрашиваю с удивлением, ведь они нас так ласково встречают, а тут воды не хочет дать.

— Има, има! — говорит женщина, продолжая качать головой.

Оказалось, у болгар, в отличие от всего мира, кивок головой говорит об отрицании, а покачивание головой из стороны в сторону означает согласие.

За обедом наш солдат попросил ржаного черного хлеба, так как у болгар на столе был только белый пшеничный. Хозяева его не поняли, они никогда не слышали о существовании ржаного хлеба, а слово «черный» восприняли как грязный: мол, зачем вам грязный хлеб?

После нашей солдатской кухни всех очаровал за обедом красивый, густой и наваристый борщ. Мы с аппетитом накинулись на него… и от ожогов раскрыли рты, не можем челюсти свести! Решили, что подшутили над нами болгары, специально наперчили. Но хозяева, как ни в чем не бывало, уплетали огненный борщ и даже не морщились. Опять неувязка: для болгар ненаперченное кушанье, как для нас — несоленое.

###### Заечар

В начале октября сорок четвертого мы из Болгарии вступили на землю Югославии. Из придунайской низины Северо-Западной Болгарии в горную Югославию вела единственная в тех местах дорога на Белград, и шла она через югославский город Заечар, пограничный с Болгарией.

Немцы так сильно укрепили Заечар, что штурм города обошелся бы в половину состава дивизии, на это немцы и надеялись: задержать продвижение наших войск, так как иных путей в Югославию здесь не было. Но мы обманули немцев. К тому времени мы научились воевать и не стали штурмовать в лоб хорошо защищенный город. С помощью югославских партизан проселочными дорогами, горными лесистыми тропами мы буквально просочились на югославскую территорию, передовые полки обошли Заечар и вышли на Белградское шоссе уже за городом.

Оставив на дороге надежный заслон на случай прорыва немцев к своим, чтобы они не ударили нам в спину, мы двинулись по единственному в горах шоссе на запад. Но в Заечаре оказалось войск больше, чем предполагало наше командование. И случилась беда. Более тридцати танков, бронетранспортеры, крытые машины с пехотой двинулись по шоссе к нашей передовой, они смяли наш заслон и, громя тылы дивизии, двинулись к своим.

И первой их жертвой стал наш безоружный медсанбат.

###### Немцы напали на санбат. Рассказ военврача В. Сомовой

Горячий ветерок время от времени приподнимал нижний край брезента, и в палатку врывался солнечный свет. Он выхватывал из полумрака помещения с десяток носилок, на которых лежали раненые-грудники. Я уже осмотрела их, и они потоком отправлялись в хирургическую палатку, где без устали на двух столах трудились хирурги.

Раненый терял последние признаки жизни. На его груди против самого сердца зияла кровоточащая рана. Носилки, на которых он лежал, стояли на земляном полу в малой медицинской палатке, у стены против входа. Стоя на коленях, я склонилась над ним и с помощью допотопной, чеховских времен деревянной трубочки вслушивалась в угасающие удары сердца, исчезающее в легких дыхание. Без каких-либо рентгеновских аппаратов, анализа крови и других диагностических мероприятий я должна была срочно сделать заключение: вскрывать или не вскрывать ему грудную клетку, что у него — непроникающее ранение сердца или глубокое проникающее повреждение, требующее вскрытия грудной клетки и ушивания сердца? А может, раненому уже ничем не поможешь? Велика ответственность врача-терапевта, от точности его диагноза зависят жизнь и смерть раненого, но решается не только судьба человека, а и моя собственная: будет спасен человек или посмертное вскрытие покажет ошибку врача. К счастью, за три года пребывания на фронте я ни разу не ошиблась. На мое имя приходили хвалебные письма профессоров из Москвы и Ташкента, где долечивались мои раненые и больные солдаты. Ученые восхищались, как можно с помощью одной только деревянной трубочки, да еще во фронтовых условиях, поставить точный диагноз ранения или заболевания сердца. Эти письма замполит командира нашего 106-го медсанбата тут же относил в политотдел дивизии, ко мне они уже не возвращались.

Не успела я до конца осмотреть последнего раненого, как у меня за спиной с шумом поднялся входной брезент и в палатку ворвался запыхавшийся человек. Несколько секунд он всматривался в темноту помещения, ничего не различая после солнечного света. Оторвав от уха трубочку, я решила сделать грубияну внушение и выдворить вон. Повернулась к вошедшему, и в этот момент шевельнулся полог палатки, в мелькнувшем свете я увидела немецкого солдата и тут поняла, что вошедший — немец! Он был в темной униформе, с закатанными выше локтя рукавами, его худощавое, бледное лицо показалось мне знакомым, он был похож на того пленного немца, которого еще на Украине я лечила в санбате от дизентерии, тот немец был настолько благодарен мне, что приглашал после войны обязательно посетить богатое имение его отца в Германии. Но это был не тот немец! Хотя фашист немного адаптировался в темноте, меня он пока не заметил, но хорошо рассмотрел стоявшие у его ног носилки с ранеными и тут же принялся неистово расстреливать их из автомата. От первых же громких выстрелов мне стало плохо, и я без чувств свалилась на левый бок. Но вскоре пришла в себя. Немец сноровисто продолжал стрелять. Я быстро выкатилась под полог палатки наружу и бросилась бежать между другими палатками в лес, на опушке которого располагался наш санбат. Из всех палаток доносилась приглушенная автоматная стрельба. Вдруг прямо передо мною, за ближайшим кустом, раздались резкие, до боли в ушах, выстрелы. Это другой фашист расстреливал лежавших меж кустов наших раненых, которые еще не были осмотрены. Метнувшись в правую сторону, я заметила лежавшую на сосновой игольчатой подстилке еще одну группу раненых. Люди с передовой, привыкшие к близким выстрелам, не обращали внимания на стрельбу, да и не до нее им было.

— Товарищи, — тихо крикнула я, — разбегайтесь, кто как может, немцы расстреливают раненых!

Только один солдат с перевязанной головой обратил внимание на мой призыв и попытался подняться на ноги. Остальные, более немощные, продолжали недвижно лежать на месте.

— Да расползайтесь же вы! Вас же сейчас перебьют всех! — громким шепотом устрашаю раненых. Но без толку.

Помогаю раненному в голову солдату удержаться на ногах, и мы вместе поковыляли за соседний куст. Вслед тут же пронеслись пули, но ни одна не задела нас, мы упали на землю и быстро по-пластунски поползли в гору, в глубь леса.

Через несколько минут, когда внизу стихла стрельба, уверившись, что немцы исчезли с территории санбата, но все же оставив раненого под кустом, я стала осторожно спускаться к палаткам. В нескольких шагах в траве лежал с остекленевшими открытыми глазами наш врач-эпидемиолог, автоматная очередь прошила ему всю грудь; чуть поодаль, тоже неживые, лежали в неестественных позах две операционные медсестры.

Из леса стали собираться уцелевшие медики и раненые. Потери были большие. Погибли почти все тяжелые раненые. Пожилых солдат-санитаров немцы расстреляли всех до единого, они, как и все мы, были безоружны: свои винтовки санитары, как обычно, сняли из-за спины, поставили в кустах, чтобы не мешали им в быстрой работе.

Быстро придя в себя, врачи и медсестры стали выискивать в санбате и вокруг выживших и вновь израненных людей. Мучил вопрос: что же случилось, как немцы могли оказаться в тылу дивизии и внезапно напасть на санбат?..

Ряды военнослужащих санбата после налета фашистов значительно поредели, а с передовой прибывали все новые и новые раненые. Пришлось очень трудно. Хорошо еще, что уцелели оба ведущих хирурга, и конвейер обработки раненых заработал как всегда: приемное отделение, сортировка, терапия, хирургия…

Позднее мы узнали, что немцы из Заечара прорывались к своим, потому и ушли так быстро. Но вырваться из окружения им не удалось. Узнав о зверствах, учиненных фашистами в нашем санбате, части нашей дивизии с особой беспощадностью уничтожили их.

###### Из окружения немцы не прорвались

Обойдя Заечар и оставив позади себя тылы, дивизия направилась по шоссе на город Парачин, находившийся в 150 километрах южнее Белграда. За трое суток с боем взяли несколько сел, продвинулись по шоссе на двадцать километров и остановились перед городком Болевац: его не обойдешь, кругом отвесные скалы. Стали подтягиваться полки для штурма города.

До подхода основных сил мой дивизион с батальоном пехоты занял временную оборону на опушке рощицы. Через эту рощицу проходило шоссе, далее убегая по кукурузному полю вниз — в Болевац, к немцам. Мой НП находился у дороги, а слева и справа от нее залегла пехота. На случай атаки танков по обе стороны шоссе я поставил на прямую наводку по одной пушке. Остальные десять орудий расположились вдоль шоссе сзади нас. В горной местности передвижения и бои происходят исключительно на дорогах. Поэтому все подразделения дивизии устроились в ближайших окрестностях шоссейки.

Хотя мы и окопались — хорошо замаскировали свои позиции вдоль опушки, немцы все же знали, где мы сидим, и постоянно обстреливали нас из пулеметов и минометов. Разрывная пуля попала моему лейтенанту Медведеву в пилотку, и десятки мельчайших осколков впились ему в голову. Вытащить их мог только врач, и я решил не рисковать:

— Иди-ка ты, Юра, в санбат. Хотя голова и не болит, но подлечиться надо, заодно и отдохнешь там. А пятнадцать километров для тебя — сущая ерунда.

Было раннее утро. Октябрь в Югославии — все равно что конец августа у нас: никакая это еще не осень, всюду буйная зелень, цветы, тепло и солнечно. Медведев выломал ветку в кустах и, помахивая тросточкой, не спеша направился по дороге в тыл. Кругом благоухала природа. Красотища неимоверная! Прозрачный воздух, насыщенный ароматами деревьев, цветов и трав, с каждым вдохом разливался по всему телу. «Живут же люди, как в раю», — позавидовал Медведев местным жителям.

Пройдя километров десять, лейтенант миновал деревню Планеница, в которой стоял штаб нашего артполка. Дорога впереди петляла меж высотками, то плавно поднимаясь вверх, то стремительно падая вниз. Километрах в пяти в одном из прогалов между кустами лейтенант заметил танки. Обрадовался — подмога идет! Но двигались танки как-то очень уж осторожно, крадучись, будто боялись кого. Приложил лейтенант к глазам бинокль, что болтался на шее, присмотрелся… — белые кресты! Так это же немецкие танки! Из Заечара прорвались! Медведев круто развернулся и со всех ног помчался в Планеницу, в штаб полка.

— Немецкие танки с тыла идут! — доложил начальнику штаба.

Тот звонит по телефону мне:

— Михин, срочно поставь две гаубицы на восточную окраину Планеницы! Танки идут!

Не прошло и пятнадцати минут, как два орудия раскинули свои станины в садике у крайнего домика. А танки уже видны, осторожно движутся по дороге — целая колонна, метрах в семистах выкатились на лысину очередной дорожной петли.

— Первому — по головному, второму — по замыкающему! Огонь! — дал команду командир батареи Ощепков.

Задымили и остановились передний и задний танки, остальные стали расползаться, подставляя свои борта. Через три минуты все двенадцать танков горели ярким пламенем. Из люков стали выбираться уцелевшие танкисты, их расстреляли подоспевшие из лощин пехотинцы.

Но это была только голова танковой колонны. Всего их было более тридцати, да бронетранспортеры, да крытые машины с пехотой. Сил у немцев в Заечаре оказалось раз в пять больше, чем предполагало наше командование.

По всей трассе развернулся бой наших артиллеристов и пехотинцев с силами врага. И тут по телефонам сообщили, что немцы на пути из Заечар, сбив наш заслон, разгромили санбат и тылы дивизии, постреляли всех раненых, медсестер, врачей и санитаров. Невооруженные и не приспособленные к бою люди почти все погибли, только единицам удалось бежать в кусты и ближайший лес. Об этом злодеянии немцев быстро узнала вся дивизия. Негодование и злость прибавили сил и смелости нашим бойцам. Это им, фрицам проклятым, не сорок первый, когда мы панически боялись появления немцев в своих тылах! Ныне против врагов ощетинились все!

На огневую позицию нашей гаубичной батареи напали немецкие пехотинцы. Они окружили орудия и, стреляя на бегу, бросились из кустов на батарейцев. Из орудий тут не стрельнешь, поэтому огневики организовали круговую оборону с помощью пулеметов и автоматов, пошли в ход и гранаты. Ожесточенный бой закончился нашей победой. Немцев к орудиям не допустили, многих побили, шестерых взяли в плен, остальные разбежались по кукурузному полю. Не обошлись и мы без потерь — двоих убило и троих ранило.

По телефону командир батареи Ощепков доложил мне:

— Двенадцать танков и много немецких машин с пехотой уничтожены. Наши шоферы захватили две исправные немецкие машины и ведут их на основную огневую позицию, туда, где был бой с немецкой пехотой. — И попросил: — Предупредите по телефону всех, чтобы в трофейные машины не стреляли.

Целыми и невредимыми трофейные машины свернули с дороги на огневую позицию. Но за ними почему-то ехали еще две крытые машины. На полной скорости они продолжали движение к передовой. Наши подразделения, что располагались вдоль извилистой лесной дороги, поняли, что последние две машины — с немцами: то ли они под прикрытием трофейных машин хотели пробиться к своим, а может, посчитали их за свои и ехали за компанию? Но когда наши трофеи свернули с дороги, немцы поняли, за кем они ехали, и рванули дальше.

На трехкилометровой, петлявшей меж деревьями дороге, которая к тому же то взмывала вверх, то круто падала, разгорелась невообразимая охота наших людей за немецкими машинами. Все кричат: «Стреляйте, это немцы!» — и все стреляют, однако мешают кусты, изгибы дороги, и машины, как заколдованные, несутся вперед — ничто их не берет. В кузовах, простреленных пулями, наверняка было много убитых, но водители оставались целы и гнали машины. Теперь уже и немцы в машинах начали стрелять во все стороны, сумели ранить нескольких наших солдат. Наши артиллеристы даже из орудий успели выстрелить по убегавшим, но не попали, и машины, выскочив из леса, понеслись вниз по кукурузе — на нейтралку, к своим. Наверное, немцы уже радовались, что проскочили нашу передовую и через триста метров будут дома.

— Стреляй! — кричу Бобылеву, командиру орудия, что стоит около меня.

Бобылев выстрелил. Снаряд пронесся над самой крышей машины, но не попал, потому что прицел стоял на семьсот метров, а до машины было всего сто, да еще и торопился сержант. Но рев снаряда переполошил немцев, машина замедлила ход, и два человека выскочили в кукурузу. Оправившись от шока, шофер снова рванул вперед — и тут вторым снарядом Бобылев разнес машину в щепки, на стойках развороченного кузова повисли куски человеческих тел. Вторая пушка, стоявшая у дороги, с первого же снаряда разметала другую машину.

Ни одному механизированному средству немцев из Заечара прорваться к своим сквозь наши боевые порядки не удалось.

Я послал разведчиков поймать в кукурузе двоих выскочивших из машины. После перестрелки ребята поймали и привели немцев на опушку леса. Пока я добрался до того места, где оказались пленные, мои солдаты уже обыскали их. У одного, что был в эсэсовской форме, нашли фотографию и передали ее мне. Фотография была небольшая, но на ней отчетливо читались все лица: пойманный эсэсовец стоит на городской улице, заложив большие пальцы рук за поясной ремень, весело позируя на фоне виселицы, а на длинном деревянном брусе, положенном высоко на сучья двух деревьев, пятеро повешенных: трое мужчин в гражданской одежде, женщина и подросток. Сбоку от виселицы стоят два мальчика, приложив пальчики к губам, боязливо и печально разглядывают казненных. Мои солдаты и пехотинцы стали наседать на хозяина фотографии: зачем вешал югославов?! Тот в страхе открещивался: дескать, не он вешал мирных сербов. Подбежал только что раненный выстрелами из немецкой машины солдат-пехотинец, начал что-то кричать, тыкать автоматом в лицо фашисту. Не успел я вмешаться, как он выстрелил и убил эсэсовца.

— Нельзя стрелять пленных! — закричал я, боясь, как бы и второго не ухлопали, мне же перед особистами за них отвечать.

Второй немец был с горной лилией на пилотке — значит, из горной дивизии, специалист по боям в горах. Я отвел его в сторону и приказал разведчику доставить пленного в штаб дивизиона.

А на огневой позиции 3-й батареи, на которую напали немцы, шло свое разбирательство с пленными. Разъяренные огневики исколотили немцев, но все же старшине батареи Макухе удалось увести пленных в кукурузу, и он с автоматом на изготовку повел их впереди себя в штаб полка. Ведет Макуха пленных по кукурузному полю, и злость его разбирает: таких хороших наших ребят убили! У замкового Николаева двое детей, наводчик первого орудия Осецкий еще и женат не был, молодой, но братьев и сестер маленьких много, а отец тоже на фронте, как там мать одна управляется с ними? А если и отец погибнет, совсем беда будет… И решил Макуха расстрелять фрицев проклятых, ведь это как раз те, что впереди всех лезли на огневую позицию, потому и в плен попали, остальные-то разбежались. Старшина решительно и резко отвел затвор автомата. Но не успел он нажать на спуск, как настороженные пленные, чутко услышав металлический щелчок, поняли, что сейчас будет, и бросились врассыпную. Макуха жмет спусковой крючок — автомат не стреляет! Перекос патрона?! — с нашими автоматами это случается. Туда-сюда — а немцев и след простыл!

Доложили мне. Вызываю Макуху к телефону:

— Почему автомат не чистишь?! Месяцами он валяется у тебя в повозке, наверно, заржавел весь! — Макуха стал оправдываться, но я не слушал его, хотя понимал душевное состояние старшины: — Жаль, что не вернулись они, не набили твоим же автоматом дурную твою голову!

На этот раз особисты за пленных с меня не спросили. Понимали, наверное, настроение всей дивизии после расстрела немцами раненых и медперсонала в санбате.

Мы сумели разгромить немцев — ни один танк, ни одна машина не прорвались из окружения.

На территории Югославии мы впервые столкнулись с особенностью ведения боев в горных условиях, когда все передвижения, все маневры и бои происходят исключительно на дорогах. Громадные горные массивы, бурные реки, пропасти и ущелья, и среди всего этого — петляющая лента единственной дороги, связывающей множество населенных пунктов. Здесь нет сплошной линии фронта, соседних войск, противник оказывается то слева, то справа, то впереди, а то и сзади, где ты только что проехал. А бились мы со специальными горными войсками, хорошо знающими тактику войны в горах. Спрашивается: почему ученые службы Генштаба заранее не дали нам рекомендаций о тактике боев в горных условиях?!

###### Гора Ртань

Город Болевац мы взяли. Дорога раздвоилась. Вправо пошла на Парачин, а влево — на Крушевац, он южнее и тоже стоит на магистрали Салоники — Белград, на реке Великая Морава. Мой дивизион с 431-м стрелковым полком Абаньшина должен был пробиваться в направлении Парачина.

Попасть из городка Болевац в Парачин можно только через Луково, по горловине, между самой высокой горой Восточной Сербии Ртань (1560 метров) и пропастью-ущельем, по дну которого течет речка Красный Тимок. Сорокаметровой ширины горловина простреливается с обеих сторон: слева — с горы, справа — из-за ущелья. На этот проход нацелены пулеметы и минометы, орудия прямой наводки и огнеметы. Во многих местах он заминирован, оснащен фугасами и целенаправленными взрывными устройствами, способными в любой момент обрушить на головы наступающих мощный камнепад. Ко всему сверху постоянно сыплются снаряды и мины, летящие из-за горы, где в обширной низине располагаются огневые позиции артиллерийских и минометных батарей врага.

Ну как в таких условиях я, командир дивизиона, могу помочь стрелковому полку пробиться через Луково в Парачин? Я могу двумя батареями обрушиться на каменные стены и вырезанные в их толще карнизы, чтобы все обрушить, задымить, запылить, и в этой неразберихе дать возможность нашей пехоте и саперам, минуя фугасы и огонь фашистов, ворваться в горловину. Но как повлиять на четыре вражеские батареи, обрушивающие на нас огонь снарядов и мин из-за горы?

Как и в Болгарии, югославы (сербы и хорваты) встречали нас восторженно, особенно любили нас партизаны и бойцы Народной армии, мы не только вместе, бок о бок воевали, но часто выручали их огнем своей артиллерии.

Обращаюсь за помощью к югославским партизанам. Спрашиваю:

— А можно ли проникнуть на ту сторону горы Ртань, минуя горловину? Неужто нет троп, проложенных по склонам горы, где можно бы протащить пушки?

Оказалось, такие тропы есть, но пушку протащить по ним нереально: помешают крутые повороты, топи, опасные обрывы, невозможность развернуться с конями.

Оставляю за себя на командном пункте заместителя по строевой капитана Свинцова, а сам — с двумя пушками, запряженными каждая десятью конями, с расчетами, запасами снарядов на повозках — отправляюсь на западные склоны горы Ртань.

Трудно описать, с какими приключениями к концу суток попали мы на площадку, расположенную под развесистыми кедрами на западной стороне горы. Приходилось поднимать пушки и коней на ремнях, привязывать их к вековым деревьям, вытаскивать из метровой грязи… Но зато с какой радостью мы увидели внизу, под горой, вражеские батареи! Те самые, что через гору Ртань вели навесную стрельбу по боевым порядкам наших войск, атакующих горловину ущелья.

Свои пушки мы поставили под тенистыми кедрами. Нацелили их на немецкие батареи. По моей команде пушки ударили по вражеским позициям. Четыре немецкие батареи в течение трех минут взлетели на воздух. Эффект от нашей стрельбы был для немцев ошеломляющим. Многократное эхо выстрелов в горах дезориентировало фашистов. Неведомо откуда прилетевшие снаряды русских вмиг разнесли их пушки и минометы вместе с расчетами. Двадцать четыре орудия, минометы и по меньшей мере около сотни фашистских артиллеристов перестали существовать.

Уничтожение немецких батарей за горой Ртань стало для наших войск сигналом к штурму горловины-прохода в Луково, а для немцев — к отступлению, так как они лишились поддержки своей артиллерии. И штурм состоялся: в течение часа горловина была взята 431-м стрелковым полком при поддержке моего дивизиона. А Луково немцы оставили без боя.

### Глава шестнадцатая

### Югославия

### Октябрь 1944 года

###### Ночной бой в окружении

И двух недель не прошло после вступления на территорию Югославии, а столько уже боев провели! И все — на петляющих горных дорогах! Все — необычны, страшны, впечатляющи и непредсказуемы! Противник неожиданно появлялся спереди и сзади, а то и сбоку, из ущелий. А стратегическая горная дорога одна — с нее никуда не уйти ни немцам, ни нам. Проходила она через все населенные пункты округи, петляя между горами, то круто взбираясь вверх, то стремительно спускаясь вниз, перебрасываясь через бурные реки, нависая над головокружительными пропастями. А из глубоких ущелий в нее вливалось множество полевых дорог — по ним-то и выезжали из небольших населенных пунктов на магистраль немцы.

У немцев были специально обученные горные войска, специальная техника. Нам же приходилось на свой страх и риск, в ходе боев, опытным путем осваивать новую для нас тактику. При этом мы не только противостояли наскокам фашистов, но и с помощью партизан сами мобильными отрядами появлялись там, где противник не ждал нас. Пехотинцы по-суворовски взбирались по горам — хоть к черту на рога! А вот нам, артиллеристам, с тяжелыми длинноствольными пушками приходилось туго. Но все равно мы одерживали верх и упорно продвигались вперед.

Когда мы с майором Абаныииным, командиром 431-го полка, овладели селом Луково за горой Ртань и он направился в Парачин, комдив Миляев передал мой дивизион в поддержку 439-му полку майора Литвиненко. Теперь труднее стало воевать в направлении на Крушевац и мой дивизион перенацелили на этот город.

Утром 12 октября 439-й стрелковый полк при поддержке моего дивизиона занял село Илино и пошел вдогонку за немцами на села Николац и Соко-Баня. Мне же требовалась остановка.

Замедляли наше продвижение не только горные дороги, но и вынужденные, незапланированные остановки. Оказалось, при движении по каменистой почве непривычные к горным условиям кони сбивают копыта — подковы коней срезаются как бритвой. А чтобы перековать полторы сотни лошадей моего дивизиона, требуется целый день. Опять у нас претензии к Генштабу: почему заранее не предупредили войска об особенностях продвижения в горах?

Вот и сейчас нужно срочно перековать всех лошадей, поэтому выступить вслед за пехотой пушечные батареи смогут только ночью. Наладив работы, сам я после обеда направился на машинах с гаубичной батареей в Соко-Баню, к стрелковому полку. Но, как только въехал в село Николац, узнал, что воинская часть противника по полевой дороге вышла на магистраль между мною и стрелковым полком. Послал разведчиков назад, они возвратились с печальной вестью: другая немецкая часть вышла к нам в тыл и отрезала нас от пушечных батарей. Мы оказались в окружении. С четырьмя гаубицами и без пехоты.

Наступила ночь. Я поставил по две гаубицы на въезде и выезде из села и связался со старостой села, по-сербски — кметом, попросил найти полсотни партизан, чтобы они в качестве пехоты прикрыли от немцев наши гаубицы.

Через полчаса перед домом, где я остановился, уже стояли в две шеренги шестьдесят вооруженных местных крестьян, у каждого — старинная винтовка и по одному-два патрона к ней. Большинство босиком, одежонка весьма легкая. Но дух боевой. Они уже знали о моих орудиях, поэтому считали, что им теперь не страшны никакие немецкие танки. На мое приветствие дружно гаркнули:

— Смрт фашизму, слабода народу!

Разделил я их на две группы и каждую в качестве пехоты положил перед орудиями на въезде и выезде из села, приказав окопаться. Получилось какое-никакое, а все-таки прикрытие для гаубиц.

Ночью хлынул холодный дождь. Вода потекла ручьями. Беспокоясь за свою оборону — не разбежались бы «партизаны» по хатам греться, пригласил к себе кмета, и пошли с ним проверять позиции. Я был приятно удивлен и обрадован: все до единого ополченца-крестьянина лежали под проливным дождем в своих окопчиках, и никто не спал, все начеку. Бодрствовали и мои орудийные расчеты. К нашему счастью, немцы ни с запада, ни с востока напасть на нас не осмелились.

На рассвете разведчики доложили, что дорога с тыла свободна: немцы бросили технику и ушли с магистрали в горы. Но почему тогда ко мне не едут наши конные батареи? Сажусь в грузовую машину и еду в тыл, в Илино, где перековывали лошадей мои батарейцы. Солнце уже встало, дождь прекратился, было тихо и тепло. При подъезде к селу увидел на дороге следы ночного боя: множество в беспорядке брошенных немецких машин, орудий, повозок, некоторые перевернуты, другие разворочены снарядами. Тут же валялись трупы убитых фашистов и коней. И среди всего этого солдаты моего дивизиона по-хозяйски обследовали брошенное немцами имущество: военное снаряжение, продовольствие, домашний скарб, награбленный немцами у местных жителей.

Командиры батарей доложили мне, что произошло. Как только ночью, перековав коней, они выехали из села, хлынул сильный дождь. В трех шагах ничего не было видно. Разведчики на конях уехали по дороге вперед. Вдруг слева в их колонну врезаются какие-то упряжки. В кромешной темноте немецкие кони уткнулись мордами в постромки и животы наших лошадей. Наши и немецкие ездовые, сидевшие верхом на лошадях, с возмущением, на чем свет стоит стали ругать друг друга: куда же вы прете! Потом вдруг те и другие поняли, что ругаются на разных языках. Наши орудийные расчеты, как я постоянно учил их, не растерялись. Быстро сняли пушки с передков, развернули их и, не раздвигая станин, прямо с походного положения сделали несколько быстрых выстрелов в темноту. Эти скорые выстрелы в никуда и решили исход встречного боя. Немцы, ошеломленные близкими выстрелами пушек и разрывами снарядов, побросали машины, орудия, лошадей и кинулись бежать. Наши же расчеты, приведя орудия к бою, продолжили в сумасшедшем темпе обстрел невидимого противника. Когда стрельбу прекратили, было уже тихо — никаких признаков присутствия немцев. Кого поубивали, какие разбежались. Слышалось только тревожно-жалобное ржание брошенных немцами лошадей.

###### Туфельки

Наши батареи во встречном ночном бою не потеряли ни одного человека, ни единого коня. Но неожиданный бой возбудил огневиков сверх меры. Чтобы привести себя в порядок после боя, батареи вернулись в село Илино, на свои старые места. На окраине его выставили охранение. И только с рассветом стали рассматривать результаты ночного боя.

Когда я подошел к одной из разбитых снарядами машин, ее осматривали наши солдаты. В кузове машины были в беспорядке перемешаны шинели и сапоги, консервные банки и белье, ящики с патронами и какие-то коробки. Часть имущества валялась на земле, прямо в грязи. Солдат поднял связку небольших картонных коробок розового цвета. Раскрыл одну из них. В ней оказались новые модельные женские туфли. Их красота и изящество особенно проявились, когда солдат приложил одну туфельку к своему огромному грязному кирзовому сапогу. Коренной тоже не удержался, открыл самую миниатюрную коробочку. В ней оказались туфельки-маломерки. Они сверкали особой красотой, но надеть их на ногу могла только Золушка.

— Во, красотище какое! — воскликнул кто-то из солдат. — Вот только нам оно ни к чему…

— Товарищ капитан, — обратился ко мне Коренной, — а помните ту красивую девочку в хате, где мы вчера обедали? Давайте ей подарим эти туфельки!

— Верно, — поддержал я, — убери эту коробочку в вещмешок.

Распорядился, чтобы через час батареи были готовы к движению, сам же с Коренным зашел в домик вчерашних приветливых хозяев, которые угощали нас обедом.

Вчера, прощаясь с нами, хозяин дома, добрый пожилой человек лет пятидесяти, пожал мне руку и, едва сдерживая слезы, сказал:

— Ах, как вы понравились нам, друже капитан, не хочется отпускать вас. Будете живы, приезжайте к нам после войны. Миланка подрастет, и мы поженим вас. Она славная девочка.

Мне тоже понравилась эта югославская семья. Проведя в их домике несколько часов, я как дома побывал: так приветливо, так ласково и трогательно они встретили нас — добрые люди в поношенной крестьянской одежде, сухощавые, стройные, улыбчивые, цвета сощуренных глаз сразу и не рассмотришь, но лица симпатичные и какие-то очень нам близкие и родные. Хозяин всем своим поведением, походкой, манерой говорить, рассуждениями, хозяйственными заботами и оптимистическим взглядом на дальнейшую жизнь напомнил мне отца, а хозяйка скорее походила на мою крестную, сестру отца: та, бывало, придет к нам, ничего еще не скажет, только посмотрит на тебя своими умными, ласковыми, добрыми глазами — и тебе уже хорошо, любая хворь проходит. Я всегда ждал прихода крестной, особенно если вдруг заболеешь какой болезнью: корью, свинкой или еще чем.

Вчера за несколько часов присутствия в их доме я успел пообедать и о многом переговорить с хозяевами. У них все было так же, как было у нас в годы НЭПа: живут еще не богато, но в надежде на лучшее. И заботы сельские у них такие же, как у моего отца в 1924–1925 годах. Ну а дочка их, Миланка, покорила меня с первого взгляда. Такой красавицы я еще не видывал. В четырнадцать лет — уже выше матери, стройная такая, гибкая, подвижная, улыбчивая, уважительная. А какая милая — черноглазая, с ямочками на чуть выпуклых округлых щеках. В ее движениях чувствовалась едва сдерживаемая детская порывистость, а в чертах лица и во всем теле — небольшая угловатость, как писал русский классик: это еще не совершенство, что-то еще находящееся в работе, но уже обещающее неимоверную красоту.

Когда теперь вошел я в хату, хозяева, не веря глазам своим, оторопели и на мгновение все трое: отец, мать и дочка — застыли в тех позах, в которых были, когда только еще открывалась дверь, — ну прямо как на картине Репина «Не ждали». Я громко и весело, почти по-сыновьи, поприветствовал хозяев и прошел на середину прихожей. Отец и мать девочки бросились ко мне, стали обнимать, а Миланка тут же юркнула в соседнюю комнату. Я сразу все понял: видно, вчера после моего ухода они говорили обо мне как о женихе Миланки, вот теперь она и застеснялась.

Сообщив коротко обстоятельства моего возвращения, я рассказал, какую тревожную ночь провел в деревне Николац и как выручил меня тамошний кмет со своими крестьянами-партизанами, ярко представив картину ночного боя наших пушечных батарей на окраине Илино.

С тревогой и переживаниями выслушали мой рассказ хозяева, а старик радостно сообщил, что кмет в селе Николац — его родной брат и что сам он раньше тоже жил там, но пришел в Илино в примаки к своей нынешней жене. Миланка между тем, слушая мой рассказ из-за двери, внимательно следила за нами в щелочку, ее черненький глаз то и дело алмазом сверкал в притворе. Когда я, не торопясь, развернул вещмешок и вытащил оттуда розовую коробку, хозяева притихли. Замерла за дверью и Миланка. Я поставил коробку на стол и снял с нее крышку. Отец с матерью подошли и ахнули, блеск лакированных туфелек поразил их.

— Миланка, а я принес тебе подарок! — весело и громко объявил я.

Девочка притихла, в ней боролись два чувства: детское любопытство, смешанное с радостью ожидания подарка, и девичья застенчивость, приковавшая ее к месту. Растроганные родители стали дружно звать дочку. Наконец она вышла, и я протянул ей коробку с блестящими туфельками. Как только девочка увидела туфли, глаза ее засветились еще ярче, она медленно приняла волшебную коробку из моих рук, пристально посмотрела на туфельки, потом решительно вынула их из коробки, подняла в правой руке над головой и закружилась на месте с такой быстротой, что ее юбчонка превратилась в зонтик. Радости ее не было конца. Потом она стала надевать туфельки на босую ногу. Когда туфли с трудом, но наделись, Миланка выпрямилась и, подбоченясь, прошлась в них по комнате. Снялись туфли легко, и Миланка вновь уложила их в коробку. И дочь, и родители никак не могли поверить свалившемуся на них счастью. Ни они и никто в их селе отродясь не держал в руках таких диковинных туфель. Через несколько минут я стал прощаться.

— Друже капитан, запомните, пожалуйста, наше село, кончится война, приезжайте к нам. Мы вас очень будем ждать!

Я до глубины души был растроган и встречей, и приглашением. Но шла война, и я не был уверен, что доживу до ее конца.

###### Выбор снайпера

В дивизионе у меня три артбатареи, и, бывает же такое, двум батареям везет, а третья — невезучая, за последнее время четырех командиров потеряла. И вот прислали пятого.

— Старший лейтенант Расковалов, — представился он мне по прибытии в дивизион.

Худой, высокий, стройный, симпатичный — и очень скромный, даже застенчивый. Он был из запасников, работал директором школы в Сибири, преподавал математику. К военному обмундированию еще не привык, все гимнастерку одергивал. На сухощавом, немного вытянутом лице постоянно светилась извиняющаяся улыбка. Годами он лет на десять был старше меня, я перед войной учился в педагогическом институте, а он уже был директором школы.

Чтобы приучить к опасности и уберечь, первые две недели я держал его на батарее у орудий, подальше от передовой. Потом взял к себе на НП, назначив его батарею подручной. Я учил и оберегал его. Он внимательно следил за моими действиями. Уже уверенно и безбоязненно лазил по передовой, умело маскировался. Хорошо корректировал огонь своей батареи. Правила стрельбы знал — чувствовалось, что это действительно математик. Я знал, что трое детей у него. Такого мужика терять никак было нельзя.

Мы стояли во временной обороне, ожидая прорыва немецких танков. Как ни оттягивал, пришло время ставить на прямую наводку на переднем крае и батарею Расковалова. Он попросил меня помочь выбрать огневую позицию для своих пушек. Ранним октябрьским утром, когда только-только стало светать, мы выбрали с ним места для орудий, отползли с опасного места метров на двести и пошли по балке в полный рост. Вдруг старший лейтенант остановился и говорит:

— Товарищ капитан, а если танки появятся вон с того отрога балки, нам же их не сразу видно будет. Не будете возражать, если я свои пушки поставлю чуть повыше?

Похвалив его за находчивость, я согласился, добавив:

— А теперь — быстро в окопы, пока нас немцы не засекли.

Но он не унимался:

— Товарищ капитан, да вы посмотрите, как оттуда хорошо будет по танкам стрелять, давайте пройдем туда.

— Нет, уже светло, пошли назад, как бы не заметили.

Но Расковалов задержал меня, я обернулся, и мы вместе глянули на немецкие позиции. Внезапно с немецкой стороны щелкнул сухой одиночный винтовочный выстрел. Мы оба припали к земле. Окликнул его — он молчит. Подполз, а у него изо лба фонтаном бьет струя крови. Я зажал рану рукой, вгорячах еще достал перевязочный пакет и тут осознал, что комбат мой мертв. Так точно попасть с большого расстояния мог только снайпер. Это снайпер его застрелил. Но этого нельзя было делать! Ни в коем случае нельзя! Нельзя-я-я этого человека убива-а-ать! — взметнулся в мозгу готовый вырваться из груди страшным криком страстный протест. Я уронил голову на руку, продолжавшую зажимать ладонью рану, а кровь все струилась и струилась, просачивалась между пальцами, я ощущал ее теплоту… Мной овладела неимоверная жалость к товарищу и лютая ненависть к немцу, который убил его, к себе — за то, что не уберег старшего лейтенанта; представил, как жена Расковалова получит похоронку, как заплачут его малые дети — и сердце вновь облилось кровью, в груди разлился жар, под кадыком замутило, потемнело в глазах… я не мог двинуться с места, мы оба были пригвождены к мерзлой земле, только я живой, а он — мертвый.

…Когда пришел в себя, схватил его за плечи и потянул в кустарник. Здесь чуть отдышался, а в воображении — все тот же немец: днями он из укрытия выслеживал нас и наконец в рассветной дымке увидел, обрадовался — в оптический прицел он видел двоих, но убить можно только одного, двоих не успеешь. Почему из нас двоих он выбрал его — не меня? Неужели он рассмотрел наши лица и остановил перекрестие прицела на более пожилом лице, рассудив, что из нас двоих он повыше начальник?.. Сидя возле Расковалова, я был в таком смятении, что даже не успел порадоваться, что сам-то остался жив. Я продолжал оставаться в том психологическом состоянии, в котором был до выстрела, когда мы оба были еще живыми и равными перед выбором немца. То, что он выбрал его, а не меня, и то, что это уже пятый мертвый командир этой батареи и что я не сумел уберечь и его, продолжало молотом стучать в мозгу. Думая об этом, я поднялся на ноги, взвалил комбата на плечи и, маскируясь кустарником, направился на свой НП. Расковалов был не таким тяжелым, как могло показаться, но его ноги волочились по земле, и я вспомнил, что ростом он был на полголовы выше. Вот почему немец выбрал его. Он был выше меня и старше, эти признаки оказались для него роковыми: немец выбрал офицера повыше и постарше, посчитав его большим начальником. Или сработала случайность?.. Но, господи! — как же мне было больно.

У меня до сих пор хранится фотография: Расковалов снялся со старшиной своей батареи и ветфельдшером, когда еще находился на батарее, привыкал к фронтовой обстановке. Как живой, с мягкой застенчивой улыбкой смотрит он на меня со снимка. Наверное, такой же он послал и своей жене, и она с детьми часто вглядывается в дорогие им черты. А я каждый раз, глядя на фотографию, с укоризной думаю: как превратна жизнь! Своею смертью этот человек тогда спас меня.

Наверное, году в девяносто третьем этот мой рассказ был опубликован вместе с фотографией в газете «Известия». Я долго с волнением ждал, не попадется ли снимок на глаза родным Расковалова?.. Прошло время, но никто так и не откликнулся. Мало кто нынче выписывает газеты, вот и не увидели родные моего товарища газетную статью с фотографией близкого им человека.

###### Трстеник. Безумие победы

Оба города — Парачин и Крушевац, — полки дивизии взяли с ходу. Бои были хотя и кратковременными, но очень жаркими. Далее дивизию направили на запад вдоль реки Западная Морава с задачей взять город Кралево, который стоит на дороге из Белграда в Грецию.

Взаимодействуя с частями Второй Пролетарской дивизии Народно-освободительной армии Югославии, мы наступали вдоль левого, северного берега реки Западная Морава от Велико Дреново на Кралево. Продолжая командовать 1-м дивизионом 1028-го артполка, я поддерживал огнем трех своих батарей 431-й стрелковый полк. Остальные части дивизии с артиллерийско-минометными полками наступали вдоль противоположного берега реки на городок Трстеник. Этот небольшой городок Восточной Сербии вместе с немцами обороняли от советско-югославских войск местные фашисты — четники Драже Михайловича.

Мой дивизион вместе с 431-м полком вел бой за деревню Богданье, которая расположилась как раз напротив Трстеника, на высоком левом берегу Западной Моравы. Берега мощной бурной реки соединял железнодорожный мост. Его замысловатые стальные конструкции высоко взметнулись над быстрыми косматыми водами Моравы. При наступлении мы как-то быстро проскочили мимо моста, и теперь он остался в полукилометре позади нас.

Я находился в боевых порядках комбата Морозова, в бытность командиром батареи я всегда поддерживал его батальон, вот и теперь в связи с гибелью командира 2-й батареи он попросил меня помочь артогнем в бою за деревню Богданье. Вслед за цепью солдат мы ползли с Иваном по огородам к крайним домикам села. У меня не было связи с батареей, и я не мог в тот момент вести огонь по немцам, так как за селом мы разглядели немецкие танки, и я вызвал пушечную батарею с закрытой позиции, собираясь поставить ее возле себя на прямую наводку. Но батарея еще находилась в пути, а огонь немецких пулеметов был настолько силен, что пехота залегла, редко поднимали головы и мы с Морозовым.

Вдруг замечаю, что справа-сзади, не обращая внимания на сильный пулеметный огонь, ломая стебли растений, ко мне настойчиво и быстро ползет мужчина в гражданской одежде. Я углядел его, когда оглянулся назад, чтобы посмотреть, не подходит ли наша пушечная батарея. Ползущий — небольшого роста, чернявый, лет под сорок, — стараясь перекричать шум боя, проорал мне во всю глотку почти в ухо:

— Друже капитан, мне сказали, что вы тут главный артиллерист?!

— Да, — кратко отмахнулся я, не собираясь вступать в разговор.

— Друже капитан, помогите нам город взять! — Он был уже рядом и умоляюще смотрел на меня, приподняв над посевами голову.

В ту же секунду, срывая стебли, на него обрушился пулеметный ливень. Я прижал его голову к земле. То, что он не испугался свиста пуль, подкупило меня, и я решил его выслушать, машинально спросил:

— Какой город?

— А вон тот, Трстеник, на том берегу.

Я посчитал его сумасшедшим. Даже гражданскому человеку понятно: нужна целая армия и плавсредства, чтобы за широкой рекой взять город. Но человек в замусоленном костюмчике торопился. И на его лице читалась полнейшая уверенность, что я обязательно выручу его. Мне не хотелось обижать югославского партизана, ранее мы всегда огнем орудий оказывали им помощь, потому спросил:

— А сколько же у вас в отряде человек?

— Двадцать! — с гордостью ответил он. И продолжал без запинки: — Вы как раз против города! Что вам стоит стрельнуть туда! А то продвинетесь вперед и уже не сможете помочь нам!

— Мне сейчас некогда, надо село взять, вы видите, я веду бой, — отвечаю.

— Друже капитан, — скорбно и умоляюще впился он своими черными, почти слезными от огорчения глазами в мое лицо, — да вы только взгляните на тот берег!

Он с такой силой схватил меня за плечи, что я чуть не опрокинулся на спину. И откуда силища в таком тщедушном мужичонке? Ему так хотелось, чтобы я посмотрел на тот берег, что я уступил, решил уважить гостя, и вслед за ним пополз к реке. Через две минуты мы были у плетня, отделявшего край пропасти высокого берега от огорода, и припали к щелям изгороди. И что же я вижу! Далеко в низине, на противоположном, южном берегу широченной, лохматой от быстрого течения Западной Моравы стоит небольшой, как умытый росой, городок, уютно расположившийся в отрогах гор, празднично блистая на солнце своими разноцветными стенами, крышами, булыжными улицами, зелеными садами. В центре возвышалась церковь. Были хорошо видны школа и фермы железнодорожного моста. К реке спускались сады и огороды. А почти у самой воды густой прибрежный кустарник опоясывала глубокая, километровой протяженности траншея, сплошь усыпанная пулеметными гнездами. И по всему берегу через равные промежутки стояли на прямой наводке малокалиберные пушки, станковые пулеметы — и среди них то тут, то там зияли створы шалашей. И все это оружие нисколько не замаскировано! Как на показ выставлено! В кустах лежат расчеты. У шалашей на ветках сушится нательное белье, портянки. Меня настолько возмутила наглость фашистов: они нисколько не прячут свои пулеметы! — что я тут же решил исполнить просьбу партизана.

— А что мы с ними без орудий сделаем? — продолжая меня упрашивать, сокрушенно вздохнул партизан. — Друже капитан, ударьте, пожалуйста, из своих орудий по этим пулеметам. Больше нам от вас ничего не надо, — взмолился он.

— А почему у них пулеметы и пушки не замаскированы? — спрашиваю у гостя.

— Это они специально, для устрашения их открытыми держат. Пугают партизан, у нас же нет артиллерии.

— Сейчас мы тоже их «попугаем»! — бросил я, до глубины души уязвленный нахальством противника.

И тут как раз среди кукурузных стеблей огорода показались приземистые «доджи» с нашими пушками. Я распорядился закатить орудия в стоявшие на берегу плетеные сараи, проломили в стенах-плетнях дыры и просунули в них орудийные стволы. Пушек и пулеметов на том берегу было около сорока. Приказал старшему на батарее лейтенанту Коньшину распределить цели между орудиями. Предвкушая радость уничтожения противника, заволновались и орудийные расчеты — прямой наводкой да с расстояния шестисот метров уничтожить открытую цель никакого труда не составит! По моей команде пушки обрушили свои снаряды на противоположный берег.

Грохот выстрелов, внезапность артналета повергли фашистов в шок. В течение трех минут в воздух взлетела вся береговая оборона города вместе с расчетами. Притаившиеся около нас в кустах югославские партизаны, увидав результаты стрельбы, возрадовались, как дети, — они прыгали, кричали, визжали. Весь противоположный берег покрылся сизым дымком разрывов от наших снарядов. Вместо пушек и пулеметов с их расчетами, блаженно дремавшими на солнечном припеке, образовались черные воронки, вокруг которых было уничтожено все живое.

Этого оказалось достаточным, чтобы фашисты подняли белый флаг. Сначала на крыше школы, потом на церкви и далее по всему городку забелели флаги. Фашисты сдавались в плен. Мы впервые видели подобное, и нам никак не верилось, что городок покорен.

— Пойдемте, друже капитан, с нами вместе через мост в город, чтобы пленить гарнизон, — предложил мне командир партизанского отряда.

Соблазн был так велик, что я, не раздумывая, согласился. Оставив за себя с Морозовым лейтенанта Конышна, я с тремя артуправленцами, лейтенантом Медведевым и группой партизан отправился к мосту.

Мы дошли до середины моста и увидели два ряда ежей из колючей проволоки, которые преграждали нам путь. А с той стороны моста нам навстречу двигались с высоко поднятым белым флагом фашисты. Когда они подошли и молча с недоумением уставились на наш небольшой отряд, состоявший из двадцати пяти человек, я впервые испугался: а что, если раздумают?! Наши орудия продолжали демонстративно двигать стволами и в случае чего ударят по тому берегу. Но ведь и мы наверняка находимся на мушках их уцелевших пулеметов. Мост железный, спрятаться за фермы моста и отойти возможность есть, но несколько секунд молчаливой задержки со стороны противника ввели меня в страх — а проще сказать, я пришел в ужас: и как я не подумал об этом раньше?!! Но! — делаю решительных два шага вперед и, показав рукой на ежи из колючки, громко требую от противоположной стороны сбросить их в воду — освободить нам путь.

Послышалась команда, и солдаты противника бросились к ежам. Проход освобожден. Подхожу к фашистам. Все они вооружены — за плечами и на поясных ремнях все еще висят пистолеты и автоматы. Приказываю сбросить к моим ногам оружие. Только когда оружие врагов загремело о железный настил моста, напряжение мое спало.

Вслед за белым флагом направляемся к церкви. Там, на площади, уже выстроены четники — югославские фашисты, их человек двести; немцев мы ни одного не видели. Показываю рукой место в стороне, куда надо сложить все оружие. Предлагаю командиру партизанского отряда заняться разоружением и пленением гарнизона, а сам с Медведевым и тремя разведчиками направляюсь вдоль улицы в глубь городка. Навстречу нам движется группа вооруженных четников, все они идут сдаваться в плен. Обращаю внимание на широкую кобуру на ремне вражеского офицера. Сразу понял, что у него «браунинг» с магазином на четырнадцать патронов, я давно мечтал заиметь такой пистолет. Останавливаю этого офицера. С ним человек пятнадцать солдат и офицеров. Показываю на кобуру и приказываю достать пистолет. Офицер молча выполняет приказ и подает мне пистолет. Требую и кобуру. Довольный несу в руке трофей, и тут только приходит в голову: а что, если бы офицер взбунтовался, завязалась бы потасовка?.. В конечном счете мы затерялись бы среди вражеских солдат и верх в любом случае был бы не на нашей стороне. Я круто повернул назад, и все мы быстро направились к мосту.

Наша экспедиция заняла часа полтора. Когда я вернулся на противоположный берег к комбату Морозову, чтобы продолжить бой со «своими» немцами, оказалось, что немцы уже оставили Богданье. На КП комбата прибыл и командир стрелкового полка подполковник Козлов. Мне в ту пору было двадцать три, а ему около сорока.

— Молодец, — сказал он мне, — город взял! Я уже сообщил по радио генералу. Правильно сделал, что уничтожил вражеские пушки и пулеметы, но в город на твоем месте я бы не пошел. Ты здорово рисковал.

Спустя полчаса наша дивизия беспрепятственно вошла в Трстеник.

Вспоминая те события, я каждый раз вздрагиваю и думаю, что ныне на такой шаг не отважился бы. Наверное, только в безумии победы можно было решиться с четверкой своих и горсткой партизан пленить целый гарнизон, еще не сложивший оружие. Скорее всего всевышний, а не моя угроза уничтожить их артиллерийским огнем с другого берега, спас нас тогда от смерти.

###### Протеже штаба армии

Гибель от пули снайпера Расковалова переживали не только бойцы 2-й батареи, но и пехотинцы, и весь мой дивизион. Отличный был командир: отец батарейцам, друг пехоте, гроза фашистам; как и положено, постоянно находился на НП, рядом с командиром стрелкового батальона и в любую минуту открывал огонь батареи по немцам, прикрывая пехоту. Каков-то будет новый командир?..

На мою беду, на место убитого Расковалова прислали в дивизион командовать его батареей проштрафившегося офицера из штаба армии — капитана Щеголькова. Выдвиженец тридцать седьмого года окончательно спился, был разжалован из подполковников в капитаны и направлен на передовую.

Помню, как Щегольков появился в дивизионе. Высокий, стройный, чисто выбритый, в хрустящих ремнях и новеньком обмундировании, с приятной улыбкой на симпатичном лице, он являл собою чистейший образец довоенного кадрового офицера. На нем ни пылинки. Не то что мы, ползавшие под пулями на брюхе. Глядя на него, можно и про войну забыть. Он ухитрился из довоенного сорокового впорхнуть прямехонько в грозный сорок четвертый. Такому самое место на паркете какого-нибудь высокого штаба. Мне же нужен был полевой командир, который мог бы и по-пластунски ползать, и пули не бояться, и огонь батареи из любой канавы корректировать, и по-отцовски к людям относиться.

Хитро улыбаясь, Щегольков небрежно козырнул и нехотя представился:

— Подполковник, то бишь, пардон, капитан Щегольков, прибыл на Вторую батарею.

— Очень приятно, — сказал я, рассматривая нового командира, — садитесь!

Он сел и, насмешливо глядя мне в лицо, с высоты своего тридцатипятилетнего возраста (мне-то только двадцать три), словно не он, а я его подчиненный, небрежно, как бы между прочим, нарочито вежливо осведомился:

— Извините… и сколько вы в армии служите, товарищ капитан?

— Три года, — сухо ответил я.

— Три года в армии — и уже командир дивизиона?! — неподдельно изумился он.

— Что же тут удивительного? — возразил я. — Три года-то на передовой. Да и во главе дивизиона — не на парадах, пятый месяц из боев не выходим.

Капитан задумался. И не потому, что продолжал дивиться моими успехами по службе. Он припомнил свой головокружительный взлет в тридцать седьмом. А потому не без гордости, но как-то тоскливо и жалостно для себя и наставительно для меня заговорил:

— А я, брат, только дивизионом командовал более трех лет, в тридцать седьмом меня прямо со взвода на дивизион бросили, потом в высоких штабах служил…

— Так вы что, батареей-то и не командовали? — с тревогой спросил я. — А огонь-то хоть умеете корректировать?

— Не беспокойся, капитан, с батареей как-нибудь справлюсь. В подразделении можешь не появляться, батарея будет в надежных руках! Я любому рога скручу!

— Нет, — твердо возразил я, — батарею на откуп не отдам, буду строго контролировать! — И осторожно поинтересовался: — А за что же вас так резко в звании и должности понизили?

— Да так, с начальством поцапался, — нехотя отмахнулся он.

Я нисколько не обрадовался приходу в дивизион такой загадочной личности. Что-то нехорошее и опасное для дела сразу же почуял я в этом человеке.

В первую неделю, вступив в командование батареей, встретившись в тылах с огневиками у орудий, Щегольков особое внимание уделил старшине батареи и его хозяйству. Отдал распоряжение поварам: что, когда и как ему готовить, куда доставлять пищу. Расположился он на огневой позиции батареи, посадив у входа в блиндаж телефониста, хотя должен был находиться на наблюдательном пункте переднего края, вместе с пехотой. Итак, на передовую идти побоялся: там стреляют.

На территории Югославии мы вели маневренные бои с немцами. Каждая из трех моих батарей поддерживала огнем стрелковый батальон и металась вместе с ним по извилистым дорогам меж высоких гор. Связь с батареями осуществлялась мною по радио и через пехоту. Сам я находился на КП командира стрелкового полка майора Литвиненко. Я был стреляющим командиром дивизиона и, когда требовалась срочная, трудно исполнимая огневая поддержка — немцы ли прорвались, наша ли атака захлебнулась, сам корректировал огонь подручной батареи. Лично наведаться в каждую батарею я не имел возможности и о положении дел в подразделениях узнавал от связистов, которые, общаясь между собой, всегда все знали. Мои батареи умело и дружно вели бои совместно с пехотой. Командир стрелкового полка был доволен нами.

Но вот однажды немцы неожиданно атаковали 2-й батальон, и пехоте пришлось очень туго, так как батарея Щеголькова не поддержала батальон. Узнаю, что Щегольков до сих пор сидит у орудий в трех километрах позади НП, а огнем батареи по телефону неумело управляет рядовой разведчик. Строго выговорил Щеголькову, приказал находиться на наблюдательном пункте и без моего разрешения не покидать его.

Мне некогда было возиться со Щегольковым, я постоянно менял наблюдательные пункты, чтобы все время видеть противника, то одна, то другая батарея отсекались немцами. Звоню своему замполиту Карпову, прошу его посетить 2-ю батарею, поработать со Щегольковым. Батарея — всего в ста метрах от него. Полномочный представитель партии и ухом не повел. Он привык постоянно находиться при штабе дивизиона, в тылах да на кухне и ничего не делать. Вот и сейчас наотрез отказался идти в батарею: побоялся не только обстрелов, хотя все происходило в тылу, но и встречи с опасным собеседником. Это была не первая моя стычка с Карповым, и я махнул рукой, сам управлюсь.

Дня через три фашисты, почувствовав слабость нашей артиллерии, снова атаковали 2-й батальон. Немецкие орудия и минометы безнаказанно обстреляли позиции нашего батальона, потом в атаку пошли автоматчики. Наши пехотинцы надеялись, что с приближением немцев к траншее артиллеристы, как это было всегда, накроют врагов разрывами своих снарядов. Но батарея молчала. Потеряв более двух десятков солдат убитыми, батальон отступил.

Ко мне с претензией обратился комполка Литвиненко:

— Почему батарея не поддержала батальон?!

Вызываю по телефону Щеголькова. Но его снова нет на НП: бесчувственно пьяный, он спит в тылу, на огневой позиции.

Стало ясно, что разжалованный в капитаны Щегольков продолжает пьянствовать и в нашем дивизионе, более того — самовольно покидает наблюдательный пункт и тем самым отдает пехоту на растерзание фашистам. Я встревожился. Но уйти с передовой за три километра в тыл, на позицию 2-й батареи, где пьянствовал Щегольков, я никак не мог: противник проявлял большую активность. Опять звоню Карпову. На этот раз я не попросил, а приказал Карпову как своему заместителю разобраться с пьяницей:

— Вы же старше Щеголькова по должности и по возрасту, и вам с руки повлиять на него. К тому же работа с людьми — это ваша обязанность, и я требую, чтобы вы поговорили со Щегольковым, — резко заканчиваю разговор со своим замполитом.

Дело дошло до скандала, но Карпов снова на батарею не пошел.

Возмущенный бездельем и безответственностью своего замполита, звоню замполиту полка, чтобы он повлиял на Карпова. Майор Устинов посоветовал мне Карпова не беспокоить. То же мне ответили и из политотдела дивизии.

Убедившись, что Карпов в этом деле мне не помощник, а разобраться со Щегольковым надо было обязательно, я, улучив момент, когда немцы поутихли, решаюсь сбегать с передовой напрямую, через взгорки и кустарник, под самым носом у немцев, на батарею и лично разобраться со Щегольковым. Дело было жарким солнечным днем. Прибегаю на огневую позицию к орудиям, спрашиваю:

— Где командир батареи?

Солдаты, боязливо оглядываясь, шепчут:

— Товарищ капитан, командир спит в ровике и не велел будить. Если разбудите, он до стрельбы дойдет.

Ах ты, думаю, барин какой! «Не велел будить»! Там пехота гибнет, батарея молчит, а они, видите ли, отдыхать изволят! Срываю прикрывавшую ровик палатку, вижу спящего Щеголькова, тормошу — не поднимается! Только еще сильнее захрапел! Требую два ведра холодной воды. Старшина отказывается лить воду на командира. Лью холодную воду за ворот капитана сам. Только после второго ведра Щегольков пробудился — вскочил и набросился на меня с кулаками. Но, поняв, что перед ним командир дивизиона, опустил руки. Разбираться с пьяным нет смысла. Приказываю Щеголькову через три часа быть на моем НП.

По прибытии ко мне Щегольков каялся, обещал, клялся. Но я уже знал цену словам алкоголика, поэтому, сделав выволочку, отправил его на наблюдательный пункт. Сказал строго, без обиняков:

— Напьешься еще раз — приду и пристрелю! И чтоб с НП — никуда!

Однако через несколько дней, как я и предполагал, события в батарее повторились. Щегольков снова покинул передовую и напился, пехота вновь понесла неоправданные потери из-за бездействия его батареи.

Пользуясь покровительством высокого начальства, Щегольков никому не подчинялся. Пьянствовать начали и в его батарее, подчиненные Щеголькова, особенно те, кто доставал ему спиртное. Батарея становилась небоеспособной.

Бои шли напряженные, в течение недели меня трижды перебрасывали от одного полка к другому, цацкаться с нерадивым капитаном я физически не имел времени. Доложил обстановку командиру полка майору Рогозе и потребовал:

— Прошу убрать Щеголькова из дивизиона.

А тот:

— Мы же на перевоспитание его к тебе послали.

— Да он же в отцы мне годится и законченный алкоголик! Сколько людей погубит, пока будет перевоспитываться!

— Не трогай его, пусть воюет. Это приказ свыше. Ты понял?! — пригрозил Рогоза.

В ущерб своей боевой работе я еще целую неделю безуспешно возился со Щегольковым. Но следующие два случая переполнили чашу моего терпения.

Утром Морозов обнаруживает два десятка немецких танков, готовых атаковать его батальон, просит по телефону Щеголькова огнем орудий предупредить атаку противника, разогнать танки снарядами. Но снаряды Щеголькова рвутся в стороне от танков. Морозов из себя выходит: вот-вот танки сровняют с землей окопы его батальона вместе с солдатами. Просит помощи у командира полка Литвиненко, тот ко мне:

— Спасай своего друга-комбата, быстро гони на его НП, ты и оттуда сумеешь достать немцев снарядами других батарей.

И я «гоню». Бегом, пригибаясь, падая, ползком, невзирая на пулеметный огонь, за считаные минуты оказываюсь у Морозова. А танки уже несутся к позициям батальона. Беглым огнем гаубичной батареи накрываю немецкие танки. Пыль, дым от разрывов наших снарядов, два танка уже горят, остальные ничего не видят и поворачивают назад. Раскрасневшийся Морозов прыгает от радости, всю трость измочалил о березку, кидается ко мне, готов задушить в объятиях! Да и каждый солдат в траншее цепляется за мои плечи, прижимает к себе, уж очень напугали их приближавшиеся танки! Действительно, я буквально спас их от неминуемой гибели под гусеницами «Пантер». Но мне сейчас некогда радоваться вместе со всеми, надо со Щегольковым разобраться, почему это он сам, своею батареей не расправился с танками и вынудил меня сломя голову бежать к окопам пехоты.

Выскакиваю из траншеи и бегу за двести метров в тыл, на окраину хутора, к наблюдательному пункту Щеголькова. У стереотрубы в ровике сидит разведчик и кричит куда-то вниз:

— Снаряд ушел далеко влево.

— Где Щегольков? — спрашиваю.

— А он в погребе сидит, — отвечает разведчик.

Быстро спускаюсь в погреб и вижу: у бочки с вином сидит с кружкой в руке капитан и командует через телефониста на батарею:

— Правее ноль-пятнадцать!

Разъяренный, подскочил к Щеголькову, выбил из рук кружку. Тот сконфуженно поднялся на ноги.

— Это ты так, из подвала, огонь корректируешь, негодник! Марш наверх!

Капитан виновато-проворно взбежал по лестнице.

— Как можно, не видя цели, вести огонь, — выговариваю трусу, — ты бы пехотинцев пожалел да постыдился в подвале сидеть во время боя!

Веду Щеголькова к комбату Морозову и приказываю не отлучаться из батальона.

Итак, батарея небоеспособна. Связываюсь с командиром дивизии, коль полковое начальство не помогает, требую убрать Щеголькова из дивизиона.

— Он твой подчиненный, — отвечает Миляев, — вот и воспитывай!

Опять двадцать пять!

В другой раз нужно было срочно перебросить 2-ю батарею на участок, куда прорвались немецкие танки. Дорога была каждая секунда. Связываюсь с батареей. Мне докладывают: две пушки не на чем везти: одну машину Щегольков послал за вином, на другой уехал сам в поисках спиртного. Терпение мое лопнуло! Снова бросаю все дела, оказываюсь на огневой позиции батареи. Две пушки осиротело стоят без машин. Сажусь в «доджик», беру с собой разведчика с ручным пулеметом и направляюсь по следам в погоню за Щегольковым, благо дождичек брызнул, на прибитой пыли хорошо видны отпечатки шин. В двух деревнях побывал: был, уехал. Километрах в пятнадцати от фронта нагоняю по дороге машину, на которой едет Щегольков. Сигналю: остановись! Беглецы увеличивают скорость. Щегольков приставил к уху водителя пистолет: догонят — убью! Приказываю разведчику дать из пулемета очередь над головами убегающих. Грянули выстрелы. Беглецы испугались, притормаживают. Обгоняю машину капитана и ставлю свой «доджик» поперек дороги. Щегольков поднимается в открытой машине во весь рост и, угрожая пистолетом, говорит:

— Ну, подходи!

Лезть на пистолет бессмысленно. Останавливаюсь, начинаю разговор. В это время Яша Коренной выскользнул из машины за борт, стороною подкрался к капитану сзади и выбил из его руки пистолет. Тогда я смело вскакиваю на подножку машины, хватаю Щеголькова за грудки и сбрасываю на дорогу. Увожу обе машины, а ему кричу:

— В дивизион больше не приходи — убью!

Сам остался в батарее вместо Щеголькова, повел ее на встречу с танками, вступил с ними в бой и предотвратил их дальнейшее продвижение.

Так, попросту выбросив пьяного Щеголькова из боевой машины, я «подписал» приказ о его выдворении из дивизиона.

Докладываю по телефону командиру полка:

— Выбросил Щеголькова с угнанной им машины и в дивизион больше не пущу!

— Не горячись, — ответил майор Рогоза, — ты молодой и неосмотрительный.

— Некогда мне осматриваться, воевать надо!

— Тогда разговаривай с генералом.

Докладываю о похождениях Щеголькова комдиву и повторяю:

— В дивизион Щеголькова больше не пущу!

— В таком случае его судить надо? — раздумчиво-вопросительно заметил генерал.

— Что хотите, то и делайте с ним, но батарею на погибель не отдам!

Комдив прервал разговор.

Начальство обозлилось на мое самоуправство, но в интересах дела смолчало.

### Глава семнадцатая

### Югославия

### Ноябрь 1944 года

###### Поединок

После Трстеника дивизия продолжала с боями продвигаться на запад. Отогнали мы немцев до Кралева. Но сам город так и не смогли взять. Немцы теперь крепко держали единственную дорогу Белград — Салоники, на которой стоял этот городок, так как другой путь из Белграда в Грецию был отрезан, когда мы захватили Парачин и Крушевац. Из-под Кралева нас направили на Белград, который мы вместе с другими нашими и югославскими войсками освободили 20 октября.

После взятия Белграда нашу дивизию отвели с передовой на отдых и пополнение в городок Рума. Здесь истощенная дивизия была пополнена до шести тысяч человек, в ее состав были включены 230 югославских граждан. И все-таки шесть тысяч — это половина штатного состава, в немецких дивизиях было по четырнадцать тысяч человек.

В Руме мы ремонтировали технику, амуницию, распределяли по батареям вновь прибывших солдат и в ходе этой работы отдыхали. Отдыхали от боев и от передовой. В солнечном небе были только наши самолеты. Дни стояли солнечные — золотая югославская осень! Природа еще не увядала, все благоухало зеленью, плодами, яркой расцветкой красовались горы и долины. Тепло, сухо, разноцветье в садах, огородах. Бойцы немного расслабились. Радовались тому, что имеют возможность походить во весь рост, не сгибаясь и не припадая к земле. Население городка встречало нас восторженно, обнимали, угощали, поили вином, приглашали на игры, танцы. На постое в домах хозяева принимали нас тепло и радушно, делились всем, что имели. Во всех дворах, где стояли подразделения моего дивизиона, слышались веселые шутки, раскатистый смех, царили веселье, песни. Люди наслаждались возможностью наяву ощутить красоту мирной жизни; пусть недолго, пожить без грохота боя, страданий, страха, смертей. Солдаты и офицеры буквально купались в женском и девичьем внимании. С какою-то внутренней тоской, радостью, вожделением жадно ласкали хозяйских ребятишек. Как раз приближались Ноябрьские праздники, и мы впервые за три года пребывания на фронте по-человечески отмечали их. Нам не только было отрадно и весело, но и непривычно вольготно. До этого в непрерывных боях мы забывали о праздниках, не до них было. Разве что Новый год помнили, чтобы в час ночи «поздравить» немцев.

Наступило 7 ноября 1944 года. Но нам уже не до праздника: через три дня выступаем. Фронт километрах в пятнадцати-двадцати. Чуть слышны глухие раскаты тяжелых орудий. Все три батареи моего дивизиона стоят в боевом положении на северной окраине городка. Сам я с раннего утра сижу за столом летней кухни во дворе домика на той же окраине Румы. В бою мое место — передовая, и мне сейчас непривычно находиться в своем штабе в районе тылов дивизии. На длинном дощатом столе, занимающем почти всю стену против входа, передо мною лежит топографическая карта: изучаю придунайский район до города Вуковар, где предстоит нам вести бои с немцами. Справа от меня за тем же столом, как и я, лицом к двери, сидит начальник связи дивизиона старший лейтенант Левин, ремонтирует телефонный аппарат. Мы ровесники, но он рязанский — курносый, розовощекий; в штыковую и за «языком» не ходил, да и забот у него поменьше моего, потому выглядит он куда моложе меня.

Вдруг легкая дверь кухоньки с шумом распахивается и на пороге появляется высокая фигура военного. Вошедший сильно согнулся, чтобы протиснуться в низкий проход, и мне не видно его лица. Кто же это так бесцеремонно врывается, неприязненно подумал я. Фигура распрямилась почти под самый потолок, и с испитого полупьяного лица на меня глянули нахальные злые глаза вошедшего. Это бывший командир моей 2-й батареи капитан Щегольков. Сделав шаг вперед, он выхватывает правую руку из кармана галифе и направляет на меня пистолет. Наглое лицо искажено зловещей улыбкой. Медленно, до щелчка отводит большим пальцем курок, испытующе глядит на меня и шипит сквозь зубы:

— Ну, мальчик, держись. Настал твой конец. Я пришел рассчитаться. Мстить!

Две недели назад я выгнал его из дивизиона за пьянство, он и пробыл-то в дивизионе меньше месяца, но бед натворил много, только в одном бою по его вине погибло более двадцати пехотинцев. Мы продолжали воевать, я уже и позабыл про него. И вот он явился меня убивать. Убивать за то, что я заставлял его честно воевать. Он-то думал отсидеться пару месяцев в тылах батареи, попьянствовать и с лаврами опаленного боями мученика снова вернуться на теплое место в штаб армии. Не вышло, Я помешал.

За две недели скитаний капитан осунулся, еще больше похудел. Щегольское когда-то обмундирование поизмялось, запылилось и нисколько не украшало его. Куда девались выправка кадрового офицера, четкость движений и напускной бравый вид. Красивое, а теперь перекошенное ненавистью лицо устрашало. У дверей стоял опустившийся алкоголик, только что рыскавший по окрестным селам в поисках ракии. И сейчас лишь крайняя озлобленность и доза спиртного воспаляют его глаза и выпрямляют костный каркас. Выпил он, видно, немного, для храбрости, и алкоголь не угнетает, а возбуждает его. В воспаленном мозгу вошедшего мечется круговерть былых надежд и планов, перед его глазами проносится галерея обидчиков, когда-то помешавших ему продолжить взлет тридцать седьмого года. И вот перед ним сидит тот, кто по молодости лет посмел поставить последнюю точку в его карьере. Весь облик вошедшего: свирепая ненависть, неуемное высокомерие и неукротимая решимость — говорит о том, что пришел он не для того, чтобы попугать. Томимый злобой и отмщением, он, видно, много дней бродил в раздумье и наконец решился.

Оторвавшись от телефонного аппарата, Левин поднял голову. И хотя пистолет был нацелен не в него, испугался он больше, чем я. Руки затряслись, он не знал, куда их деть, поднять ли вверх или сунуть под стол. Иного поведения от штабного офицера я и не ожидал, с грустью подумал: этот мне не помощник.

Внезапность появления Щеголькова испугала и меня. Испугала, но не подавила. К тому времени я испытал столько передряг, что никакая опасность теперь уже не вводила меня в оцепенение. Мгновенно оценивалась обстановка, принималось решение и тут же обрушивалось стремительным действием. Но в данном случае малейшее мое движение прервал бы ничем неотвратимый выстрел. Выхватить пистолет из застегнутой кобуры, которая висит на ремне за спиной, не успею. Опрокинуть на Щеголькова стол и сбить его с ног — тоже не могу: слишком далеко стоит. А перепуганный до смерти Левин ничего не предпринимает, это не Яшка Коренной, тот сразу бы нашелся: отвлек внимание или еще что. Остается одно, как это ни задевает мое самолюбие: оттянуть и выиграть время, вступить с противником в словесную перепалку, в психологическую борьбу. Возможность такая есть, Щегольков не торопится стрелять. Он решил сначала помучить, унизить меня, насладиться моим смятением, а уж потом выстрелить. Для него, служаки, я, вчерашний студент, был всего-навсего мальчишкой. И хотя я не был трусом и до конца войны дожить не собирался, погибнуть вот так, ни за что ни про что, от пули своего же негодяя, ох как не хотелось.

Не опуская пистолета, Щегольков продолжает озверело смотреть на меня, мучительно ища самые колючие, самые беспощадные слова в мой адрес, но они ускользают от него. А я продолжаю сидеть с высоко поднятой головой. На лице ни тени испуга. Взгляд мой строго спрашивает: в чем дело? И у моего противника происходит заминка. Моя готовность принять смерть обескураживает его. Я пристально, гипнотически смотрю ему в глаза, жгу его испепеляющим разгневанным взглядом. До боли напрягаю мозги и направляю меж его глаз сконцентрированный в пучок мысленный приказ: не смей! не смей! Капитан, не моргая, старается пересмотреть меня. Наши взгляды сцепились, начался поединок двух пар враждебных глаз. Поединок этот не на жизнь, а на смерть, ничуть не проще, не легче и не менее страшен, чем рукопашная схватка. Тут тоже — кто кого. И неизвестно еще, чья возьмет. Того ли, самоуверенного, кто пятнадцать лет ел глазами начальство, или того, кто целых три года день и ночь смотрел смерти в лицо.

— Ну, стреляй! Чего медлишь! — сдерживая волнение, обращаюсь к врагу. Нет, это не было приглашением к расправе над тем, кто не выдержал взгляда, перепугался и сдается. Слово «стреляй» я произнес с оттяжкой окончания и оно прозвучало не только смелым вызовом, жестким требованием, но и угрозой неминуемого возмездия. И не от какого-то там далекого закона, а от скорой расправы моих солдат.

Щегольков не ответил, но и не выстрелил. В его глазах промелькнули недовольство и огорчение, какой-то спад ярости. Он, годившийся мне в отцы по возрасту, никак не ожидал такого психологического сопротивления. Я же, со своей стороны, не сбавляю напора, продолжаю сверлить его взглядом: не смей! опомнись! подумай о себе! Возымел ли действие мой мысленный приказ или механически сработал колючий, строгий взгляд, но в злобную решимость моего врага — только уничтожить! — встрял благоразумный мотив самосохранения: а как потом спастись самому? Стоит ли отягощать и без того большую вину перед законом? Одно дело быть причиной гибели людей, совсем другое — убить своего человека собственной рукой. К тому же за дверью преданные командиру дивизиона люди, их гнев будет беспощаден, его не миновать.

Щегольков молча продолжал держать меня под пистолетом со взведенным курком. Моя жизнь и смерть зависят только от того, нажмет он на спусковой крючок или не посмеет. Что возьмет верх — зло или благоразумие? Хмель в его голове не в мою пользу.

Под левой рукой Щеголькова на тонком ремне через плечо свисает палетка, непременный атрибут штабных офицеров. Мне, ползающему под пулями, она — помеха, в бою оторвется при первом же броске на землю. Свободной рукой капитан ловко выхватывает из нее тощий серый конверт. Видно, в его планах заранее предусмотрено предъявить мне этот решающий козырь, потому что палетка была заранее расстегнута и из нее уже торчал угол конверта.

— Вот! — Он вызывающе потрясает засургученным, но уже вскрытым пакетом. — Тут написано, чтобы меня судил военный трибунал! Читай!

— Я вас в трибунал не посылал, но в дивизионе больше терпеть не могу. Не имею права! — отчеканил я.

— А ты почитай! — Он наклонился вперед и, сделав пару шагов, бросает конверт мне на стол. Но конверт не успел долететь до стола, я изо всех сил рву крышку стола вверх и ударяю ею по направленному на меня пистолету. Движение легкого, но длинного стола задержал другой его конец, и крышка не достигла головы Щеголькова. Она только на мгновение закрыла меня от него, и я успеваю поднырнуть под стол прежде, чем раздается выстрел. Хватаю капитана под коленки, валю на спину. В падении, пока я дотянулся до пистолета, он успевает еще дважды выстрелить. Наконец-то и Левин сообразил прийти мне на помощь.

На звук выстрелов в кухоньку влетели мои разведчики. Они быстро вяжут Щеголькова, передав мне пакет.

Сторожить обезоруженного капитана остается один разведчик, а я переместился в узел связи дивизиона. Первым делом просматриваю содержимое пакета. Прошитый и засургученный печатями пакет лопушился наспех оборванными краями. Видно, вскрывал он его с нетерпением, чуть не зубами. В препроводиловке действительно написано: «предать суду военного трибунала». Но почему пакет с таким грозным предписанием поручили в штаб армии доставить самому обвиняемому? Непонятно. На страх ли перед сургучом понадеялись или на то, что капитан в штабе армии свой человек? Однако Щегольков, не будь дурак, вскрыл пакет. Узнав свою участь, в штаб армии торопиться не стал, а решил сначала погулять, попьянствовать, отомстить обидчику, а уж потом видно будет, являться ли с повинной или к немцам податься.

Придя в себя от пережитых волнений, доложил по телефону о происшествии командиру дивизии. Генерал Миляев терпеливо выслушал меня, долго молчал, потом в тоне приказа сказал:

— Верни Щеголькову пистолет и пакет и выпроводи из дивизиона. Пусть идет куда его послали!

— Как! Он же стрелял в меня! — удивился и возмутился я.

Генерал положил трубку.

Поведением Щеголькова были до предела возмущены все управленцы моего дивизиона. Коренной, самый доверенный мне человек, сказал:

— Товарищ капитан, разрешите мне негласно сопроводить Щеголькова до леска.

— Нет, Яша, — дружески сказал я Коренному, — этого делать ни в коем случае нельзя.

Кто же такой Щегольков, чей он был зять или племянник? Может, бывший сослуживец нашего молодого генерала?.. Этого, как и его дальнейшей судьбы, я не знаю до сих пор.

###### Пир горой

Только разобрались со Щегольковым, как узнаем, что к Седьмому ноября начальство приурочило вручение награжденным орденов и медалей. Построили нас и вручили награды. Я получил редкий тогда орден Александра Невского.

Весь остаток дня и целую ночь по этому поводу у нас стоял пир горой. Меня от души поздравляли не только однополчане, но и пехотинцы. Все девять командиров батальонов из всех полков дивизии перебывали у меня. Это были мои самые верные боевые друзья, приятно было слышать их добрые слова.

— Когда ты рядом, нам ни один черт не страшен! Ни пехота немецкая, ни танки! — провозгласил тост комбат Морозов.

— Михин, он чем хорош? — вопрошал другой комбат. — Во-первых, стреляет — как бог! Первый же снаряд летит куда нужно. А потом, он же ничего не боится — хоть пехота на него несется, хоть танки! Как бы ни стреляли в него, всегда сумеет накрыть их огнем!

— А знаете, почему он ни немцев, ни начальства не боится? Потому что — «неубиваемый»! Ну скажи, кто из командиров батарей пережил его?! Он же вечный!

— Ну, не каркай! Живуч он потому, что за него вся пехота молится.

— Помните, как комбат Абаев кипятился? Не дадите мне Михина — воевать не буду. Привык, что его чаще других Михин поддерживал.

— У других артиллеристов то связи нет, то снарядов, а у него всегда есть. И откуда он только снаряды берет?

— Так у него же кроме своей батареи еще и трофейная стопятимиллиметровая, а для нее снарядов целые эшелоны стоят, кому они нужны. Дай бог, чтобы все артиллеристы такими были!..

Во многом комбаты были правы. По молодости лет или по характеру, а скорее всего по увлеченности боями, спортивному азарту уничтожать фашистов, а может, действительно по живучести и большому опыту, я всегда был рядом с комбатами и оставался неуязвимым. Куда покажет комбат, туда и даю огонька. Само мое присутствие в пехоте воодушевляло ее, вселяло надежду и уверенность, что я непременно выручу в нужный момент. Великое это дело — чувство защищенности! Оно раскрепощает, снимает страх, вливает силы. А какую эйфорию вызывает у солдат эффективный артиллерийский огонь по контратакующей их немецкой пехоте, когда наши снаряды рвутся в гуще фашистов! На нашу разбросанную по полю полусотню солдат несется густая цепь из двух сотен немцев — кажется, еще минута, и немцы перебьют наших! И вдруг на неудержимого противника обрушиваются десятки снарядов. Рассеивается пыль и дым — а немцев уже и нет! Тут пехотинцы просто на крик вопят от радости!

С одним комбатом-новичком, который еще не успел узнать меня, произошел забавный случай.

— Ты положи мне снаряд прямо перед цепью моих солдат, тогда я буду уверен: если немцы приблизятся, ты перебьешь их всех, — капризно попросил старший лейтенант.

— А не испугаешься, если близко рванет мой снаряд? — спрашиваю.

— Чего-о-о?!

— А то и говорю: снаряда не испугаешься, если он разорвется там, где ты хочешь?

— Ты за кого меня принимаешь?!

Даю команду на батарею. Оттуда по телефону докладывают:

— Выстрел! — Это значит, что снаряд уже летит к нам.

Громко кричу пехоте:

— Ложись!

Все прижались к земле. А новый комбат горделиво приподнимает свою голову, чтобы лучше увидеть разрыв. Наверное, он не знал, что падение тяжелого гаубичного снаряда сопровождается жутким шипением. По нынешним нашим меркам, этот звук сравним с ревом взлетающего над головой реактивнного самолета. И вот в момент подлета моего снаряда в районе нашего расположения возник этот страшенный рев. Комбат от неожиданности со страхом рухнул на землю. Тут же прозвучал мощный разрыв снаряда. Когда пролетели осколки, комбат пришел в себя:

— Твою мать! Ну и напугал ты меня! Никогда не думал, что свой снаряд может быть таким страшным!

По поводу моего награждения гуляли мы всю ночь. Я — человек не пьющий, поэтому, поддерживая тосты все новых и новых поздравляющих, так наклюкался, что, не помня себя, уснул прямо в обмундировании поверх кровати, на которой сидел за столом.

###### Как один капитан двух генералов напугал

Проснулся я после пирушки только поздно утром. В комнате никого нет. Я лежу на сорванной с ножек сетке кровати, почти на полу. Ну, думаю, от души плясали. Да и на кровать ко мне подсело не менее десятка человек.

Не успел как следует продрать глаза, раздается сильный прерывистый стук в окно. Сразу понял: что-то случилось и, чувствую, что-то неординарное, иначе никто не посмел бы так тревожить меня. Знаю, что все три мои батареи стоят в полной боевой готовности на западной окраине городка, хотя до передовой в сторону Вуковара более двадцати километров. Но у нас выработалась привычка: всегда быть начеку. Охранение тоже всегда бдительно. В комнату влетает взмыленный, запыхавшийся командир орудия 3-й батареи сержант Браилко:

— Товарищ капитан, на нашей батарее два генерала, наш и югославский! Вас требуют!

— Пошли, — говорю.

Поднимаюсь, и мы не идем, а бежим — генералы ждут!

— Товарищ генерал, — докладываю своему комдиву, — первый дивизион готовит материальную часть к боям. Командир дивизиона капитан Михин.

— Покажи нам, капитан, как работают орудийные расчеты при стрельбе из гаубиц. Югославский генерал Вуйович хочет посмотреть, — говорит наш генерал.

Югослав протягивает мне руку и спрашивает по-сербски. Поняв вопрос, я тут же начал отвечать. Но гость движением руки останавливает меня. Смотрю, из-за его спины выходит девица, тоже в форме Югославской народной армии. Она переводит сказанное генералом на русский язык. А мой ответ — на сербский. Так, с помощью переводчицы, мы беседуем с гостем.

Будучи дружески расположенным к югославам, воюя вместе с ними против немцев, освобождая их Родину от оккупантов, в данный момент я недоумевал: зачем такая формальность с переводчицей, мы же хорошо понимаем друг друга? И вдруг понял: ан нет, нужен перевод. Эдак он подчеркивает свою независимость, в какой-то мере отдаляется от нас, советских, — представляется не как генерал дружественной армии, а как иностранец. Ах ты, негодяй! — зло подумал я. Под обстрелом твои подчиненные под мой бок жмутся, огнем своих батарей я спасаю их от смерти, а тут он девчонкой от меня отгораживается!

Югослав меж тем кратко сообщил мне, что на вооружение их армии поступили советские гаубицы 122-мм калибра, поэтому он хотел бы посмотреть работу орудийных расчетов на таких гаубицах. Мы, конечно, с удовольствием сейчас ему это покажем. Но выкрутасы с переводчицей заставляют меня задуматься: мы не только поставляем им орудия, но и учим их стрелять из них, а он так ведет себя. Сейчас ты у меня увидишь настоящую стрельбу!

— По местам! — подаю команду.

Гость выставил перед глазами руку, смотрит на часы, засекает время, которое пройдет от подачи команды до производства учебного «выстрела». На самом-то деле стрелять некуда: фронт за двадцать километров, а гаубица бьет только на двенадцать. Поэтому мы должны только обозначить стрельбу, а выстрелов не производить.

В считаные секунды боевые расчеты заняли места у орудий, солдаты были недалеко, все уже знали о прибытии генералов на батарею. А командир батареи до моего прихода успел показать гостям, как перемещается ствол орудия при вращении маховичков наводки.

— По пехоте, бризантной гранатой, трубка десять, заряд полный, прицел сто, батарее, один снаряд, огонь! — последовала моя команда.

Натренированные в боях расчеты быстро и ловко делают свое дело: наводчики ставят прицелы, замковые поднимают стволы и открывают затворы, ящичные подают протертые снаряды, установщики свинчивают колпачки и ставят трубку, снаряды уже у заряжающих, те с силой загоняют полуторапудовых «поросят» в казенники, вставляют вслед за ними заряды, замковые закрывают затворы, наводчики отчаянно рвут боевые шнуры — и неожиданно для всех раздаются четыре громовых выстрела! Нашего генерала чуть кондрашка не хватил — раскрыл рот, глотает воздух: «А-а-а!» — и ничего сказать не может. Довольный быстрой работой расчетов, только что улыбавшийся генерал-югослав, в испуге опустив руку с часами, тоже немеет.

— Да что же ты делаешь, твою мать?! — зло кричит на меня генерал Миляев. — Куда же ты стреляешь?! Фронт-то за двадцать километров!

— Смотрите в небо, — показываю им рукой поверх орудий, — там сейчас разорвутся снаряды.

Но генералы никак не могут прийти в себя от неожиданных выстрелов — не успели ни увидеть ничего в небе, ни понять. В растерянности они зло оглядываются на меня. А в голубом бездонном небе, высоко-высоко над нами, показались четыре белых облачка-«барашка» от воздушных разрывов наших снарядов, тут же глухо стукнули их отзвуки на земле. Радостные огневики любуются плодами своей работы, а генералы ничего не видят. Сейчас вы у меня все увидите и услышите! — зло подумал я.

— Трубка три, четыре снаряда, беглый, огонь! — даю новую команду.

Не успели генералы опомниться, как батарея разразилась шестнадцатью новыми скорыми громовыми выстрелами. И тут же невысоко в небе, буквально над нами, как при праздничном фейерверке, из ничего появилось множество белых «барашков». Вслед за яркими вспышками в небе, как эхо только что прозвучавших выстрелов, послышалась частая дробь разрывов. Такое мог не увидеть и не услышать только мертвый!

Полюбовавшись происшедшим, генералы сомкнули рты, повеселели и заулыбались. Страх, гнев, растерянность и непонимание исчезли как не бывало.

— Ну, ты даешь, капитан! До смерти напугал нас, — примирительно сказал генерал Миляев.

— Быстро работают ваши расчеты, — похвалил нас на русском языке и гость, позабыв про переводчицу.

###### Укрощение строптивого

Новый командир 2-й батареи, заменивший Щеголькова, был из взводных, под моим присмотром он успешно осваивался с должностью. Батарея исправно поддерживала пехоту. Это меня успокоило. Но вот однажды узнаю от связистов, которые всегда все знают, что во 2-й батарее снова неблагополучно. Рядовой разведчик из матерых уголовников, некий Майданов, подмял под себя молодых офицеров и стал распоряжаться в батарее. Будучи ранее ординарцем у Щеголькова, он старательно прислуживал ему, доставал спиртное, передавал распоряжения командира старшине и на кухню, а потом от его имени и сам стал распоряжаться в батарее. Свою власть над людьми Майданов сохранил и после выдворения Щеголькова. Все в батарее боятся и слушаются его. Сам он вместо передовой находится на кухне, ничего не делает, отъедается, и нет на него никакой управы. Не командир взвода решает, кому из солдат быть на передовой, кому — в тылу, а Майданов. Кто же такой Майданов, откуда он взялся, каким образом удается ему держать власть в батарее?

Все три батареи моего дивизиона воюют автономно, мечутся вместе с батальонами по горным дорогам, посетить их не всегда возможно, связь с ними я поддерживаю по радио или телефону. В последние дни немцы особенно активно атакуют нашу пехоту, я безвыходно сижу на наблюдательном пункте, не теряю фашистов из виду, чтобы в любой момент огнем других батарей выручить попавших в беду батальон и мою батарею. Поэтому не имею возможности покинуть передовую, чтобы посетить 2-ю батарею, ознакомиться с обстановкой на месте и лично встретиться с Майдановым. Из разговоров по телефону, в основном ночью, когда немцы притихают, узнаю: Майданову за тридцать, из заключения попал в штрафную роту, в бою получил небольшую царапину, но все равно посчитали: искупил вину кровью. Это дало ему право в дальнейшем воевать на равных со всеми, и его прислали в мой дивизион в числе пополнения. Высокий, здоровенный, как медведь, крупного телосложения, Майданов заметно выделялся среди молоденьких, худющих солдатиков пополнения, поэтому был определен в разведку.

Я вспомнил, как еще летом он приходил ко мне на наблюдательный пункт вместе с командиром взвода управления 2-й батареи лейтенантом Воробьевым. Мне тогда бросилось в глаза какое-то несоответствие: молоденький тонкошеий лейтенант, подпоясанный солдатским ремнем, держит в руках автомат, а его тридцатилетний, разбитной, в пилотке набекрень разведчик — в офицерской портупее, с пистолетом на боку. Когда поинтересовался причиной такой метаморфозы, смущенный лейтенант ответил:

— Да просто разведчик захотел походить с пистолетом.

Я тут же приказал им обменяться ремнями и оружием и сделал внушение лейтенанту. А замполиту Карпову тогда позвонил и посоветовал поинтересоваться личностью разухабистого разведчика. Но Карпов, как всегда, не прислушался к моему предложению, сам же я в суматохе боев забыл о Майданове, а теперь подумал: вот когда еще Майданов стал подчинять себе офицеров. Может, и находившийся всегда под хмельком Щегольков был в зависимости от своего ординарца Майданова?

При первом взгляде на Майданова поражали его огромные, как гири, кулаки, неприкаянно висящие на длинных, жилистых руках. На большой, круглой, как шар, лысоватой голове кудрявились короткие, цыплячьего цвета засаленные волосы. Лицо было массивное. Курносый, с зияющими ноздрями нос. Плотно сжатые, тонкие, синеватые губы, растянутые во всю длину широкого рта. Широко поставленные оловянно-серые, водянистые навыкате глаза смотрели зло и мстительно. Весь его облик внушал окружающим какую-то настороженность и беспокойство, а иным и страх, потому что человек он был вероломный и мстительный. О себе, кто он, откуда, есть ли семья, ничего не рассказывал. Ни с кем не дружил. Но батарейцы знали, что Майданов — рецидивист, много раз получал сроки, каждый раз убегал, снова ловили его, судили, снова давали срок, в штрафную роту он попал из заключения, имея общий срок судимости свыше сорока лет.

Изредка, не без умысла, Майданов рассказывал батарейцам о своей жизни в заключении, где он всегда верховодил среди узников. Особое впечатление на солдат произвел его рассказ о том, как он с корешем бежал с Новой Земли, прихватив с собою на съедение двух «дурачков» из заключенных, которым обещал свободу. Когда Майданов рассказывал о своих ледовых подвигах, кто-то из батарейцев спросил:

— Когда прикончили и стали съедать первого «дурачка», второй-то догадался, наверное, о своей участи?

— Поначалу он испугался, что-то заподозрил. Но потом успокоился и жрал человечину вместе с нами за милую душу, голод-то не тетка, — пояснял Майданов. — А потом, я же не публично кончал первого, просто, незаметно для других «помог» ему виском на торос наскочить, вот и все. Зачем его волновать, от волнений свежатина будет не та, да и кровь теряет вкус. Между прочим, — вздохнув, закончил свои откровения Майданов, — с того разу я и приноровился к горячей крови.

Убить человека еще в мирное время для Майданова ничего не значило. Был бы повод. А силы, хитрости и коварства ему не занимать. Разбойный нрав заглушал в нем угрызения совести или сожаление по поводу содеянного. А проявленные при этом беспощадность и вероломство сходили у него за своеобразную доблесть и шик, которые, с одной стороны, вызывали восхищение и зависть у воровского окружения, с другой — устрашали тех, кто вздумает не повиноваться ему.

Вникнув в суть происходившего во 2-й батарее и оценив новую угрозу боеспособности подразделения, я вознамерился действовать немедленно. Но обстановка на передовой по-прежнему не позволяла мне покидать свой наблюдательный пункт. Звоню по телефону в тылы дивизиона, где постоянно пребывает мой заместитель по политчасти капитан Карпов. Прошу его сходить на кухню 2-й батареи, которая располагается в том же тыловом селе, где находится и сам Карпов, встретиться с Майдановым и навести порядок в батарее. Это как раз по его воспитательной части, жизненного опыта у него достаточно, ему под сорок, он не только на семнадцать лет старше меня, но и намного старше Майданова. Однако Карпов встречаться с Майдановым категорически отказался. Из разговора с ним я понял, что он не только боится возможного обстрела по пути в батарею, но и опасается встречи с бывшим уголовником. Приказать своему замполиту я не мог, я уже получил нагоняй от замполита полка за то, что пытался направить политработников дивизиона в батареи, чтобы они встретились там с солдатами. Жаль, конечно, что неотложное дело будет стоять, да и обидно: ведь Карпову до кухни батареи каких-нибудь сотню метров пройти по тыловому селу, мне же надо выходить из боя, на животе ползти под пулеметным огнем, потом через горы бежать три километра в тылы, а главное — немцев опасно оставлять без присмотра. Но что поделаешь, замполит — полномочный представитель партии, и только про себя я могу возмутиться: сколько же можно пастись при штабе и ничего не делать?!

Улучив момент, когда немцы не проявляли особой активности, я побежал в тылы 2-й батареи. Было часов десять утра. Светило солнце. На передовой тишина. Но стоило мне выползти на открытое место, как недремлющие немцы тут же открыли пулеметный огонь. Вжавшись в землю, я замер. Терпеливо дождался, пока немцам надоест меня караулить. Рывок — и за камни. Запоздалая пулеметная очередь зло брызнула осколками камня.

Батарейная кухня, где пребывает Майданов, располагается в небольшом горном селе в трех километрах от передовой и метрах в двухстах от огневой позиции батареи. Во дворе дымит отцепленная от машины полевая кухня-двуколка. Повара и несколько солдат заняты приготовлением обеда. Старшина батареи, небольшой юркий украинец Макуха, хлопочет около привязанного к повозке бычка — никак не может пристрелить его из пистолета. Пули отскакивают от лба животного. Я посоветовал выстрелить в ухо. Бычок свалился. Узнаю, что Майданов находится в хате. Чтобы не идти на поклон к нему, посылаю старшину вызвать его во двор.

— Он отдыхает, ждет горячей крови и печенки от бычка, во двор идти отказался, — докладывает вернувшийся из хаты старшина.

— Вы сказали ему, что его вызывает командир дивизиона?

— Он знает, но встречаться не желает.

Это неслыханно, чтобы рядовой солдат отказался выйти на вызов командира дивизиона! Но что делать? Иду в хату сам.

Трое солдат сидят на низкой скамейке у стены под окном, чистят картошку. Напротив входа на большой, массивной кровати с высоко взбитой периной, подложив под зад огромную пуховую подушку, восседает Майданов. Я сразу узнал его по круглому безбровому лицу. Правда, раньше был он худощав, теперь же разъелся до неприличия. При моем появлении солдаты, что чистили картошку, вскочили на ноги, вытянулись в струнку и поприветствовали меня. По улыбкам на лицах вижу, что делают они это не ради устава, а выражают свое доброе ко мне отношение. Они рады, что к ним с передовой пришел командир дивизиона, что я живой и невредимый. Тыловики всегда с уважением относятся к окопникам, испытывая какую-то вину перед теми, кто ползает под пулями на передовой, куда и пищу-то можно поднести раз в сутки, ночью.

Майданов же не шелохнулся. Невозмутимо продолжает восседать высоко на пуховиках лицом к двери. Во рту сигарета. Закинутые одна на другую ноги свисают вниз, не касаясь пола. Левая рука, на которую он опирается, чуть не по локоть утопает в пышной перине, пудовый кулак правой расслабленно лежит на колене. В другое время я бы не обратил внимания, что какой-то солдат не поприветствовал меня. По натуре я не властолюбив и солдафонские замашки не по мне. Но тут совсем другое дело. Я же специально пришел сюда с передовой, бросив неотложные дела, чтобы разобраться с Майдановым. И не могу не обратить внимания на то, как он встречает меня. Надо с первой же минуты задать нужный тон во взаимоотношениях с нарушителем.

— А вы почему не приветствуете командира дивизиона? — спокойно, но требовательно обращаюсь к Майданову.

С армейской точки зрения я ему не то что в отцы, а в прадеды гожусь. Я же не старшина и не взводный, даже не командир батареи или штабист батальонного звена, а командир дивизиона! Но Майданов, наверное, с позиции своих сорока каторжных лет и с высоты подушек почти королевской кровати по-своему увидел двадцатилетнего капитана. Он решил не только главенствовать в батарее, как когда-то на тюремных нарах, но и не подчиняться командиру дивизиона. Совсем обнаглел! Насмешливо глядя на меня, Майданов еще больше приосанился, перевалил сигарету из одного угла рта в другой и капризно процедил:

— Буду я всякого… — он выругался матом, — приветствовать.

Такого вызова я не ожидал. Я привык к доброму отношению к себе не только своих подчиненных, но и солдат других дивизионов. Даже мало кого уважающие горделивые разведчики штаба дивизии кланяются мне. Только мне как артиллеристу доверяют они свои жизни, когда пересекают линию фронта. А пехотинцы, если я с ними рядом, совсем расслабляются и чувствуют себя уверенно и защищенно: никакие немцы им не страшны, мои снаряды накроют фашистов в любой точке. А тут такое оскорбление! Больше, чем оскорбление, — это же вызов, посягательство на всевластие, наглое: а что ты мне сделаешь?! Такое поведение надо пресекать немедленно, иначе будет поздно. Но как? Повернуться и уйти, чтобы прислать конвоиров и арестовать нахала? Его никакие конвоиры не удержат. До убийства дойдет и своей жизни не пожалеет. Проглотить обиду и начать читать мораль? Не тот он человек. Все эти мысли промелькнули за пару секунд, пока я гневно смотрел на негодяя. Даже успел подумать: вот почему не захотел с ним встречаться многоопытный Карпов. Так что же делать? Остается единственное: на грубость и цинизм ответить не менее вероломно. Надо как-то ошарашить его. Моя главная задача, ради которой я бросил немцев и прибежал сюда, — развенчать и справедливо унизить в глазах батарейцев Майданова, показать, что он не всесильный, взять верх над ним, прекратить его верховодство в батарее. Это и хорошо, что он надерзил мне, дал повод вступить с ним в схватку. Причем на равных, в манере уголовников, на уровне их звериной морали: господствует сильнейший. Но как? Он же физически сильнее меня…

И тут в глаза мне снова бросились его не касавшиеся пола ноги. Решение пришло мгновенно. Делаю рывок вперед и изо всей силы, на которую способен в момент смертельной опасности, ударяю Майданова правым кулаком в левое ухо. Только в момент удара я вспомнил о собственной безопасности, но успокоил себя: увернусь, я маневреннее, а там и солдаты за меня вступятся. Мой удар так оглушил Майданова, с такой скоростью повел его могучее тело влево — сработала-таки его неустойчивость на пышной кровати без касания пола, — его так поразила неожиданность случившегося, что он оказался в шоке и полном смятении, потерял всякую ориентацию. В себя он пришел только тогда, когда уже стоял на четвереньках на полу, у моих ног. Он встряхнул своей могучей головой и дико, ошалело, снизу вверх посмотрел своими белесыми, выкатившимися глазами сначала на меня, потом на присутствовавших при этом солдат. Такое состояние и положение для него было явно новым.

Я не стал ждать, пока Майданов окончательно придет в себя. Громко, четко, по-командирски крикнул ему:

— Через час явишься ко мне на НП! — и, решительно повернувшись, вышел из хаты.

Триумфальная весть, что всесильный Майданов повержен, вырвалась во двор кухни, а потом связисты по телефонам разнесли ее по всему дивизиону. Посрамленному Майданову оставаться в батарее стало больше невозможно. Через час он был у меня на НП.

Как ни в чем не бывало назначаю его разведчиком к себе в управление дивизиона, службу приказываю нести на моем наблюдательном пункте. Мои разведчики, которым предстояло теперь жить в одном окопе с угомоненным разбойником, не обрадовались такому пополнению своего семейства. А так как я был им отцом и другом, они откровенно, с обидой и непониманием, отнеслись к моему эксперименту. Некоторые прямо заявили:

— Что вы делаете, товарищ капитан? Он же при первом удобном случае пристрелит вас.

— А вы на что! — отпарировал я. И тут же посоветовал: — Только обращаться с ним как ни в чем не бывало, но исподволь присматривайте.

— Не вздумай чего насчет капитана, — шепнули ему все же мои ребята.

Сам я никогда и вида не подал, что между нами с Майдановым что-то произошло. Просто перевел его из батареи к себе на НП — вот и все. Запросто относились к нему и разведчики со связистами. Майданов прижился на передовой. Наряду со всеми нес дежурства, разведывал цели, оборудовал блиндажики, места наблюдения и стойко переносил постоянные обстрелы. Не трусил, когда фашисты окружали наш наблюдательный пункт. Когда шли в атаку мы, рядом со мною несся на вражеские позиции под градом пуль и Майданов. Смелости, выносливости и смекалки было ему не занимать. Не щадя жизни, бросался он под огонь, чтобы вытащить с нейтралки раненого. Как всякий храбрый человек, он наслаждался чувством смертельной опасности. И уже не ради куража, как прежде, а ради правого общего дела.

Дружный коллектив разведчиков и связистов принял Майданова. Он это чувствовал и гордился этим. В свободное время Майданов вместе со всеми шутил, обсуждал разные вопросы, откровенно делился мыслями. Однажды, выбрав подходящее время, когда мы стояли с ним в окопе около стереотрубы, рассматривая немецкие окопы, он обратился ко мне с предложением поговорить по душам:

— А знаете, товарищ капитан, вы были первым, кто осмелился поднять на меня руку, — признался он, — да и ударили вы меня крепко. Вот я и зауважал вас. Конечно, большую роль сыграл и ваш боевой авторитет. Ни от кого другого я бы не потерпел такого. А вами горжусь и нисколько не обижаюсь.

— Я уже и позабыл, что мы когда-то не поладили. Ты же хороший парень, вот я и взял тебя к себе в разведку.

Каждый раз во время наших атак и перебежек под пулеметно-автоматным огнем противника я постоянно переживал за Майданова: уж слишком хорошую цель представляла для немцев его крупная фигура. В бою Майданов часто оказывался рядом со мной. Однажды за Будапештом во время атаки немецких танков я в роли наводчика был настолько увлечен стрельбой из пушки, что в грохоте боя не слышал, как с тыла на нас устремились другие немецкие танки. Майданов за долю секунды выхватил меня из-под гусеницы «Пантеры».

Когда в непрерывных боях Майданов сроднился с нами, он уже и не казался нам некрасивым — обычное, улыбчивое, доброе лицо хорошего человека. Да и психологически в горниле войны он совершенно переменился. Ребята познакомили его заочно, по письмам, с одной девушкой с Украины. По фотографии он влюбился в нее и после войны, демобилизовавшись, поехал в Днепропетровскую область жениться на ней. Мы трогательно попрощались. На его груди заслуженно сияла медаль «За отвагу».

### Глава восемнадцатая

### Югославия

### Декабрь 1944 года

###### Соперницы

На исходе был сорок четвертый год. Закончилась солнечная, благодатная югославская осень. С декабрьскими дождями уходило тепло и меркла зелень. А мы продолжали воевать с немцами. Продолжали изо дня в день, каждый час и каждую минуту, днем и ночью, невзирая ни на время года, ни на погоду. Наступаем вверх по Дунаю на Вуковар. Однако до него еще далеко: километров двадцать. Атакуем деревню Опатовац. Погода мерзкая. Пасмурно и сумрачно, мокро и грязно, холодно и неуютно. Сильный ветер гонит низкие, косматые темно-лиловые облака на восток. Из них то и дело пологами опускается мелкий дождик. Грязь под ногами разжижилась, и мы, пригнувшись, скользя и спотыкаясь, бежим, падаем наземь, ползем, снова вскакиваем и под пулями и осколками несемся вперед. Рвущиеся вблизи, а то и между нами, мины и снаряды обдают не только смертоносными осколками, но и комьями земли, жидкой грязью.

Я бегу рядом с комбатом Морозовым в цепи атакующих. С помощью спешащего рядом телефониста передаю команды на батарею и уничтожаю своими снарядами немецкие пулеметы. Морозов доволен, атака идет успешно. Я оказался с ним рядом, среди атакующих по его настойчивой просьбе: «Ну не получится у меня без тебя атака, только ты сумеешь своим огнем подавить пулеметы». Теперь я командую дивизионом и место мое в бою немного позади, на КП командира полка. Но чего ради дружбы не сделаешь — и в атаку побежишь.

У меня перебило осколком телефонный кабель, стрелять я не могу, но все равно продолжаю бежать рядом с Морозовым в надежде, что порыв кабеля мои связисты найдут и исправят, связь с батареей возобновится и я снова ударю своими снарядами по немцам. Но тут случился близкий разрыв немецкого снаряда — и я бездыханным остаюсь лежать на грязной земле.

По счастливой случайности меня не убило и даже не ранило, только сильно контузило.

Когда же через сутки я пришел в сознание, то, не успев еще открыть глаза, первым делом обрадовался: живой! Поднимаю веки и вижу, что лежу я не на мокрой, сырой и грязной земле под дождем, а в чистейшей, кипенно-белой постели, в просторной, светлой комнате, насквозь пронизанной солнечными лучами. Лежу на спине, и над моею головой склонилась девушка. Молодая, красивая, румяная, со светлыми завитушками тончайших, сияющих кудрявых волос. В свете солнечного дня ее образ показался мне каким-то неземным и полупрозрачным. Она ласково гладила мою голову, улыбалась про себя и внимательно рассматривала мое лицо.

Я знал, что я или убит, или сильно контужен, потому что сразу вспомнил, как в метре от меня после короткого воя рванул немецкий снаряд. Вспомнил и то, что в мгновение между воем и взрывом успел представить, как разлетаются во все стороны части моего тела. Вернее, промелькнула картинка из ранее виденного: взрыв мины под ногами солдата — и в клубах дыма и пыли высоко вверху мелькают оторванные руки, ноги и голова. А может быть, я слышал вой не «своего» снаряда, а того, который рванул чуть ранее поодаль? Говорят же, что шум того снаряда, который убьет тебя, обычно не слышишь.

Теперь же, ощутив через сутки возвращение сознания, я все это вспомнил, но мне казалось, что взрыв произошел не вчера, а только что. Обрадовался, что мыслю, — значит, живой. Но тут же радость гасится страшной мыслью: а может, голова-то цела и еще соображает, даже воображает, а тела-то уже и нет совсем. Да его, тела-то, и не должно быть! Чудовищный близкий взрыв разорвал все мое тело на части и раскидал их в разные стороны. Вот и валяется в кустах оторванная голова, из которой не вытекла еще вся кровь, а потому она очнулась и соображает.

Однако вид белоснежной постели и небесные черты девичьего лица тут же успокаивают: ну конечно же, я жив, и тело цело, коли лежу в постели. Не будет же девушка гладить оторванную, кровоточащую голову. Все-таки удивительное создание — человеческий мозг! С какою же быстротой рождаются в нем и проносятся в сознании, сменяя друг друга, мысли. Особенно в экстремальных ситуациях. Вот и у меня, как молния, высветилась новая, страшная, догадка: да ведь я же в раю! Как же я сразу-то не сообразил?! Откуда же взяться среди дождя и грязи белой, чистой постели? Я не только успел погибнуть, перенестись душою на тот свет, но уже и обжился в нем: лежу в мифической постели в компании с видением давно умершей девушки, я даже вспомнил, на кого из живых знакомых девушек она похожа.

Тут девушка, заметив движение моих век, по-земному громко вскрикнула. В ее голосе смешались страх и радость. На крик к постели подбежала средних лет женщина. Обе они смотрели на меня добрыми, ласковыми глазами. Молча глядя на них, я быстро спустился с небес на землю и окончательно уверился в мысли, что я жив и тело, по всей видимости, при мне. Еще я понял, что нахожусь в доме добрых людей, которые обо мне заботятся. Никакой это не рай и не сон, а самая настоящая явь. И очень приятная.

Осколки близко разорвавшегося снаряда, безусловно, разметали бы меня по кусочкам, но, на мое счастье, взрыв произошел как раз в тот момент, когда после короткого броска я плашмя упал в неглубокую лощинку. Осколки пронеслись над моим телом. После я узнал, что тот злополучный снаряд насмерть изрешетил четверых пехотинцев, которые бежали рядом со мною. А «неубиваемый» комбат Морозов, батальон которого я поддерживал огнем своих батарей, и на этот раз остался невредимым. Как ни в чем не бывало, он вскочил на ноги и продолжал бежать в цепи атакующих к немецким окопам. А вот мои разведчики посчитали меня убитым, потому что я не подавал никаких признаков жизни.

Когда немцы отступили и скрылись за деревней, ребята вернулись на место моей мнимой гибели, схватили и потащили меня к братской могиле. Ее неспешно рыла в центре села у церкви похоронная команда. Когда разведчики остановились, чтобы передохнуть — на войне все делалось бегом, кому-то из них показалось, что я живой. Тут уж они более осторожно, на вытянутых руках занесли меня в домик, который выделялся среди других не столько размерами, сколько особой ухоженностью и чистотою оконных стекол. Положили на высокую хозяйскую кровать в спальне, тщательнее осмотрели: ран не нашли — значит, только контужен. А если ран нет, в санбат можно и не отправлять: Костя Матвеев, дивизионный фельдшер, вылечит, ему не в первый раз. Вытерли мокрым полотенцем кровь на губах и ушах и поручили хозяйке дома присмотреть за мной. Сами же отправились на передовую — людей, как всегда, не хватало.

Вскоре в этот домик въехал на побывку, так сказать — к своему командиру, штаб моего дивизиона. Штабисты обрадовались, что их командир не убит, как передали по телефону, а только контужен — может, и поправится. Так впервые я оказался на длительное время в своем штабе. Обычно-то мое рабочее место — передовая.

Мой ровесник, двадцатитрехлетний начштаба капитан Советов руководил теперь не только штабом, но временно командовал и дивизионом. Быстрый оренбуржец, с осиной талией и хорошей армейской выправкой, совсем почти без растительности на молодом, красивом, нежном лице — видимо, сказалась примесь какой-то восточной крови, стал заправлять делами всего дивизиона. Культурный, вежливый и обходительный капитан быстро вошел в дружбу с хозяевами домика: венгром-отцом, сербкой-матерью и их семнадцатилетней дочкой. Потом, когда я поправлюсь и буду не менее близок этой семье, хозяин пожалуется мне, не для передачи капитану, конечно, что деликатный молодой человек постепенно выпил весь сироп из банок с компотом, которые стояли на окнах в прихожей, временно ставшей штабом дивизиона.

— Сашка, что же ты наделал, компот-то теперь пропадет, — укорил я начальника своего штаба.

— Вот черти, заметили, я вроде бы и отпивал понемножку, — по-детски оправдывался мой товарищ.

Между тем наше наступление застопорилось в трех километрах западнее Опатоваца, в котором я находился вместе со своим штабом. До Вуковара оставалось еще километров пятнадцать, а прямо перед нами стоял сильно укрепленный немцами городок Сотин. Силы у нашей дивизии совсем иссякли, и мы перешли от наступления к обороне. Под городом Сотин мы стояли дней десять, пока нас не сменила болгарская армия, а сами мы переправились потом через Дунай и стали наступать на север, в сторону венгерской границы.

Пока мои подчиненные укрепляли оборонительные позиции под Сотином, я продолжал приходить в себя после контузии в деревне Опатовац. Лечил меня наш фельдшер Костя Матвеев, а уход осуществляли хозяева домика: мать и дочка. Дня через три я начал вставать с постели. Перестала болеть голова, тело постепенно оправлялось от мгновенного, но очень мощного толчка взрывной волны. Хозяева хорошо кормили всех нас и относились очень ласково. Мы чувствовали себя у них как дома. Девушка, ее звали Миланка, мне очень нравилась, и мы подолгу засиживались с нею по вечерам. Она искренно влюбилась в меня. Я же позволить себе этого не мог, потому что знал: жениться на иностранке — дело невозможное. Но сердцу не прикажешь, основательно привязался и я к ней. Через неделю я уже совсем поправился и в дневные часы стал посещать передовую, свой наблюдательный пункт. Считал, что без меня там никак не обойдутся. А на ночь приходил в Опатовац. И не столько в штаб и к хозяевам, сколько к Миланке.

###### \* \* \*

Перед нашим уходом из Опатоваца для поддержки болгарской армии, которая сменила нас, прибыли части Народной-освободительной армии Югославии. Мы по старинке продолжали называть их партизанами. Подразделение партизан поселилось и в нашем домике, но разместились они в сенях и в надворных постройках. Мы познакомились с новоявленными соседями и как соратники быстро сошлись. Устраивали совместные обеды и танцы. Среди партизан была одна девушка. Звали ее Япанка. Это была прямая противоположность Миланке. Тонкая и нежная, полупрозрачная в своем легком ситцевом платьице Миланка была стройна, как кипарис, легка, как пушинка, личико белое-белое, с румянцем на щеках, иссиня-голубые глаза светились, как васильки, а вьющиеся светлые волосы были неимоверно тонкими, концы локонов-колечек поднимались вверх при малейшем дуновении ветерка. По характеру — сама покорность, вежлива, предупредительна.

Волевая и настойчивая Япанка тоже по-своему была хороша. Шоколадного цвета лицо ее было немного смугловатым, но нежным-нежным. Округлые скулы выдавались настолько мало, что, с одной стороны, говорили о восточном происхождении, а с другой — придавали вместе с небольшим изящным носиком ее лицу неимоверную красоту. Большие, теплые, живые и быстрые глаза, опушенные длинными, черными, мохнатыми ресницами, с белыми яркими белками, были несказанно черны. Их влажная поволока таила в себе какую-то неизведанную глубину, загадочность и негу. Ее черные, прямые и толстые, как ухоженный конский хвост, волосы были ровно подстрижены и заправлены в пилотку. Они не вносили грубости и дисгармонии в ее облик, являя собой прекрасную оправу для миловидного личика. Плотного сложения, энергичная, быстрая в поступках и движениях, облаченная в закрытую, черную кожанку, туго перетянутую ремнем с маленьким пистолетиком на боку, всегда в брюках и сапогах, Япанка была предметом любования всех партизан отряда. Но строгий, вплоть до расстрела, режим взаимоотношений полов в партизанских отрядах Югославии исключал всякое ухаживание, и Япанка была свободна, как бабочка. Ею могли только любоваться и исполнять ее капризы. Но не было для партизанок специального запрета водить дружбу с советскими воинами, да и мог ли оказаться властен запрет, если бы он даже существовал, над страстной душой и огненным темпераментом молодой, южных кровей девицы. А она, как и Миланка, тоже влюбилась в меня. Чем я привлекал их, не знаю. Но только не тем, что был командиром над всеми обитателями дома и что все меня уважали и слушались. Совершенно не осведомлены были обе девицы и о моих боевых качествах. Скорее всего я нравился им своею внешностью и обхождением. А может, опрятностью и интеллигентностью, которые особенно бросались в глаза на фоне грубоватой простоты солдатской массы. Япанке, как она призналась мне, понравился цвет и румянец моего лица, спокойный, смелый и открытый взгляд. Последнее качество она долго не могла мне объяснить на своем сербском языке.

Вот и случилось, что обе девицы сошлись на моей персоне — и заревновали друг к дружке. Я, конечно, был целиком на стороне Миланки, хотя и Япанка нравилась мне. У Миланки были стратегические преимущества: она была хозяйкой дома, и именно она выходила меня после контузии, она чувствовала мою взаимность, залогом которой была наша близость: мы с нею уже целовались. Воодушевляла ее и благосклонность к нашей дружбе родителей — им я тоже нравился.

— Какая хорошая была бы пара, если бы вы поженились, — говорил отец Миланки.

Но были у Миланки и слабые стороны — она была дочерью крепкого зажиточного крестьянина, к которому партизаны относились как к представителю буржуазного класса. Япанка же слыла олицетворением партизанской славы, представительницей вооруженных сил и власти.

Наверное, из тактических соображений обе девушки, несмотря на соперничество и внутреннюю нетерпимость друг к другу, большую часть времени находились рядом, имитируя дружбу. Этим они пользовались для того, чтобы быть ближе ко мне и держать друг дружку под присмотром. Однако их непримиримость нарастала с каждым днем и могла в любую минуту прорваться крупным скандалом. Я не хотел их открытой ссоры, потому внешне не выказывал большей симпатии к какой-то одной из них. Хотя Япанка, по всей видимости, догадывалась о нашей с Миланкой близости, поэтому изо всех сил старалась перетянуть меня на свою сторону и была более активной во взаимоотношениях со мною и Миланкой. Безусловно, двадцатилетняя Япанка имела больший любовный и жизненный опыт не только по сравнению с домашней, скромной Миланкой, но и сравнительно со мною, хотя я был на три года старше, имел высокий воинский чин и хорошую боевую закалку.

Несмотря на то что из-за контузии я временно отсутствовал на передовой, я до тонкостей знал боевую обстановку и активно влиял на ход боевых действий из своего штаба. А между делом не только изучал работу штаба, тыловых служб, но и находил время для общения с партизанами, хозяевами дома и девицами. Мои подчиненные с удовлетворением наблюдали за моими амурными делами и в душе радовались, что наконец-то и их командир, вырвавшись по случаю контузии с передовой, пусть и не надолго, но вкусил радость общения со своими сверстницами — а то все бои да бои, обстрелы, ранения, смерти и постоянные, днем и ночью, заботы о том, как бы побольше нанести противнику ущерба и не потерять своих солдат.

Вживаясь в тыловую обстановку, я не без зависти наблюдал совсем иную здесь жизнь, чем у нас там, на передовой, хотя и не старался вмешиваться в нее, тем более менять ее на свой лад. Я просто на правах раненого, наравне со своими подчиненными участвовал в этой тыловой жизни. У нас на передовой и поесть толком некогда, того и смотри, обстрел начнется, земля сыпанет в котелок, а тут, после богатого коллективного праздничного застолья с вином и девушками, офицеры и солдаты могут и потанцевать, и пошутить, и поиграть в игры — молодость берет свое. Мы, на передовой, мечтаем поспать в сухом месте да проснуться живыми. А походить во весь рост, не сгибаясь в три погибели, чтобы не зацепили пули, осколки, а то и снайпер, — неосуществимая мечта.

Смотрю, военфельдшер Костя Матвеев, весельчак и балагур, который на Украине, бывало, чуть не в каждой деревне официально женился: все честь честью, с благословения простачков-родителей девушек, — и тут не теряется. Растянет аккордеон, польется музыка, и люди, наши военные и местные гражданские, закружатся, забыв про все на свете и про войну, конечно.

— Так можно воевать, — беззлобно, но не без зависти заметил как-то Яшка Коренной.

Однажды во время танцев, в круговороте всеобщей толчеи, я вдруг увидел, как Япанка резко схватила за руку Миланку и с силой потянула во двор. Когда девушки скрылись за дверью, у меня невольно родилось опасение, не расправилась бы вооруженная партизанка с доверчивой и наивной своей соперницей. И вдруг слышу — один за другим два пистолетных выстрела! У меня оборвалось сердце. Мигом выскочил во двор, в воображении я уже видел озлобленную Япанку с пистолетом в руке и лежащую на земле окровавленную Миланку. На самом же деле Япанка учила Миланку стрельбе из пистолета. Делала она это не из дружеских чувств к девушке, а с единственной целью: увести Миланку, чтобы она не танцевала со мной.

Я присоединился к их занятию и уже из своего «вальтера» показал обеим, как стреляем мы, и не только по консервным банкам.

Наблюдая и дальше общение двух соперниц, я убедился, что избалованная вниманием мужчин-партизан Япанка с горечью, но признала свое поражение от скромной домашней девочки Миланки.

Вскоре партизаны покинули наш домик, а я ушел на передовую под Сотин. Но все равно, минуя смертельные опасности, я каждый день выбирался с передовой в Опатовац, чтобы встретиться с Миланкой.

Привязались мы друг к другу достаточно серьезно, оттого очень трудным было наше расставание. Миланка и ее родители с надеждой просили меня писать им, а после войны обязательно приехать и жениться на Миланке. Я же, зная наши законы, прощался с Миланкой навсегда. С одной стороны, не думал выжить до конца войны, с другой — знал, что невозможно жениться на иностранке, хотя и подданной союзного с нами тогда государства.

###### Болгарские офицеры

— Товарищ капитан, болгары идут! — громко и радостно, как будто близкие родственники в гости едут или долгожданные сваты показались, доложил мне дежуривший у стереотрубы разведчик.

Я вылезаю из низкого блиндажика в траншею, отряхиваюсь, привычно запускаю большие пальцы под ремень и расправляю гимнастерку. Всматриваюсь поверх траншеи, что вьется из тылов к нам на передовую. В сотне метров замечаю, как над брустверами колышутся не нашего покроя и цвета головные уборы. Их четыре. Через минуту из ближайшего зигзага траншеи показались болгары: два капитана с ординарцами. Они идут к нам на наблюдательный пункт договориться о передаче нашей полосы обороны болгарской воинской части.

Дело было в декабре сорок четвертого под Вуковаром, в Югославии. Советские войска прекратили наступление вверх по Дунаю на запад и перебрасывались за Дунай, на север, в направлении на Венгрию. Свои позиции мы передавали под оборону союзной болгарской армии. Нашу поредевшую 52-ю стрелковую дивизию сменял полнокровный 11-й пехотный полк 3-й Балканской пехотной дивизии. Этот полк будет поддерживать, как и у нас, дивизион артполка.

Дни стояли холодные, с частыми дождями. Как обычно в часы затишья, на передовой с немецкой стороны изредка раздавались пулеметные очереди. Еще реже с тонким посвистом на наши позиции приземлялись одиночные немецкие мины. Они, как бы нехотя, с отвратительным капризным надрывом трескались среди наших окопов. Мириады смертоносных осколков пронизывали все ближайшее пространство и с шумом дружно шлепались на землю, подобно стряхнутым с дерева яблокам.

Завидев меня, приготовившегося к встрече, болгарские офицеры, радушно улыбаясь, ускорили шаг. Это были командир болгарского артдивизиона капитан Христо Ангелов и начальник штаба его дивизиона капитан Иордан Георгиев — высокие, стройные, плотного телосложения, чернявые, с пушистыми усами, с выправкой строевых командиров красавцы лет сорока — сорока пяти. Их приветливые лица были полны восторга и очарования в предвкушении радостной встречи с представителями могучей, победоносной и дружественной им армии. Армии, которая дважды освобождала болгарский народ: в 1878 году — от турок, и в 1944-м — от немецких фашистов. Может быть, гости, как и я, на мгновенье вспомнили сентябрь сорок четвертого, когда улицы и площади болгарских селений были заполнены празднично одетыми людьми, слышался громкий смех, радостные крики, неудержимый говор и все тонуло в цветах и нескончаемых объятиях болгар с советскими солдатами, которые сменялись обильными угощениями за праздничными столами. Вот и теперь предстоит радостная встреча русских и болгарских солдат-побратимов. Только произойдет она не в солнечном сентябре, а в прохладном и дождливом декабре, в сырых окопах под вражеским огнем. Мы тогда принесли болгарам вызволение и свободу, они теперь нам — готовность плечом к плечу биться с немецкими фашистами.

Приложив пальцы к виску и демонстративно щелкнув каблуками, я четко представился гостям:

— Командир первого дивизиона тысяча двадцать восьмого артполка капитан Михин.

Мы с болгарским командиром дивизиона одновременно протянули навстречу друг другу руки, поздоровались и, обнявшись, крепко, в горячем порыве прижались. Когда отпрянули, болгарин, по-отцовски посмотрев на меня, не удержался и тут же дружелюбно и откровенно выпалил то, что его больше всего удивило:

— Какой же вы молодой! И вы командуете дивизионом?! Сколько же вам лет?

— Двадцать три, — простодушно ответил я.

Несмотря на искренность его слов, на теплоту обращения, я почувствовал в его словах не столько комплимент, сколько озабоченность: неужели немцы настолько повыбили из рядов русской армии зрелых офицеров, что даже дивизионами командуют теперь мальчишки? Только нужда может заставить доверить тактическое трехбатарейное подразделение двадцатилетнему парнишке. Это же наверняка снижает боеспособность войска! У немцев-то, конечно, огнем дивизионов управляют солидные, зрелые офицеры…

Я сразу понял настрой своего коллеги — командира болгарского дивизиона и щекотливость его положения. Во-первых, он не инспектировать меня прибыл, а сменять, то есть брать под свою огневую ответственность полосу обороны целого полка и держать ее так же крепко, как это делаем мы, советские; а во-вторых, он не имел никакого ни морального, ни формального права не то чтобы высказать, но даже усомниться вслух в мощи победоносной армии. Ведь это он по возрасту мне в отцы годится, а по сути-то — кто он такой в сравнении со мной? Мы с боями из-под Москвы пришли сюда, а они еще и не воевали. Я — боевой и опытнейший офицер могучей армий, а он представляет армию заштатного государства, царь которого льстиво прислуживал Гитлеру. Так я мысленно подбадривал себя.

Но Христо продолжал нежно, по-отцовски сочувственно смотреть на меня с высоты своего возраста. У него не было никаких претензий лично ко мне. Всем своим видом, улыбкой, обращением он рекомендовался мне как внимательный и трогательно добрый отец. Возможно, у него был сын моего возраста и он по нему судил обо мне. Но больше всего его мучил главный вопрос: умею ли я корректировать огонь батареи, попросту — стрелять из орудий куда нужно, чего уж тут говорить о тактическом мастерстве.

Но ведь и у меня к болгарскому коллеге возникли смешанные чувства. С одной стороны, я уважал его возраст, его уверенность в себе, жизненный опыт, знания, я сочувственно относился к его деликатному положению в отношениях со мною. Однако я знал себе цену, поэтому нисколько не обиделся на сомнения Христо в оценке моих боевых качеств. Наоборот, я опасался, как бы необстрелянные болгары, несмотря на их храбрость и самоуверенность, не попали впросак в первом же бою. Настоящее поле боя — это не учебный класс, не строевой плац и не тренировочный полигон. За болгарами хотя бы несколько первых часов боя надо присмотреть, предостеречь их, предупредить и помочь, а в случае сильной опасности и спасти. Никто формально не возлагал на меня эту ответственность и опеку, но она сразу же возникла в моем сознании, когда своей молодостью я вызвал у болгар этакую залихватскую оценку положения: если мальчишки противостоят немцам, чего нам-то робеть.

Мы медленно двинулись по траншее в направлении к стереотрубе, откуда скрытно велось постоянное наблюдение за немцами.

— Сколько же лет вы служите в армии? — не унимался мой коллега.

— Три года, — сказал я со вздохом, будто речь шла о полусотне лет.

— Три года в армии и уже командуете дивизионом? — не восхитился, а озабоченно удивился болгарский капитан.

— Три года-то на передовой, в постоянных боях. К тому же у меня высшее математическое образование, — для солидности сообщил я.

Но это на болгар не произвело никакого впечатления. Для них важнейшим критерием воинской подготовки являлась выслуга лет.

— Нам с командиром за сорок, — вступил в разговор начальник штаба Иордан Георгиев, — мы закончили академию, свыше двадцати лет служим в армии, и нам только что доверили командовать дивизионом. Кстати, не могли бы вы познакомить нас с вашим начальником штаба? — Иордан надеялся в его лице увидеть солидного служаку, вполне уравновешивающего по возрасту молодость командира.

Легкий на помине, к нам подошел капитан Советов, начальник штаба, мой ровесник, юноша с девичьей талией. Тут гости окончательно в нас разочаровались. Сначала они дружно замолчали, потом исподволь, как бы между прочим, под предлогом выяснения, а как у нас, в отличие от болгарской армии, ведется стрельба с большим смещением — по существу, стали экзаменовать нас. Скрепя сердце я терпеливо отвечал на вопросы и убедил болгар, что теорию артиллерии мы знаем.

Передвигаясь по траншее, гости заглядывали во все закоулки, отсеки, углубления, осматривали площадки и блиндажики. Время от времени они высовывали головы за бруствер, чтобы мельком взглянуть в сторону противника и оценить расположение нашего НП: насколько с него просматривается своя и немецкая оборона. Чувствую, что все увиденное им понравилось.

Подходим к стереотрубе, «рога» которой возвышаются над окопами, в нее можно наблюдать противника, не высовывая головы из траншеи. Негласный экзамен продолжается.

— Сколько же лет вы артиллерийскому делу учились? — спрашивает Христо.

— Три месяца на краткосрочных курсах, но в престижном Ленинградском училище, и занимались мы по четырнадцать часов в сутки.

Эти потрясающие сведения из моей биографии окончательно убили болгар: они, сверх двенадцатилетки, восемь лет учились артиллерийскому делу.

Я предложил Христо осмотреть вражеские позиции в стереотрубу слева направо по рубежам:

— А я буду, не глядя, комментировать увиденное вами.

— У меня хорошее зрение и есть необходимые знания, чтобы самому разобраться в увиденном, — обиделся Ангелов.

— Не пренебрегайте моими сведениями, они вам пригодятся, — сказал я повелительно и начал, невзирая на возражение болгарина, вести комментарий вражеских позиций.

— Вы как будто прогуливались по немецким позициям, так хорошо их знаете, — похвалил меня Христо. — Хотелось бы посмотреть вашу стрельбу, бросьте несколько снарядов по немцам.

— Нам запретили стрелять, чтобы не рассекретить смену войск.

— Видите ли, нас оснастили советскими орудиями, а мы ни разу из них не стреляли. Покажите, пожалуйста, пристрелку. У нас на это дается шесть снарядов, а у вас? — настойчиво попросил капитан, уж очень ему хотелось убедиться, могу ли я корректировать стрельбу.

— Хорошо, направьте перекрестие трубы в точку, куда вы хотели бы чтобы я стрельнул, — обозлившись, уступаю просьбе болгарина.

— Вот, в район этой рощицы, пожалуйста, — передает он мне стереотрубу.

И болгарин, и я знаем, как непросто подать по телефону точную команду на батарею, стоящую в трех километрах сзади тебя за бугром, чтобы посланный оттуда снаряд упал в нужное место. Но я за три года стрельбы так поднаторел, такой глазомер развил, что для меня это не составляет труда. В стереотрубу вижу знакомый мне кустарник, по которому ранее уже стрелял. Подаю команду. С батареи докладывают:

— Выстрел!

Христо приник к стереотрубе, чтобы видеть, куда упадет мой снаряд. И вдруг, как ошпаренный, отпрянул от окуляров:

— Этого не может быть! Этого не может быть! — повторял он. — Снаряд попал в перекрестие! Как можно поразить цель с первого снаряда?! Я — лучший стрелок-артиллерист Болгарии, за двадцать лет службы выпустил четыреста снарядов, но так никогда еще не стрелял. Это невозможно!

— А я за три года выпустил по немцам более миллиона снарядов. Результат вы видите, — парировал я.

Хитрый болгарин удалил километра на два рубеж и отвел трубу далеко влево:

— А теперь сюда вот бросьте снаряд, пожалуйста! — язвительно предложил он.

Я посмотрел в стереотрубу: поблизости от этого места я тоже ранее стрелял, и мне ничего не стоит сделать перенос огня. Подаю команду. Болгарин потирает руки, в надежде, что теперь-то я уж ни за что не попаду даже близко к тому месту, куда смотрит окуляр прибора. К его удивлению, и этот снаряд разорвался возле перекрестия.

— Ну что, надо еще тратить снаряды, чтобы убедить вас, что стрелять мы умеем? — теперь уже я ехидно спрашиваю болгарина.

— Достаточно, — дружелюбно отвечает Христо. — Откровенно говоря, не ожидал такой феноменальной стрельбы. Пойдемте ужинать: нам принесли пищу, мы вас угощаем.

После ужина с вином болгары начали прощаться с нами — теперь они здесь хозяева и в ответе за полосу обороны.

— Мои люди уйдут, а я со связистом переночую с вами, — заявил я нежданно к неудовольствию болгар.

— Зачем? — удивился Христо.

— Для страховки. Мало ли что немцы надумают за ночь. И свою гаубичную батарею я пока снимать с позиций не буду. Переночуем вместе, — твердо заявил я.

— Вы обижаете нас, дорогой капитан, теперь уже мы хозяева здесь и сумеем за себя постоять.

Я все-таки настоял на своем и остался ночевать в своем, теперь уже переданном во владение болгар, блиндаже. Спали мы с Христо на соседних лежаках. Обидевшись на меня, он больше не проронил ни слова. Немцы огня не вели, и ночь прошла спокойно.

###### \* \* \*

На рассвете, только мы вышли из блиндажа в траншею, чтобы умыться, раздался неимоверный грохот: сотни разрывов мин и снарядов покрыли наши позиции. Налет бушевал минут десять. Большого урона он нам не принес, так как все люди находились в окопах, но телефонные кабели порвал всюду. Мы остались без связи со своими батареями.

Не успел окончиться артиллерийско-минометный обстрел, как из немецкой траншеи выскочила густая цепь фашистов. Стреляя на бегу по нашим окопам, немцы стремительно приближались. Сильнейший фланговый огонь немецких пулеметов не дает возможности высунуться из траншеи. Но болгарская пехота не дрогнула, солдаты присели в окопах и во всеоружии ожидают приближения немцев, чтобы вступить с врагом в рукопашную схватку. Обескураженный Христо мечется от стереотрубы к телефонам, но ни с одной батареей связи у него нет. Стрелять из орудий он не может. Одного за одним убивают его посланных для исправления кабеля связистов. Немцы уже в ста метрах от нашей траншеи. Сейчас они впрыгнут в окопы и перебьют болгарскую пехоту, потому что их в три раза больше.

— «Коломна», НЗО — А! НЗО — А! — надрывается мой связист у телефона, но его на огневой позиции не слышат. НЗО — это «неподвижный заградительный огонь». «Неподвижный» — значит, без переноса, по одному и тому же месту, когда снаряды рвутся на одной полосе, их разрывы стоят стеной. Ее не преодолеешь! Наконец, связист догадался и стал кричать в телефонную трубку одну только букву: «А, А, А…»

На батарее уловили этот звук и догадались, что мы вызываем заградительный огонь под шифром А. Установки для стрельбы у огневиков записаны на орудийных щитах, и гаубицы без промедления открыли скорый огонь. Только немцы подбежали к нашим окопам, как на их головы обрушиваются десятки полуторапудовых снарядов. Грохот, треск, пыль, дым! Мириады смертоносных осколков пронизывают пространство вокруг!

Когда налет стих и ветер разнес клубы пыли и дыма, перед нашей траншеей обнажилась жуткая картина: развороченное разрывами снарядов поле сплошь усеяно трупами фашистов, немногие уцелевшие пытаются ползти и бежать к своим окопам, но их настигают меткие выстрелы болгарских пехотинцев.

— Ну, капитан, ты спас нас! — подошел ко мне успокоившийся Христо. — Спасибо тебе, что остался до утра. Без твоего вмешательства плачевно бы окончился наш первый бой с фашистами. Скажи, как же ты связался со своей батареей? Ведь у тебя тоже всю связь перебило.

— Нас выручила «колючка», — отвечаю.

— А это что такое?!

Я рассказал болгарину о своем опыте использования обрывков стальной колючей проволоки в качестве телефонного кабеля. Дело это непростое. Большого труда стоит собрать разбросанную по полю колючую проволоку, еще труднее соединить между собой стальные куски, намотать их на колья. Непросто и проложить стороной телефонную линию из колючки: чтобы изолировать от земли, ее же надо подвешивать на разные веточки. Слаба и слышимость. Но эта телефонная линия более долговечна: не всякий осколок ее перебьет да и ногами не порвешь. Как она выручила нас сегодня!

— Что значит боевой опыт! — восхитился Христо. — Ни в каком учебнике не найдешь этого!

Сделав свое дело, мы со связистом собрались уходить. Но тут болгарам принесли завтрак. Они пригласили нас за свой «стол». Выпили, на радостях, как следует ракии — болгарской водки, и тут посыпались откровения союзников: и как они нас за мальчишек приняли, и как экзаменовали, и как мы спасли их от разгрома… На прощание растроганный Христо Ангелов подарил мне свой меховой тулуп, крытый черным сукном.

— Это чтобы ты не замерзал зимой да нас вспоминал, — сказал он на прощание.

Как же мне было обидно, когда, будучи на передовой, я узнал, что подаренный мне тулуп забрали из повозки ездового рыскавшие по тылам мародеры-заградотрядовцы. И не только тулуп забрали. Отняли у ездового мой новый, недавно полученный бостоновый костюм (гимнастерку и галифе) — подарок офицерам Красной Армии от английской королевы. Эти шерстяные костюмы цвета хаки уже были пошиты по ростам и их вручали офицерам. Точно не знаю, возможно, не всем их давали, а как награду вручали лишь отдельным командирам. Но мне дали. Тыловики щеголяли в них, а мы хранили, не наденешь же для ползания в грязи такую ценность. Возмутительно, конечно, это самоуправство заградотрядовцев: нашу хозяйственную повозку обшарили и обобрали, а длиннющий фургон командира медсанбата Розенцвейга не тронули. Он потом сгрузил его с железнодорожной платформы в Москве, когда ехали воевать с японцами, и отправил к отцу на дачу. В нем было содержимое особняка: картины, мебель, люстры, одежда, белье, посуда. — все, вплоть до сапожных щеток. Кто воевал, а кто собирал!

После похищения заградотрядовцами моих вещей я перестал уважать этих людей, хотя многие из них делали нужные дела в тылах — ловили дезертиров. Но когда прочитал в книге «Сталинградская эпопея» донесения к Берии от начальника особого отдела Донского фронта Казакевича, в которых этот особист слезно жаловался на командующих армиями, что те в критических обстоятельствах бросали в бой с фашистами и заградотряды «как обыкновенные подразделения»[[6]](#footnote-6) и они несли потери личного состава более 65 %, — то нисколько не посочувствовал этому Казакевичу. Надо же было его людям почувствовать разницу между «ловить» и «воевать».

### Глава девятнадцатая

### Освобождение Венгрии

### Декабрь 1944-го — март 1945 года

###### Город Пустовам

Город Вуковар на Дунае мы так и не смогли взять. 18 декабря нас сменили болгарские войска, а мы в Бачка-Паланге переправились через Дунай и пешим порядком направились в Венгрию. В городе Байя снова переправились через Дунай и пошли на Сексард. Жители воевавшей против СССР Венгрии не встречали нас. Как и румыны, они опасались мести с нашей стороны за бесчинства своих солдат в России. Но женщины везде и всегда остаются женщинами. Венгерки находили повод и способ, чтобы гульнуть с нашими солдатами. Однажды с застолья с танцами и песнями я бесцеремонно удалил своих солдат, чтоб они занялись своими служебными делами, а венгерок пристыдил на ломаном немецком:

— Что же вы делаете? Ваши мужья воюют с нами, кровь льют, а вы тешитесь с русскими солдатами!

— Пусть воюют, — игриво ответили мадьярки, — а нам хочется повеселиться с вашими солдатами. Они такие симпатичные…

25 декабря 52-ю дивизию в составе 68-го корпуса 57-й армии 3-го Украинского фронта из Сексарда автомашинами через Секешфехервар перебросили в Чаквар, западнее Будапешта, на внешний обвод окруженных в Будапеште немцев. Севернее Чаквара мы выдержали страшнейшие бои с немецкими танками, рвавшимися на выручку к своим — в Будапешт. Наша дивизия потеряла в тех боях три четверти своего боевого состава. Ее остатки отвели в горы севернее Чаквара, и мы заняли оборону в полосе шириной аж целых 15 километров! В обороне были полукилометровые прогалы. И только благодаря маневренности нам удавалось громить прорвавшегося в эти дыры противника. Мои батареи постоянно перебрасывались на танкоопасные направления.

На автомагистрали Вена — Будапешт стоит небольшой венгерский городок Пустовам. Не знаю, что его название означает по-мадьярски, но по-русски ничего хорошего оно не предвещало. Немцы настойчиво пытались с разных сторон прорваться в окруженный нашими войсками Будапешт. Пробовали они это сделать и через Пустовам, но безуспешно. Город обороняли от прорыва стрелковый батальон Морозова и мой артиллерийский дивизион, а также приданные нам два истребительно-противотанковых и два минометных полка — это около сотни пушек и столько же крупнокалиберных минометов. Да плюс мои восемь пушек. Все оборонительные средства в городе были врыты в землю и хорошо замаскированы. Обильные снега сровняли все военные объекты с городским пейзажем. Мы с комбатом Морозовым чувствовали себя в присутствии такой силищи очень защищенно и уверенно. Пусть попробуют фашисты прорваться в Будапешт!

Новый, 1945 год мы встретили спокойно. Утром 2 января я поднялся на чердак к стереотрубе на своем наблюдательном пункте. Город и его окрестности, наши и немецкие позиции, утопавшие в снегах, являли картину равно дивной умиротворяющей красоты. Стояла тишина, не слышно ни единого выстрела. В лучах яркого солнца искрился белый-белый снег. Легкий морозец приятно бодрил и щекотал ноздри. Так и хотелось встать на лыжи и резво съехать вниз с пологих скатов гор. Но шла жестокая война, приходилось не кататься с гор, а внимательно рассматривать на их склонах позиции противника. Однако никаких изменений на немецкой и на нашей стороне за ночь не произошло.

Передав стереотрубу дежурному разведчику, я стал спускаться вниз. И тут в разных концах городка натужно взревели моторы тяжелых автомобилей-тягачей. Что случилось?! Вскакиваю снова на чердак, осторожно выглядываю в слуховое окно — и прихожу в ужас! Сотни машин по всему городу, взламывая маскировку, вытягивают из окопов пушки и минометы. На чистом, заснеженном фоне построек разверзлись десятки черных ям, разворочены маскировочные козырьки! Город мгновенно превращается в растревоженный муравейник. На машины, загруженные ящиками со снарядами, быстро вскакивают солдаты, и весь поток автомобилей устремляется в горы — в наши тылы! К великому сожалению, вижу все это не только я — с окружающих гор наблюдают все это и немцы! Компактность городка и близость гор дали возможность полкам в считаные минуты скрыться в горах, немецкие артиллеристы не успевают сделать по ним ни одного выстрела. Это было единственным, что порадовало меня, не без гордости подумал: будь такое на моих глазах у немцев, я бы успел разгромить их своими гаубицами.

Долго не могу прийти в себя от увиденного — моему возмущению нет конца! Как это можно, средь бела дня, на глазах у противника рушить организованную оборону, снимать с позиций, увозить из города такую армаду вооружения и оставлять беззащитным — известив об этом противника! — целый город. Практически открывать немцам магистраль на Будапешт! А нас, оставшихся здесь хозяев обороны участка, — отдавать на съедение немцам! Не возместят же наши восемь пушек и несколько десятков пехотинцев силу четырех полков, покинувших город. Неужели нельзя было сделать это тайком от немцев, ночью?! Это же приглашение противнику: бей, бери, уничтожай их, они голенькие!

Связываюсь по телефону с генералом, я же командир артиллерийской группы, это меня поддерживали убывшие части, которые второпях даже известить меня о своем уходе не успели. Выражаю свое недоумение и тревогу. Генерал ничего не стал мне объяснять, только строго приказал заново организовать оборону города своими силами.

Лишь некоторое время спустя мы узнали, почему так спешно сняли полки. Оказалось, мощная танковая группа генерала Гудериана прорвалась южнее нас к Дунаю и стремительно двинулась вдоль реки на север, к Будапешту. Требовалось экстренно остановить немцев.

Легко генералу сказать: обороняй город восемью пушками, которые стоят на восточной окраине, а немцы пойдут с запада и севера. Снимаю обе свои пушечные батареи с замаскированных позиций, вывожу их на открытое место и скрепя сердце на виду у немцев ставлю одну у западной, другую около северной дороги. К сожалению, мы не могли воспользоваться окопами, которые оставили после себя ушедшие полки, у них были слишком узкие сектора обстрела. Пока батареи выполняют мой приказ на перемещение, я со своего наблюдательного пункта зорко всматриваюсь в немецкие позиции и подходы к ним. И вдруг, как и ожидал, вижу колонну немецких танков! Конечно же, немцы не преминули воспользоваться уходом наших войск! Как ни пытались танки проскочить скрытно, в разных местах, я успел пересчитать их. Но поразить огнем гаубичной батареи не успел, мои батарейцы были еще в пути. Танков оказалось ровно сорок штук — полнокровный, наверное, только что прибывший танковый батальон: три роты по тринадцать танков и танк командира батальона. Докладываю генералу. Ровная цифра «сорок» насторожила его, и он, как я и догадался, не поверил в такое большое количество танков, хотя мне ничего не сказал, только напомнил:

— Твоя задача — не пропустить немецкие танки в Будапешт, сколько бы их там ни было.

Как обидно было мне, что генерал Миляев посчитал, что я преувеличиваю количество немецких танков! И все это оттого, что многие командиры, особенно из числа кадровых служак, часто врали, преувеличивали силы врага, чтобы получить побольше подкреплений, а после успешного боя похвастаться своим героизмом. На одной из послевоенных встреч ветеранов дивизии я услышал откровенные признания начальников штабов, как лгали они в своих донесениях. Чтобы получить побольше пополнения, потери преувеличивали, а когда спирт выдавали, то преуменьшали их. Я же с самого детства приучен был говорить правду и, как честный человек, к тому же математик, приученный к скрупулезной точности, всегда докладывал истинные сведения, на чем и горел. Уже после войны пехотные связисты подарили мне схему связи 439-го полка, на которой были точно проставлены три группы немецких танков: 13-13-14 штук. Так оно было: на мои восемь пушек шло с фронта и в обход, с тыла, сорок немецких танков. А генерал мне не поверил, подумал, что танков не более полутора десятков.

Не успели мои огневики на новых местах не то чтобы окопаться, даже сошники для стрельбы врыть в землю, как немцы обрушили на каждую батарею мощный артиллерийско-минометный огонь. Разрывы мин и снарядов косили расчеты, потому что на открытом мерзлом грунте от них негде было укрыться. И тут же пошли в атаку немецкие танки. На каждую мою батарею напало с фронта по танковой роте немцев, а их третья рота во главе с танком командира батальона, проскочив нашу жиденькую оборону, пошла по нашим тылам в обход и, разделившись надвое, напала на батареи с тылу. И прятаться-то нам некогда — стрелять надо! Нельзя пропускать танки через батарею!

Я прибежал на ближайшую к НП 2-ю батарею. Подаю команду на открытие огня. К орудиям под разрывами мин и снарядов вскочило с земли по два-три человека, остальные замертво лежат на снегу. Погибли и оба офицера батареи. Хорошо, что я прибежал именно на эту батарею. Между орудиями и около них рвутся мины и снаряды. Но наибольший урон наносят разрывы танковых снарядов. Редеют расчеты, но и у немцев уже горят три танка, четвертый на одной гусенице крутится. Прямыми попаданиями танковых болванок разбиты первое и второе орудия. Убит осколком наводчик ближайшего ко мне четвертого орудия. Встаю на его место. Ловлю в прицел головной танк, поджигаю его. Еще один танк подбивает стреляющее третье орудие. Целюсь в танк, который обгоняет остальные. Вот он уже в перекрестии прицела, орудие заряжено, нажимаю на спуск и резко откидываюсь всем телом назад, чтобы не получить удар окуляром в лицо при откате ствола. В грохоте боя я не услышал шума моторов немецких танков, приближавшихся к нам сзади. Это была третья группа танков, которая напала на нас с тыла. И все же краем глаза я уловил блеск быстро надвигавшейся на меня танковой гусеницы. Поворачиваю голову влево и вижу в полуметре от себя танк. Мелькание блестящих треков гусеницы мгновенно вырывает из памяти страшное вращение зубьев барабана молотилки, в которую я заглянул однажды в детстве на току. Наверное, тот возродившийся страх ускорил движение моей откинувшейся головы и всего тела назад. Упираюсь ногами в землю и перевертываюсь через голову. Гусеница проносится мимо. Случайное совпадение двух движений спасло мне жизнь. Да, если бы не откат!.. Слышу громкий металлический скрежет, скрипяще-лязгающий хруст ломающейся под тяжестью танка нашей пушки. Но быстрое сальто-мортале отбросило меня от танка, и меня не раздавило вместе с пушкой. Поднимаюсь на колени, никак не могу найти свою сбитую шапку, хватаю шапку с убитого наводчика и вьюном откатываюсь в кусты. А немецкие танки, пришедшие спереди и сзади, уже смешались и сообща двинулись на южную окраину городка. Все четыре орудия моей батареи лежат приплющенные к земле. Ко мне подползают четверо уцелевших солдат из орудийных расчетов, в руках у них замки от пушечных затворов, я обрадовался, хвалю ребят: молодцы, что догадались вытащить затворы, это доказательство, что пушки не стрельнут, даже если попадут к врагу целыми. Вместе мы наблюдаем из кустов, как немецкие пехотинцы, что бежали за танками, пристреливают лежащих на снегу наших раненых. Остановились, с интересом рассматривают разбитые наши пушки.

Мы с солдатами перебежками и ползком, прячась за домами, побежали на мой наблюдательный пункт. Туда же прибыл с горсткой солдат 1-й батареи и мой заместитель по строевой части капитан Свинцов. Все офицеры с обеих батарей погибли в бою. Спускаюсь в погреб, где сидел комбат, а там только отключенные провода болтаются.

Решаю бежать из города на опушку леса, там подключиться к телефонному кабелю, идущему на гаубичную батарею, и ее огнем воспрепятствовать дальнейшему продвижению немцев. Выскакиваю на улицу, а по ней бежит толпа орущих и стреляющих, обезумевших от успеха немецких пехотинцев. Я — быстро назад, в калитку. Огородами обгоняем немцев, попадаем на опушку леса. Благо связист на НП уцелел и с телефонным аппаратом находится теперь рядом со мною. Связываемся с батареей, открываю огонь из гаубиц и останавливаю наступающих немцев. Тут же, на НП, оказался и комбат, его пехотинцы заняли оборону вдоль опушки предгорного леса.

Отправил капитана Свинцова на огневую позицию гаубичной батареи, чтобы он, в случае прорыва немцев, увел ее в безопасное место. А сам наконец вздохнул и огляделся вокруг. С помощью уцелевших солдат взялся оборудовать собственный наблюдательный пункт. И только теперь внезапно ощутил настоящий страх за все случившееся. Две мои батареи вместе с людьми и конями погибли! Городок мы оставили! И за все в ответе я один! Проиграл бой! — хотя и неравный, заранее обреченный. Настроение у меня — самое что ни на есть паршивое. Что-то будет?! Не рад, что и сам уцелел в этом бою. Правда, в отместку за потерю восьми пушек мы уничтожили девять немецких танков, хотя об этом, как и о том, что меня бросили на съедение немцам, речи, ясно, никто не поведет. А вот за то, что потерял две батареи и оставил город, спросят строго.

Так и вышло.

###### Генуг!

Где-то среди ночи к нам верхом прискакал заместитель комдива полковник Урюпин со своим ординарцем-девушкой. Участник Гражданской войны, недалекий, грубый, безграмотный человек. Ни полк, ни дивизию ему не доверяют — вот он всю войну и ходит в замах. Оказалось, он приехал по мою душу. Ищет меня, чтобы разобраться, допросить, как и что было.

— Где твой дивизион? — нахмурившись, зло и резко спросил Урюпин.

— Гаубичная батарея стоит на закрытой позиции на просеке в горах Вертеш, — докладываю. — Пушечные батареи во время боя раздавлены немецкими танками. На мои восемь пушек танков было сорок, девять из них мы подбили. Орудийные расчеты и кони погибли.

— Лучше бы ты не приходил, списали бы тебя вместе с пушками, — откровенно заявил Урюпин. — А теперь тебя же под суд отдавать надо.

— За что?! — вырвалось у меня.

— Мне жалко тебя, но мы ничего поделать не можем. Приказ «Ни шагу назад!» никто не отменял.

О том, что меня зверски подставили, выведя полки из Пустовама, и речи нет.

Отругав матом девушку-ординарца, она же была у него и коноводом, за утерянную курительную трубку, полковник, не попрощавшись и не сказав мне больше ни слова, ускакал восвояси.

Это у меня была вторая встреча с Урюпиным. Еще в сорок втором подо Ржевом, когда я был старшим на батарее, он заявился к нам на огневую позицию с проверкой чистоты орудий. Зеркальный блеск ажурных переплетений сорока нарезов широченного гаубичного ствола так поразил тогда Урюпина, что, не находя слов выразить свое восхищение, он приставил губы к казеннику и во все горло закричал в ствол: «Урюпин, так твою мать!!!»

Мне до слез, до боли в сердце жаль потерянных в бою вместе с расчетами двух пушечных батарей. Немцы безжалостно уничтожили их. Меня же миновали осколки снарядов и пули. Но большего, чем подбить двумя батареями девять танков, я сделать не мог, хотя и старался изо всех сил, не щадя самой жизни. Не виноват же я в том, что остался жив! Да и батарейцы мои бились искусно и самоотверженно — ни один не уклонился от боя! Стреляли под градом пуль и осколков! А теперь меня еще и судить будут как труса и изменника! За то, что отступил, грозит расстрел или штрафбат, а это еще хуже. Главное, погибать предателем от своих страшно. И никому ничего не докажешь. И никакие свидетели не помогут. Ох, как тяжко было мне! В свои двадцать три года из-за учебы в институте и войны я не имел почти никакого жизненного опыта. Умел только учиться и воевать. Да живуч был. И ни успокоить, ни ободрить, ни посоветовать, ни облегчить мою участь было некому. Командиры батарей погибли, зам по строевой и начальник штаба — мои ровесники, столько же смыслят, сколько и я. Единственный опытный человек в дивизионе — это замполит Карпов. Он на шестнадцать лет старше меня, умный, хитрый, знает все ходы и выходы. Осведомлен, конечно, и о случившемся. Но он сидит по-прежнему на кухне, голоса не подает, от меня совсем отстранился как от подсудного. Даже не позвонил по телефону. Он, дескать, в бою не участвовал, пушек не терял, не отступал и ни в чем не повинен. Парторг Каплатадзе воспитан в том же духе. Тоже сидит на кухне вместе с комсоргом дивизиона. Позвонил с кухни лишь новый парторг, который пришел на смену Каплатадзе, Иван Акимович Шевченко. Он только сегодня в дивизион пришел. Это не кадровый политработник, был адъютантом у командира полка. Ему лет тридцать, окончил аспирантуру. Чем-то не угодил командиру полка, а может, тот к полевой подруге приревновал — в общем, рассчитался с ним, отправил в парторги. Шевченко знает меня как боевого командира, может, он что посоветует, обещал утром подойти на НП. Хоть с ним душу отведу. С подчиненными ведь не пооткровенничаешь. Не нахожу себе места. Ну почему меня ни один осколок не зацепил? Как не рад я, что остался жив. Ведь от гусеницы танка я спасся случайно: надо же было танку подоспеть ко мне в тот момент, когда я откинулся от прицела, а то бы вместе с пушкой конец и мне. Если бы не откат… И почему меня танк не раздавил?!!

Однако хватит горевать, войну никто не отменил. Немцы по-прежнему стреляют, маневрируют, еще, чего доброго, решат дальше двинуться. А у меня всего одна батарея. Надо, несмотря ни на что, собраться, в обстановку вникнуть. Что там командир батальона делает? Тоже хорош гусь. Сбежал со своими солдатиками и притих тут на опушке, никто его не беспокоит. Он батареи не терял.

Утром звонит по телефону генерал:

— Я в курсе дела. Верю, что ты сделал все возможное. Но все равно тебя судить будут. Готовься. Однако я знаю тебя как находчивого офицера. Попытайся вытащить от немцев пушки. Докажи прокурору, что они поломаны и не могли стрелять. Может, и смягчишь свою участь. В штаб армии я еще не докладывал. Даю тебе двое суток. Попытайся вытащить пушки.

— Товарищ генерал! Я честно бился. Вы же знаете, что четыре полка сняли. На нас сорок танков шли. Девять мы подбили. Я же не виноват, что сам живой остался. Как же я вытащу пушки? Немцы сплошную траншею роют. Их танки взад-вперед по передовой ходят. А мои пушки на той окраине городка лежат, смятые в лепешку. Да у меня ни людей, ни коней нет.

Генерал больше ничего не сказал.

Что же делать? А вот и Иван Акимович, новый парторг дивизиона, ему я обрадовался. Он посочувствовал мне, сели и начали думать: что же делать? Я и говорю:

— Давай, Иван Акимыч, наденем белые маскхалаты, и ты влево, а я вправо вдоль переднего края поползем с разведчиками. Может, какую брешь в обороне немцев и нащупаем? А ночью и проникнем к ним за родными пушечками.

Ползем мы с Коренным по снегу вправо, вдоль опушки леса — нашей передовой. Немцы за ночь уже отрыли сплошную траншею вдоль своего переднего края. Это метрах в трехстах от нас. Немецкая траншея своим правым концом упирается в густой кустарник, который тянется от нас к противнику вдоль небольшой речки Антал, что течет с гор в Пустовам. Речка скована сплошным толстым льдом. Хотя немцы и замаскировали свежевырытую траншею снегом, но все равно грязноватый край ее выделяется на фоне остальной белизны.

Через кустарник мы вылезли на лед речушки. Осмотрели ее правый берег, так же поросший густым кустарником. Он перекрывает немцам вид на речку с правой стороны. А вражеская траншея продолжается и за речкой. Но ведь на льду траншеи нет, мелькнула у меня счастливая мысль, и самой речки не видно ни слева, ни справа. Это же прекрасная дорога от нас к немцам через их передний край!

###### \* \* \*

К обеду мы вернулись из разведки. Иван Акимович ничего полезного на своем участке не нашел. Решили к вечеру в маскхалатах вдоль берега речки ползком пробраться к немцам в тыл. Связался по телефону с командирами 2-го и 3-го дивизионов и попросил у каждого по паре пушечных передков, запряженных трофейными короткохвостыми битюгами. Коллеги, сильно сочувствовавшие моей беде, не отказали, обещали к сумеркам прислать передки с ездовыми на нашу опушку.

За час перед заходом солнца втроем, с Коренным и разведчиком Копыловым, прихватив трофейный ручной пулемет, поползли вдоль кустарника к немцам. Двигались по внутренней, обращенной к речке стороне. Ни слева, ни справа немцам мы не видны. Благополучно миновали вражеский передний край и поползли в глубь их территории. Видели, как в свежевырытой траншее, переминаясь с ноги на ногу, стояли у пулеметов дежурные немцы. Углубившись метров на четыреста в немецкий тыл, выбрались на высокий левый берег речки и зарылись в снегу как раз напротив нашей 2-й батареи, из пушек которой я стрелял по атаковавшим нас танкам. Теперь, раздавленные, они лежали недвижно на снегу. Сразу защемило сердце: боевая батарея превращена немецкими танками в груду металлолома. Наших людей, ни живых, ни мертвых, не видно: тела убитых батарейцев с помощью местных жителей были убраны. Посылаю Копылова в обратный путь, к опушке леса, куда соседи должны пригнать передки. Как стемнеет, он должен привести их сюда. Озираемся с Коренным вокруг.

— Товарищ капитан, — толкает меня Коренной, — люди какие-то.

Действительно, человек десять немцев цепочкой по одному шустро спускаются по тропинке с горы и уже направились к нашим пушкам. Автоматы на шее, а в руках каждый несет по небольшому ящичку. Вот они подошли к орудиям и стали укладывать ящички на казенники пушек. Я сразу же догадался: хотят взорвать наши пушки, чтобы легче было отправить как металлолом в свой тыл. Приказываю Коренному:

— Ну-ка, уложи их, Яша, из пулемета!

Ни один подрывник не успел спрятаться, Яшка короткими очередями всех замертво уложил на землю. Никакой посторонней реакции на нашу стрельбу не последовало. Немцы не обратили внимания на выстрелы своего пулемета у себя в тылу. Хорошо, что мы догадались взять с собою не свой пулемет!

С нетерпением ждем пушечные передки. Уже стемнело. Неужели подвели соседи, не выслали коней с передками?! Ан нет: едут. Тихо так, крадучись, подъехало четверо передков во главе с Копыловым. Теперь нас семеро. Подогнали передки к орудиям. Хорошо, что ездовые догадались прихватить с собою гибкие стальные тросики, ими привязали за что попало орудия к передкам и поволокли их на лед. Станины у орудий свести не удалось, и кони потянули пушки со станинами враскорячку. Хотя станины и пахали лед, но бельгийские битюги справились с делом, повезли орудия по льду в наше расположение.

Мы с Коренным остались на месте, ждать возвращения коней, чтобы ехать на западную окраину городка за орудиями 1-й батареи. Мороз крепчал. Взошла луна. Нам она только помеха: далеко видно. Слава богу, одну батарею отправили, полдела сделали. Ждем передки обратно. А их все нет и нет. Я заволновался: неужели немцы на передовой их заметили и задержали или еще что?.. Но никакого шума слышно не было. Должны приехать, успокаиваю себя. А вот и они! Едут! Но как! — тихо, деловито, вроде и не в тыл к немцам едут, а за соломой к колхозному омету.

Я повел коней по загородной дороге на 1-ю батарею. В лунном свете далеко все видно. На окраинах и в самом городке безлюдно — ночь, тишина. Это хорошо. Подъезжаем к орудиям 1-й батареи. Та же картина. На мерзлом грунте не стоят, а лежат сплющенные пушки. Шестеро солдат принимаются за работу, а я поднялся метров на пятьдесят на пологий бугор к дороге, что идет мимо нас в городок, чтобы наблюдать за местностью. По-прежнему никого нет, тихо, немцев не видно. До ближайших домов метров двести. Оглядываюсь назад — наблюдаю за быстрыми действиями ездовых и разведчиков, привязывающих пушки к передкам. Пока я смотрел на своих людей, у крайних домиков вдруг раздался шум многих человеческих голосов. Смотрю, на дорогу вываливается беспорядочная толпа людей. У кого на шее, у кого за спиною висят автоматы. Это ватага немецких солдат. Скорее всего после попойки по случаю взятия городка они направляются в свои блиндажи на прежних позициях, чтобы отдохнуть за ночь, а на передовой оставили только дежурных у пулеметов. Немцы громко разговаривают, смеются, настроение у всех разгульно-приподнятое. По развязной манере поведения и по отдельным донесшимся и понятым мною словам решаю, что офицеров среди них нет. Всего их человек двадцать. Они застали меня врасплох, появились так неожиданно и, конечно же, меня заметили. Быстро соображаю, что предпринять. Если побегу к своим солдатам или упаду на землю, заподозрят неладное, прибегут сюда разбираться. В лунном свете они видят и коней, что стоят сзади меня. Если останусь на месте и буду продолжать стоять, могут пройти мимо. Но могут и подойти, тогда сразу же поймут, что я не немец. Вступать с ними в бой невыгодно — люди с передовой, бывалые, боевые, у меня же только два разведчика, а четверо стариков-ездовых — не сможем оказать должного сопротивления. К тому же немцев втрое больше. Ну побьем мы их даже с десяток, а что будет с нами, неизвестно, самое ужасное — будучи раненным, попасть к ним в плен. А главное, пушки не вывезем. Нет, мимо они не пройдут. Люди подвыпившие, такие за что угодно готовы зацепиться, чем угодно могут заинтересоваться: нами, лошадьми, пушками. С другой стороны, могут постесняться своего непотребного вида и пройдут мимо начальника. А что перед ними стоит начальник, заметно: сам ничего не делает, праздно стоит и наблюдает за работой подчиненных. Стою ни живой ни мертвый. И не из страха за собственную жизнь. Ее ресурс уже давно иссяк. Сколько можно быть «неубиваемым»? Страшно за срыв важного мероприятия. Да еще: что подумают наши, если не вернемся? Без вести пропали? Сдались в плен? Предателем могут посчитать. А это ужасно. Про меня уж точно скажут: суда военного трибунала испугался. Нет, мне обязательно надо вернуться к своим, даже трупом! Все эти мысли проскакивают в голове со скоростью молнии, за долю секунды. Решаюсь стоять на месте. Будь что будет. Только не плен! Пистолет я давно уже вытащил из кобуры, держу его в руке, прижимая к бедру. Могу быстро выстрелить несколько раз, но надо успеть и застрелиться.

Между тем немцы приближаются. Поравнявшись, остановились против меня на дороге, до них двадцать метров. Большинство заинтересованно смотрит мимо меня — на лошадей и людей, цепляющих орудие к передку. Видят привычных их взору бельгийских битюгов. Лошадей они наверняка считают своими, немецкими. А мои ребята настолько увлечены работой, что скорее всего и не замечают немцев. Они с самого начала положились на меня: капитан знает, что делает.

Подвыпившие немцы задержали свое внимание на конях и работающих солдатах дольше, чем сделали бы это трезвые люди. Смотрины длятся уже больше минуты. Потом несколько человек одновременно закричали что-то в мою сторону. Слышу смех остальных. Но в этом шуме я уловил несколько слов: «руссиш… канонен… фарен…» — и понял их так: зачем, дескать, вам эти разбитые русские пушки, куда вы собираетесь их везти? По тому, что немцы кричали все сразу, беспорядочно, я окончательно утвердился в мысли, что офицера среди них нет. Меня они, видно, приняли за офицера-тыловика. Наверняка у них, как и у нас, солдаты с передовой смотрят на офицера-тыловика как на начальника, но свысока. Однако настроены они снисходительно-миролюбиво. Но ведь им и идти пора, а то не выспятся.

Чтобы прекратить односторонний, опасный и непредсказуемый для нас контакт с подвыпившими немцами, я громко, отрывисто-командно крикнул:

— Генуг! — что значит по-русски «хватит». При этом резко, как бы в возмущении, опустил поднятую руку, давая понять, что никчемный разговор надоел мне, окончен, и тут же демонстративно и четко повернулся к ним спиной.

Повернулся, а сам не уверен, насколько по-немецки получилась моя речь из единственного пришедшего мне на ум слова. Замер в ожидании, какова будет реакция немецких солдат. Сердце билось учащенно: не выдал ли себя сказанным? Но ведь и молчать мне, «немецкому начальнику», в данной обстановке дальше было нельзя — заподозрят неладное. К нашему счастью, немцы затихли и пошли по дороге в горы.

Пушки мы благополучно вывезли к реке. Потом, по льду, через немецкий передний край — и в лес, на свою опушку.

Так выручила меня в беде маленькая промерзшая речка Антал. Господь, наверное, сжалился надо мною и послал мне эту речушку-спасительницу.

Отправил лошадей с ездовыми к хозяевам, а сам с разведчиками и новым парторгом Шевченко стою среди металлолома и думаю: отчитаться-то я отчитаюсь, пушки действительно поломаны, но стрелять-то из чего будем? Новые пушки дадут не скоро, пока еще прокуратура и особисты разберутся что к чему да сочинят, к своему огорчению, оправдательный вывод, а немцы-то ведь ждать не будут, их завтра же придется отваживать.

Наутро собрал тыловиков, остатки расчетов во главе с артмастером и приказал:

— Чтобы через два дня вместо этого хлама здесь стояли готовые к стрельбе четыре орудия!

И работа закипела! Пришла подмога из других дивизионов, из тылов полка. За двое суток на голом месте — в лесу, а не в заводских условиях, собрали три целых пушки, а у четвертой не хватало только одной детали — ствола.

— А в деревне в одном дворе на тележке запасной ствол лежит. Там его солдаты из ушедшего полка караулят, — сказал один из осведомленных по части местного населения солдат.

— А что, если мы, товарищ капитан, позаимствуем его? — предложил другой.

— Не возражаю, — разрешил я, — нам он сейчас нужнее.

И стало у меня четыре пушки! Еще по одной выпросил взаймы «на погорелое» в двух других дивизионах. Ура! Получились две трехорудийные батареи. Докладываю генералу. А он не верит, что я сумел не только вызволить от немцев пушки, да еще и отремонтировать их.

— Я знал, что пушки побиты, но это надо было прокурору доказать. А вообще-то ты молодец! Тебя бы за все это наградить надо, но скажи спасибо, что не судили, — сказал командир дивизии.

Тот бой с танками и вылазку за орудиями я вспоминал всю жизнь. Танков было ровно сорок, я посчитал их еще при подходе. В ходе боя девять из них мы подбили, о чем я и доложил в штаб полка. И вдруг, много лет спустя, узнаю из архивных документов, что танков в том бою у немцев было пятнадцать и дело было якобы не днем, а ночью. О подбитых нами танках — ни слова. Обидно, конечно. Мы воевали, они докладывали.

###### Комдив отпустил на помывку!!

Гант — небольшая деревушка в горах западнее Будапешта. Два десятка домов вплотную прижались к отвесной скале горного хребта Вертеш. В феврале сорок пятого мы обороняли Гант и хребет от немцев, а фашисты вели атаки из небольшой долины, стремясь прорваться в окруженный нашими войсками Будапешт.

Маленький Гант значился на всех стратегических картах нашего и немецкого командования, потому что лежал он на стыке двух наших фронтов — 2-го и 3-го Украинских. Мой НП находился на обрыве скалы, нависавшей над Гантом. Я был старшим артиллерийским начальником в полосе обороны полка и отвечал за стык между фронтами.

Проверяющие самых высоких рангов, обеспокоенные обороной стыка, постоянно навещали меня. И каких только экзаменов они мне не устраивали! Особенно был докучлив один полковник из Москвы: и огонь батарей ему в считаные секунды открой, да в любую точку на местности; и вводные: связь порвалась, рация разбита — ваши действия? Показал я ему все виды и способы взаимодействия с соседом слева, то есть с 3-м Украинским фронтом, а он все не унимается:

— А какая еще с ним связь есть?

— Мой лейтенант крутит любовь с радисткой с Третьего Украинского, — отвечаю.

— А еще какая? — спрашивает полковник.

— Делимся наркомовской нормой, когда нам подвезут спирт, а соседям еще нет.

Тут, наконец, полковник рассмеялся и перестал меня пытать.

Противник докучал нам постоянными обстрелами и атаками ничуть не меньше проверяющих. Пехоты у нас было очень мало, и мы отбивали атаки в основном артиллерийским огнем. Поэтому мне никак нельзя было отлучиться с передовой, даже в баню.

Только однажды, в затишье, командир дивизии отпустил меня на два часа в тыл помыться в бане.

Сдерживая обуявшую радость, я выскочил из темного блиндажика и помчался к расщелине, чтобы проникнуть на обратный склон хребта. Пулеметная очередь вдавила меня в камни, напомнив об осторожности. По расщелине добрался до вершины горы, переполз ее и со всех ног помчался вниз, в направлении тылов дивизиона. Бежал уже не командир дивизиона, отягощенный заботами обороны стыка, а простой двадцатилетний парень, который радуется февральскому солнцу, ослепительно белому снегу и случайно мелькнувшей вдали дикой косуле.

Через полчаса я был уже у подножия хребта, где меня ожидали санки. Два белых арабских скакуна за шесть минут домчали нас с ездовым Диденко до Чаквара, городка, где располагались тылы и батареи моего дивизиона. Вот уже видна и мельница на окраине, и раскинутые вокруг нее огневые позиции трех моих батарей. Орудия хорошо окопаны и замаскированы. Это порадовало меня. Направляюсь на свою родную 3-ю батарею, которой командовал больше года.

Старший на батарее лейтенант Ощепков, откинув за спину палетку, быстро подбежал ко мне, красиво приосанился и молодцевато доложил обстановку на батарее. Я всегда любовался статной фигурой этого умного офицера из кадровиков. Служить он начал еще до войны, но так и застрял на огневых позициях батареи. Может, потому, что здесь безопаснее. Повышение обязательно метнет на передовую. Опрятно одетый в хорошо подогнанное обмундирование, с четкими уставными движениями, Ощепков нравился не только окружавшим его военным, но и местным девушкам. Смуглое, чисто выбритое лицо с большими карими глазами украшала пышная черная шевелюра. В красивом лице этого сибиряка было что-то азиатское. И эта смуглость заранее предполагала смелость и решительность характера. На батарее у Ощепкова всегда был порядок, его огневики обычно вели стрельбу из гаубиц умело, быстро, слаженно и точно. Ко мне, хотя я был моложе старшего лейтенанта годами, да и в армии всего три года, Ощепков относился уважительно. Ценил мое умение управлять огнем батареи, а теперь и дивизиона.

— А это что за рогатины торчат из окопа каждой гаубицы? — строго спрашиваю, показывая на счетверенные зенитные пулеметы.

— Да зенитчики попросились, товарищ капитан, стать рядом, чтобы не долбить мерзлую землю для своих окопов.

— Они же не рядом стали, а залезли в твои окопы! Это же приманка для самолетов! Как только их пулеметы откроют огонь, на них — и на вас! — тут же посыплются бомбы, — возмутился я. — И где же хозяева этих пулеметов?!

— Да они, товарищ капитан, греются в домиках у наших хлопцев.

Подхожу к ближайшей установке и рывком отвожу затвор.

— Что вы делаете?! Стрелять нельзя! — испугался Ощепков.

Вместо ответа жму на гашетку. Четыре пулеметных ствола извергают страшный грохот. На этот рев из ближайшего домика выбегает девица в военной форме. На плечи наспех накинута шинель, волосы не прикрыты, развеваются на ветру. С надрывом, капризно-требовательно кричит в мою сторону:

— Кто разрешил?!

— Где ваш часовой?! Почему пулеметы не охраняются?! — ей в ответ. И Ощепкову: — Ну и джентльмен ты, старший лейтенант! Девочек пожалел, чуть не в постель их с пулеметами впустил! Немедленно убери пулеметы!

Помывшись в морозной солдатской бане, которая и здесь представляла собой дырявую бочку над головой, закрытую с трех сторон палаткой, я зашел в штаб своего дивизиона. Мои штабники располагались в проходной комнате на первом этаже особняка хозяев мельницы. Через эту комнату изредка проходили во внутренние комнаты хозяева. Такая непритязательность и терпимость штабников объяснялась не только их скромностью, немцы никогда бы не потерпели такого. Просто нашим ребятам хотелось более близкого общения с гражданскими людьми, пусть и чужими. На фронте всегда есть потребность побыть среди местных жителей. Помню, в начале января сорок третьего, после непрерывных боев подо Ржевом, где все деревни были выжжены немцами, нас вывозили под Сталинград, так мы часами простаивали на морозе у открытых дверей вагонов-теплушек в надежде увидеть женщину или ребенка. Так мы соскучились за полгода по ним. А однажды там же, в боях подо Ржевом, мне приснился страшный сон. Будто по зеленому лугу нейтральной полосы, что располагалась между нами и немцами, в нашу сторону движется большая толпа женщин и детей в разноцветных одеждах. Все чем-то приятно возбуждены, веселые, радостные. Ребятишки выбегают вперед, и вот они уже на нашем минном поле, а немцы открывают по толпе сильный пулеметный огонь. Толпа заметалась, послышались истошные женские крики, детский плач. «Ложись!» — закричал я в ужасе и проснулся от собственного голоса. Как же я возрадовался, когда понял, что все это происходило во сне!

В штабной комнате мы с моим замполитом и начальником штаба не спеша пообедали. Ели за столом, покрытым скатертью, из хозяйских тарелок, как когда-то дома. Мне это непривычно: и котелок не надо зажимать меж коленей, и не надо беспокоиться, что вот сейчас сыпанет тебе в котелок земля с бруствера. По тому, как наши люди свободно пользовались хозяйской утварью, я понял, что отношения у них с домочадцами хорошие. Ко мне было проявлено особенно трогательное внимание. Это всегда так, когда мы, мокрые, грязные и голодные, приходим с передовой в сравнительно уютные, сухие и теплые «апартаменты» тыловиков. У них совсем иная жизнь. У нас все дни одинаковые: бои да бои. Мы ни праздников не знаем, ни дней недели. Они же знакомства с местными девушками заводят, пирушки, танцы организуют. Вот и под Гантом. Если подарят нам немцы на горе Вертеш свободный от обстрела час-другой, только и развлечения у нас, что наблюдать за диким козлом. Этот могучий красавец с большими загнутыми назад рогами появляется всегда внезапно и неизвестно откуда, вскакивает на свое излюбленное место — самую высокую скалу вершины и, как вкопанный, напрягшись всем телом, предельно подавшись вперед, неподвижно стоит в застывшей грациозной позе. Гордо вскинув мудрую, как у пожилого человека, бородатую голову и устремив острый взор далеко-далеко вперед, в расположение немцев, он будто внимательно изучает позиции противника.

— Как чует, что обстрела не будет, — удивлялся Коренной.

— И чего это он там высматривает? — не отрываясь от телефонной трубки, лопочет про себя молоденький Штанский.

— Может, у него коза осталась там, за линией фронта? — серьезно отвечал Коренной.

И, что интересно, никто никогда не стрельнул в сторону козла, даже от нечего делать. Ни наши, ни немцы. Они, наверное, тоже за ним наблюдали. А козел мог часами так стоять неподвижно.

— Козел стоит — значит, обстрела не будет, — уверенно говорили бойцы.

Да, искренне завидовал я своим тыловикам: у нас козел — у них девушки.

###### \* \* \*

После обеда у меня еще было с полчаса времени до отъезда. В комнате я остался один. Походил во весь рост по полу туда-сюда — поразмялся на свободе. Вижу, в кресле газеты лежат. Сел на мягкое сиденье и стал читать «Правду». Давно я не испытывал такого блаженства: намытый, после обеда, да в кресле, да еще и газету развернуть!

Вдруг в комнату вкрадчиво постучали. На пороге появилась неимоверной красоты девушка. Видимо, это была дочь хозяина мельницы. Она сделала небольшой реверанс в мою сторону, поздоровалась по-немецки и неторопливо прошла в одну из внутренних комнат. Я продолжал взирать в газету, но уже совсем не вникал в читаемое. Облик девушки вызвал у меня такое волнение, что я только и ждал, когда же она вернется, чтобы еще хоть раз взглянуть на нее. Через несколько минут Мария, как, позже я узнал, зовут девушку, вошла в комнату, сказала опять по-немецки что-то извиняющееся и принялась вытирать пыль на картинах и фотографиях на противоположной от меня стене. Была она в домашней обуви и легком цветастом халатике. Теперь я уже смотрел не в газету — больше прикрывался ею, а на красиво изгибавшуюся спину девушки. Ни я, ни она заговорить не решались. Временами она украдкой косила глазом в мою сторону. Видимо, ей было уже известно, что пришел молодой офицер, старший начальник над обитавшими здесь русскими, и ей было интересно его рассмотреть. Поверх газеты я видел, как она поднимается на цыпочки, чтобы дотянуться до верхней части киота, как обнажаются из-под легкого домашнего платья круглые ямочки под коленями. Мне, привыкшему видеть только замызганные стеганые ватные брюки солдат, обнаженные девичьи ноги показались сновидением.

Мария еще несколько раз прошла через комнату, я уже привык видеть ее и снова углубился в газету. Читал я в «Правде» басню Михалкова «Бобер и лиса» и невольно улыбался прочитанному. Мария уловила это и тут же спросила:

— Капитен, варум зи ляхен?

— Смешно, вот и улыбаюсь, — ответил я по-немецки. Между прочим, с венграми мы общались только по-немецки и понимали их лучше, чем немцев.

— Разве в газете может печататься что-то смешное? Там одна политика, — недоумевала мадьярка.

— Бывает и смешное, — ответил я и попытался пересказать ей содержание басни, но как сказать по-немецки «бобер», я не знал.

Ничего не поняв из моей попытки рассказать содержание басни, она спросила:

— Что же это все-таки такое?

— По-русски это называется «басня».

Красивые карие глаза Марии внезапно расширились, она вскочила со стула, раскрыла рот, резко вдохнула в себя воздух, потом присела, схватилась руками за то место, где должен быть живот, громко, до слез расхохоталась и, не сказав ни слова, выбежала из комнаты.

Обескураженный, я смотрел ей вслед, не понимая, что случилось. Содержание басни она не поняла. Ее привело в исступление само слово «басня». Настроение у меня испортилось, и я пожалел о случившемся. Да и времени на общение с девушкой у меня оставалось мало.

Не успел снова углубиться в газету, как на пороге опять появилась Мария. Как ни в чем не бывало, молча прошла через комнату, увлекая за собой не менее красивую, чем сама, подружку. Через пару минут девушки вернулись в комнату, и Мария спросила:

— Капитан, что это вы только что читали?

Я насторожился и попытался снова пересказать содержание басни.

— Нет! — перебила меня Мария. — Как это называется?

— Басня, — отчетливо произнес я, сознательно подыгрывая Марии.

Девушкам только того и надо было — обе громко рассмеялись и убежали из комнаты. Тут входит хозяин мельницы. Он воевал на Восточном фронте, инвалид после ранения, полученного в боях с нашими войсками, хорошо понимает по-русски.

— Иосиф, что означает по-мадьярски «басня»?

— Тише, тише, не кричи! — замахал руками Иосиф, перекосив лицо от испуга. Немного успокоившись, он сказал, что это сильное женское ругательство, и для убедительности показал ладонью ниже живота.

Еще через несколько минут девушки зашли в комнату с капитаном Советовым, начальником штаба моего дивизиона. Посмеявшись над только что слупившимся языковым чудом, мы вчетвером начали болтать на самые разные темы. Нам было так хорошо, что мы забыли о войне и о всех связанных с нею заботах.

И тут, в самый разгар веселья, я услышал отдаленный гул артиллерийской стрельбы. Он несся со стороны наших передовых позиций и усиливался с каждой секундой. Я насторожился. Веселье мгновенно слетело с моего лица. Мое беспокойство передалось и девушкам. Они тоже перестали смеяться. Неимоверная досада на только что прогремевшие вдали артиллерийские раскаты, так внезапно прервавшие наше веселье, и откровенная жалость ко мне, кого эти звуки больше всего обеспокоили, отразились на лицах девушек. Все мы так одинаково и так печально-едино восприняли эту помеху нашему общению, что, казалось, между нами нет никакого языкового, национального, социально-классового барьера — есть лишь одна общая эмоциональная близость молодых людей.

Я извинился перед девушками, быстро накинул на плечи шинель и выбежал на улицу. Вскочил в стоявшие наготове санки, и кони помчали нас с ездовым Диденко на передовую, к деревушке Гант.

###### Огненная скачка

Резкий, холодный ветер шумел в ушах, но он никак не мог охладить пожара страшного беспокойства, распиравшего мою голову. Все! — думал я, немцы узнали про стык и решили нанести удар. Здесь, в тылу и неведении, мне стало так страшно, как ни разу не было страшно в бою. Главное — я был далеко в тылу! Не мог вмешаться в грянувший бой, чтобы повлиять на его ход — конечно же, в нашу пользу!

Мы приближались к хребту. Раскаты канонады усиливались, стали хорошо просматриваться поднимавшиеся к небу из-за горы клубы черного дыма. И все же холодный встречный ветер несколько охладил меня, жуткие мысли и обескураживающие страхи попритихли, и я стал думать, каким образом быстрее попасть в Гант. Чтобы перебраться через хребет пешком, потребуется сорок минут. За это время и бой закончится! Да без моего присутствия — еще и нашим поражением! Можно, конечно, попасть и за пять минут, если проскочить сквозь хребет через «ворота» — разрыв в хребте, он уже виден справа, туда скоро свернет дорога. Но это риск — четыреста метров вдоль передовой на виду у немцев. И я решился. Дело к вечеру, уже смеркается, кони у меня белые, на снежном фоне их почти не видно, немцы не сразу нас заметят, а пока спохватятся, мы на полном скаку успеем проскочить опасное место. Иначе опоздаю, и все пропало.

— Диденко! Гони направо и вперед по дороге! — даю команду ездовому.

И кони помчали нас к передовой! Выскакиваем из расщелины, на полном скаку круто сворачиваем налево и мчимся вдоль передовой. Рядом справа — окопы нашей пехоты, а чуть подальше, в пятистах метрах за лощиной, — немецкие. Но взгляд налево чуть не ввел меня в шоковое состояние: отвесная скала вовсе не была покрыта снегом! Она была первозданно обнажена — черна, как китайская тушь! И наши белые кони проецировались на ней, как сказочные паруса!

А немцы не дремали. Ровно в шестнадцать часов немецкий пулеметчик заступил на боевое дежурство. Он привычно осмотрел передний край русских и не нашел ничего нового. Бой шел справа, в районе Ганта, артиллерия и минометы наносили удар по переднему краю русских — деревушка Гант и склоны хребта скрылись в клубах дыма. Приближались сумерки, остатками пулеметной ленты немец виртуозно выбил музыкальный ритм и зарядил пулемет трассирующими пулями.

После теплого блиндажа и горячего кофе ему не терпелось поразмяться, пострелять. Но цели, как на грех, не появлялись. Он еще раз тоскливо осмотрел поверх пулемета пустынный передний край русских и уже собрался пробежаться по траншее, как вдруг, к великому своему удивлению, увидел, как из расщелины хребта выскочила пароконная русская повозка, свернула вправо и помчалась вдоль передовой к Ганту. На фоне темной скалы белые кони были видны — лучше не надо! Словно охотник, выследивший долгожданную дичь, немец неимоверно обрадовался! Кровь прилила к лицу, руки мертвой хваткой вцепились в пулемет. Переставив прицел на пятьсот метров, немец вжался в пулемет и дал длинную очередь по лошадям нахальных русских. Еще не окоченевшие от холода руки твердо держали тело адской машины. Но что за проклятие! Огненная трасса уперлась в белые животы скачущих коней, а санки, как ни в чем не бывало, продолжают мчаться к Ганту! Не понимая, в чем дело, он взял на прицел головы одного, потом второго седока — и опять неудача! Такого с ним еще не бывало! Обозленный, он всадил длинную очередь в тело левого русского. Но пули опять-таки пошли ниже, попали в сиденье, и санки со скачущими белыми конями через секунды исчезли в Ганте.

Так виделась наша скачка со стороны стрелявшего в нас немца. А что же испытали мы с Диденко на этом четырехсотметровом отрезке пути под непрерывным огнем пулемета? Справившись с крутым поворотом, кони тут же рванули вперед. И не потому, что их понуждал к тому ездовой. Через вожжи, которые держал в трясущихся руках Диденко, кони ощутили состояние своего хозяина. Им мгновенно передалось его волнение. А я, с замиранием сердца, ежесекундно ожидая обстрела, устремил взгляд на заснеженные немецкие позиции. И точно! Из потемневшего леса со скоростью броска кобры взметнулась стремительная огненная струя. В одно мгновение преодолев полкилометровое пространство, она настигла наши санки и упруго воткнулась в пространство между передними и задними ногами лошадей. Перемещаясь вместе со скачущими конями, она повисла под их животами, совершенно не касаясь их мелькавших в снежной пыли ног. Стоило ей хотя бы чуть-чуть отстать или опередить коней, как тут же мелькавшие с неимоверной скоростью копыта пересекли бы ее, превратившись в кровавые култышки, а весь наш возок полетел бы вверх тормашками под откос, на радость немецкому пулеметчику. Но этого, к нашему счастью, не случилось.

— Ну и твердая рука у фашиста, — искренно похвалил я немецкого пулеметчика, — надо же так точно перемещать тело пулемета вслед скачущим коням.

Как завороженный, затаив дыхание, чтобы не спугнуть происходящее, я смотрел на зловещую струю. На какое-то мгновение она померкла в снежной пыли и появилась вновь, повиснув теперь уже между хвостами коней и ездовым Диденко. Тот отклонился, насколько мог, назад ко мне, боясь вместе с санками наехать на смертельную красоту. Однако и в этом положении красная струя держалась недолго. Послышался страшный треск — и облучок, на котором ездовые обычно держат вожжи, в мгновение ока разлетелся в щепки. Этот хруст и треск показали, какая адская сила несется вдоль красивой алой нити! А кони, храпя, разбрасывая хлопья белой пены, припустили еще быстрее. Изредка мне был виден красный, косивший в сторону немцев глаз правой лошади. И вдруг струя огня, перескочив Диденко, упруго повисла между ездовым и мною. Я вжался в сиденье и до предела отвел голову назад, отклониться сильнее мне не давала спинка повозки. Но струя, послушная злой воле, упрямо перемещалась вслед за моею головой, как будто ко мне ее тянул сильный магнит. Пули неслись в сантиметре от моей переносицы. К своему удивлению, сквозь стук копыт и храп коней я уловил, что струя не только ярко светит — но и громко шипит! Шипит, как тысяча змей! А когда она приблизилась к моим глазам еще теснее, меня обдало ветром, и глаза стали с дикой болью выламываться из орбит. От страха я зажмурился и на какое-то время потерял сознание. Очнулся от сильного грохота — сноп пуль вырвал из-под меня сиденье, и я опять в обмороке, задрав ноги, полетел вниз, в образовавшуюся дыру. Тут мы влетели в деревню, и замелькавшие справа строения прикрыли нас от немецкого аса-пулеметчика. Обстрел прекратился. А полыхавший в огне Гант показался нам — спасением!

Сорок лет не могу забыть ту огненную скачку, и сегодня — пишу, а буквы скачут и сами собой меняются местами. А ведь длилась та скачка всего полминуты, может, сорок секунд — не более! Но нам эти секунды казались нескончаемой вечностью!

Позже, анализируя случившееся, я понял, почему пули не попадали в нас. В наступивших сумерках немец плохо видел мушку и наводил пулемет на коней и наши с ездовым головы не по мушке, а по огненной трассе своих пуль. Вершина светящейся траектории виделась ему на брюхе правой лошади, но сами пули в хвосте трассы опускались вниз и проскакивали под животами коней. Рука у фашиста была твердая, и он точно удерживал вершинку огненной траектории на животах лошадей и на наших головах, хотя мы неслись по дороге во весь опор. Но, к его удивлению, целей не поражал. Озверев от неудачи, фашист рубанул по моему туловищу — и опять не достиг цели.

Какие же добрые силы отводили от нас пули? Этими силами были ураганный попутный ветер и сила тяжести. Сильнейший ветер дул нам в спину по низине хребта. Пули на излете, за вершиной траектории, сносились на каких-то пять сантиметров вперед-вниз от наших голов. Немец этого не учел. И мы остались живы. А немец-пулеметчик посчитал нас, наверное, не иначе как заколдованными — кого и пули не берут!

###### «Спасибо тебе, что выручил!»

12 февраля 88-тысячная группировка немцев, окруженная в Будапеште, была ликвидирована. А нас продолжали держать в обороне. Стоявшие против нас венгерские войска по приказу немцев каждый день атаковали наши позиции. Рано утром на моих глазах выставляют на окраине села пяток станковых пулеметов, ложатся в цепь и по команде вскакивают, чтобы бежать на нашу оборону в атаку. Делаю по ним артиллерийский напет, и они в дыму разрывов отползают в деревню. Если бы они добежали до нашей опушки леса, то беспрепятственно пошли бы в глубь нашей обороны, биться с ними у нас было некому. У меня в домике лесника три связиста, и у комбата Морозова всего двое солдат, да еще перед домиком лежит боец с ручным пулеметом. Больше вправо и влево на видимость глаза никого нет.

Попробовав, лениво и безрезультатно, на нас наступать, венгры стали целыми подразделениями сдаваться в плен: идут к нам строем, с оружием, во главе офицер. У нас уже и сопровождать их в свой тыл некому, а они все переходят и переходят нейтралку. Вот идет очередной взвод венгров. Морозов сам выскакивает в окно и бежит к ним навстречу. Грубо отбирает автомат у офицера. Тот оскорблен, дает команду, солдаты окружают Морозова, хватают за руки, и все вместе ведут пленного комбата к себе в деревню. Я не растерялся: положил четыре снаряда перед венграми. Мощные разрывы бросили их на землю. Они поняли, что путь к себе им прегражден. Вскочили, построились, и уже Морозов ведет их в свой плен.

Разоружив и передав венгров своему конвойному, Морозов, бледный, как лист бумаги, вскочил обратно ко мне в окно и повалился без чувств на тахту.

Когда пришел в себя, крепко выругался и сказал:

— Ничего себе — в конце войны попасть в плен! Спасибо тебе, что выручил!

###### Девочка с простреленной ладошкой

Итак, германское наступление на советские войска в районе озера Балатон было остановлено. 16 марта мы перешли в наступление западнее Будапешта. С боями захватили города Бокод, Дад, Коч, Моча. Город Коч знаменит тем, что там впервые в мире появились кучера — ездовые, которые сидят на скамеечках в передке повозки.

То, о чем я хочу рассказать, случилось где-то между городками Дад и Коч, западнее Дуная. Стоял март сорок пятого. Было уже по-весеннему тепло, но дожди шли прохладные. Мы наступали вдоль магистрали, идущей на север. Слева от дороги стоял одинокий фермерский домик с дворовыми постройками. Немцы отступали стремительно; вслед за ними, не останавливаясь, быстро бежали и мы. Пробежали и мимо этого домика. Но через пару километров немцы заскочили в заранее оборудованные окопы и встретили нас огнем. Мы вынуждены были остановиться и залечь. Я приказал по телефону подтянуть поближе к нам все три батареи своего дивизиона. Гаубичная батарея остановилась как раз возле упомянутого мною домика. Там же расположился мой штаб с тылами и кухней. По всему было видно, что до следующего утра мы никуда не двинемся, нет у нас сил, чтобы сбить немцев.

Звонит старшина Макуха:

— Где ставить кухню управления дивизиона?

Я посоветовал укрыть кухню от дождя в том самом домике.

— В домике находиться невозможно, — отвечает старшина, — тут в сенях и комнатах полно обезображенных трупов.

— Убери их и занимай помещения! Что ты, впервые убитых видишь?!

— Я лучше под дождем, в затишке у задней стенки дома притулю кухню, а трупы трогать не буду. Вы не представляете, что тут делается.

Обстановка у нас на передовой окончательно прояснилась: немцы на ночь глядя дальше отступать не собирались — придется и нам с пехотой окапываться где залегли. Я решил сбегать в свои тылы посмотреть, что же это за трупы такие, что бывалый старшина боится их касаться. Явно какая-то диковина стряслась, да и старшину надо приструнить.

Домик этот находился глубоко в тылу у немцев, когда мы сбили их с очередного рубежа обороны. Было это ранним утром, и убегавшие от нас фашисты заглянуть в домик не успели. Скорее всего там поразбойничали вчера или сегодня ночью немецкие тыловики, наверное эсэсовцы.

Оставив за себя на наблюдательном пункте командира подручной батареи, я сначала отполз, потом короткими перебежками переместился в низину, а дальше пошел пешком во весь рост к злополучному домику. Подхожу к усадьбе, меня встречает старшина. Кухня дымится под дождем. На мокрой земле лежат продукты.

— Ну и чего ты тут мокнешь? Трупов испугался? — взыскательно говорю старшине.

— А вы сами посмотрите, — не сдается Макуха. Шустрый бывший колхозный бригадир, лет на десять старше меня, ему уже за тридцать, всякого повидал на своем веку, да и на войне не первый год, его трудно чем-то удивить.

Захожу в сени. Четыре по пояс обнаженных мужских трупа расшвыряны по полу. Средних лет и молодые мужчины в гражданских брюках сплошь изуродованы кинжалами, весь пол залит загустевшей и уже почерневшей кровью. В комнатах еще пять трупов в таком же состоянии. Да, подумал я, возиться в этом кровавом месиве никому не захочется.

Выходим во двор, берусь за ручку дощатой двери приземистого шалашика-погребца:

— Ну, а сюда-то ты мог сложить продукты, чтобы не мокли под дождем? — продолжаю начальственный напор, открывая шалашик.

Дверца распахнулась, и нашим глазам предстала еще более ужасающая картина. В полумраке мы увидели обнаженные колени лежавшей на спине изнасилованной женщины. Во лбу и оголенной груди зияло несколько пулевых ранений. Стремясь побыстрее избавиться от чудовищного зрелища, я быстро прикрыл дверцу. Но когда дверца почти закрылась, мне показалось, что за ней что-то шевельнулось. Я заглянул внутрь в сторону движения. От моей головы отшатнулось и спряталось в темноту угла детское тельце. Девочка лет двух сидела слева от матери, оттопырив в сторону повернутую вверх ладошку. Середина ее была темно-красной. Говоря успокаивающие ласковые слова, я попытался взять девочку на руки. Но она тут же стала пугливо и настойчиво прятаться, забиваясь все дальше в угол. Когда я все же вытащил девочку наружу, то увидел простреленную насквозь ладошку и застывший страх в ее широко открытых глазах. Значит, насильники расстреляли женщину и выстрелили в сидящего рядом ребенка. Видно, девочка успела ускользнуть за притолоку, и пуля попала в ладошку.

Поднял ребенка, держу на руках и не знаю, что с ним делать. Как, куда определить сироту? В домике нет ни одной живой души. И населенных пунктов поблизости нет. Городок Дад, в котором располагается штаб нашего полка, километрах в десяти позади нас. Пока перевязывал девочке ладошку, пришел посыльный из штаба полка. Помню его фамилию — Копейкин. Передал девочку на руки Копейкину и сказал:

— Девочку отнесешь в Дад, отдашь кому-нибудь из местных жителей.

— А если не возьмут?

— Посади на стол в каком-нибудь побогаче домике и уходи. Пусть они о ней заботятся, она же мадьярка. Нам, к сожалению, девать ее некуда.

На следующий день мы все же выбили немцев из траншеи. К счастью, на гаубичную батарею подвезли бризантные снаряды.

В ходе дальнейшего наступления мы освободили на той же трассе точно такой же домик, как недавно нами покинутый. В нем проживали две пожилые женщины. На моем плохом немецком я все же выяснил, кто проживал в том злополучном доме. Оказалось, там жил местный фермер с женой и маленькой дочкой. У него проживало несколько русских пленных. Как они попали к фермеру, старушки не знали. Но фермер кормил их, а они на него работали.

Так и осталось для нас загадкой, что за трагедия разыгралась той ночью, перед самым нашим приходом, в домике у дороги. Мы увидели лишь тела десяти зверски убитых и изуродованных людей и девочку с простреленной ладошкой.

###### Решило мгновение

Город Комаром на Дунае мы взяли с ходу, вернее, с бегу. Мы буквально вбежали вместе с отступавшими немцами в улицы города. Стреляли друг в друга на бегу, но так как они вынуждены были оборачиваться, а мы строчили из автоматов вперед, то у нас получалось прицельнее. Когда добежавшие до реки немцы бросились в воду, мы продолжали по ним стрелять, как в кинокартине «Чапаев» стреляли беляки по уплывавшему вместе со своими красноармейцами Чапаеву. Редко кому из немцев удалось доплыть до левого берега Дуная, к чешскому городу Комарно.

Стало быть, город Комаром мы заняли с ходу и понеслись на Вену. Но тут нам встретился небольшой венгерский городок Дьер, который немцы хорошо укрепили и решили стойко оборонять. У них — полного профиля траншеи, пулеметы и пушки на прямой наводке, все хорошо замаскировано. А у нас, как обычно: остатки стрелкового полка, сведенные в батальон «неубиваемого» Морозова, да мой артдивизион из трех батарей. Ни танков, ни пушек нам дополнительно не дали.

Ранним утром 30 марта, за полчаса до атаки, ко мне обратился Морозов:

— Спасибо тебе, что своими пушками помог мне Комаром взять. Теперь, будь другом, помоги с Дьером, без тебя не сумеем одолеть.

Привык Иван рядом толкового артиллериста иметь. Что ж, чего не сделаешь ради старого друга — и в огонь вместе с ним побежишь.

Итак, усиленный пушками батальон Морозова готов к атаке, и я, как в былые времена, нахожусь рядом с ним, только теперь у меня не одна, а три батареи. Орудия прямой наводки и пулеметы врага я своими снарядами уже уничтожил. Следующий артналет — по немецкой траншее. Сделано! И пехота Морозова поднимается и бежит вперед. Бежим в центре атакующей цепи и мы с комбатом. Тут открывает огонь уцелевший вражеский пулемет. Короткая команда телефонисту, он поспешает вместе со мною, и прилетевшие снаряды уничтожают огневую точку. До немецкой траншеи остается метров двести, переношу огонь с траншеи дальше, на крайние домики. Немцы не выдерживают нашего натиска — оставшиеся в живых выскакивают из траншеи и бегут в глубь своей обороны. С флангов их косят наши станковые пулеметы и ружейно-автоматный огонь атакующих солдат.

Мы с Морозовым иногда вырываемся метров на сорок вперед, чтобы солдаты видели нас и не мешкали. От меня не отстают разведчик Карпов и связист Штанский. Катушка кабеля разматывается с плеча телефониста, и я могу в любую секунду вызвать огонь своих батарей. Между нами и отступающими немцами расстояние сократилось до ста метров. Стрелять по ним снарядами опасно: осколки будут своих поражать. Между тем немецкая пехота миновала какие-то нарытости грунта. Оказалось, это зарытые в землю вражеские зенитные пушки. Их шесть штук, расстояние между ними метров по тридцать. Из-за брустверов окопов торчат только их тонкие, как ломы, орудийные стволы. Мы их не сразу заметили, да и не сообразили, что это зенитки. Но вот они в упор ударили по нашей наступающей цепи. Сильный и частый треск автоматических пушек сначала испугал нас. Но наступательный порыв был настолько велик, что мы продолжали дружно бежать вперед. Снаряды у этих пушек маленькие, с небольшую морковку, при стрельбе по низко летящим самолетам они очень эффективны, а вот по пехоте — не очень. Взрываются эти снарядики только при ударе о препятствие, и мы не видим их поражающего действия: они пролетают между нами, изредка взрываются у ног, не повреждая даже сапог. От частой стрельбы зениток упали всего только два или три из наших пехотинцев. Я поразить зенитки снарядами не могу: по своим попадешь. Продолжаем неистово бежать прямо на стреляющие в нас малокалиберные пушки. Когда до пушек остается метров сорок, зенитчики не выдерживают и, соскакивая с сидений, бросаются бежать вслед за своей пехотой.

Нам захотелось из немецких пушек ударить по их хозяевам! Самые быстрые из нас — Морозов, я, мой разведчик Карпов и еще какой-то молодой пехотинец — вырвались вперед и устремились к брошенным немцами пушкам. Мне пришлось бежать немного наискосок, поэтому пехотинец опередил меня. Но мы, все четверо, почти одновременно вскочили в сиденья наводчиков. Я быстро развернул пушку на сто восемьдесят градусов, ухватился за рукоятки турели — а на что нажать, чтобы выстрелить, никак не найду! Нет нигде спуска у рукояток, и все! Потом догадался взглянуть под ноги и увидел педаль под правой ногой, с которой от частого нажима немецкого сапога стерлась заводская краска. Обрадовался несказанно! Нацеливаю ствол в спины убегающих хозяев пушек — и только в нетерпении занес ногу над педалью, чтобы поскорее нажать на спуск, как справа раздался оглушительный взрыв, и вся соседняя зенитка окуталась черным дымом. Меня будто молнией пронзило — в мгновение понял, что пушки заминированы, и моя нога, готовая нажать на педаль, автоматически подскочила и замерла. Смертельный ужас охватил меня, на лбу выступил пот, рот приоткрылся, глотаю воздух!.. Поднял глаза, чтобы еще раз взглянуть на соседнюю пушку, а на ее месте — ничего! В следующий миг мое внимание привлек приоткрытый металлический кармашек на броневом щитке пушки: из него торчал уголок тротиловой шашки. Вот она — смерть, приготовленная и мне! Вгорячах выхватил спрятанный в кармашке брусок тола и отбросил его подальше в сторону. Страх от только что пронесшейся надо мною смерти не отпускал, никак не могу успокоиться. Хотя эти переживания длились всего несколько секунд, еще не успели скрыться за домами немецкие зенитчики, а мне казалось, что минула целая вечность. Для нервной разрядки выпускаю по убегающим фашистам длинную очередь из зенитки. И только после всего этого до меня доходит, что своею жизнью я обязан молодому резвому пехотинцу, который опередил меня на десятую долю секунды, буквально за мгновение до меня нажал на роковую педаль. И погиб. Взлетел на воздух вместе с заминированной пушкой. А я остался жив. С горечью посмотрел я еще раз на пустое место, где только что стояла пушка и на месте наводчика сидел молодой пехотинец. Вечная память тому парнишке. Кто-кто, а уж я-то никогда его не забуду. Хоть я и не повинен в его погибели, но получилось так, что своей смертью он спас нас с комбатом и моего разведчика, мы задержали роковое движение и остались живы. Опереди его я, он бы жив остался. Может, и ненадолго, всего до следующей атаки.

А Дьер мы взяли. Удивились: как это так, к чистой окраинной улице городка сразу же примыкает такое же чистое поле озимой пшеницы — и никакого хлама, мусора у крайних домиков! Но особо любоваться было некогда, вслед за убегавшими немцами мы помчались дальше — на Вену.

### Глава двадцатая

### Комбат — это командир батальона

Я преклоняюсь перед фронтовиками, партизанами и тружениками тыла. Все они внесли свой посильный и непосильный вклад в нашу Победу. Тяжело, опасно и страшно было воевать, работать и жить. Многие, очень многие погибли на войне, отдали свою жизнь ради победы над фашизмом. Все мы перед ними в неоплатном долгу.

И все же среди воевавших на первое место я всегда ставлю тех, кто поднимался под пули врага в атаку. С чем можно сравнить тот миг, когда человек, готовый расстаться с жизнью, преодолевая страх, поднимается с земли под пули и осколки, вскакивает, чтобы бежать по пространству, насквозь пронизанному смертоносным металлом? И все это происходит в страшном грохоте, шуме, визге, трескотне и шипении. Стонут умирающие, детскими голосами кричат солдаты-малолетки. Страшно, а подниматься с земли под пули надо. Товарищи твои уже поднимаются. Не поднимешься, испугаешься — поднимут силой, а то и пристрелят как труса и предателя.

А если с первого раза атака не удалась, не добежали до немецкой траншеи, более половины погибло, остальные один за одним уткнулись в землю, кто ранен, а кто и невредим, живые отползают назад, на исходные позиции и, отдышавшись, снова поднимаются в атаку. Но теперь страшно не только оторваться от земли, страшно бежать по полю, усеянному телами твоих же павших товарищей. Припал к земле после перебежки и утыкаешься в эти еще не остывшие тела, снова вскакиваешь и снова сломя голову несешься вперед. Надо, пока тебя не убило, успеть добежать до заветной цели — немецкой траншеи. А там тебя тоже не в объятия берут, а штыком встречают, автоматной очередью. Надо еще успеть первым выстрелить, ударить прикладом, суметь увернуться от пули, штыка противника. И если тебе еще раз повезет и ты не окажешься на дне траншеи среди убитых и раненых, по которым топчутся сапогами бьющиеся не на жизнь, а на смерть озверевшие враги, да если ты, наконец, осилишь противника, завладеешь его траншеей — дело будет сделано!

Маршал Жуков, самый бывалый из всех солдат войны, так сказал в семидесятом году в интервью журналисту Пескову: «С командного пункта я много раз видел, как молодые солдаты поднимаются в атаку. Это страшная минута: подняться в рост, когда смертоносным металлом пронизан воздух. И они поднимались… впереди был только немецкий блиндаж, извергавший пулеметный огонь».

Обычно солдаты, услыхав призывное, страшное, зловещее и угрожающее слово командира «Вперед!», вскакивали с земли и бежали под пули на немцев. Но бывало и так: командир подал команду, одиночки вскочили, их скосила пулеметная очередь, остальные медлят, лежат, не поднимаются. Тогда командир бежит с поднятым вверх пистолетом вдоль цепи, надрывается, кричит, угрожает, призывает, а то и хватает за шиворот, поднимает одного, другого и бежит вместе с ними вперед.

Да, трудно солдату подняться и бежать под пули в атаку. Но еще труднее командиру поднять людей на смерть, когда он в полный рост мечется по цепи в смертоносном пространстве, не думая о собственной жизни. Командиры взводов, да и рот, гибнут вместе с бегущими рядом солдатами в первой же или во второй атаке: кому как повезет. Часто гибнет и командир батальона. И тогда оставшийся в живых счастливчик — один из трех командиров рот, а то и взводный, берет командование батальоном на себя и продолжает атаку. Он сам себя провозгласил комбатом и будет им, пока его не убьет. Поднимать других в атаку — это пострашнее, чем самому подняться, да к тому же это еще и ответственность — и не только перед теми, кого поднимаешь, но и перед начальством и перед законом.

Как артиллерист, связанный телефонным кабелем с далеко стоящей в тылу батареей, я поддерживал пехоту огнем своих орудий во время атаки. При подготовке к атаке я лежу на земле рядом с комбатом, жадно выискиваю цели у немцев и своими снарядами уничтожаю их. Потом вместе со своим телефонистом бегу в рядах атакующих. Я не стреляю из автомата, как они, а во все глаза смотрю на немецкую оборону. Замечу пулемет, на несколько секунд задержусь: связь уже готова, телефонист подключил аппарат, подаю команду на батарею, и мои снаряды крушат немецкий пулемет. Комбат тоже ищет стреляющие огневые точки врага. Как только заметит, сразу показывает мне, и я уничтожаю зловредных носителей смерти. Комбату нравится, когда артиллерист у него под боком. Защищенно чувствуют себя и пехотинцы, когда я рядом. Другие же артиллеристы, в соответствии с уставом, обычно устраиваются где-нибудь повыше, на пригорке, позади пехоты. Они тоже выискивают цели и тоже уничтожают их. Но такому поддерживающему батальонный не сможет показать рукой обнаружившую себя стрельбою цель, она быстро умолкает и снова не видна. А по телефону никогда не успеешь да и не сумеешь указать огневую точку. Безусловно, с точки зрения личной безопасности мне выгоднее было бы находиться сзади батальона, а не рядом с комбатом. Но так уж я привык воевать, потому комбаты всегда и бились за меня перед начальством. Каждому хотелось, чтобы его поддерживал именно я.

Командование обычно направляло меня к тому комбату, который идет в авангарде дивизии. А таких из девяти выделялось только двое, оба они из стрелковых полков. Это капитан Абаев и старший лейтенант Морозов. Самые опытные, самые удачливые и самые живучие комбаты. Обоим по тридцать, оба храбрые, самостоятельные, осмотрительные, тактически грамотные, с творческой жилкой. При средней продолжительности жизни комбата на войне — неделю, от силы — месяц, эти воюют более года. На них вся оперативная жизнь дивизии держится.

Высокий, сухощавый, жилистый, с маленькими усиками на узком, суровом, аскетическом лице Абаев — родом скорее всего из Азербайджана. Горяч, упрям, высокомерен, но въедлив и исполнителен: сказал — сделает! Его долго держали на взводе, затем роте, хотя он из довоенных кадровых офицеров. Наверное, из-за характера: излишней, как считает начальство, самостоятельности и обостренного чувства справедливости. Только к тридцати годам, на войне, он получил батальон.

Морозов — полная противоположность Абаеву. В жизни медлителен, каблуками не щелкает, но в бою как подменяют его: мечется среди бойцов как угорелый — мертвого в атаку поднимет! Он — не кадровый офицер, из запасников, бывший агроном. Хороший организатор, уверенный в себе человек и знающий себе цену. С подчиненными демократичен, но ослушания не терпит. Он сибиряк. Высок, плечист, ему бы на медведя ходить. Блондин, круглолиц, курнос и улыбчив. Ум острый, искрометный. С юмором. Морозов не заявит командиру полка или генералу: «Не дадите мне в поддержку Михина, воевать не буду!» — как требует Абаев. Но своими способами все равно добьется, чтобы в сложной боевой обстановке поддерживал его именно я.

Оба комбата схожи не только смелостью, упорством, полководческим талантом и человечностью. Никто из них даром ни одного солдата не потеряет. Самыми существенными и как бы выпирающими наружу чертами характера каждого являются самостоятельность и независимость. Ни тот, ни другой не потерпят вмешательства начальства в процесс подготовки и решения боевой задачи. Начальству это не нравится, а потому их более года ни в должности, ни в звании не повышают да и награждать забывают, хотя на них только и выезжает всегда дивизия.

Я — моложе обоих комбатов на целых восемь лет, но тоже «неубиваемый». Более года вместе с ними воюю. Со мною они — как за каменной стеной. Всегда артиллерийским огнем их выручу — быстро и точно. Тут не только боевой опыт сказывается. У меня же математическое образование. Но, как бывшего студента, а значит, вольнодумца, меня начальство тоже не жалует, хотя я дисциплинирован, в бою удачлив, постоянно на передовой и снаряды в цель, как рукой, кладу. Как к самому молодому начальники частенько обращаются ко мне ласково-просительно: «Петя, пушку видишь? Стукни по ней!» Или: «Петя, соседей танки атакуют, бегом туда, накрой их своими снарядами, а то они сами не справятся».

Если бы в полках все комбаты были такими, как Морозов с Абаевым, мы бы давно немцев на лопатки положили. Беда других комбатов в том, что они быстро выходят из строя: их или убивает, или ранит. Не успевают они опыт обрести. Но это не их вина. Живучесть каждого из нас всевышним определялась. Сколько этих комбатов сменилось! И не упомнишь всех. А ведь многих из них я так же огнем батареи поддерживал, так же тесно взаимодействовал с ними. До боли в сердце переживал за них, когда они вскакивали с земли и в кромешный ад бежали поднимать солдат в атаку. Многие тут же погибали. Иные держались днями.

Как ни умело воевали Морозов и Абаев, как ни старались они сохранить своих солдат в бою, теряли людей и они. И их батальоны таяли на глазах. Тем более что на долю этих батальонов выпадали самые трудные и опасные боевые задачи. И вот, когда в ротных цепях из двухсот пятидесяти оставалось тридцать-сорок бойцов, им давали пополнение, попросту сводили полк в батальон Абаева или Морозова. А иногда и вся дивизия обескровливалась настолько, что боевые остатки всей дивизии собирали в один батальон да еще и тыловиками пополняли. И — «Морозов, вперед!». Ну а я со своей батареей тут как тут. У меня гибли только те, кто находился рядом со мной, на передовой: связисты и разведчики. Огневики были у орудий, в более безопасном месте, и гибли они реже, разве что когда орудия на прямую наводку выдвигались — тут уж держись!

Когда я стал командовать дивизионом, а это уже три батареи, то поддерживал обычно стрелковый полк и находился на наблюдательном пункте командира полка. Это уже не в боевых порядках пехоты, а метрах в четырехстах позади батальона. Там обстрелов поменьше и жизнь повольготнее. Но меня все равно тянуло в батальоны. Инициатива исходила, конечно, от комбатов, они, по старой привычке, звали меня к себе. Признаюсь, теперь я чаще находился при командире полка, и не только потому, что этого боевая обстановка требовала, срабатывал и инстинкт самосохранения. Но как отказать старым друзьям и не оказаться рядом в трудный для них момент? Они «брали» меня двумя доводами. Первый:

— Получил повышение, зазнался! А может, трусить стал, выжить решил?

Второй довод:

— На кого нас бросаешь?! Ну не получится у нас без тебя атака! Только ты сможешь успешно поддержать нас огнем!

И вот я снова оказываюсь в своей стихии, в батальоне. На траве, в снегу, а то и в грязи — тут сухое место не выбирают — лежу рядом с комбатом. Страшно, головы не поднять! А поднимать ее надо, иначе немцев не увидишь и артиллерийский огонь по ним вести не сумеешь. Комбат и его пехотинцы радуются, когда я уничтожаю живую силу и огневые точки противника. Мое присутствие не только оберегает и защищает — оно воодушевляет их и делает более сильными. Как им не радоваться, когда мои снаряды разметают контратакующих фашистов или на глазах пехотинцев летят вверх тормашками пулеметы и орудия прямой наводки. Или окутываются дымом и пылью от разрывов моих снарядов немецкие танки и, ослепленные, поворачивают назад, а некоторые из них еще и горят. Но радуется не только пехота, радуюсь и я. Это ни с чем не сравнимая радость. Когда ты чувствуешь свою силу! Когда достаточно твоего взгляда, чтобы увидеть врага! Когда хватает слова, чтобы по твоей команде полетели в цель снаряды! Неважно, что и по тебе стреляют, что и ты подвергаешься смертельной опасности. Тут — кто кого!

ИТАК! КОМАНДИР БАТАЛЬОНА — МОЙ КУМИР! МОЙ ИДОЛ! КОМБАТУ Я ПОКЛОНЯЛСЯ И ПОКЛОНЯЮСЬ ПОНЫНЕ!

Командир батальона — это самая выдающаяся, самая основополагающая и самая проклятая должность на войне! Никто не внес большего вклада в Победу и никто не страдал больше от немцев и от своих, чем пехотинец — командир батальона! Стрелкового батальона, уточним! Подстегиваемый начальством, он часто вынужден был вступать в заранее обреченный на неуспех бой с противником. «Давай! — кричит командир полка по телефону. — Не возьмешь траншею — расстреляю!» И все тут.

###### \* \* \*

Взводные и ротные командиры — это герои-однодневки. Свершив свое смертоносное дело, они гибли в первом же бою. На большее у них просто не хватало времени. По жестоким законам войны их боевая деятельность ограничивалась часами и днями. И только чудом уцелевший в бою взводный или ротный становился комбатом. Больше некому было. Нет уже ни рот, ни взводов. Из двух сотен бойцов осталось сорок-пятьдесят. Нет уже и той, несшейся на врага живой, извивающейся в своем движении людской цепи. Выросший и скороспело вызревший в скоротечном бою новоявленный комбат поднимает в атаку остатки батальона. А поднять на смерть уцелевших в бою — побывавших, по существу, на том свете, уцепившихся уже за надежду выжить — ох как трудно! Попробуй, покричи с остервенением во всю глотку в шуме боя одно-единственное слово «Вперед!» — с отчаянием и решимостью погрози пистолетом, побегай под пулями вдоль цепи прилипших к земле солдат — и ты поймешь: тут не до Сталина, не до газетных выдумок! После третьей, пятой неудавшейся кровопролитной атаки, на поле, усеянном трупами, жалкие остатки батальона бросала на врага не вчерашняя проповедь политрука, а сиюминутная, зримая и увлекающая отвага командира, его исступление и отрешенность, беспощадный и непререкаемый приказ «Вперед!». Охрипший, с искаженным от злобы лицом, вывернутый наизнанку желанием во что бы то ни стало поднять батальон в атаку, он не думает о собственной смерти, не обращает внимания на пули и осколки, на взрывы снарядов и мин. Для него сейчас важнее жизни и всего на свете — это поднять, оторвать от земли солдат, вместе с ними вскочить на пригорок, добежать до вражеской траншеи и ворваться в нее. И уж после страшного рукопашного боя завладеть этой проклятой траншеей. В какой-то мере представить образ командира батальона в послевоенных кинофильмах удалось артисту Николаю Олялину.

Комбат — самый ближний к немцам офицер нашей армии, по которому остервенело стреляют фашисты, когда он поднимает солдат в атаку. И самый дальний, самый крайний командир — для своих начальников. До него может дозвониться по телефону даже сам Верховный главнокомандующий. На нем, на комбате, замыкается телефонный гнев, исходящий от любого вышестоящего начальника. Дальше — по линии связи, и ниже — по должности, чем комбат, дозвониться, приказать, изругать, разнести, пригрозить расстрелом, это и слезно, по-братски, попросить продвинуться вперед: ну хотя бы еще на полсотни метров! — любому командующему было некуда и некому. Он, комбат, был исполнителем всех стратегий и замыслов. Его головой, сердцем, руками и ногами осуществлялся контакт командования с солдатами, лежавшими на передовой, на линии огня, на самом последнем нашем рубеже лицом к лицу с противником. И он, комбат, за все в ответе — захлебнется ли атака, оставят ли траншею, погибнет ли в бою целиком весь батальон. Только смерть его самого прекращала всякие к нему претензии. А, не дай бог, уцелеть в проигранном бою! От суда, штрафбата ему не уйти. И никто его не защитит.

Но, с другой стороны, передовая была для комбата и единственным убежищем, местом спасения от гнева начальства. На передовую начальство не ходило, а по телефону не ударишь, не пристрелишь.

Будь наша солдатская воля, мы бы всем погибшим и всем уцелевшим командирам стрелковых батальонов поставили бронзовый памятник на самой Красной площади в Москве. И чтобы был он большой-большой, выше всяких конных фигур полководцев, вождей и царей, выше самого Мавзолея Ленина. Во весь рост, с поднятым над головой пистолетом, точно таким, каким запечатлел его в бою бесстрашный фотограф: в своей самой что ни на есть рабочей позе во время боя.

### Глава двадцать первая

### Австрия — Чехословакия

### Апрель — июнь 1945 года

###### Уличные бои — самые страшные

1 апреля мы перешли венгеро-австрийскую границу и уже 5-го овладели пригородом Вены Швехат. Трудно было выбить немцев из городского кладбища австрийской столицы. Стреляя в нас, немцы крушили пулями и снарядами красивые гранитные надгробия и мраморные памятники. Мы этого делать не могли и вынуждены были обходить кладбище по прилегающим улицам.

Уличные бои — самые страшные. Окопаться на брусчатке невозможно, а к стальным осколкам добавляются осколки камней. И стреляют по тебе изо всех окон. Я впрыгнул с улицы с пистолетом в руке на подоконник открытого окна. Не успел подняться с четверенек, как с треском от удара ноги открывается дверь изнутри дома и два немца-автоматчика вламываются в комнату это окно защищать — вскинули автоматы и тут же расстреляли бы меня в светлом проеме. Я опередил их всего на полсекунды. Мои пули успели поразить их точно в головы. Опоздай я на секунду с прыжком в окно, не оторви руку с пистолетом от подоконника, уж не говоря о промахе, — получил бы очередь с четырех метров. Не иначе, всевышний успел сжалиться надо мною и подарить мне это спасительное мгновение!

Потери у нас были очень большие. Помогли танкисты. Они не подставляли свои машины под фаустпатроны из подвалов и окон, а ломали стены домов и двигались сквозь эти проломы. Для обитателей домов было неожиданным, когда вдруг рушилась стена и на кухню или в спальню въезжал весь в пыли советский танк.

Однако до центра австрийской столицы мы не дошли. Вену взяли 13 апреля 1945 года уже без нас. 7 апреля нашу дивизию отвели из-под Вены и направили брать чешский город Брно.

Как и в других славянских странах, чехи и словаки встречали нас восторженно. Как освободителей и братьев по крови. Празднично одетые толпы людей стояли на обочинах дорог, на улицах, радостно приветствовали нас, стремились пообщаться, прикоснуться к нам руками, обнимали нас, угощали всякими сладостями и фруктами. Чехи постоянно сообщали нам о местонахождении немецких войск или где они скрываются, вместе с нами принимали участие в поиске фашистов. Они ненавидели немецких оккупантов за высокомерие и пренебрежение, за грабежи и притеснения. Прорывавшиеся к американцам фашисты в селе Великие Межеричи расстреляли 120 чехов — якобы за нарушение оккупационного режима.

21 апреля мы с боями вплотную подошли к Брно.

###### Ранение под Брно

Раннее солнечное утро 22 апреля 1945 года. Впереди чешский город Брно. У нас все готово к атаке. Со своим артиллерийским дивизионом я поддерживаю стрелковый полк. Наш с командиром полка наблюдательный пункт размерами три на четыре метра расположен в небольшом глиняном карьере на склоне пологой горы прямо перед городом. Мы хорошо замаскированы, только объективы стереотрубы торчат над краем карьера. С волнением еще раз всматриваюсь в немецкий передний край. Скоро он скроется в дыму и облаках пыли от разрывов наших снарядов, и пехота бросится в атаку на вражеские позиции.

Неожиданно к карьеру подбегает связист-пехотинец с пучком телефонных проводов. Человек лет тридцати, бывалый и самоуверенный. Шапка набекрень, фуфайка расстегнута, похож он не на военного, а на колхозного конюха. Став во весь рост на краю карьера, начинает деловито распутывать провода.

— Не демаскируй нас, быстро прыгай в карьер! — кричу.

— Во артиллеристы, вечно они боятся, — проворчал, усмехнувшись, пехотинец.

Вмешался командир полка, цыкнул на разгильдяя, приказал быстро спуститься в ровик. Связист не успел отреагировать на приказ, как впереди нас шлепнулась немецкая мина. Сзади карьера разорвалась вторая, а в небе послышался посвист третьей. Значит, немцы рассмотрели в стереотрубу провода в руках связиста, догадались, что перед ними командный пункт русских, и теперь ведут пристрелку. Услыхав близкие разрывы, все обитатели карьера бросились к глубокой нише, вырытой в передней стенке карьера. Не торопясь, шагнул к нише и я. Но она была уже целиком забита людьми. Приседая на корточки, я хотел прижаться к выступавшей наружу чьей-то спине. Но мне помешал связист-нарушитель. Испугавшись обстрела, он прыгнул в карьер и скользнул между мною и нишей. Мое приседание он затормозил, а сам шлепнулся задом в пол ямы. И в этот момент в метре сзади меня взорвалась третья мина. Она точно угодила в карьер. Ее смертоносные осколки поразили бы меня насмерть, но большая их часть проскочила между моих ног и разнесла весь зад успевшего присесть разгильдяя-связиста. Меня же ударная волна со страшной силой саданула в затылок и спину. Я потерял сознание и упал на левый бок.

Мои товарищи после взрыва вылезли из ниши и обступили мое бездыханное тело. Я не подавал никаких признаков жизни, и они решили, что я убит. Получил ранение в обе ягодицы и солдат-нарушитель — виновник обстрела. Его подняли наверх и отправили в санбат. Меня решили похоронить здесь же, но потом передумали, кто-то предложил похоронить в Брно, как возьмут город.

Между тем через какое-то время я пришел в сознание. Первая мысль, промелькнувшая в ожившем мозгу, — это осознание, что я жив. Но не успел этому порадоваться, новая страшная мысль молнией поразила меня: а может, голова-то уцелела, по инерции соображает, а тело разорвано на кусочки и разметано по всему карьеру? Открываю глаза и вижу свои ноги. Они как будто целы. Да и грудь, и руки целы. Опираюсь на правую ногу, чтобы встать, — и тут дикая боль пронизала ногу ниже колена. Стал осматривать и ощупывать ее с разных сторон. Пальцы наткнулись на конец осколка, торчавшего из икры сквозь сапог, он выпирал сантиметра на два из голенища. Вгорячах решил вырвать осколок из ноги, но не тут-то было. Другой конец осколка, пробив довольно объемную икроножную мышцу, вошел в кость и крепко засел в ней, как гвоздь в дубовой доске.

Связисты и разведчики обрадовались моему воскресению и принялись перевязывать рану. Разрезали голенище сапога и штанину. Крови было мало, потому что осколок прочно заткнул рану. Попробовали еще раз вытащить осколок руками — ничего не получилось. Тогда прибинтовали осколок к ноге. Между тем приближалось время артподготовки. Позвонил командир артполка майор Рогоза. Как узнал, что я ранен, пришел в бешенство, изругал меня на чем свет стоит.

— Кто же теперь артогнем управлять будет?! — кричит в трубку.

— Да не уйду я с НП, буду корректировать на одной ноге, пока пехота не ворвется в город, — отвечаю, — потом уж в санбат.

Когда наши войска скрылись в городе, мои разведчики вытащили меня из карьера и перенесли в ближайший кустарник. Там уже стоял «доджик». Едва вбросили меня в низкий кузов, как машина рванула с места и помчалась в тыл. Несмотря на продвижение наших войск в город, немецкие артиллеристы продолжали вести наблюдение за нашей исходной позицией. Обнаружив машину, стали стрелять по ней. Снаряды рвались вблизи несшегося «доджа», тут встретилось железнодорожное полотно, водитель на полной скорости перелетел через него. Машина так подпрыгнула, что я на метр взлетел вверх. Думал, транспорт уйдет из-под меня и я опущусь на рельсы под рвущиеся снаряды.

В санбат я попал только к обеду. Располагался он в помещении школы в селе Туржаны. Раненых было много. Люди сидели, лежали, стонали, ругались, иные спали или были без сознания. Мы, легкораненые, сидели на скамейках, располагавшихся вдоль стен обширного коридора, ждали, пока не перетаскают мимо нас носилки с тяжелоранеными. Уже вечерело, когда около моих ног поставили последние носилки. Раненый лежал на животе с повернутой набок головой и закрытыми глазами. Потом он открыл глаза и стал безучастно водить взглядом по сидящим на скамейках. Когда увидел меня, вдруг оживился:

— Товарищ капитан, а нас с вами одной миной ранило.

— Не может быть. Меня в карьере одного ранило, всех остальных я закрыл своим телом в нише.

— Плохо вы закрыли. Я спрыгнул в карьер и попал между вами и нишей, прямо на задницу сел. Это на меня вы ругались, когда я стоял на краю карьера. Осколки от мины пошли низом и обе половинки зада мне разнесли, только на животе могу лежать. Боль адская. Вы уж простите меня, что навлек огонь.

— Чего ж теперь прощать, ты ведь уже поплатился за непослушание.

Тут из дверей операционной выглянул хирург в белом халате и резиновых перчатках:

— Товарищи, — обратился он к нам, — кто может лампочку-переноску подержать, а то уже темно, в комнате ничего не видно.

— Я могу, — отозвался я, — у меня только одна нога ранена, и я могу, сидя, держать лампочку.

Когда я добрался до операционного стола, на нем уже лежал подготовленный к операции виновник обстрела немцами нашего НП. Хирург взял скальпель и одним быстрым движением развалил ягодицу раненого на всю глубину до самой кости. Хирургическая сестра быстро убрала тампоном набежавшую в разрез кровь и ловко зажала пинцетом большой кровоточащий сосуд. Ее помощница накинула на пинцет узелок и сноровисто перетащила его через пальцы старшей так, что он опустился на сосуд. Рывком затянула узел, и кровь перестала поступать в рану. Хирург запустил в рану пальцы руки в перчатке и стал быстро-быстро нащупывать и вытаскивать из тела осколки мины. Разрез зашили и рядом сделали еще такой же. Когда врач прицелился делать десятый разрез уже на второй ягодице, я не выдержал больше такого изуверства, отвернулся. Лампочка в моих руках сместилась в сторону. Хирург ругнулся и поправил свет.

— На передовой я перевязывал самые жуткие раны, но смотреть, как по живому ножом полосуют, не могу, — оправдывался я.

— Теперь за тебя примемся. Показывай, что там у тебя, — сказал врач.

Я положил раненую ногу на столик, сестра быстро разбинтовала ее, а врач уже большие щипцы в руках держит.

— Да вы что, щипцами, что ли, тащить будете? — с тревогой спросил я.

— Да нет, я только попробую, крепко ли осколок засел.

Я успокоился, с любопытством смотрю на руки хирурга. Он долго прилаживался к торчавшему из моей ноги концу осколка, потом неожиданно как рванет с вывертом, изо всей силы щипцы вверх. Адская боль пронизала все мое тело, а лицо перекосилось не только от боли, но и от обиды за обман. Кровь толстой струей хлынула из развороченной раны.

— Да что же вы делаете?! — возмутился я.

— Жгут! — властно крикнул хирург медсестре, не обращая внимания на мой крик. Сестра быстро наложила жгут выше колена, и кровь перестала фонтанировать.

— Скажи спасибо: вся дрянь вымылась кровью из раны, и никакого заражения не будет. Подумаешь, стакан крови на промывку собственной раны потерял!

Пока мне обрабатывали и бинтовали прооперированную рану, я рассмотрел стоявшее на полочке блюдце, до краев заполненное мелкими стальными осколками величиной со скорлупу подсолнечных семечек. Это были осколки, извлеченные хирургом из ягодиц виновника моего ранения. Да, подумал я, если бы связист своим прыжком в карьер не затормозил мое приседание во время взрыва, все эти осколки оказались бы в моих ягодицах, а так как приседал я не торопясь, могло бы этими осколками и оторвать кое-что. Такие случаи на войне бывали. С другой стороны, не появись этот злосчастный связист-разгильдяй у карьера, и обстрела не было бы. Но себе этот связист жизнь обеспечил. Пока он вылечится, и война закончится.

Ранило меня 22 апреля. Пока я лечился в санбате, наши войска 26 апреля взяли Брно.

###### \* \* \*

Через пару недель с еще не зажившей раной я улизнул из санбата — без всякой выписки, просто сбежал. Приехал на машине Коренной и увез меня. 5 мая, опираясь на палочку, я вернулся в свой дивизион и сразу же включился в бои. Я торопился еще повоевать, считал, что без меня и война-то не закончится. А воевали мы уже под Прагой.

Большое количество немецких войск было окружено нашими войсками юго-восточнее Праги, однако самая отчаянная группировка фашистов в несколько тысяч человек во главе с генералом Штернером вырвалась из окружения и, громя все на своем пути, направилась мимо Брно на запад, к американцам. Наша дивизия с боями преследовала фашистов более 150 километров, от Брно до города Бенешов, что стоит под Прагой. 8 мая вечером мы услышали по радио о капитуляции Германии. Но «наши» немцы Штернера продолжали воевать. Чтобы проучить их, а заодно избавиться от снарядов, я открыл сильный огонь, и тут звонит комполка Рогоза:

— Зачем снаряды жжешь?! Немцы не думают сдаваться, чем стрелять по ним будешь?!

И мы продолжали биться с фашистами. Только к вечеру 12 мая последние остатки войск Штернера были уничтожены. Небольшие группы немцев рассеялись в лесах под Бенешовом, один из батальонов нашей дивизии вылавливал их до 16 мая. Некоторые наши товарищи погибли в этих боях после Дня Победы. Обидно было, после заключения мира столько людей потеряли!

День Победы наша дивизия праздновала под Бенешовом 13 мая. А 20 мая — воскресенье было объявлено первым выходным днем за все четыре года войны.

С 5 июня из-под Бенешова эшелонами через Прагу, Дрезден, Варшаву стали вывозить нашу дивизию в Советский Союз.

## Часть четвертая

## Через пустыню Гоби и хребет Большой Хинган

## Июнь — октябрь 1945 года

### Глава двадцать вторая

### Монголия

### Июнь — август 1945 года

###### От Праги до Чойбалсана

В начале июня сорок пятого года со станции Черчаны под городом Бенешовом в Чехословакии девятью эшелонами наша 52-я стрелковая дивизия была отправлена на Родину. Прага, Усть, Парна, Дрезден, Варшава, Познань, Минск и наконец — Москва.

На всем долгом пути от Праги до Москвы запомнилось немногое. Дотла разрушенный Дрезден. В развалинах вокзала пряталась молодая немка, предлагая себя за полбуханки хлеба. Широченная Эльба, в которой мы купались и сплавали на тот берег. В Польше вся территория железнодорожной станции была загажена человеческими нечистотами так, что ступить негде. Сожженная фашистами Белоруссия…

Наш эшелон прибыл в Москву как раз в день Парада Победы — 24 июня 1945 года. Столица ликовала. От нашей дивизии еще в мае в Москву было тайно отправлено на парад двадцать пять человек. Но нам, ветеранам дивизии, стало известно об этом только много лет спустя из разговоров с самими участниками того парада.

Когда из Москвы эшелон двинулся на восток, а за Читой свернул в Монголию, мы окончательно поняли, что едем воевать с Японией. Ехали мы в теплушках, по 40–50 человек, на полу и на нарах. Вагончики были двухосные, маленькие. В таких же вагончиках стояло по восемь-десять лошадей, их разместили справа и слева от дверей, головами внутрь. Орудия и машины закрепили колодками и растяжками на платформах. Я беспокоился, как бы на большой скорости на поворотах материальная часть не соскочила с платформ, поэтому время от времени вылазил на ходу через окошко с нар и бегал по крышам вагонов к технике. Спрыгивал на платформы, проверял службу охранения, наличие и состояние креплений. И все это на высокой скорости движения поезда. Но боялся я тогда только встречных эстакад, тоннелей и проволочных перетяжек.

Большую часть дороги мы стояли у открытых дверей вагона и жадно смотрели на родные просторы, на наших людей, особенно на детей и женщин, которых давно не видели. Двигались быстро. Перегоны были большие, многие станции проскакивали на полной скорости. Умывались утром, на остановках, прямо на рельсах. Питались три раза в день. После Читы на станции Карымская свернули вправо, на Борзю. Далее Соловьевск, разъезды от 71-го до 79-го. Ничего примечательного на заключительной части пути переезда мы не увидели — песчаные пейзажи, тощая растительность да множество табарганов, крупных сурков, они столбиками стояли на задних лапках и зорко осматривались вокруг.

Ночью на остановке у одного из разъездов наших солдат разбудил веселый многоголосый девичий смех, девушки попросились подвезти их до соседнего разъезда, где они работали. Солдаты с удовольствием приняли молодых попутчиц. Вскоре с нар послышались шумная возня, смех, визг — благо тьма была кромешная. На следующей остановке девушки, к великому огорчению солдат, сошли. Ребята успокоились и заснули.

А утром эшелон прибыл к месту назначения — на станцию Боин Тумень в Монголии под Чойбалсаном. Все сошли из вагонов… и не узнали друг друга. Лица, обмундирование солдат были густо измазаны черным мазутом — результат жарких ночных братаний со смазчицами.

###### Лагерь на реке Керулен

15 июля на станции Боин Тумень разгрузились, И сразу — 50-километровый марш по жаре в район сосредоточения на реке Керулен. Переход показался нам очень тяжелым.

В дивизионе у меня 250 человек, 130 лошадей и десять машин. Все имущество: снаряды, связь, кухни, дрова, овес, продовольствие, подковы — погружено на машины и полсотню повозок. Четыре гаубицы прицеплены к «Студебеккерам», а восемь пушек тянут кони, по три пары каждую, на каждой левой лошади восседает ездовой. Жара — под пятьдесят градусов. На небе ни облачка. Кругом бескрайняя серо-белая песчаная степь, до самого горизонта глазу не за что зацепиться, от скудной весенней травки остались на песке лишь небольшие грязноватые пятна. Солнце глядится на синем небосклоне маленьким желтым пятнышком, но от него исходят беспощадные, обжигающие, как пулеметные трассы, лучи. Нос щекочет запах дикого чеснока.

И вот река Керулен. Всего 15 метров шириной. Вода мутная, грязная, сплошь загаженная грязной, жирной овечьей шерстью. Став лагерем на берегу, первым делом приняли противоэпидемические меры: различные уколы получили не только люди, но и кони.

Началось наше привыкание к ужасным условиям пустыни. На реке мы простояли почти неделю, с 17 по 22 июля. Дивизия получила тысячу человек молодого пополнения 1927 года рождения. Офицеры изучали построение и тактику японской армии, знакомились по топографическим картам с местностью предстоящего маршрута. А карты представляли собой белые листы бумаги, на которые были нанесены сетка Гаусса-Крюгера, долгота и широта да кое-где коричневато-красные крапинки — зыбучие пески. И это все. Ни рек, ни возвышенностей, ни дорог, ни населенных пунктов, ни колодцев.

Жизнь в Монголии особая. Люди на конях со всеми пожитками, вплоть до юрт, перемещаются вместе с большими отарами овец от одного пастбища к другому. В более северных районах встречаются в низинах одинокие оазисы, отдаленные друг от друга на сотни километров. В них-то и теплилась жизнь: вода, скудная растительность, кочевое население.

Однажды к нашему лагерю подъехало на маленьких мохнатых лошаденках десятка полтора всадников-монголов с длинными шестами в руках. Это были пастухи. Мужчины и женщины. Они спешились метрах в пятидесяти и долго молча рассматривали лагерь. Изредка до нас доносились возгласы удивления, вытянутыми руками они показывали друг другу изумившие их предметы. Самое большое впечатление произвели наши трофейные бельгийские битюги с короткими хвостами, их мы впрягали в качестве корневых в дышла орудийных передков. Мы тоже с любопытством смотрели на кочевников. Тела всех были плотно закрыты одеждой — наверное, от песка и солнца. На мужчинах — плотные темные рубашки и узкие брюки; на женщинах — то же самое плюс длинные и широкие разноцветные юбки-колокола. Некоторые дамы, не сходя с места, держась за руки своих кавалеров, на пару минут приседали. Когда они уехали, наиболее любопытные наши солдаты обнаружили в местах приседаний мокрый песок и еще кое-что. В пустыне скрыться от посторонних взоров невозможно, поэтому естественная надобность справляется там, где человек находится в данную минуту. Когда мы после возвращения из похода посетили город Чойбалсан — вторую столицу Монголии, то подобное наблюдали прямо на базарной площади.

Удивляли нас не только местные монголы, но и наши старшины. Однажды в моем дивизионе после обеда, на котором присутствовал комполка Рогоза, старшина дивизиона Макуха обратился к нам:

— Товарищи офицеры, не хотите ли выпить холодного чешского пива?

Мы восприняли это как шутку, сразу вспомнив, как перед самым отъездом из-под Праги наслаждались прекрасным чешским пивом.

— При такой жаре мы и за прохладную воду были бы благодарны, — ответил майор Рогоза, — о пиве теперь можно только мечтать.

Старшина невозмутимо удалился, а через некоторое время появился с канистрой:

— Держите кружки!

И верно, в канистре оказалось холодное пиво! Двухсот литров — по алюминиевой кружке на каждого — хватило на весь дивизион. Ай да Макуха! В тайне от всех из самой Чехословакии вез бочку пива, и в дороге хранил ее под ветошью для чистки пушек, и здесь, в Монголии, на стоянках непременно выкапывал глубокую яму, охлаждая драгоценный напиток.

За время стоянки на реке мои разведчики поймали с десяток небольших бесхозных монгольских коней, прямо с седлами. Скорее всего они отбились от своих хозяев и блуждали по пустыне. Разведчики догнали табун, окружили и с трудом, но оседлали всех коней, кроме вожака. Хотя с конями нам обращаться было не впервые, этих «мышат» не так просто было объездить и приручить. Они дичились. Не скакали, а быстро-быстро бегали. Не ели овес. Если во время скачки такая лошадь замечала на почве небольшую нору или кочку, тут же, с испуга, на полном скаку всем телом бросалась в сторону — да так неожиданно и резко, что всаднику удержаться в седле было практически невозможно, он неминуемо падал в противоположную броску сторону. Самый крупный из пойманных, почти с наших коней ростом, удивил всех — вороной, быстрый, с какими-то отчаянно-безумными большими черными глазами, озверело смотрящими из-под прядей длинной распущенной гривы. Это был вожак табуна. Седла на нем не было, удалось, правда, накинуть ему на шею петлю. Так и подвели его ко мне, держа за шею на растянутых в стороны веревках:

— А этого мы дарим вам, товарищ капитан!

Боясь приблизиться, концы веревок едва удерживали в руках по два десятка самых увесистых солдат.

Молодой жеребец возглавил отбившийся от монголов-хозяев небольшой табун, на что у него хватило смелости и силы. А вот опыта было маловато. Табун ушел из предпустынных долин в пески и заблудился там.

Сильный жеребец никого и близко не подпускал к себе. Он брыкался, рвал зубами, ухитрялся ударять даже туловищем всякого, кто хотел подойти поближе. И все-таки ребята сумели взнуздать ретивого коня, накинуть и закрепить на нем седло:

— Садитесь, товарищ капитан! На таком коне только вам подобает ездить!

И как ни опасно, даже страшно было садиться на мощного дикого жеребца, делать было нечего: я — командир, старший по должности, в глазах подчиненных — самый спортивный, самый бывалый, хотя молодой, но никогда ничего не боявшийся на войне человек. С большим трудом, с помощью десятка солдат водрузился в седло, еще успел схватиться за повод, сунуть ноги в стремена — и тут началось! Вольный конь, на котором никто никогда не сидел, чего только не вытворял, чтобы сбросить с себя человека. Взвивался свечой вверх, вскидывался на задние копыта, подбрасывал круп так высоко, что едва не кувыркался вперед через голову. А когда перестали его держать, пустился в такой бег — только ветер свистел в ушах! И только когда его смоляная спина покрылась белой пеной пота, а от всего тела повалил густой пар, скакун, глубоко дыша, перешел наконец на шаг. С тех пор я стал постоянно ездить на Монгольце, как мы прозвали этого норовистого коня.

И все же дважды он сбрасывал меня на землю. Последний раз, правда, без злого умысла. На быстром скаку Монголец увидел на ровной, как стол, степной тверди едва заметную редкую норку-лаз степного тарбагана. Мгновенный рывок в сторону — и я, выскочив из седла, на полном скаку повис вниз головой на левой ноге сбоку лошади. Сапог застрял в узком монгольском стремени, никак не удавалось освободить ногу, мимо глаз мелькали мощные копыта несущегося во весь опор коня. Ни упасть, ни оторваться я не мог. Того и гляди копыто левой задней ноги размозжит мне голову. Что делать?! Изогнулся, схватился рукой за ремень стремени, подтянулся и другой рукой, как это делают наездники в цирке, вцепился в седло. Кое-как освободил ногу и кубарем полетел в песок.

Потом я приручил этого своенравного быстрого коня, и он обеспечивал мне большую подвижность. За считаные минуты я объезжал во время движения километровую колонну дивизиона; мог выскочить вперед и догнать разведчиков.

###### В глубь пустыни Гоби

В последние дни июля мы совершили свой первый трехдневный переход на юг на 140 километров в глубь пустыни, в выжидательный район Араджаргаланта Хид. То было тяжелое испытание как для людей, так и для конского состава. Обжигающий ветерок. Мелкий-мелкий, как пыль, раскаленный песок. Колеса пушек и повозок увязают в песке, кони тянут, упираются изо всех сил и быстро устают. Люди, даже ездовые пушечных упряжек, бредут рядом с конями и едва не падают, вытаскивая ноги из раскаленного глубокого песка. Пропал аппетит у людей и лошадей, на привалах единственное желание — хотя бы глоток воды. А пить нечего, вода кончилась. Уже давно послали за водой к прежней стоянке, а машин все нет и нет. Начали волноваться: может, моторы перегрелись, вода в радиаторах выкипела? Что будем делать в пустыне без воды? Наконец показались машины — в резиновых мешках, в бочках, термосах они везли вожделенную влагу. Каждому человеку выдали на сутки по фляге воды (0,7 литра), коням — по полведра. «Студебеккеры» с гаубицами на прицепах и остальные шесть машин перемещались вслед за конным обозом перекатами от привала к привалу, то есть оставались на месте стоянки, а потом догоняли нас у следующего бивака.

После первого трехдневного перехода последовал новый, 120-километровый марш, строго на восток, в исходный район трех колодцев Хуре Худук. Потом еще 50 километров, снова на восток, к озеру Сангиндалай Hyp, в район сосредоточения дивизии. Куда мы и прибыли 7 августа.

###### От озера Сангиндалай Hyp до Халахара

Боевой приказ о наступлении на части японской Квантунской армии мы получили утром 9 августа, сразу после объявления Советским Союзом войны Японии.

В то же утро мой артдивизион первым двинулся на юг, в пустыню Гоби, на встречу с японскими самураями. Через сутки за нами по проложенной дивизионом дороге должна последовать вся дивизия — с конной разведкой, саперами, моторизованными подразделениями, пехотой, артиллерией и тылами.

К тому, что я иду всегда впереди, будь то особо опасный бой, неизведанная местность или сложный переход, я уже привык. Видимо, и на этот раз начальство посчитало, что я, несмотря на свою молодость, являюсь самым грамотным и самым опытным офицером во всей дивизии, который сумеет с помощью примитивного компаса проложить дорогу в пустыне и выиграть бой при возможной встрече с японцами.

Вся трудность заключалась в том, каким образом одолеть безводные пески. Со мною 250 человек и 130 лошадей. Как напоить их всех? Где взять воду? Как провести людей, животных, технику, снаряды, продовольствие, овес, дрова, воду, весь скарб дивизиона сквозь раскаленные сыпучие, зыбучие пески? И никого не потерять при этом, боеспособным оказаться на месте.

Конечно, к двадцати четырем годам у меня накопился значительный боевой опыт. Но пустыню я не знаю, а никаких наставлений и рекомендаций на этот счет у нас нет. Поход наш научно не обеспечен. Правда, здесь, в Монголии, я уже кое-чему научился, проделав немалый путь по пескам от одного источника воды до другого — четыре марша в 50, 140, 120 и еще 50 километров, то есть триста шестьдесят километров. Но тогда каждый переход заканчивался гарантированным источником воды. На нашем пути встречались урочища из кустарников, влажные балки, заросшие травой; отары овец, перегоняемых с одного пастбища на другое, монгольские кочевья. Нам было жарко, мучительно, тяжело, но мы находились в однодневных и двухдневных переходах от людей, животных, воды и растительности. Теперь же моим людям и коням предстояло преодолеть четыреста с лишним километров при 50-градусной жаре по пустыне, где один только песок да жгучее солнце — и никаких источников воды. К тому же нужно быть постоянно готовым к отражению атак японцев. Что хочешь, то и делай, но боевой приказ выполняй! А нужно к определенному, очень сжатому сроку прибыть к горному хребту Большой Хинган, к месту, откуда начинается единственная в этих краях дорога-тропа через горы в Китай.

Итак, мы выступили. Колонна орудийных упряжек, повозок и машин растянулась на целый километр. Каждую из восьми пушек тянут, как обычно, три пары коней, запряженных цугом, но трое ездовых не восседают, как обычно, на каждой левой лошади, а уныло бредут рядом со своей парой уставших коней, положив им на головы белые полотенца, чтобы предохранить от солнечного удара. В песок врезаются колеса орудийного передка и самой пушки. Покрытые потом кони напрягаются изо всех сил, чуть не лопаются постромки. Вслед за каждым орудием толчется по песку его расчет, человек шесть-семь, — люди в любую минуту готовы налечь на колеса или повиснуть на стволе, чтобы облегчить продвижение застрявшей в песке пушки. Около сорока пароконных армейских повозок загружены снарядами, патронами, продовольствием, водой, подковами, ломами, лопатами и прочим имуществом батареи. Армейские трехосные автомобили-тягачи «Студебеккеры» везут на прицепах тяжелые гаубицы с передками. Их кузова тоже забиты снарядами и имуществом трех батарей. Следом едут несколько немецких трофейных грузовых автомобилей, четыре из которых везут в бочках, мешках, термосах воду и опустевшую тару из-под нее. И замыкает колонну старшина дивизиона, везущий на двух машинах бензин, связь, продукты, штабное и свое имущество. Как и прежде, машины движутся за конным обозом перекатами, от одного привала к другому.

Мои разведчики, командиры конных батарей и я, командир дивизиона, перемещаемся то пешком, то верхом на монгольских конях. Привычные к условиям пустыни быстрые «монголки» позволяют нам легко перемещаться вдоль движущейся колонны. Запасные лошади привязаны к задкам последних подвод.

Если отъехать подальше и посмотреть на колонну со стороны, она увидится тоненькой, жалкой, копошащейся среди бескрайних песков полоской. Кроме нас, в пустыне никого и ничего нет. Ни кустика, ни травинки, ни птиц, ни насекомых, ни даже ящериц и тарбаганов. От горизонта до горизонта один только песок, да высоко в небе недвижно стоит жгучее, все испепеляющее солнце — даже не верится, как ему, такому маленькому с виду, удается распалить до ста градусов этакую массу песка и прогреть до пятидесяти градусов прозрачный воздух. Есть ничего не хочется целый день, а пить хочется каждую секунду. В носу, во рту, в гортани и глотке все пересохло и саднит. Песок не только в сапогах, на гимнастерке, но и в волосах, в ушах, на всем теле, он скрипит на зубах, режет глаза.

Направление движения выбираю, как в море, по компасу. А он наручный, неточный. Идем строго на юг. Свое местоположение определяю по времени и скорости движения. Сверить с картой местоположение не по чему. На совершенно пустом листе топографической карты среди сетки Гаусса-Крюгера отмечаю время и место наших привалов.

Единственными приключениями на первых этапах перехода были встречи с большими отарами овец. Они перемещались самостоятельно из одного урочища в другое. Куда девались пастухи-монголы, мы не знали. Но после двух-трех встреч с «бесхозными» овцами дальнейших встреч не последовало. Монголы как-то узнавали о движении нашего каравана и направляли свои отары так, чтобы они с нами больше не встречались. Наверное, поначалу монголам было не жалко жертвовать несколькими десятками овец из многих десятков тысяч. Каждый орудийный расчет ловил понравившуюся ему овцу или барана, резал и в охотку разговлялся свежим мясом. Но люди есть люди. Начались безобразия: ловят овцу, вынимают печень, чтобы поджарить, а все остальное бросают в песок. Мы, офицеры, за такие действия наказывали солдат, но эффективнее нас сработали монгольские чабаны. Они изменили маршруты перегона отар.

На большой привал в Халахара — последний населенный пункт Монголии у границы с Манчжоу-Го — мы прибыли, пройдя 50 километров по пятидесятиградусной жаре, вконец изнуренными. Три пустые землянки — вот и все, что мы увидели. Это и был населенный пункт. Землянки здесь закапывались в грунт вровень с поверхностью песка, так как только глубоко в грунте можно было спастись зимой от лютого мороза и ветра, а летом — от нестерпимого зноя; сезонный перепад температур достигал тут ста градусов по Цельсию.

Одно название, что «населенный пункт», даже колодца нет. Но вот подошли с тыла машины с водой, задымили кухни. Люди и кони отдохнули, поели, утолили жажду и улеглись спать на горячий песок там, где стояли.

Проверяя ночью охранение, я обратил внимание на небо. Оно было черное-черное и сплошь усыпано громадными, висящими прямо над землей звездами. Луны не было. Светили звезды и Млечный Путь.

Этой же ночью случилось одно происшествие. Монгольские лошадки порвали лежавшие на повозках мешки с овсом, много его поели, а больше растеряли в песке. До этого «монголки» овес не ели, как мы ни приучали их. А тут, с голодухи, попробовали, раскушали, и он им очень понравился.

###### «Михин колодец»

Из Халахара наш маршрут пролегал через пустыню Гоби и хребет Большой Хинган в направлении на китайский город Кайлу, а после Кайлу — к берегу Желтого моря и Порт-Артуру.

Двигаться через пустыню Гоби нам предстояло не по наторенному тракту Чойбалсан — Кайлу, а километров на пятьсот западнее — по пустынному бездорожью. И хорошо, что наш путь перенесли на 170 километров восточнее центра пустыни. Западнее нас через пустыню Гоби пыталась пройти только одна колонна войск, но она завязла в песках, потеряла много людей, и ее остатки чуть живыми вывезли на самолетах. Таким образом, мы оказались самыми западными, самыми «пустынными» из всех воинских потоков, следовавших в Китай.

В последующие пять дней нам предстояло пройти уже по совершенно безлюдной, без единого населенного пункта и колодца, пустыне 270 километров. Пешком и на конях, да еще при жаре и по песку — это очень много. Два первых больших привала, каждый на ночь, я организовал через 50 и 70 километров. За водой на первых привалах посылал машины назад. Заблудиться они не могли: наш обоз проделал в пустыне весьма заметную пока дорогу. А вот на третий день, когда ехать за водой назад стало далеко — не хватит ни времени, ни бензина, нужно было искать источники воды впереди, по ходу движения. Однако на пустой карте в радиусе семидесяти километров не было ни озерца, ни колодца. И только в ста километрах слева-спереди я заметил маленькое голубое пятнышко с пометкой «г.с.», что означало: вода в озере — горько-соленая. Как его, это 15-метровое озеро, отыскать при таких расстояниях? Да и не пересохло ли? Может, от него и следа не осталось, все песком занесло?.. Однако выбора не было.

На последних километрах перехода людям стали мерещиться миражи: на фоне раскаленного зноем песка вдруг появлялись фантомы водной поверхности, даже волн и скал, деревьев и отражений в воде. Но по мере приближения видения отдалялись. А сейчас, на привале, почти бездыханные люди и кони повалились под жгучим солнцем в горячий песок и только время от времени открывали пересохшие рты, стремясь уловить что-то влажное и прохладное. Но горячий ветерок лишь еще больше обжигал слизистые горла и носа.

Никому, даже самому опытному офицеру в дивизионе, доверить четыре машины с тарой для воды я не мог. В пустыне, как в море, очень легко заблудиться, а если они заблудятся или моторы заглохнут, сломаются, где их тогда искать? Сами погибнут, и мы пропадем. Решаюсь ехать искать воду сам.

На четыре трофейные немецкие машины с посудой и тарой для воды посадил по два крепких солдата с ломами, лопатами и мотыгами, веревками, ведрами, и мы выезжаем в неизвестность. Направление держу по наручному компасу, по времени и спидометру примерно определяю пройденное расстояние. Скорость — километров сорок. Сотню километров на стареньких машинах уже одолели. Но нигде вокруг, сколько ни всматриваюсь, взобравшись на кабину машины и вытянувшись во весь рост, даже приподнимаюсь на носки, озерца заветного не видно. Уж слишком мала точность нашей ориентации на местности. А может, озера-то уже и в помине нет? Между тем радиаторы машин кипят, пар от них валит. Солдаты мои беспокоятся. Они верят в меня, но могут подвести машины — и что тогда? Куда прыгнешь-подашься, и что будет без воды там, с нашим дивизионом, оставленным за сотню километров? Выехать искать нас им не на чем, да и как они найдут нас в бескрайней пустыне?

Не показываю солдатам своего волнения, направляю машины вправо, влево, вперед — нет озера! Ну, должна же хоть какая-то впадинка от него остаться, цвет песка, в конце концов, измениться? Стоп! На ровном, тысячелетиями утрамбованном песчаном грунте вижу небольшую полосу светло-желтого песка! Это явно наносный песок, под ним должна быть низина. Значит, это и есть ложе того самого озерца, которое мы ищем.

Единственное полезное дело сделали, побывав у высохшего озера: произвели точную привязку к местности. Теперь мы точно знали свое местоположение. Карта показывала еще одно маленькое озерцо километрах в тридцати впереди по маршруту нашего движения. Солнце уже в зените. Вода в радиаторах машин кипит, бензина остается только-только на путь к этому озерцу и на возвращение к стоянке дивизиона. Кончится бензин, станешь в пустыне — пешком далеко не уйдешь! А рация наша слабовата, за сотню километров не слышна.

Подъезжаем ко второму озеру. Солдаты с машин еще издали его заметили. На пустом серо-желтом песчаном просторе маленьким темным пятнышком виделось желанное озерцо. Когда остановились около черно-синей тарелочки воды, затерявшейся в бескрайних песках пустыни, радости нашей не было конца. Подошли к воде, попробовали ее руками. Она хотя и мокрая, но теплая-теплая, чуть не горячая. А на вкус — горше самого лютого рассола. На озерце ни травинки. Но у противоположного берега — прямо не верится! — плавает пяток уток. Они совсем маленькие, но поразили нас своим светло-желтым цветом, потому-то мы сразу и не заметили их.

Солдаты напрямую, по воде, бросились к уткам. Озеро оказалось неглубоким. Когда через тридцать-сорок метров они достигли противоположного берега, утки нырнули в воду и вынырнули в разных местах посреди озера. Я заметил для себя, что глубина озера не более метра. Между тем солдаты вошли в раж и, как дети, увлеклись ловлей уток. Потом начали стрелять.

— Зачем вам нужны эти несчастные птицы? И разве можно их убивать? — обращаюсь к солдатам.

— Сварим, — отвечают.

— В горько-соленой воде? Кто же их есть станет? Единственное живое, что мы обнаружили в округе сотен километров, и вы решили убить эту жизнь!

Солдаты одумались и засмущались: командир прав.

Снова всматриваюсь в карту. Ее белизна в лучах ярчайшего солнца режет глаза. У голубого пятнышка вижу совсем маленький, едва заметный голубой кружочек и букву К. Это означает колодезь. Но на местности никакого колодца и в помине нет. Всюду ровный, утрамбованный песок. Но ведь был же здесь когда-то колодезь. Может, вода ушла, и он совершенно исчез? А что, если вода на глубине снова появилась? Что же делать?

— Попробуем копать, — объявляю солдатам, — может, на глубине метров восемь-десять и появится вода? Ведь чем-то испаряющееся озеро питается. Должна быть вода, — убежденно говорю.

Быстро, посменно раскопали круглый колодезь метра три в диаметре. Углубились метров на пять — никаких признаков воды, один сухой песок. Продолжаем копать ствол, но теперь поуже. Прошли еще метра три. Пошла сухая глина, но очень твердая. Стали бить ломом. Грунт на веревках ведрами поднимаем. Но водой, как говорят, и не пахнет. И бросать рыть дальше не хочется, и бесполезным делом заниматься нет у нас времени. А главное, нет никакой надежды на воду.

— Давайте, ребята, еще метра на два углубимся, — предлагаю.

Но вот очередной солдат кричит из колодца:

— Тут холод адский, голыми ногами стоять невозможно! И что-то гудит при ударе ломом, будто над погребом.

Начали долбить ломом небольшую скважину, чтобы только ведро пролезло.

Я всмотрелся в поднимаемый на поверхность грунт. Он был холодный, как лед, и, мне показалось, в нем блестят на солнце кристаллики льда. Подержал кусочек глины в руке. Он стал мокрым. Значит, это на самом деле лед. Но разве может находиться лед, даже в глубине, когда на поверхности 50 градусов? Смотрю еще раз на карту. На белом листе видна едва заметная тонкая голубая линия. Она замыкается вокруг озерца. Ранее я такого топографического знака никогда не видел. Смотрю в условные обозначения внизу листа и читаю: «район вечной мерзлоты». Для нас это было удивительным открытием: вечная мерзлота в середине пустыни Гоби?!

Когда пробили грунт еще сантиметров на восемьдесят, лом при очередном ударе провалился вниз. Солдат едва удержал его в руках, чтобы не утонул. В образовавшуюся дыру хлынула ледяная вода! Она шла под таким напором, что испугавшийся солдат, ухватившись за веревку с ведром, попросил поскорее его вытащить. Когда он оказался наверху, зачерпнули ведром воду. Я припал губами к краю ведра, чтобы попробовать, какая она на вкус: пресная или горько-соленая? Ледяная вода обожгла рот, а зубы до боли заломило — и я ничего не понял, какая она. Только со второго раза вода показалась мне пресной. Вскоре мы раскушали, что вода не только пресная, но и очень вкусная! Радости нашей не было конца! Щадя свои саднившие горла, мы медленно, мелкими глотками пили самую вкусную на свете ПРЕСНУЮ ВОДУ! И на всю жизнь запомнили счастливое 13 августа 1945 года.

Между тем вода в колодце заметно прибывала и поднялась уже метра на два. Мы быстро наполнили всю тару, которую везли в четырех машинах. Шоферы слили горячую воду из радиаторов машин и наполнили их свежей, холодной. Попробовали еще раз связаться со своими по радио. И на этот раз получилось. Мы сообщили о своей удаче и попросили передать координаты колодца в штаб полка.

Когда к вечеру мы вернулись к своим с водой, радовались не только люди. Кони тоже почуяли запах разливаемой воды и заметно повеселели. Часть воды сразу же раздали солдатам — по котелку на троих. По полведра выделили каждой лошади. А повара, все-таки экономя воду, принялись готовить обед.

Этот вырытый нами в пустыне колодезь в дивизии стали именовать «Михин колодец». Через него шла на юг вся наша дивизия. Правда, тыловики рядом с нашим, для увеличения дебета, вырыли еще несколько колодцев.

И опять мы в пути.

Середина августа — самое жаркое время в пустыне. Температура под пятьдесят. Бескрайняя, до самого горизонта плоская равнина. Утрамбованный веками песок. И никакой растительности. Серо-белая почва. Обжигающий огнем ветерок. Горизонт теряется в дрожащем мареве, земля сливается с небом какой-то мутной полосой. На бездонном иссиня-голубом небе небольшим желтым пятном видится зловещее ядовито-яркое солнце. Дышать нечем. Горло пересохло и саднит. Кажется, в глотку уже и вода не потечет. Есть не хочется. Кругом — только раскаленный песок. Изнемогающие кони понуро опустили головы, вот-вот свалятся замертво. Кто же тогда потянет по пескам все наше вооружение и имущество? Радиаторы кипят, и без воды не только кони — не пойдут и машины.

Особенно сложно дались нам последние семьдесят километров. Кончились продукты, фураж, вода, горючее, измотанные переходом люди валились с ног. Десяток машин перекатами нагоняли нас на привалах. Воодушевляли нас только показавшиеся далеко в дымке высокие горы. Это Хинган. Там, у подножия гор, должна быть вода, а значит, трава и какая-то прохлада. Еще километров пять — и конец пустыне. Медленно продолжаем двигаться вперед…

###### Монастырь Эдичин Сумэ

Преодолев пустыню Гоби, мы подошли к подножию хребта Большой Хинган. Позади более 700 километров пути по горячим пескам пустыни Гоби. Остановились мы у самых гор. Кони и люди попадали наземь и рады месту. В километре справа виднеется речушка, воды — хоть опейся, но я предупредил командиров на этот счет: вода — с гор, ледяная, могут от жажды и люди, и кони опиться и заболеть.

Речка Джагасутен вырывалась из расщелины горного хребта Большой Хинган. Выйдя на простор, она не продолжила свое течение прямиком на запад и не бросилась в жаркие объятия пустыни Гоби, а, как бы не желая расставаться с могучим Хинганом, свернула и потекла вдоль его подножия. На берегу реки, там, где она круто поворачивала на юг, отделяя пустыню от гор, умные и предприимчивые буддистские монахи создали громадный мужской монастырь Эдичин Сумэ, нам видны его строения.

Разведчики доложили: японцев поблизости нет. Сел на коня и поехал с разведчиками к монастырю. Пушки на всякий случай привели в боевое положение в направлении монастыря. По пути встретили множество разбросанных повсюду двухметровой высоты конусов из сухих лепешек коровьего помета — точь-в-точь таких, как из кизяков у нас в деревне. Вдруг вспомнил, что в детстве мы прятались в них, и подумал: этим и японцы могли бы воспользоваться.

Постройки монастыря обнесены высокой насыпью и глубоким рвом. Подъехали к каменным воротам. О нашем появлении монахам уже известно, нас встречает настоятель монастыря с переводчиком и охраной. Настоятель — крупный лет шестидесяти мужчина в черном одеянии. На широком бабьем лице небольшие, черные, настороженно-злые глаза, под глазами мешки.

Поприветствовали друг друга, и я сказал, кто мы, с чем пожаловали:

— Советский Союз и Монголия объявили войну Японии. Наша задача — прогнать японцев из Китая. При нашем приближении японцы убежали в горы. Мы освободили вас. Никакой дани мы с вас брать не будем. Разбив японцев, мы уедем домой. Мы — передовая часть Красной Армии. Наши тылы отстали, мы крайне нуждаемся в провизии, у нас кончились продовольствие и фураж. Нам же надо преследовать японцев. Мы просим вас одолжить нам немного риса, масла и овса. Я дам вам расписку. А когда подойдут наши тылы, они или вернут взятое нами, или расплатятся с вами.

Пока мы разговаривали с настоятелем, мои разведчики успели проникнуть с другой стороны в монастырь, пообщаться с монахами и выяснить запасы продовольствия.

— Там рису, масла, овса и прочего на сто лет на целую дивизию хватит, — доложил мне скороговоркой подошедший сзади Коренной.

Настоятель же, в ответ на мои разъяснения, говорит, что монастырь совсем обеднел, никаких запасов продовольствия у них нет, монахи сами чуть ли не голодают, поэтому помочь нам они ничем не могут. На этом он откланялся и скрылся за воротами.

Когда мы двигались по Восточной Европе, воюя с фашистами, в дружественных странах население встречало нас с радушием и делилось последними продуктами. Так было в Болгарии, Югославии, Чехословакии. Правда, некоторые венгры и австрийцы, особенно зажиточные, настороженно к нам относились, но фураж для коней давали добровольно, скорее всего из опасения навлечь на себя наш гнев за прошлое сотрудничество с фашистами. За взятое продовольствие, овес, кукурузу и сено для коней наши старшины выдавали владельцам расписки.

Здесь не так. Но как поступить с монахами? Продовольствие и фураж нужны нам позарез. К вечеру многие кони протянут ноги, да и люди не поднимутся. А ведь мы должны, не мешкая, двинуться через горы. Населения поблизости нет. Больше, кроме как в монастыре, взять съестные припасы негде.

Сидим с разведчиками в раздумье у монастырских ворот. Подходит замполит капитан Карпов — не вытерпел, решил разузнать, чем разговор с монастырем закончился. Карпов старше меня, жизненного опыта у него побольше, может, он что придумает?

— Не дают, — печально произнес я.

— Силой брать нельзя, будут судить за самоуправство.

— А что делать? Иного выхода нет, тылы подойдут только через несколько дней. Нельзя же дивизион обрекать на гибель, а с ним и боевую задачу. Давай действовать вместе, — предлагаю.

— Можешь брать силой, но отвечать будешь сам, — сухо, как посторонний, ответил мой заместитель. Поднялся и пошел.

Обозлился я на своего замполита. Он не только в боях никогда не участвовал, но и в вопросах воспитания личного состава, в решении бытовых дел не проявлял заинтересованности. Строчит ежедневно политдонесения в полк — вот и все его заботы!

Возненавидел я и настоятеля монастыря. Где же его милосердие?! Привитый нам с детства атеизм и негативное отношение к религиозным организациям брали свое, а безвыходность положения подхлестывает желание во что бы то ни стало раздобыть продукты. Перед глазами стоят осоловелые лица солдат, раскрытые рты лошадей. И я решаюсь еще раз поговорить с настоятелем. Передаю вызов через охрану ворот. Долго не показывался рассерженный старик. Наконец вышел с видом: ну чего еще надо?!

Пытаюсь, обрисовав положение дивизиона, пробудить сострадание и милосердие. Ведь нам и нужно-то два раза покормить людей и лошадей: четыре мешка риса, пару горшков топленого масла и полтонны овса. Настоятель не соглашается. Тогда я пригрозил:

— Ваши возможности и запасы продовольствия нам известны. Если вы не дадите нам просимое подобру, возьмем силой. Я не смогу остановить голодных солдат, а они вооружены. Напишу вам расписку, и вы дадите продукты! Через три дня наши тыловые службы с вами рассчитаются, я предупрежу их.

Тут я почему-то подумал: не сообщил бы духовный отец японцам о нашем положении, еще и нападут.

Переводчик прочитал мою расписку, и настоятель согласился дать продукты. Вскоре, уже в темноте, засветились костры и огни кухонь, солдаты повеселели, загомонили. У штабного котла сидел улыбающийся замполит и вместе со всеми с аппетитом уплетал рисовую кашу с топленым сливочным маслом.

Наутро, покормив еще раз людей и лошадей, мы двинулись узкой горной тропой по разлому вдоль речки Джагасутен поперек хребта Хинган — догонять японцев.

###### На вершине Большого Хингана

За многие миллионы лет Джагасутен, эта, казалось бы, небольшая речушка, проделала в горах каменного Хингана громадную расщелину. Люди с древнейших времен использовали эту щель в горах для того, чтобы преодолевать горный хребет и попадать с одного его склона на другой — из Монголии в Китай и обратно. Постепенно в отвесных скалах по левому берегу реки была вырублена узкая дорога, которая, петляя вместе с речкой, возвышалась над бурлящими водами реки на сотни метров. Вырубленные в скале карнизы нависали над пропастью ущелья и изобиловали множеством крутых поворотов. По этой дороге с риском для жизни перемещались запряженные осликами двуколки. Вполне возможно, что в ее строительстве и эксплуатации принимали участие и монахи древнейшего монастыря.

Основной путь из Монголии в Китай через хребет Большой Хинган проходил двумястами километрами севернее, через перевал Хорохан. Но через него летом сорок пятого шло много советских войск, поэтому нашу 52-ю дивизию направили в Китай по этому ущелью, через перевал Шарагата.

Когда мы, войдя в ущелье, посмотрели на серпантин дороги, вьющейся высоко в скалах, сердца наши зашлись пуще, чем перед самым страшным боем с немцами. Хорошо были видны узкие карнизы, нависавшие над пропастью, и крутые повороты, по которым дорога обходила отвесные выступы скал. Солдаты забеспокоились:

— Как же мы потянем пушки на трех парах коней, связанных друг с другом постромками? Стоит одному битюгу поскользнуться и свалиться в пропасть, как он тут же потянет за собой остальных коней, передок и пушку.

— А «Студебеккеру» с передком и гаубицей как развернуться здесь? У него же левые колеса повиснут в воздухе, — вторили им шоферы машин.

А что было делать мне, их командиру? По воздуху не полетишь, а пути иного нет. Стал воодушевлять солдат:

— А как Суворов через Альпы переходил?

— Так у него же горные пушки были, стволы отдельно на ремнях тащили, а у нас пушка от конца станин до дула — шесть метров!

— Будем переправляться через Хинган любой ценой. И плакаться нам не пристало, — твердо заявил я.

Солдаты верили в меня и знали мою решимость. Да, пришлось кое-где выпрягать коней, на руках катить орудия, заносить над пропастью стволы и станины, держать их плечами, на веревках, прикрепленных к вбитым в скалы крючьям. Подтягивали и машины. И дорогу приходилось расширять, и крутой уступ скалывать. Двигались мы только днем. Мук и страхов натерпелись вдоволь! Но не потеряли никого и ничего!

Когда наконец закончилось ущелье и колонна выбралась на поверхность горы, мы так обрадовались — солнцу, ветру и кое-где проступавшей зелени!

Но тут, в открытых горах, появились свои трудности. Крутые подъемы чередовались с умопомрачительными спусками. Оказалось, труднее спускаться с вершин, чем подниматься на них. Не спасали никакие тормоза. Только плечи и грудные клетки людей, упиравшихся спереди в повозки, машины и орудия, спасали дело. И еще надо отдать должное лошадям. Они отменно понимали, а вернее, чувствовали, все наши трудности и неминуемость их преодоления. Они работали из последних сил и, преодолевая, как и люди, страх, выкладывались до конца.

18 августа мы были на вершине хребта. Сравнительно легко преодолев саму вершину (ее высота всего две тысячи метров над уровнем моря), мы спустились в зеленую лощину и остановились на ночь. Вспоминая дикую жару пустыни, люди блаженствовали в тени небольших, с плоскими кронами деревьев. Воду мы экономили, потому что посылать за нею назад по дороге было нельзя. Вслед за нами по узкой дороге двигались основные силы дивизии, и разъехаться было невозможно. Но и на скудном водяном пайке солдаты не унывали. Солнце теперь не жгло их, а согревало.

Позавтракав и покормив лошадей, рано утром 19-го снова двинулись в путь. Когда проехали километров десять, дорога стала более широкой, открытой и безопасной. Светило солнце. После бессонной ночи я решил отдохнуть. Спешился и забрался в повозку-кибитку. Но не успел заснуть, как меня будят. Колонна въехала в полосу сильнейшего тумана, в трех метрах ничего не видно, люди боятся ехать, как бы в пропасть какую не свалиться.

Сел я на своего Монгольца и поехал с разведчиками и одной повозкой вперед. Когда мы осторожно проехали по туману километра два и выехали снова на солнце, я оглянулся назад, посмотреть, как продвигается наш обоз… И, пораженный увиденным, несколько секунд ехал с раскрытым ртом, развернувшись в седле. Сзади нас, метрах в трехстах, прямо на горной дороге, по которой мы только что проехали, лежало небольшое белое-белое кучевое облако. То, что мы с детства привыкли видеть высоко в небе — кучевые, пышные, медленно клубящиеся белыми завитками облака, — лежало прямо на земле! Рядом с нами! Когда шок удивления прошел, я крикнул ехавшим со мной разведчикам:

— Ребята, да вы оглянитесь! Посмотрите назад!

Разведчики обернулись и были поражены не менее моего. Никому из них, как и мне, не приходилось находиться рядом, на одной высоте с облаком, да еще на повозке проехать сквозь него. На самолетах-то мы тогда не летали. После бурной радости, восторгов и удивления один из разведчиков решил вернуться к облаку и потрогать его руками. Но я разубедил его. Никакого белого края он не увидит! А, въезжая в облако, ощутит то же, что мы только что наблюдали, когда выезжали из тумана, только наоборот: сначала редкий, едва заметный, потом все гуще, гуще и наконец густой-густой туман. И все же солдату захотелось проверить. Он поскакал к облаку и скрылся в нем. Через несколько минут он выехал из облака уже вместе с колонной. Видимо, он рассказал людям суть дела, и все они, оглянувшись, пережили наш первый восторг.

— Ну, когда бы мы с вами в облаках на повозках проехались?! — обратился я к своим спутникам.

Несколько минут, пока не подъехали к нам первые орудия, мы молча сидели, как вкопанные, в седлах, любуясь красавцем-облаком. Вспомнился Лермонтов: «Ночевала тучка золотая на груди утеса-великана…» Вспугнуть многокилометровую «птичку» с «груди великана» мы не смогли, она продолжала дремать, пока не скрылась из наших глаз.

###### \* \* \*

Спускаться с хребта было и легче, и тяжелее. Повозки и орудия накатывали на лошадей, все время надо было на ходу притормаживать пушки и коней, хорошо, что у нас были горные тормоза — такая лапа на цепи, которая охватывает колесо спереди около самой земли и мешает ему крутиться. Но часто приходилось всем миром сдерживать транспорт руками, тут офицеры были начеку, страховали, чтобы кто из солдат не попал под колесо или не свалился в пропасть.

К концу дня внезапно закончился наш стокилометровый путь через Хинган. Все мы, кони и люди, сильно устали, и вдруг в просветах между скал далеко-далеко впереди в сизой дымке показалась обширная долина — на десятки километров до самого горизонта простиралась ровная, как стол, земная поверхность. По своей геометрии она ничем не отличалась от памятной нам пустыни, но она была не желтой и серой, а густозеленой с переходом в синь дымки. Это был Китай. За долгие дни тяжелого пути по пустыне Гоби и каменному Хингану мы так изголодались по зелени, что представшая перед нами картина пьянила, обещая теплую влагу, светлый вечер, шорох листвы, хруст овощей…

Наконец мы выехали на последний спуск с горы. Это была довольно крутая, но ровная и прямая, как желоб, лощина. По ее середине спускалась вниз хорошо укатанная дорога. Переходя в горизонтальную, она шла по равнине и далеко внизу скрывалась в густой зелени.

Я остановил движение, вызвал в голову колонны командиров батарей, и все вместе мы стали советоваться, как лучше и безопаснее организовать спуск. Он был не такой крутой, но очень длинный, километра четыре, и затяжной, а это было опасно. Решили попробовать спустить сначала машину с кухней на прицепе. Проверили тормоза, шофер сел за руль, перекрестился и включил первую скорость. Притормаживая, поехал вниз. Мы с волнением наблюдали за спуском. Постепенно машина стала разгоняться все быстрее и быстрее.

Вдруг кухня-двуколка на каком-то ухабе повернулась в сторону, сорвалась с крюка, обогнала машину, развернулась хоботом-прицепом назад и покатилась по дороге вниз. Кольцо-проушина прицепа цеплялось за дорогу, подскакивало, билось о грунт и тем самым тормозило и направляло движение колес строго по дороге. Скорость движения кухни нарастала с каждой минутой. Она стала часто подпрыгивать, но удерживалась на дороге, пока не скатилась с горы. Но и дальше, на горизонтальном пути, продолжала движение на бешеной скорости до самых посевов. Потом, наверное, наскочила на какую-то неровность, свернула в сторону, накренилась, перевернулась и кубарем полетела в зелень, еще много раз перевернувшись, пока не разлетелась в щепки. Это было от нас так далеко, что мы не слышали никаких звуков, сопровождавших аварию. Машина же, что везла кухню, благополучно, на тормозах, со многими остановками съехала в долину.

За спуском кухни наблюдал почти весь дивизион, и ее авария послужила всем нам наглядным уроком. На опыте спускавшейся машины мы поняли, как осторожно, поэтапно, на тормозах надо спускать вниз машины, повозки и орудийные упряжки. Что мы хотя и с трудом, но все-таки проделали.

### Глава двадцать третья

### Китай

### Август 1945 года

###### Первые встречи с китайцами

Закончились наконец горы Хингана с их подъемами, спусками, узкими карнизами над провалами. Там, где издревле с риском для жизни перемещались лишь запряженные осликами двуколки, пешие путники да всадники, мы сумели провезти длинные пушки с передками, запряженные цугом тремя парами битюгов. Тяжко нам пришлось! Попробуй развернись с двадцатиметровым поездом на узкой дороге с крутыми поворотами над пропастью. Да и трехосному «Студебеккеру» с гаубицей и передком на прицепе непросто обогнуть скалу, когда полколеса повисает в воздухе. Сколько сил потрачено, сколько страха натерпелись, но стокилометровый перевал преодолели, не потеряв ни одного человека, ни коня, ни машины. Успешно скатились мы и с самой последней горы в китайскую долину.

И вот перед нами раскинулась зеленая плоская равнина. За два месяца пребывания в жаркой пустыне Гоби и каменистых ущельях Хингана мы так соскучились по зелени, мирному человеческому жилью, что готовы были, забыв обо всем, просто вдыхать аромат свежих растений и взирать на окружающий мир. Со слезами на глазах смотрели мы на райские кущи благоухающих растений, на бесконечные ленточки хорошо обработанных полей, где росли неведомые нам культуры: высокий, как наша кукуруза, гаолян, но без початков, а с метелкой семян на самой верхушке; чумиза, похожая на наше просо, но с более мелкими и жесткими семенами. Посевы вплотную примыкали к горам, не видно было ни пяди заброшенной, замусоренной сорняками земли. Землю здесь ценили и усердно обрабатывали. Каковы же ее хозяева, китайцы, думали мы, похожи ли они на свои прекрасные поля?

Первым делом осмотрели сломанную кухню. Хорошо, что повар крепко привинтил крышку к котлу, мы обнаружили вполне сохранившийся закрытый котел, изуродованное основание кухни и сорвавшуюся с рессор, отскочившую в сторону ось-диффер с колесами.

И тут мы увидели их. Китайцев. К разбитой кухне они пришли раньше нас и теперь поднялись нам навстречу из густо заросших грядок. Мы их не сразу и заметили.

— А если бы это были японцы?.. — пошутил кто-то из солдат.

К нам подошли мужчина и женщина. Муж и жена, как мы узнали позже. Им было за тридцать. Худые, смуглые до черноты, обожженные солнцем, жилистые. Поразила их одежда. Оба были в замусоленных, оборванных остатках трусов, едва прикрывавших переднюю часть тела. У женщины свисало с плеч еще и подобие простенькой кофточки, вконец полинявшей и изодранной. Длинные волосы женщины были распущены и завязаны сзади какой-то тряпочкой, с головы мужчины свисали мелкие косички. Они приветливо улыбались нам. По жестам мы поняли, что они сочувствуют нашему горю — аварии с кухней. Потом они показали на отскочившую от кухни стальную ось с диффером и колесами, попросили отдать ее.

— Нет, — сказал шофер, — колеса я сниму, они нам самим пригодятся. А вот ось пусть берут.

Так и сделали. Нас удивляло: зачем без колес она нужна им? Когда китайцы из разговора на языке жестов убедились, что мы не возражаем, они чинно поблагодарили нас, попрощались, сгибаясь в поклонах, и вдвоем покатили по дорожке между посевами тяжелую круглую ось.

А мы остановились на двухчасовой привал. Повар сразу открыл крепко завинченную крышку котла, и на нас пахнуло вкусным запахом допревшей, еще не остывшей каши. Мы принялись за ужин. Лошадей покормили овсом и свежескошенной травой, вдоволь напоили. Воду мы уже не жалели, выпили и использовали всю до капли в надежде найти поблизости щедрый ее источник.

Конные разведчики доложили, что на расстоянии десяти километров японцев не обнаружили, и мы двинулись в путь.

Со своим ординарцем Коренным я по привычке ехал впереди дивизиона. Подо мной был уже привыкший к хозяину вороной Монголец. Своими черными, с кровяными прожилками на белках глазами он дико озирался из-под длинной, свисавшей почти до ноздрей косматой гривы. Ехали мы сквозь высокую зелень посевов гаоляна, и на своих низких монгольских конях едва возвышаясь над зарослями. Впереди и по сторонам, насколько глаз хватало, не было ни одного селения, никакой постройки, однако узкая полевая дорога была набита до пыли, сквозь буйную мураву заметно выделялись наезженные колеи. Значит, по этой дороге происходит интенсивное движение. И все же нигде не видно ни конного, ни пешего, ни единой повозки. Наверное, на полях закончилась прополка и люди на время удалились, чтобы и самим отдохнуть, и не мешать буйному росту посевов.

Вдруг за поворотом чуть не из-под самых копыт вспорхнула стайка ребятишек и тут же исчезла в густых зарослях гаоляна. Они были голые и настолько грязные, что спины их сливались с дорожной пылью, как тельца серых воробьев с густым безлистным кустарником. Мы не сразу их и заметили в пыли дороги, а они, видно, увлеклись игрой, не ожидали нашего появления, поэтому так близко нас подпустили.

Мы спешились. Отдал поводья Якову и стал быстро пробираться сквозь гаолян вслед за убежавшими детьми. Метров через сто посев закончился, и я оказался в густом кустарнике. Осторожно выглянул. Впереди стояла одинокая фанза с плоской крышей, ее окружал небольшой прямоугольный двор, огороженный тонкими слегами. Во дворе не было никаких построек, даже туалета, и ничего не росло, но он был чисто выметен: видно, двор служил хозяевам как ток, на котором они обмолачивали зерновые культуры.

Сразу зайти в фанзу я остерегся: там могли быть и японцы. Решил несколько минут подождать, может, кто и выйдет. Спрятался за куст, наблюдаю сквозь ветки за двором. Яшка с автоматом на шее и поводьями в руках стоит за соседним кустом. Кони, опустив головы, жуют траву. Минут через пять из дома не спеша вышла стройная средних лет женщина. Она была совершенно голой. В руках — ничего. Длинные черные волосы распущены. Женщина медленно шла по двору и внимательно смотрела под ноги. Что-то она искала. Постепенно подошла к забору напротив меня, увидела сухую древесную кору, быстро подняла, затем подобрала несколько сухих травин. Я понял, что она ищет материал для растопки. Не взглянув в мою сторону, вернулась в фанзу. Окликать, тем более разговаривать с обнаженной женщиной я не стал, понадеялся, что следом выйдет мужчина.

Из фанзы не доносилось никаких звуков. Терпеливо жду еще несколько минут. В дверях появляется та же самая обнаженная женщина. Когда она направилась опять в мою сторону, я медленно вышел из-за кустов. Пистолет на ремне загодя убрал за спину, руки мои свободно свисают вниз. Улыбаясь, доброжелательно смотрю на хозяйку. Она сначала испугалась, вздрогнула. Потом, зажав груди руками, стала внимательно меня рассматривать. Между нами метров шесть. Оставаясь на месте, я жестами стал спрашивать, где японцы. Показываю на звездочку на пилотке, кладу ладони на погоны, затем плоскими ладонями провожу от переносицы в стороны вверх, показывая раскосые глаза японцев. Она поняла, что я спрашиваю о военных японцах. Поочередно быстро подняла колени к животу, изображая бег, и, повернувшись ко мне спиной, вытянутой рукой обозначила направление бегства японцев. Чтобы не вести дальше диалог с неодетой женщиной, я изобразил на голове косички, тем спросив: а хозяин — мужчина где? Она и это поняла. Что-то крикнула в фанзу. Появился и встал с нею рядом мужчина, тоже голый и действительно с косичками на голове. Тогда я уперся глазами в китайца и начинаю разговаривать жестами только с ним. Женщина поняла мой намек, пошла в фанзу и быстро вернулась уже «одетая». В жизни не встречал больше женщин, которые бы так быстро одевались! С ее бедер свисали остатки трусов, немного прикрывая переднюю часть тела. Груди она по-прежнему держала в ладонях и всем своим независимым видом показывала, что на этот раз она уже одета и стесняться ей нечего. Теперь я все внимание обратил на лицо женщины. Мужчина догадался, что и ему надо бы одеться. Сходил в фанзу и предстал передо мною в таких же точно трусах, что у жены. Затем хозяин пригласил меня в дом. Я позвал Яшку, он привязал коней к изгороди и встал у входа в фанзу.

Дверей ни в сени, ни из сеней в комнату не было, только проемы. Спрашиваю, где же двери? Китаец показал на лежащие в углу маты из стеблей гаоляна. Входим в комнату размером четыре на четыре метра. Рамы в двух окнах есть, а стекол нет. Ветерок шелестит остатками вырванной промасленной бумаги. Значит, на зиму окна, вместо стекол, заклеивают промасленной бумагой. Пол глиняный, чисто убран. Слева от входа, на некотором отдалении от стен и угла, стоит чугунный котел, вмазанный в печку. По диаметру — сантиметров семьдесят, вписывается в квадрат печки, оставляя вокруг небольшой, в полкирпича, зазор. На этой приступочке лежат штук десять палочек — это их ложки. Котел чисто вымыт. Рядом стоит погнутое, из тонкой белой жести ведерко. Стола нет. Представляю, как готовится обед и идет семейная трапеза. В котел наливают пару ведер воды, засыпают гаолян (крупа по цвету и форме похожая на нашу гречку, но твердая и невкусная) и варят. Потом семья окружает котел, вооружается палочками и быстро опустошает посудину. Из того же погнутого ведерка можно испить воды. Никакого стола, посуды для всего этого и не требуется, и мыть ничего не надо, палочки всегда облизаны.

Больше в фанзе ничего не было. От печки по полу вдоль стен шел квадратный глиняный дымоход-кан, уходящий возле стены вверх. В противоположном от печки-котла углу на полу лежала большая куча золы. Я спросил, почему хозяева не убирают из помещения золу? Китаец сначала не понимал моего вопроса. Тогда я взял в пригоршню часть золы и выбросил во двор через окно. Хозяин понял вопрос и высоким тинькающим голоском начал мне объяснять, зачем здесь зола. Я, естественно, не понимал. Тогда он высунул голову в окошко и громко что-то крикнул. В комнату вбежало четверо ребятишек от трех до семи лет. Все они были голые, грязные, пузатые и улыбающиеся. Они внимательно смотрели на отца, ожидая, зачем он позвал их сюда. Отец что-то сказал сыновьям. Они подбежали к вороху золы, легли на него с разных сторон и быстро зарылись в пепел, оставив на поверхности только головы. Зажмурили глаза и изобразили спящих. Тут я понял: зола служит им постелью. Опять же — остроумно, быстро и просто.

Когда я выходил из комнаты в сени, увидел у стены прикрытую травой нашу ось от разбитой кухни. Я показал на нее рукой и несколько раз потыкал себе в грудь: дескать, это наша ось, это мы отдали ее вам. Китаец понял, внимательно всмотрелся в меня и, узнав, стал низко кланяться. Я же ни его самого, ни жену не признал. Нам все китайцы казались на одно лицо и одного возраста — тридцать лет. Кроме стариков, конечно.

В дальнейшем голые китайцы и китаянки встречались нам и в поле, и в кустарнике, где они работали или пасли скот. В населенных пунктах бедра всех взрослых китайцев были прикрыты. А богатые китайцы шествовали в длинных шелковых халатах. В первых небольших населенных пунктах, которые оказывались на нашем пути, нас поразило, что во всех поселках было по единственному топору на все селение. Топор был прикован цепью к внешней стороне большого пня, на котором люди рубили принесенные хворост, дрова и прочее.

Так произошло наше знакомство с китайцами в августе сорок пятого года.

###### Кайлу

Кайлу — первый китайский город, встретившийся на нашем пути после того, как мы преодолели Большой Хинган. В этом городе мы организовали большой, часов на шесть, привал дивизиона. Нужно было покормить личный состав и коней, привести в порядок транспортные средства, разведать дальнейший путь.

Город, состоявший из одно — и двухэтажных домиков, был сравнительно чистым. Стояла тихая солнечная погода, на открытых верандах хозяева-повара и парикмахеры настоятельно предлагали свои услуги. Они демонстрировали чистоту воды и посуды, своих рук и продуктов, готовые сразу, по знаку посетителя, приступить к готовке еды или бритью.

Японцы покинули город перед самым нашим приходом, и китайцы встречали нас восторженно. Мои артиллеристы тут же воспользовались радушием хозяев и посетили не только магазины и ресторанчики, но успели посмотреть местный диковинный для нас дом терпимости. Однако обслуживать их проститутки отказались, вывесив на дверях каморок, располагавшихся вдоль длинного коридора, красные тряпочки. Скорее всего их смутило большое количество «экскурсантов», а может, и интуитивное предчувствие неплатежеспособности посетителей. Но размалеванных молодых китаянок в ярких разноцветных халатиках наши люди рассмотреть успели.

Более пожилые солдаты прошлись по магазинчикам, в которых ловкие продавцы, жонглируя не то аршинами, не то какими-то другими измерительными инструментами размером в полметра, предлагали свой товар: тонкую, не очень плотную, шириной сантиметров тридцать тускло-бледную, выкрашенную зеленой или синей краской ситцевую ткань.

У меня было много дел по подготовке к дальнейшему движению и возможной встрече с японцами, поэтому сам я город Кайлу и его домики видел лишь мимолетно. Солдаты же успели все рассмотреть и даже попробовать, о чем потом с упоением мне рассказывали. И все же с одним настойчивым китайцем, предлагавшим мне выпить чая, я объяснился по-китайски. Я вспомнил, что в учебнике «Языкознание» китайский язык отнесен к группе аморфных языков, то есть в нем нет склонений. В учебнике был приведен пример: ча-во-бу-хе — чай я нет пить. Когда я сказал это китайцу, он сразу перестал предлагать мне угощение.

Из Кайлу мы двинулись дальше. По пути нам встретился совсем маленький город, обнесенный высокой белой каменной стеной. Орудия дивизиона еще втягивались на бугор к городку, а мы с Коренным на конях уже подъехали к городской стене. Прямо у дороги в стену были встроены громадные ворота, запертые крепкими деревянными створами. Над воротами нависал массивный балкон. Как только мы с Коренным появились вблизи ворот, они с громким скрипом растворились и балкон заполнила местная знать. Располневшие, разодетые в шелка пожилые китайцы расселись на скамейках, а их предводитель, склонив голову, встал перед барьером с сомкнутыми перед грудью ладонями.

Поднятием руки я остановил колонну. Мой конь замер на месте как вкопанный. Главный китаец обратился ко мне с речью. Я жестами показал, чтобы он спустился ко мне, вниз. Глава города вместо того, чтобы выйти навстречу, прислал мне переводчика — сухонького, небольшого роста босого старичка в ветхой рубашонке и брюках, подпоясанных веревочкой. На ломаном русском старичок-переводчик сказал, что меня приглашают на балкон, а войско пусть въезжает в город.

— А что написано на плакате? — спросил я, показывая на иероглифы, начертанные на белом полотнище, висевшем на барьере балкона.

Переводчик мучительно наморщил лоб, но никак не мог найтись с ответом. Потом он откашлялся и сказал:

— Твоя ходыла и ходыть будет!

Я перевел себе это так: «Да здравствует Красная Армия!» На вопрос, откуда он знает русский язык, старичок сказал, что в 1905 году работал во Владивостоке грузчиком.

Между тем знать спустилась с балкона и стала приветливо звать меня наверх. На балкон взбираться я не пожелал и вводить в походном состоянии орудия в город тоже отказался: не хватало еще в ловушку угодить.

— Японцев в городе нет. Они рано утром убежали, — успокаивали меня китайцы, уловив мою настороженность.

И все-таки привал мы организовали в кустарнике за пределами городка. Чтобы размяться после долгого пребывания в седле, я взял в руки хворостинку и пошел с фотоаппаратом на шее в глубь кустарника. На полянке усердно щипали траву с десяток овец. Когда я подошел к ним, навстречу из кустов вышла пожилая женщина. Видно, она хотела своим появлением предупредить меня, чтобы я не принял овец за бесхозных. Овцы были, как и наши, небольшие. Зато китаянка поразила меня: она была полностью обнаженной. К моему удивлению, она нисколько не смущалась своей наготы. Видно, у них было так заведено, что в городе, поселке следует кое-как прикрывать бедра и грудь, а в кустарнике, в поле можно и раздетым ходить. Я поднес фотоаппарат к глазам, чтобы заснять женщину, но тут она застеснялась и повернулась ко мне спиной. Мне стало стыдно, и я опустил камеру.

Вернувшись в расположение дивизиона, я увидел, что он окружен плотной многорядной стеной китайцев. Взрослые и дети, мужчины и женщины из близлежащих деревень пришли поглядеть на странных русских военных. Они внимательно рассматривали орудия, повозки, машины, лошадей, солдат и все, чем солдаты занимаются: как готовят обед, как и что едят, как осматривают коней, повозки.

Китайцев было так много, что наши двести пятьдесят человек со всем имуществом утонули в их плотном кольце. И только проворный старшина Макуха умело управлял этой толпой: показывал местным жителям черту, за которую они не должны ступать, что-то жестами объяснял, а главное, вел с ними, как и другие солдаты, бойкую торговлю. Покупал он у китайцев только те продукты, которые нельзя загрязнить, — арбузы и яйца. Макуха поднимал высоко над головой, например, рваную гимнастерку, а проще говоря, ветошь, предназначенную для чистки пушек, и желающие купить эту вещь китайцы поднимали руки. Старшина смотрел, у кого арбуз покрупнее, и знаком подзывал к себе. Тот подходил, клал арбуз к ногам покупателя и получал взамен гимнастерку. Потом старшина стал разрывать гимнастерки на части и получать арбуз уже за каждый рукав или спинку. Увидев это безобразие, я возмутился. Но старшина успокоил меня:

— Товарищ капитан, они ничего не понимают, рады любой тряпке, чтобы прикрыть наготу.

Я запретил разрывать вещи, и китайцы стали выторговывать цельные брюки и гимнастерки. Но я заметил, что многие наши солдаты покупали яйца и арбузы на деньги, сохранившиеся у них с войны на Западе. В ход пошли драхмы и левы, марки и пенги. Дело дошло до этикеток с пачек сигарет. Неграмотные китайцы все принимали. А политработники дивизиона безучастно наблюдали такую «торговлю» и только улыбались. Пришлось сделать им внушение, а солдатам запретить обманывать несчастных людей.

В 1947 году, демобилизовавшись из армии, я продолжил учебу в институте. Жили мы с женой так бедно, что годовалому сынишке не из чего было сшить курточку. В ход пошла реликвия — мои изрешеченные осколками мины брюки. Тогда-то я и вспомнил бедных китайцев. Мы оказались не богаче их.

###### Река Ляо-ха-хе

Ляо-ха-хе — это приток многоводной и коварной реки Ляо-хе. Направляясь из города Кайлу, расположенного в предгорьях хребта Большой Хинган, в Порт-Артур, мы пересекли громадную низину Северо-Восточного Китая и удалились от хребта уже километров на триста. Японцев мы так и не встретили, они поспешно убегали при нашем подходе. Наш дивизион продолжал двигаться в авангарде дивизии, и я первым из всех командиров дивизии встречал, наблюдал, удивлялся, преодолевал всевозможные препятствия неведомого нам доселе Китая.

Двигаясь по Китаю, мы всматривались в детали жизни крестьян и горожан. Удивило, например, что у каждой лошади и осла сзади был подвязан мешочек для сбора навоза. Не успеет наш конь набросать помет, как подбегает китаец с коробком и собирает навоз для удобрения своего участка. Китайцы встречали нас дружелюбно. Но к их наготе и бедности (хуже, чем в Румынии) было невозможно привыкнуть.

Однажды утром, часов в десять, в теплый, солнечный день, стояло полное безветрие, с конной разведкой мы вырвались вперед и уже километра четыре ехали по ровной, чистой и гладкой поверхности, состоявшей из плотного мелкого белого песка. Вокруг — ни деревца, ни кустика. Оказалось, это было старое русло отступившей реки. Невдалеке виднелась и сама Ляо-ха-хе. В полукилометре за ней, на сухом месте, вырисовывался высокий, длинный деревянный мост. Мы приблизились к руслу. Бурная, светло-коричневая Ляо-ха-хе не отливала серебром, как наши реки, а темнела среди искрившегося на солнце светлого прибрежного песка. Шириной она была метров двести, но мелкая. Посередине русла возвышался продолговатый островок. По всему было видно, что река пришла сюда не так давно, текла она прямо по песку, никаких берегов с отмоинами, бугорками, растительностью не было и в помине. Однако течение в мелкой реке было очень быстрое. Мутная вода неслась с такой скоростью, что ее потоки, перебегая один в другой, завихрялись, вспучивались, уходили вглубь — смотреть на них и секунду невозможно: кружилась голова. В какую точку ни глянь, всюду стремительно закручиваются и тут же исчезают причудливые буруны. К тому же мутный, желтый поток искрился на солнце великим множеством мелких песчинок. Впечатление было, что вода, взбухая, мерцая, переливаясь, стоит на месте, а ты сам с головокружительной скоростью несешься по ее волнам, качаясь из стороны в сторону.

Судя по колеям, уходившим в воду, мы подъехали к броду. Я пришпорил Монгольца, но он заупрямился, в воду не шел, боялся; наверное, у него, как и у нас, кружилась голова. Я спешился, вошел в воду и, прищурив глаза, двинулся поперек реки. Под ногами было твердое дно, вода даже не заливала сапог. Прошел метров сто, до самого острова, и только кое-где погрузился до краев голенищ. Ну, подумал, ничего страшного, завяжем глаза коням полотенцами и поведем за поводья.

Подошла колонна дивизиона. Я собрал командиров батарей и взводов, дал советы, как преодолеть водную преграду, и переправа началась. Сначала мы беспрепятственно переправили на тот берег автомашины, затем «Студебеккеры» с гаубицами и принялись за пушки и повозки. С завязанными глазами, ведомые тянувшими их за поводья ездовыми, лошади шли по бурлящей воде спокойно и уверенно. На случай, если лошадь оступится и упадет, каждую из них сопровождали с боков по три-четыре солдата, держа наготове веревочные постромки, чтобы в случае чего просунуть их под живот коню и помочь ему подняться на ноги. Как и большинство командиров, я был в одних трусах, весь перепачканный илом, метался от пушки к пушке.

Когда стали переправлять последнюю, восьмую пушку, одна тяжелая коренная лошадь упала, и ее сразу не смогли поднять. Пока распрягали упряжку, вызволяли упавшего битюга, передок орудия засел в иле настолько, что его едва вытащили всем миром. Увлеченные поднятием передка, забыли про орудие. А оно за это время ушло в ил, даже щита не видно. Пришлось подкапываться под станины и колеса, чтобы просунуть постромки. А для этого нужно было, задержав дыхание, опуститься с головой в воду, быстро раскопать ил и успеть протащить несколько концов веревок в проушины колеса. Вот тут-то мы в полную меру ощутили коварство Ляо-ха-хе. Дно оставалось твердым пока идешь или едешь, но, стоило остановиться, бурлящая вода мгновенно вымывала ил из-под ступни или колеса, и человек, машина или орудие быстро оседали, погружаясь в ил. Из всех солдат и офицеров я оказался самым выносливым, мог, находясь под водой, не дышать несколько минут, чтобы успеть справиться с засасывающим илом и выдать наверх концы постромок. И вот двадцать концов веревок выведены наружу. За них схватилась сотня солдат. Командую:

— Раз, два, взяли!

Веревки натянулись, как струны, люди с постромками на плечах поднатужились и рванули вверх. Ура, пушку вытащили! Но что такое?! Правое колесо пушки оказалось отделенным от орудия. Тащили с такой силой, что сломалась стальная ось, которая выдерживала толчок при выстреле пушки.

Сломанную пушку вытащили на берег. Но как ее теперь транспортировать? На прицепе не повезешь. Надо в кузов ставить, а на машинах нет и сантиметра пустого пространства. Да и саму пушку жаль. Хотя в боях с немцами мы теряли их не единожды — но то в боях, а тут переправа.

###### «Мы вас судить будем!»

Уставшие, голые и грязные с ног до головы, удрученные потерей орудия, мы сели на песок островка, чтобы отдышаться.

— Смотрите, ребята, какие-то легковые машины подъехали, — заметил один из разведчиков.

Действительно, с машин спрыгивали на прибрежный песок военные, мужчины и женщины. Один из офицеров поднялся в открытой кабине автомобиля и стал громко и требовательно звать нас к себе, как видно, возмущенный, что мы не бросились к машинам сразу же, едва они подъехали к берегу. А мы до того устали, повозившись с конями и пушками, что не в состоянии были подняться на ноги, не то, чтобы из подхалимства или любопытства броситься к подъезжавшим. Поэтому на зов офицера никак не отреагировали. Если надо, пусть подойдет к нам на остров, мы с удовольствием поделимся горьким опытом переправы через каверзную реку. А пока что мы отдохнем и придем в себя.

Между тем нетерпеливый и строгий офицер — он оказался капитаном — вошел в сапогах в воду и быстро пошел в нашу сторону. Едва ступив на островок, он матерно обругал нас и скомандовал:

— Встать! Смирно!

Видавшие виды фронтовики не испугались окрика пришлого офицера. Они устремили взгляды на меня, своего командира, намереваясь действовать в зависимости от моей реакции. А я продолжал сидеть, спокойно глядя на капитана.

— Кто из вас старший?! — визгливо выкрикнул он.

— Я старший, — отвечаю, не двигаясь. — В чем дело?

— А ну встать! Ты как разговариваешь, скотина?! — капризно заверещал офицер, намереваясь пнуть меня носком сапога.

— Чего вы хотите от нас, капитан? — неторопливо отвечаю. — Говорите спокойно и не кричите. Я тоже капитан, и нечего на меня орать. А то мы устали, голодные и злые, можем и морду набить.

Капитан резко развернулся, хрустнув новенькой портупеей, и побежал обратно по воде к машинам. О чем он говорил со своими спутниками, нам было не слышно, но вскоре он поднял руку и подал сигнал: ко мне. Мы продолжали сидеть не шевелясь. Тогда капитан снова прибежал на островок.

— Тебя полковник вызывает! — обращается ко мне.

Полковник для меня — начальник. Поднимаюсь, иду на вызов.

Полный, лет пятидесяти, полковник встретил меня хмуро, видно, капитан наябедничал. Начальственно спросил:

— Вы кто такой?

— Капитан Михин, командир дивизиона тысяча двадцать восьмого артполка. Произвожу переправу подразделения через реку Ляо-ха-хе.

— Ну и как идет переправа?

— Хорошо. Только одна пушка застряла, но мы ее вытащили. А вот ось сломалась.

— Как? Сломалась ось? — округлил глаза полковник. — Из нее стрелять можно?

— Нет, нельзя. Надо сменить боевую ось.

— Мы вас судить будем! — повысил он голос. — Я — прокурор армии. Это что за вредительство?! Капитан Сухарев, — повернулся полковник к уже знакомому мне капитану, — следствие поручаю вам.

— Вы меня арестовывать будете? — спросил я, понимая, что дело принимает серьезный оборот.

— Пока выполняйте боевую задачу, а потом мы вас найдем.

— Разрешите идти? — козырнул я.

— Идите.

Прихожу к своим.

— Ну что там, товарищ капитан? — с нетерпением спрашивают.

— Судить меня будут.

— За что?!

— За то, что пушку сломал.

— Да что мы — специально ее ломали?! Мы же ее вытаскивали!

— А если б она утонула в иле — лучше бы было?! — возмущались солдаты.

Мы поднялись и направились на правый берег речки к своему дивизиону. Кто-то из ребят оглянулся и с интересом сказал:

— Смотрите, машины в воду пошли.

Повернувшись, мы увидели, как две прокурорские машины, «виллис» и «амфибия», нагруженные чемоданами и девицами в военной форме, резво покатили по твердому песку в речку, далеко разбрызгивая водяные струи. Прошли метров пятьдесят по воде. Но вот одна из них остановилась и стала погружаться в воду. Девицы с визгом выпрыгнули из машины и, задрав юбчонки, бросились бежать к берегу. Вслед за первой остановилась и вторая машина. С берега к машинам устремились прокурорские солдаты и офицеры. Сначала они попытались столкнуть машины с места, но это им не удалось. Тогда они принялись хватать всплывавшие из открытых кузовов чемоданы. Девицы и чемоданы вернулись на берег, а машины продолжали медленно, но верно погружаться в воду. Смотрим, к нам бежит злополучный капитан.

— А ну, быстро к машинам!

Я возмутился: почему это он командует моими солдатами?!

Капитан убежал к полковнику, затем возвратился назад и потребовал, чтобы я снова явился к прокурору. Я направился на левый берег, а солдаты кричат мне вдогонку:

— Товарищ капитан, не торопитесь! Пусть их машины покрепче засядут в иле, тогда узнают, что это за река!

Докладываю о своем прибытии.

— Быстро берите своих солдат и вытащите на тот берег мои машины, — приказывает полковник.

— Я попытаюсь это сделать, товарищ полковник, но машины уже глубоко ушли в ил. Мы сможем их вытащить, но только без колес.

— Ты с ума сошел?! — перешел полковник на крик. — Я за эти машины расписался, они новенькие! Как это можно их ломать?!

Я вернулся на островок к солдатам:

— Пошли, ребята, надо вытаскивать. Жаль технику, уйдет под воду.

Солдаты встали и нехотя направились к машинам. Между тем колеса уже скрылись в иле, из воды торчали только кузова. Попробовали тащить машины вверх, но поддавались лишь кузова, колеса уже намертво схватил уплотнившийся ил. Скрипели рессоры, того и гляди сломаются.

— Вытащите, пожалуйста, хотя бы одну машину, — уже плаксиво взмолился полковник.

Тут мы по-настоящему взялись за «амфибию»: она меньше углубилась. Принесли веревки, подкопались к колесам, скрываясь с головой в мутной воде, просунули под оси веревки и дружно потянули машину вверх. Поскрипев, она, наконец, поддалась и медленно стала подниматься над водой. Когда вытащили и отволокли «амфибию» на другой берег, от «виллиса» торчало над водой только ветровое стекло.

Подъехал наш командир полка. Я доложил обстановку. Он распорядился машины других дивизионов таскать через реку только тракторами, а полковнику предложил:

— Я даю вам на том берегу трофейный «Опель-Капитан», а вы мне разрешите взять себе утонувший «виллис».

— Я же расписался за машины, — снова, как и мне, запел полковник.

«Виллис», как и застрявший полковой «Студебеккер» — громадная машина, метра три высотой, скрылись в бурунах речушки. Чудеса и только: воды в речке ниже колен, а автомобили скрылись под водой. Кстати, когда мы возвращались той же дорогой от Порт-Артура в Чойбалсан, я специально остановился и осмотрел место нашей бывшей переправы. Река была уже в полукилометре по другую сторону моста, а бывшее русло бурной реки представляло собой ровное, голое, твердое, как камень, заиленное поле. В одном месте из утрамбованной тверди торчал сантиметров на десять угол брезентового кузова «Студебеккера». От «виллиса» же и следа не осталось. Я знал, что Рогоза не смог вытащить «виллис», так что обмен у них с прокурором не состоялся.

До конца того трудного и зловещего дня мы приводили имущество, коней, орудия в порядок. Ночь отвели на отдых. А рано утром, позавтракав, двинулись снова вперед. Я, правда, немного задержался. Во время завтрака подбежал посыльный от армейского прокурора и повел меня к полковнику. Не без волнения подходил я к сидевшему на песке офицеру. Чем черт не шутит, может и арестовать, а мы знали, каково приходилось на допросах арестованным.

— Садись! — властно скомандовал прокурор, показывая место напротив себя.

Еще при подходе я заметил на разостланных плащ-палатках содержимое чемоданов. Сушились в лучах всходившего солнца бесчисленные пачки сигарет, обмундирование, белье. Перед полковником на раскинутой простыне-столешнице стоял завтрак и раскрытая бутылка водки.

Я в нерешительности потоптался на месте и стал медленно опускаться на колени рядом с прокурором.

— Ну, посмелее, посмелее. Позавтракаем вместе, — почти ласково проговорил полковник. Лицо было добродушным и улыбчивым. Налил в два стакана водку и подает один мне.

— Как-то неловко, товарищ полковник, с подследственным выпивать, — говорю.

— Давай, давай! Выпьем! Бывает, что и прокуроры ошибаются. Впервые встречаю такую реку. А ты молодец! Хорошо переправу провел.

На другой день в армейской газете появилась статья о том, как мы героически спасали в бурной реке пушку и машины.

###### Китайский храм

Китайское Приморье — это обширные низины с бесконечными хорошо ухоженными полями, которые пересекало множество рек, текущих с Хингана в Желтое море. Летом реки то пересыхали, то вспучивались от дождей, превращаясь в бурные, мутные потоки, сметающие все на своем пути. Эти мелкие широкие потоки с меняющимися руслами свободно перемещались на сотни метров, а то и на километры, оставляя далеко в стороне построенные на них мосты. Там, где они текли в данное время, ил пропитывался влагой настолько, что быстро засасывал не только остановившиеся на реке повозки, но и скрывал в своей толще громадные автомобили вместе с кузовами. Приходилось нам очень тяжело. Но мы упорно продвигались, вслед за отступавшими японцами, к Порт-Артуру. На большие и малые привалы останавливались в каком-нибудь кустарнике или рощице поблизости от воды. Деревни проезжали мимо из-за их антисанитарного состояния.

При выезде из одного большого села я обратил внимание на длинное строение с затейливой крышей — вроде и не сарай, и дом не дом, окошки странные: щелевые, расположенные под самой крышей. Но размеры внушительны, метров тридцать на двенадцать.

Дивизион продолжал двигаться, а мы с начштаба дивизиона Советовым, моим одногодком, и разведчиками подъехали к заинтересовавшему нас строению. Я не обратил тогда внимания на ориентацию здания относительно сторон света, но вход в него был один, с торца. Большие створчатые до самого потолка двери оказались открыты настежь. Мы вошли в помещение. Обширный коридор был пуст. Спросить о назначении здания было не у кого. Пол коридора из очень толстых черных досок был тщательно вымыт, но некрашеные доски не выскоблены. Да их из-за неровностей и глубоких трещин и невозможно было скоблить. Между досками зияли широкие щели. В местах наибольшего хождения пол был сильно протерт ногами. Постройке было не менее трехсот лет.

Внутри коридора, по обе стороны от входной двери, стояли две, скорее всего бронзовые, но почерневшие от времени скульптуры высотой примерно в рост человека. На первый взгляд эти толстые, пузатые, многорукие чудища на коротких, массивных полусогнутых ногах напоминали каких-то гигантских каракатиц, поставленных животом вперед на хвост.

Одна из скульптур, по левую сторону от входа, изображала божество мужского пола: лысого, широколицего, с небольшой круглой кудрявой бородой и небольшими жидкими усами, зато с громадными бровями, между которыми на лбу располагался третий глаз и тоже с бровью. Лицо по-звериному оскалено. Демон был страшен. Тело украшали рельефные позолоченные изображения атрибутов демона: широкую, круглую грудь пересекали от плеч к бедрам скрещение ремней, сплетенных из множества крученых шнурков, перекрестие ремней прикрывала окружность с восьмилучевым солнцем внутри; с левого плеча свисал шнурок с четырехлучевым орденом, с правого — некая грамота. Из боков чудища вырастали раскинутые в стороны руки, по три с каждой стороны, покрытые круглыми металлическими крагами от плеча до локтей и от локтей до кистей рук. Пальцы всех шести рук с куриными когтями были растопырены и приподняты вверх, большие и средние персты сведены в касании, совершая или призывая к молитве. Короткие ноги поджаты в присяде. На громадных пальцах ног — большие звериные когти. Нам было не ясно: добрый это демон или злой — дьявол это или бог? Но в целом фигура внушала какой-то ужас. В ногах чудища находились две небольшие сидящие фигурки: двурукие, трехглазые, с большими ушами и длинными, торчащими вверх волосами, их раскрытые рты искажали страшные гримасы. Фигурка побольше была с бородой, поменьше — с женской грудью.

Справа от входной двери стояла групповая скульптура. Центральная фигура — мужское божество в сдвинутом на лоб и облегающем затылок головном уборе. В центре лба барельефом выступает изображение небольшой кокарды на широких тонких ремнях. Безусое лицо божества сосредоточенно. Рот полуоткрыт. Руки, по семь с каждой стороны, обрамляют фигуру наподобие плоских вертикальных вееров. Ладони всех четырнадцати рук просяще раскрыты вверх.

За головой этого божества возвышалась более изящная погрудная фигура женщины. Ее нежное, отрешенно спокойное лицо ничего не выражает. С мочек ушей массивными полосками свисают серьги. Волосы короткие. На шее и на плечах полукруглые латы. За головой — громадный деревянный, уже потрескавшийся и почерневший от времени ромбовидный лист растения, являющий собой что-то вроде нимба.

К груди фигуры четырнадцатирукого божества прислонена спиной фигура простого смертного мужчины — нагого, но в таком же головном уборе, как у его покровителя или судьи. Лицо смертного задумчиво, с устремленным внутрь взором открытых глаз. Руки мужчины охватывают спину и прижимают к себе обращенную лицом к нему длинноволосую женщину. Ее тело тоже обнажено, руки лежат на плечах мужчины. Женщина, как и обе мужские фигуры, в полуприсяде. Правая нога изогнута в колене под острым углом и прижата к левой ноге мужчины с аналогичным изгибом. А левая нога женщины, как и правая мужчины, в близком единении отставлены в сторону. Позы мужчины и женщины демонстрируют явное обоюдное согласие. Если посмотреть на скульптурный ансамбль сбоку, то хорошо видны в действии их детородные органы. Что изображает эта групповая скульптура, нам было не ясно. Не то она призывала к единению полов под покровительством четырнадцатирукого божества и бюста миловидной богини за его спиной, не то осуждала этот акт, неминуемо свершающийся под недремлющим оком всевидящих богов. Спросить было не у кого, да и по-китайски мы не говорили, если бы и случились поблизости местные жители.

Из коридора со скульптурами мы прошли внутрь здания. Это было совершенно пустое обширное пространство с таким же старым полом, как в коридоре. Никакой мебели. Нигде ни соринки. Зала, вероятно, предназначалась для молящихся. Но не было ни алтаря, ни иконостаса. Метрах в четырех от противоположной входу стены на невысоком подиуме стояла узкая, длинная — почти во всю ширину залы — курильница, на треть заполненная золой. В золу в один ряд на расстоянии 15–20 сантиметров были воткнуты тонкие палочки, горевшие без пламени, тлеющим огнем. Над ними вился голубой дымок, источая едва уловимый приятный запах. Осыпавшийся пепел падал в золу. По-видимому, священнослужители в этом храме исполняли службу, находясь на возвышении по ту сторону курильницы. Лицом ли к молящимся? Говорили они проповеди или пели? Опять-таки узнать было не у кого.

Правая и левая стены этого помещения с узкими щелями-оконцами под потолком были старательно расписаны красочными сюжетами. На левой стене подробно показывалось множество путей измены мужу. Вот из фанзы вышел на улицу муж и направляется на работу. С конца палочки, которую он несет на плече, свисает круглая плоскодонная корзина с узелком-обедом. Сосед уже заглядывается через плетень на жену работяги. На следующих картинках изображалось, как сосед перелезает через плетень к соседке, затем они уединяются в фанзе. Множество других сценок живописали способы измены жен в различных иных житейских ситуациях. Разнообразие сюжетов было велико.

На правой стене показывалось, какие кары ожидают изменниц в загробном мире. Мужчин эти потусторонние ужасы не касались. В ответе только женщины.

Расправляются с неверными женами демоны-мучители, изображенные в виде губастых, с рогами, темнокожих существ, выпускающих густой дым изо рта, ушей и ноздрей. Эти деятельные прислужники со страшным оскалом длинных острых зубов и отвратительными гримасами подвергают несчастных женщин самым изощренным пыткам и казням. Зажимают их тела в некие станки и распиливают пилой вдоль и поперек. Бросают с вышки на бороны, лежащие на земле вверх зубьями. Кипятят в смоле, топят в колодцах, сжигают на кострах, раздирают на части, подвязав за ноги к верхушкам двух согнутых деревьев. Ну и прочие другие свершают казни.

Эта агитация в картинках, видимо, рассчитывалась исключительно на неграмотных китаянок, чтобы, убоявшись мучений в грядущем, они не изменяли мужьям в земной жизни.

###### Автопортрет с Монгольцем

Стояли тихие и теплые августовские дни. Впереди и по бокам конной колонны дивизиона в поисках японцев рыскали мои конные разведчики. А я, его командир, ехал во главе колонны на своем красивом, блестевшим вороной шерстью монгольском жеребце-иноходце. Полудикий конь жадно жевал удила и сквозь напускавшуюся ему на голову косматую гриву исподлобья зло сверкал своими черными, с огромными белками глазами. Ему не терпелось выпрямить шею и, вытянув вперед узкую морду, броситься вскачь. И только с помощью узды твердая рука наездника держала голову коня подтянутой к груди. Чувствовал, конечно, конь и как туго сжимают колени всадника его бока. Норовистый скакун тонко чувствует, кто на нем сидит, и соответственно ведет себя.

Трудности наши в Монголии и Китае происходили в основном от природы. Пустыня Гоби, потом хребет Большой Хинган, за Хинганом переправы через Ляо-хе и Ляо-ха-хе, а затем топи и реки Китайского Приморья. Японцев мы почти не встречали, они убегали от нас до самого Порт-Артура, не вступая в бой. Отдельные отряды сдавались в плен, мы отбирали затворы их винтовок и тайком бросали в реки.

3 сентября 1945 года закончилась война с Японией. А мы завершили свой путь по Китаю в городе Фусинь, не дойдя пять-семь километров до Желтого моря.

Недели две мы простояли в Фусине. За это время тысячи две молодых солдат отправили в Порт-Артур на пополнение гарнизона. А дивизия должна была возвратиться в Монголию, в Чойбалсан, — к нашему ужасу, тем же путем, что преодолели в наступлении. Единственное, что радовало: путь знакомый. Все подвохи знаем, а в пустыне колодцы уже отрыты.

25 сентября одолели снова хребет Большой Хинган у перевала Шарагата и 28 сентября достигли границы с Монголией.

2 октября первым в Чойбалсан возвратился наш 1028-й артполк. 7 октября в пяти километрах от Чойбалсана дивизия расположилась лагерем в палатках на песке.

8 октября демобилизовали «стариков» — 45-50-летних. Затем дивизию расформировали, а наш артполк отправили в 677-ю артбригаду в город Бикин на реке Уссури, под Владивосток.

###### Свадьба

Когда в июне 1945 года наша дивизия ехала эшелонами из Чехословакии и состав с моим дивизионом останавливался в Москве, ко мне обратилась капитан медслужбы военврач 106-го медсанбата нашей дивизии Варвара Александровна Сомова с приказом командира дивизии посадить ее в мой состав. Она ехала с первым эшелоном и делала остановку в Москве. Я разместил ее в вагоне санчасти. По пути мы познакомились и подружились. В Монголии и в Китае часто встречались. После войны, когда дивизия вернулась в Монголию и ее стали расформировывать, мы решили пожениться. Зарегистрировали мы брак в советском консульстве Чойбалсана. Была в песках большая свадьба. Более двухсот человек выпили около пятидесяти литров медицинского спирта.

Только после свадьбы мы с супругой вспомнили, что встречались еще до знакомства в эшелоне. В Чехословакии я был ранен и лечился в медсанбате. Когда встал на ноги, то от безделья сделал себе экскурсию по врачебным кабинетам. Со мной приветливо беседовали, особенно радушно встречали медсестры, девушки-хохотушки. Лишь в одном кабинете строгая и серьезная, к тому же красивая, капитан медслужбы укоризненно заметила:

— Вижу, вы скучаете, но, извините, у нас много работы.

## Часть пятая

## Былое и раздумья

### Глава двадцать четвертая. Замполиты. Взгляд из окопа

Мы ехали в Москву на 50-летие Победы. В купе нас было четверо. Все из разных городов России и Украины. Случилось так, что мы представляли и разные рода войск: летчик, танкист, пехотинец и артиллерист. Жалели, что не было среди нас моряка: вот кого интересно бы послушать. Ребята подобрались сухощавые, жилистые, на вторую полку вскакивали, как молодые, без лестницы, хотя каждому было далеко за семьдесят. Сразу же в купе установилась атмосфера равноправия, фронтового братства, доверия, взаимопонимания и, конечно, юмора — будто это не купе вагона, а блиндаж или землянка. В выражениях не стеснялись, шутки и подначки сыпались из уст каждого, как фрукты из рога изобилия. На войне все были командирами среднего звена: батальона, дивизиона, эскадрильи. Как раз те, кто непосредственно воевал и, пройдя жернова войны, чудом уцелел. Ранения и контузии — не в счет.

Редко встречается, чтобы бывалые фронтовики с любопытством слушали друг друга. А тут мы до тонкостей выясняли особенности боевой деятельности летчика и танкиста, пехотинца и артиллериста. Про свой род войск каждый знал все, а вот действия других родов войск наблюдал издали, со стороны, или судил о них по тому, как сражались с ним немецкие танки, самолеты, артиллерия, пехота — это уж не со стороны, это каждый на собственной шкуре испытал.

— Как успевает увидеть и поразить цель, летя на большой скорости, летчик-штурмовик, тут и по своим шарахнуть можно, — спрашивает пехотинец у летчика.

— А что, не шарахали, что ли? — горестно включаюсь и я в разговор. — У меня однажды чуть сердце не разорвалось, когда наши штурмовики жгли наши же танки. Те слишком вперед вырвались, летчики и приняли их за немецкие.

— Ну как, берет мандраж, когда на тебя танки несутся? — ехидно интересуется у меня танкист.

Парирую:

— Я с пушкой — в окопе да замаскирован, а ты — по открытому полю несешься. Пока ты разглядишь меня в прыгающую щель, я и влуплю тебе подкалиберным!

Все сочувствовали комбату-пехотинцу. Ему ведь на войне больше всех доставалось. Все били по нему, а он, бедный, вечно в грязи, под гусеницами и снарядами, под пулями и минометным огнем. Сколько этой матушки-пехоты, царицы полей, полегло за войну!..

Наступила ночь, приготовились спать, и свет уже выключили, а разговорам все нет конца, и в темноте долго еще продолжались заинтересованные расспросы и рассказы.

— Ребята, а из вас, случайно, никто не комиссарил? — обратился к нам летчик-штурмовик. — А то ненароком обидишь кого. — Убедившись, что в купе только строевые командиры, летчик продолжил: — Если уж кому и жилось на войне, так это политработникам. Летать не летали, а ордена получали. Да еще более высокие, чем мы. Помню, мне за первые вылеты «Отечественную войну» дали, а нелетающему замполиту — орден боевого Красного Знамени отвалили. Единственный орден, которым ни в каких войсках не награждали политработников, — это полководческий, «Александра Невского». Видно, знали его учредители, где находились политработники во время боя.

Вступил в разговор танкист:

— Точно, и у нас замполиты в бой не ходили. Ему даже танк не положен был, хотя у зама по строевой танк был. И потом, он же не танкист, а партаппаратчик. Но награждали их, как и у вас, летчиков, а то и чаще.

— Наши больше возле кухонь отирались. Я батальон веду в атаку, а эта троица: замполит, парторг, комсорг — в тылах сидит, вроде бы о питании печется; будто без них старшина не пошлет кухню, когда стемнеет, — недовольно отозвался о своих политработниках комбат-пехотинец.

— А у меня, — включился и я в разговор, — хитрющий замполит был. И вредный. На передовую за три года так ни разу и не сходил. Все при штабе, на кухне да в тылах: продукты для себя выискивал или обмундирование поновее. И парторга с комсоргом — молодых офицеров — все время при себе держал. Для них передовая как бы запретной зоной была, тоже ни разу нас не посетили. Видно, такое указание сверху у них было. Только и знали все трое, что политдонесения в полк строчить. Уж чего они там в них сообщали, не знаю.

— А в газетах и книгах все они — герои, — проворчал кто-то в темноте.

— Так ведь газеты-то они и печатали, да и книгами сами ведали. Вот своего брата да самих себя и прославляли.

— Что верно, то верно, — согласился я, — большинство пишущего народа из комиссарской шинели вышло.

— Я как-то написал в газету, а мне: «А роль политрука почему не отразил?» А что я отражу? Как он в тылу сидел, пока мы воевали? Ан нет! Все равно: «Покажи его героем, иначе не напечатаем».

— А и верно, почему до сих пор никто о них правду не написал? Боятся, что ли? Но ведь теперь-то можно правду сказать!

— Да, напиши ты правду! Они сразу все и окрысятся: «Мы за Сталина в атаку ходили!» — категорично вмешался комбат-пехотинец. — Их же много, они почти все выжили. Посчитай, сколько комбатов погибло и сколько их. Да все начальниками после войны стали — в райкомах и обкомах только они. Как писали неправду в войну, что в атаку ходили с криками «За товарища Сталина! Вперед, в атаку!» — так большинство народа до сих пор и считает. А ведь на самом-то деле никто во время атак про Сталина и не вспоминал. Была короткая команда: «Вперед!» Ну, матом иногда добавляешь для убедительности. Разве там было время для агитации? Поэтому кто ныне кричит, что он в атаку «За Сталина» ходил, сразу скажу: из газет взял, ни в какую атаку он не ходил, даже на передовой не был. Кстати, в атаку не ходили, а бегали, да еще как: если не успеешь добежать до вражьей траншеи, то все пропало. Уж я-то знаю!

На этой печальной ноте и затих разговор. Один за одним все заснули. А мне не спалось, растревоженный темой, в темноте, под стук колес предался воспоминаниям. Вспомнил и политработников своего дивизиона. Наверное, Карпов, мой замполит, опять на встречу приедет…

###### \* \* \*

Вернулся я со встречи домой и под впечатлением услышанного решил сам описать боевые эпизоды, а заодно и о своих политработниках правду сказать. А то ведь действительно, как сказал один из моих попутчиков, на века утвердится миф о повальном героизме комиссаров в Отечественную войну. А я из собственного опыта знаю: политработники, с которыми я общался на фронте, за исключением нескольких человек, в боях не участвовали и никакого героизма не проявляли. Многие из них были бездельниками и трусами. Они только и умели цидульки-доносы писать, распоряжаться, надзирать — и ни за что не отвечать.

Когда я был еще взводным и даже когда командовал батареей, я почти никогда не общался с замполитом дивизиона. У нас с ним были разные сферы обитания: я постоянно находился на передовой, вместе с пехотой, а он — в тылах дивизиона. Но когда я стал командовать артиллерийским дивизионом, мне уже небезразлична была деятельность политработников в моем дивизионе. Однако, к великому моему огорчению, вместо деятельности я обнаружил полнейшую их бездеятельность. О том, как я пытался исправить это положение и как старался восполнить этот изъян, и пойдет речь. Но сначала несколько слов о политработниках в батарее — составной части дивизиона.

В начале 1942 года в ротах и батареях была упразднена должность политрука, а политико-воспитательную работу возложили на общественников — неосвобожденных парторгов, исполнявших другие служебные обязанности. Обычно это были тыловые сержанты — члены партии. Их подбирали и формально избирали парторгами. Это были люди малограмотные, совершенно не подготовленные к серьезной политико-воспитательной работе. Образовательный уровень политработников был очень низок. В нашей дивизии (официально-документально) 65 % политсостава имели двухклассное образование. Такой партиец рассуждать мог как взрослый, с жизненным опытом человек, но квалифицированно заняться воспитательной работой не мог. Они занимались своими служебными обязанностями, а вся их партработа, в лучшем случае, сводилась к написанию плана партийной работы под диктовку по телефону парторга батальона — кадрового политработника. Сержантов из строевых подразделений, которые находились на передовой и непосредственно воевали, на должности парторгов не брали, какой смысл: сегодня назначили, завтра его убило, а нужен более-менее постоянный человек.

Вот только непонятно: как могло Главное политическое управление армии и ЦК партии пойти на упразднение политруков в ротах?! Неужели они не понимали, что это повлечет за собой не просто ослабление, а полное искоренение политического воспитания в самом низшем звене армейской службы, где политрук ближе всего находится к рядовому солдату? А пошли они на этот, по существу, шкурно-предательский акт исключительно для того, чтобы сохранить политические кадры. Дело в том, что в первый год войны в окружениях и неразберихе одинаково много гибло как строевых командиров, так и политработников, особенно в ротах. Ведь в роте трудно уберечь политработника от смерти или ранения, она маленькая, располагается на передовой, и все ее тылы находятся в зоне обстрела. А когда боевые действия упорядочились, то уже в 1942 году развелось их так много, что количество политработников в армии стало избыточным, и Политуправление вынуждено было часть политработников (в первую очередь неугодных и особенно распоясавшихся) переучивать в командиров. Командиров-то — взводных и батальонных — убивало, их не хватало.

Но и после переучки их щадили. Десятиклассник после трех месяцев учебы — уже командовал взводом. А политработника год «переучивали», потом в резерв отправляли и на безопасную должность ставили. Редко кто из них, «переученных», в бой шел. Их оберегали политические верхи.

В конце того же сорок второго года, спустя три месяца после выхода приказа Сталина «Ни шагу назад», когда к обычным колоссальным потерям командиров взводов, рот и батальонов прибавились еще и репрессивные потери от слишком усердной деятельности особых отделов, Сталин приказал: командирам взводов, рот и батальонов во время атак находиться не в цепях наступающих и не впереди них, а позади своих подразделений. Но из этого ничего не вышло. Политрука-то взяли да и убрали из роты, а командира-то не то чтобы убрать, а и сзади солдат поставить невозможно: по команде «Вперед!» не все бойцы поднимаются под пули, их надо поднимать примером или силой, а для этого командиру надо быть рядом с ними, в цепи. Вот и получилось: политработников сберегли, а всю тяжесть войны взвалили на офицеров батальона, вот почему взводный в среднем жил день, ротный — неделю и батальонный командир — от силы месяц.

Но, несмотря на незначительную эффективность деятельности ротных парторгов-общественников, политотделы постоянно поощряли их: в первую очередь награждали орденами и присваивали звания Героев. Хотя находились они не на самой передовой и особо в боях-то не участвовали, однако в наградных документах им писали: «В критический момент боя парторг роты бросился вперед и со словами: «Коммунисты! За Родину, за товарища Сталина вперед на проклятого врага!» — увлек за собою солдат в атаку». При этом сам лично он якобы уничтожил пятнадцать, а то и двадцать солдат противника. Бумага терпела, награды шли, роль партработников возвеличивалась. Миф о комиссарском героизме утверждался на века.

###### Парторг сержант Ромашин

А вот нашей 3-й батарее, в которой я воевал подо Ржевом, повезло с парторгом. Его обязанности на общественных началах исполнял командир третьего орудия сержант Ромашин. Наши гаубицы, конечно, стояли не на передовой, а километрах в двух сзади, но батарея стреляла по командам с наблюдательного пункта слаженно, быстро и точно, в любое время дня и ночи. В этом, несомненно, была заслуга и парторга. Помимо многообразных и трудных забот по исполнению своих прямых служебных обязанностей сержант Ромашин много внимания уделял работе по идейно-политическому и патриотическому воспитанию солдат. Правда, в отличие от парторгов других батарей, у него для этого были необходимые знания, опыт, а главное, желание и высокое чувство ответственности за хлопотное партийное поручение.

Это был степенный пожилой человек, внешне ничем не выделявшийся — ни лицом, ни походкой, только носил небольшие седые усы. Старый член партии, работавший до войны директором подмосковного кирпичного завода. Политически грамотный, добрый, общительный, симпатичный, душевный, всеми уважаемый. Еще когда я был взводным, он давал мне рекомендацию для вступления в партию.

Парторг батареи сержант Ромашин не гнушался никакой работы, не пасовал перед трудностями и опасностями фронтовой жизни. У меня Ромашин ассоциировался с образом комиссара времен Гражданской войны, каким утвердили его в нашем сознании писатели и журналисты: яркий, смелый, боевой, скромный, волевой, справедливый и ответственный человек, который мог взяться за любую, самую трудную физическую работу или вступить в страшный, смертельно опасный бой. Он не боялся взвалить на себя ответственность за самые непредсказуемые последствия этой работы или боя. За сорок девять лет моего пребывания в партии я двадцать пять лет избирался секретарем первичной парторганизации, и примером в этой многотрудной общественной работе для меня всегда служил парторг нашей батареи сержант Ромашин.

Под стать парторгу Ромашину был у нас и командир батареи старший лейтенант Чернявский. Смелый, умный, работящий, требовательный, но очень душевный человек. Он был из запасников и тоже не из молодых. Сколько раз посылал он нас на явную смерть, и мы шли не потому, что боялись ослушаться, а из чувства долга, из-за великого уважения к нему. Мы знали, что напрасно на смерть он не пошлет. Он и сам не боялся смерти. Погиб в бою с немецкими танками.

Став командиром батареи, я стремился походить на своего предшественника Чернявского. Часто советовался с парторгом Ромашиным и находил с его стороны постоянную поддержку. Он мне, молодому, за отца был. Но в одну из бомбежек Ромашина убило. И мы осиротели.

###### Парторг, замполит и комсорг

После Ромашина были другие парторги, но они были менее авторитетны. Основное внимание уделяли своей служебной работе. Никакого идейно-политического воздействия на личный состав они не оказывали. И что удивительно, они не испытывали при этом никаких угрызений совести — числюсь парторгом, вот и все. Пришлось мне самому, наряду с боевой подготовкой, больше внимания уделять воспитанию личного состава. И еще я постоянно включал в эту работу всех строевых офицеров. От этого боеспособность батареи была у нас на самом высоком уровне.

В июне сорок четвертого года меня назначили командиром дивизиона. Теперь в моем подчинении воевала не одна, а три батареи, и я поддерживал огнем целый стрелковый полк. Охватить всю боевую и политическую подготовку дивизиона вплоть до отделений, орудий и тылов, как делал это в батарее, я сам лично уже не мог. В поле моего зрения постоянно были только те службы, которые были поблизости, — наблюдательные пункты, связисты и разведчики. А вот дойти до огневых расчетов, которые находились в тылу, я был уже не в состоянии, меня, как на привязи, держал на передовой неугомонный противник.

Боевое оснащение дивизиона обеспечивали штаб и тылы, а идейно-политическое воспитание должны были осуществлять три освобожденных офицера-политработника: замполит капитан Карпов, парторг дивизиона капитан Каплатадзе и комсорг старший лейтенант Одинцов. Наличие такой политической силы в дивизионе меня поначалу радовало: опытный сорокалетний партработник замполит, энергичный грузин парторг и молодой расторопный комсорг. Да они горы свернут, думал я, везде успеют побывать: и на наблюдательных пунктах, и на огневых позициях, и в тылах — всюду нужны повседневная, живая политическая работа, непринужденное общение, а когда потребуется, и личное участие в тяжкой работе или в смертельном бою.

Но, к моему великому огорчению, политработники повели себя иначе, чем я ожидал. Они, все трое, постоянно сидели в тылах дивизиона, на кухнях или в штабе. Не бывали даже на огневых позициях батарей, которые находились далеко от передовой. А наблюдательные пункты, откуда виден противник, за всю войну ни один из них так и не посетил. К передовой, где идет бой, ближе, чем за три километра, они не приближались. Жили себе в удовольствие в деревнях, вне зоны обстрела, общались больше с местными жителями, чем со своими солдатами. Они совершенно не представляли, что такое бой и как ведут себя люди в бою. Зазвать их на передовую, даже в период затишья, я никак не мог. Они меня, своего командира, не слушались. А полковые политработники и политотдел дивизии предупредили меня, чтобы я политработниками своего дивизиона не распоряжался. Они, дескать, сами знают, чем им заниматься. Скорее всего относительно политработников была какая-то секретная директива, которая оберегала их, запрещала им появляться в бою. И под водительством замполита Карпова политработники моего дивизиона продолжали обитать в тылах и писать свои политрапорты в политотдел.

Время от времени они вызывали к себе в тылы неосвобожденных парторгов и комсоргов батарей. Получали от них информацию, инструктировали. Текущей работой руководили по телефону. Им важно было только одно: чтобы, на случай проверки, в батареях были планы партийной и комсомольской работы. Но что можно выяснить по телефону?

Звонит однажды парторг дивизиона Каплатадзе парторгу 2-й батареи командиру орудия сержанту Боброву, чтобы справиться, есть ли у него план партработы. Связист по ошибке дал трубку не сержанту Боброву, а лейтенанту Боброву — старшему на батарее. Тот слышит непривычное с грузинским акцентом:

— Бобров, Бобров, а Бобров, планпартработыездьзии?

— Что, что? — спрашивает ничего не понявший лейтенант.

— Планпартработыездьзии? — скороговоркой, слитно повторяет свой единственный вопрос парторг дивизиона Каплатадзе.

Не разобравшись ни в смысле речи, ни в том, кто говорит, торопившийся по делам лейтенант подумал, что его кто-то разыгрывает.

— Да пошел ты к …! — сказал в сердцах лейтенант и бросил трубку.

Удивленный Каплатадзе перенес на другом конце провода телефонную трубку к своим безобидным овечьим глазам и смотрит на нее как на виновницу нецензурщины. Пришлось мне, командиру дивизиона, улаживать по телефону неприятный инцидент — оскорбление парторга дивизиона.

Другой раз разъяренный Каплатадзе с пистолетом в руке гонялся на кухне за поваром Мамадашвили. Такое поведение парторга удивило всех.

— В чем дело? — спрашиваю его по телефону с НП. — Как может капитан вести какую-то разборку с рядовым?

— Он меня, как всех, кониной накормил! — ответил парторг. — Он же знает, что грузины «дзе» конину не кушают, как они — «швили»!

За три года моего пребывания на передовой, среди пехоты, я ни разу не видел вместе с солдатами в бою ни одного политработника нашей дивизии. Передовую, и то в дни затишья, изредка посещал единственный замполит одного стрелкового полка. Однажды его ранило, и в нашу дивизию он так и не вернулся. Обычно политработники батальонов проводили с солдатами беседы перед боем. Для этого, как правило, солдат ночью отводили с передовой куда-нибудь в лесок, балку или другое безопасное место. На этом миссия политработников и кончалась. Сделав свое дело, они возвращались в тылы, а солдаты и батальонные офицеры — на исходную позицию для атаки.

Именно поэтому, как показано во «Всероссийской книге памяти 1941–1945» (М., 1995), боевые потери среди политработников за всю войну были в десять раз меньше, чем среди командиров. Если учесть, что в 1941 году, когда в ротах еще были политруки, они погибали наравне с командирами, то за последующие три года боев потери среди политработников были самыми незначительными.

Да, в штабах и на кухнях обитали политработники, хотя и в штабах они только мешали, под ногами путались, и на кухнях без толку мельтешили — под предлогом заботы о питании, ведь и без них старшины обходились. Но они в хате рядом с кухней устраивались и разворачивали свою деятельность: по слухам политдонесения составляли; вызывали к себе с передовой из батарей общественников-парторгов и комсоргов, опрашивали их и наставляли, планы работ им составляли: план — это документ, он в архив идет, хотя он не выполнялся, только формально на бумаге жил. Никто до сих пор эти «политдоносы» так и не рассекретил. Ну а в свободное время (а у них его было достаточно!) общались с населением. Главным образом — с девицами и молодыми женщинами. Им, политработникам батальонного звена, не положены были полевые жены. Полевые жены были полуофициально узаконены только начиная с полкового уровня, то есть начиная с замполита командира полка. Там у каждого была полевая походная жена (ППЖ), как и у командиров полков, начальников штабов полков и выше. Об участи ППЖ — разговор особый. Тема интересная.

Не рассекречены пока и директивы ЦК и Главного политического управления Красной Армии о деятельности политаппарата в армии. Проявлялась большая забота о быте и безопасности на фронте политработников — полномочных представителей и надсмотрщиков партии. В директивах, бывало, верхи и журили политработников за безделье, самоуправство. Ну что может делать всевластный надсмотрщик, который никому из командиров не подчиняется?!

###### Майор Захаров

В дивизион частенько, от безделья, приезжал с фотоаппаратом из политотдела дивизии наш бывший замполит майор Захаров. Его повысили в должности, назначили инструктором политотдела дивизии. Это был грузный сорокалетний мужчина, до войны он работал в Мордовском обкоме партии. Безобидный, беззлобный и безынициативный человек.

Добродушного и немного простоватого майора солдаты встречали радушно и с улыбкой. Сразу вспоминали связанный с ним забавный эпизод, который никак нельзя отнести к боевым. Как-то на Украине после тяжелого кровопролитного боя мы овладели поселком-райцентром. Наша пехота понесла большие потери, у меня убило двух разведчиков и ранило связиста. Через какое-то время наш штаб вместе с тылами преспокойно въехал в еще дымившийся освобожденный поселок и принялся за свою работу: связь, транспорт, подвоз снарядов, кухня… Только у политработников не было конкретных дел. Они праздно бродили по селу, осматривали брошенную немцами технику: разбитые пушки, машины, повозки. Возле родильного дома увидели разбросанное оборудование, которое немцы, отступая, не успели увезти, внимание привлекло замысловатое кресло. Майор Захаров как старший взобрался на это кресло, а комсорг Одинцов начал крутить ручку механизма. Под хохот ротозеев майор поехал куда-то ввысь вверх тормашками. Поначалу он удивился, блаженная улыбка расплылась по широкому жирному лицу, но когда его толстый зад оказался выше головы, майор испугался, вытаращил от страха глаза, судорожно вцепился в подлокотники и пискляво засвиристел. Не менее удивленный случившимся комсорг, давясь от смеха, продолжал крутить рукоятку. Тут подбежала местная акушерка, закричала возмущенно:

— Ах, жеребец ты этакий, не стыдно тебе богохульствовать?!

В дивизион Захаров являлся, конечно, не ко мне на НП, а в тылы да поближе к поварам — в гости к нашим политработникам: навещал, так сказать, своих бывших подчиненных. В политотделе дивизии эти визиты расценивали как дерзкие вылазки инструктора на передовую и ставили его «бесстрашие» в пример другим. Ну, а наши политработники всегда радушно встречали высокого гостя. Все четверо уютно устраивались в домике недалеко от кухни, обедали, балагурили, фотографировались, развлекались с местными молодицами. Комсорг Одинцов растягивал аккордеон, на чарующие звуки музыки сбегались девушки. Веселье, смех, танцы, игры. Связисты, не без зависти, с юмором комментировали «боевые» похождения политработников по полевым телефонам. Иногда и мне случалось слышать эти разговоры. Но что я мог поделать? Политработники мне не подчинялись.

###### Замполит капитан Карпов

К добродушному майору Захарову солдаты относились с юмором и, вспоминая безграмотные его речи, часто подшучивали над ним. А вот его преемника, замполита капитана Карпова, откровенно не любили. Хотя внешне он был симпатичным человеком, если не считать бросавшихся в глаза иезуитского аскетизма и сухости тела.

Перейдя из парторгов в замполиты, Карпов был по-прежнему тих, вежлив, но молчалив, необщителен и злопамятен. Солдатам больше всего не нравилась его ничем не скрываемая психологическая установка: во что бы то ни стало выжить. Отсюда проистекала его патологическая трусость. Будучи сам скрытным и замкнутым, он уводил от общения с личным составом и подчиненных ему парторга и комсорга. Однажды солдаты-тыловики из любопытства и неприязни выкрали у него дневники и уничтожили их. По просьбе Карпова я стал разбираться с этим неприятным делом. Солдаты со скрытым юмором и напускным непониманием отвечали:

— Ведение дневников на фронте строго запрещено. Разве мог замполит нарушить этот запрет?! Никаких дневников и в помине не было!

Я предложил Карпову обратиться за помощью в особый отдел, зная, что он, конечно же, побоится ввязывать в это дело особистов.

С моими разведчиками и связистами замполит Карпов не общался, потому что никогда не был на передовой. Однажды я по телефону попросил его сходить на батарею, которая располагалась в тылах всего в ста метрах от него, и побеседовать с новым командиром Щегольковым. Разжалованный из подполковников в капитаны Щегольков сильно пил, самовольно покидал наблюдательный пункт, из-за чего пехота несла неоправданные потери. Я полагал, что политический руководитель дивизиона не менее моего обеспокоен судьбой батареи и сразу поспешит на батарею. К тому же им со Щегольковым по сорок, они в отцы мне годятся, и Карпову более с руки урезонить своего одногодка комбатареи-выпивоху. К моему удивлению, Карпов наотрез отказался, побоялся обстрела и опасался немилости начальства, которое опекало Щеголькова. А что батарея пропадает и пехота без артиллерийской поддержки гибнет — это его не волновало. Я обратился к замполиту полка майору Устинову, чтобы он повлиял на Карпова, но тот посоветовал Карпова не беспокоить. Тот же ответ услышал и из политотдела дивизии. Но когда Щегольков на боевой машине уехал пьянствовать, лишив батарею подвижности, я, уже на свой страх и риск, выгнал пропойцу из дивизиона, и начальство в интересах дела стерпело мое самоуправство.

После этого мне пришлось без участия замполита, не без риска для жизни, укрощать еще одного алкоголика, отъявленного уголовника, бывшего ординарца Щеголькова, утвердившего свою власть в батарее. Хотя это входило в обязанности замполита.

Возмущению моему поведением Карпова не было конца. Мне, молодому командиру дивизиона, непонятно было, зачем ко мне приставили замполита-бездельника, надсмотрщика и доносчика. Я что, буржуазный спец или бывший офицер царской армии, что за мною присмотр нужен? Ведь я тоже коммунист и не хуже него. У меня и образование выше, и солдат не он, а я в бой веду, воспитываю их, воодушевляю, присматриваю, чтобы ненароком не убило кого понапрасну. В конце концов, Карпов — не комиссар. Это комиссары были наравне с командирами. И только по инерции некоторые замполиты продолжали артачиться. Я наивно тогда думал, что в партии, как записано в ее уставе, все члены равноправны, рядовой ты коммунист или партфункционер. Однако Карпов и политическое руководство полка и дивизии дали мне понять, что никакого равноправия, никакой справедливости я не добьюсь, а переименование комиссаров в замполиты — сущий камуфляж. Став замполитами, комиссары нисколько не потеряли фактической власти, а только ловко ушли от ответственности. Им даже денежное содержание комиссарское сохранили. Теперь за все в ответе был командир — «единоначальник». Мы видели это на уровне полка и батальона. А после войны узнали, что пользовались этой тенью и высшие партийные руководители. И сам Сталин, и Хрущев, Мехлис, Голиков любили по-хозяйски «порулить» на войне, невзирая на предостережения командующих. Наделают глупостей, загубят сотни тысяч солдат — и в кусты, а командира, козла отпущения, — к ответу. Как утверждает «Всероссийская книга памяти 1941–1945», так было и в начале войны, и в операциях подо Ржевом и Харьковом, в Керчи, Севастополе, под Ленинградом.

Итак, разочаровавшись в политработниках своего дивизиона, сжал я зубы, засучил рукава и с еще большим ожесточением стал бить фашистов. Политработников в своем дивизионе попросту не стал замечать и не общался с ними. Всю политико-воспитательную работу взвалил на себя и на подчиненных мне офицеров, потому что без воспитания личного состава воевать невозможно.

Я понимал, что ссора с политработниками сулит мне много неприятностей. И не только с задержкой наград и воинских званий. Могут и подставить. Однако меня спасало то, что я храбро и удачливо воевал.

Пехота не просто уважала, а искренне любила меня. И это было самым сильным лекарством, спасавшим мою душу от начальственных невзгод. Ну а командование вынуждено было считаться со мной и по-прежнему поручать мне самые трудные, опасные и рискованные боевые задания, будь то лавина немцев, неприступная крепость, широкая река или пустыня. Всю свою злость я вымещал на фашистах. Мой дивизион всегда шел первым. Неотвратимость скорой погибели в бою притупляла страх не только перед немцами, но и перед своими. Однако получался парадокс: я больше боялся не смерти, а плена, потому что плен считался предательством. Фашистов не боялся, а своих особистов и политработников исподволь побаивался. Потому, что в суматохе боя мы часто оказывались в расположении противника и могли заподозрить, что ты был в контакте с немцами. Трагическая гибель в особом отделе лейтенантов Волкова и Цуканова, которые в бою оказались со своими людьми в тылу у немцев, вызывала у меня не только сострадание к их судьбам, но и боязнь: не оказаться бы в их положении, ведь особисты, для перестраховки, запросто расстреляют. Предателей и шпионов, безусловно, надо нещадно уничтожать. С власовцами-предателями я и сам бился более жестоко, чем с немцами. Но своих невиновных и честных было жалко. Особистам следовало бы как-то более умело выявлять врагов и оберегать честных людей. А то ведь ничем не обоснованный страх перед своими особистами мешал людям уверенно воевать. Даже мне, испытанному и проверенному, который семь раз в тыл к немцам лазил, то за «языком», то их пушки уничтожать, а то и свои искореженные в бою орудия от них вызволять, приходилось беспокоиться: не подумали бы, что ты с немцами контактировал. Но мне в открытых боях везло: из любой заварушки я с боем, на виду у всех, к своим выходил. Как говорил после войны начштаба моего дивизиона капитан Советов: «Да, Михину было легко воевать. Он возьмет разведчиков и пошел с ними на передовую с немцами биться. Нам же тут, в тылах, столько работы! Столько забот!..»

###### \* \* \*

После войны бывший замполит Карпов работал на своей довоенной должности в одном из обкомов партии до конца существования этих обкомов. Сухонький, не потерявший на войне здоровья, он казался лет на пятнадцать моложе своего возраста, поэтому продолжал трудиться на благо партии на своем невысоком посту до восьмидесяти пяти лет. Я многое узнал из его писем, о чем в годы войны и не догадывался. Теперь он признавал мои боевые заслуги, хотя в войну, как сказал мне бывший политинформатор политотдела, «клепал» на меня такое, что меня не то что награждать, а военным трибуналом надо было судить.

А теперь каждый раз мой бывший замполит приезжает на ветеранские встречи. Ему уже за девяносто, а все равно приезжает. Очень уж любезно разговаривал он со мною прошлый раз.

— Ты пришли мне боевые эпизоды, а я их в свою книгу включу, ты же воевал, — косвенно признал он, что сам в боях не участвовал.

А что я ему пришлю? Когда мне писать-то? Это у него полно было времени что на фронте, что в обкоме. И чего, думаю, Карпов так лебезит передо мной? Я уж и перестал обижаться на него за трусость и клевету. Не он один виноват в этом, виновата была и система, которой мы так ревностно с ним служили. Только я в упряжке, а он — сидя на облучке.

Оказалось, Карпову нужны были мои боевые эпизоды и хвалебная рецензия на рукопись, которую он прислал мне. До сих пор писательский зуд его одолевает. Целую книгу написал. Просит, чтобы я хороший отзыв дал. А там сплошная ерунда. Из фронтовых газет все списал да фамилии однополчан вставил. Его рукопись и смешно, и стыдно читать. Он же ни одного боя и близко не видал, а пишет все от своего имени, будто он сам бой ведет. И получилась у него настоящая чепуха. Прислал мне копии своих писем в ЦК партии и в Союз писателей с просьбами издать его книгу. Но ни одно издательство не клюнуло, не захотели такое печатать. Вот он и хочет моими воспоминаниями оживить ее.

Вместе с рукописью мой бывший замполит прислал много фотографий военного времени. Мне это было интересно: нас-то на передовой никто не фотографировал. На карточках знакомые мне лица: тыловики, штабисты, политработники. Рассмешила, но и вызвала досаду одна подпись под снимком. На фотографии запечатлена опушка леса с армейской палаткой, на оттяжках палатки сушатся портянки, на траве расстелено полотенце и видны остатки трапезы. А на переднем плане стоят во весь рост в обнимку подвыпившие политработники и офицеры штаба моего дивизиона: положив руки на плечи друг другу, весело раскачиваются из стороны в сторону, в центре — комсорг Одинцов с нарочито широко растянутым аккордеоном. Прямо-таки настоящий довоенный пикник. Подпись под снимком сухо сообщает: «На наблюдательном пункте под Харьковом». Когда я увидел на фотографии знакомую опушку леса, мне стало не по себе: именно здесь мы вели жестокий бой с немцами и потеряли много людей убитыми. Получается, когда мы продвинулись вперед, на эту самую опушку приехали тыловики и устроили на ней гулянку. Карпов, конечно, для форса, назвал это место наблюдательным пунктом, чтобы подтвердить свое мнимое пребывание на передовой. Ему невдомек, что на наблюдательных пунктах не гуляют, палаток не ставят, а прячутся от глаз противника так, чтобы он и в стереотрубу ничего не мог рассмотреть.

Вот и в своей рукописи, совершенно не представляя, что такое бой, он пытается показать себя в этом воображаемом им бою. Пишет: «Иду я как-то по передовой, — (не уточнил, с тросточкой ли прогуливался или с собачкой), — смотрю: комбат никак не может поднять солдат в атаку. Тогда я быстро подбежал к ним и вскрикнул:

— Товарищи солдаты и офицеры! На наших глазах фашисты творят свое черное дело. Они жгут наши села и города, убивают женщин и детей. Не допустим этого! Вперед на фашистских поджигателей!

Бойцы поднялись с земли и пошли в атаку». Как просто! — подбежал, сказал пламенную речь, вдохновил, и атака состоялась. Тихо, мирно. Карпов не знает, что там еще и стреляют, да так, что, лежа, головы не поднять, не то чтобы прогуливаться.

Почти каждый абзац Карпов начинает со слов: «Я стреляю… Веду огонь… Я видел…». На самом деле он никогда на передовой не был, сидел в тылах и писал в дивизионную газету свои «боевые» вирши, а там такие же «фронтовики», как он сам, печатали эту галиматью. А прославлял он «подвиги» Героев из числа политработников и тыловиков. Обидно, что эти его газетные «откровения» хранятся в архивах и нынешние и грядущие историки будут вчитываться в них как в воспоминания очевидцев, истинные откровения настоящих участников боев. Возмутительно и то, что замполит Карпов никогда ничего не писал в газетах о подвигах солдат собственного дивизиона, потому что его это не интересовало и он ничего не знал о них.

«Генерал, — пишет далее в своей рукописи Карпов, — приказал артполку подавить вражеские пулеметы. Я организовал по этому поводу открытое партийное собрание. Выступил с докладом, шесть человек высказались в прениях. Приняли решение: еще сильнее бить фашистов, а коммунистам — агитировать солдат на подавление немецких пулеметов». Сколько же бедным немцам пришлось ждать, пока наши солдаты с передовой сходят к Карпову в тылы на партсобрание, оголив свои позиции, чтобы потом, вернувшись, начать с ними воевать?

О вкладе политработников в повышение боеспособности своего дивизиона можно судить по таким эпизодам из их фронтовой жизни.

На плацдарме за Днестром мы зубами держались за клочок земли, который отвоевали у немцев в тяжелых кровопролитных боях. Постоянными атаками фашисты до того измотали и обескровили нас, что мы готовы были по-волчьи взвыть, чуть с ума не посходили. Осточертела и горькая каша, которую по ночам приносили нам вместе с чаем. И вот однажды, к нашему удивлению, вместо опостылевшей каши нам на НП принесли в термосе горячую жареную картошку. Мы глазам не поверили! Потом каждую ночь разговлялись этой картошкой. Уже и привыкли, она никогда нам не надоедала. И вдруг как оборвалось! — снова каша и каша. Звоню старшине:

— А чего это картошку перестали нам носить?

— Не будет больше картошки, товарищ капитан, — печально сообщил старшина, — тут такая неприятность произошла, что не до картошки.

Позже я выяснил причину появления и исчезновения лакомства. Оказалось, наши политработники в тыловом молдавском селе поселились в домике симпатичной молодой женщины, у которой были мама сорока шести лет и четырнадцатилетняя дочка. Парторг Каплатадзе завел трогательную дружбу с мамашей, а замполит Карпов приласкал бабушку. Довольные хозяйки потчевали не только постояльцев, их искренняя любовь докатилась и до нас, на передовую, в виде жареной картошки. Все дело испортил комсорг Одинцов.

Когда бабушка узнала о его ухаживаниях за внучкой, подняла такой скандал, что стало уже не до картошки. За Будапештом мы с трудом сдерживали немецкие танки, рвавшиеся в окруженную нашими войсками венгерскую столицу. Я отвечал за стык 2-го и 3-го Украинских фронтов. Меня месяц не отпускали с передовой помыться в бане. Наконец отпустили на два часа. В городке Чаквар, в своих тылах, принял на морозе солдатскую баню. Не успел одеться, слышу во дворе душераздирающий женский крик. Выбегаю и вижу: подвыпивший Карпов с пистолетом в руке тянет из сеней полуобнаженную мадьярку. В домике жили две молодые сестры-аристократки из Будапешта, кричавшая старшая запрещала младшей сестре крутить любовь с русским политруком; потом выяснилось: дама совершенно не приемлет коммунистических идей. Сумел же замкнутый, не знающий иностранных языков Карпов договориться с младшей и выявить буржуазную суть старшей. Не ведая всей сути случившегося, я вступился за женщину, Карпов с пистолетом на меня:

— Не мешай классовой борьбе!

Выбил у него пистолет, изолировал пьяного политрука в комнате. Звоню замполиту полка, а он в ответ:

— Да вы свяжите его, и пусть проспится.

В городе Пустовам за тем же Будапештом мне приказали восемью пушками — вместо двухсот снятых! — организовать оборону города. Не успели мы переставить свои пушки, как на нас напало сорок немецких танков. Мы подбили девять, но все мои пушки вместе с расчетами были раздавлены танками. Если бы случайно я не вытащил раздавленные пушки от немцев, меня бы судили. Мой замполит не то чтобы посочувствовать, ободрить, помочь попавшему в беду молодому командиру… Он даже не позвонил мне из тылов, отмежевался, будто от прокаженного. А мне тогда ох как нужно было его участие.

После изнурительного перехода через пустыню Гоби все мои двести пятьдесят воинов и сто тридцать коней умирали от жажды и голода на пятидесятиградусной жаре, а буддийский монастырь рядом не дает взаймы ни риса, ни фуража. Как быть? Решаюсь вынудить монахов пойти на уступку, иного выхода нет. Советуюсь с Карповым. А он безучастно заявляет: «Хочешь, бери и корми, но отвечать будешь сам». Я все же уговорил монахов, а потом не без улыбки наблюдал, как мои политработники с аппетитом уплетают рисовую кашу с маслом, только скулы трещат.

И так на двух войнах. Обе войны политработники нашего дивизиона находились в обозе, ни за что не отвечали, никто из них ни ранен не был, ни убит, а мы воевали, погибали и за все были в ответе. Не всякий тогда мог осмелиться сказать им правду в глаза. Благо у меня была боевая молодецкая удаль и безоглядность, а уверенность в скорой погибели притупляла страх не только перед врагами, но и перед своими. По счастью, я уцелел, отделался ранениями. Но за прямоту и самостоятельность начальством и политорганами жалован не был.

### Глава двадцать пятая

### Награды

###### Мои ордена

С пятью орденами закончил я две войны: с немцами и с японцами.

— Во нахватал! — говорили завистники, особенно из числа невоевавших.

Их не интересовало, сколько раз был ранен, что делал на войне три года. Они судили по большинству фронтовиков. Действительно, многие, даже долго воевавшие, самое большее имели по две-три награды, а то и по одной. А встречаются офицеры, в основном из числа бывших довоенных кадровых, которые имеют по шесть-восемь орденов. Это или бывшие «неубиваемые», удачливые летчики и разведчики, но скорее всего — политработники или адъютанты командиров и начальники штабов, которые в свое время не обошли себя по части наград.

Однажды после войны власти спохватились: как это так, человек четыре года воевал и ничем не награжден! Тут же тем, кто на виду, вручили по ордену Красной Звезды, независимо оттого, в разведке он воевал или в обозе. А пришедший к власти Черненко наградил поголовно всех фронтовиков орденами Отечественной войны.

Все эти шараханья говорят о несовершенстве существовавшей во время войны системы награждений. Сорок-пятьдесят лет спустя присвоены сотни и тысячи званий Героев Советского Союза обойденным во время войны людям, свершившим выдающиеся героические деяния, но не замеченным, а скорее всего проигнорированным политотделами. Но были фантастические герои, вроде аса, летчика-штрафника Ивана Федорова, которым так и не присвоили звания Героя. Об этом рассказал журнал «Вокруг света» № 2 за 1998 год. Мало кому известна и трагическая судьба самого героического подводника Отечественной войны Александра Маринеско. Легендарный подводник номер один, потопивший больше всех немецких кораблей, за свою самостоятельность и независимость не нравился флотским политработникам. Особенно члену ЦК ВКП(б) начальнику Главного Политуправления флота Рогову. Этот сухопутный «моряк», бумажно-политический генерал-полковник береговой службы сидел в Москве и за время войны был награжден восемью высшими боевыми орденами, в том числе флотоводческими «Ушакова» и «Нахимова». Политработники не только воспрепятствовали присвоению Маринеско звания Героя Советского Союза, но оклеветали его, на две ступени понизили в звании, сразу же после войны демобилизовали без пенсии, довели до нищеты и болезней да еще и посадили в тюрьму. Живший на подачки друзей, больной и неприкаянный капитан скончался в 1963 году в возрасте 50 лет. В 1977 году скульптор-моряк Валерий Приходько на собранные среди моряков деньги поставил в городе Лиепая памятник Маринеско и его героическому экипажу. Из Москвы распорядились, чтобы ночью фамилию Маринеско и слово «героическому» с памятника спилили.[[7]](#footnote-7) Подвиг Маринеско замалчивался до последнего года существования советской власти. И только в 1990 году под напором общественности ему было посмертно присвоено звание Героя.

К сожалению, и после войны в списки Героев по юбилейным датам привычно вписывали заметных партийных деятелей, бумажно-политических генералов и адмиралов из Главного Политуправления Советской Армии, в том числе и начальника этого Управления Епишева, его «боевых» заместителей. Наверное, за проклятую дедовщину.

###### Орден Красной Звезды. Сентябрь 1943 года

Свою первую боевую награду — орден Красной Звезды я получил после того, как год и два месяца провоевал на передовой подо Ржевом и на Курской дуге, был ранен и совершил множество подвигов. Но награждать меня забывали, а вот на опасные дела посылали часто, потому что знали мою удачливость и «неубиваемость».

Шесть месяцев мы тяжко, но безуспешно бились за Ржев. Я чудом уцелел, но сколько людей там полегло! Наша дивизия трижды обновилась в тех боях! Советские воины совершали там чудеса героизма, они тысячами гибли в болотах, под жуткими обстрелами и бомбежками, снова и снова поднимались и бежали в атаку на вражеские пулеметы по трупным полям. Кроме участия в боях, я трижды успешно ходил в тыл к немцам за «языком», меня посылали после того, как с задания не возвращались другие поисковые группы и «языка» было взять невозможно. Но я был удачлив. Я ходил в разведку, бегал вместе с пехотой в атаки, чтобы видеть огневые точки врага и корректировать огонь батареи. Когда в стрелковых ротах не оставалось в бою ни одного офицера, я, живучий артиллерист, поднимал и вел солдат в атаку. Но, как и многие, ни разу не был награжден.

Бои за Ржев не увенчались успехом, а потому там почти никого не награждали. Это еще раз подтверждает, что награждения определялись не подвигами солдат, а стратегическими успехами маршалов. Удалась войсковая операция — на нее отпускается определенное количество наград. Эти награды распределяются между участвовавшими в операции воинскими частями. А в частях награждают тех, кого захочет наградить начальство.

Потом нашу дивизию перебросили под Сталинград. Тяжелые бои зимой сорок третьего в Донбассе. На нашу беду, сплоховал генерал Ватутин и обмишулилось Верховное главнокомандование в проведении операции «Скачок» по освобождению Донбасса. Операция не удалась, а мы из-за этого попали в окружение в Барвенкове. Тогда именно меня, двадцатидвухлетнего лейтенанта, послали с донесением в штаб армии. Надо было средь бела дня суметь выбраться из окруженного Барвенкова через позиции танков и пехоты противника. Донесение я доставил, да еще попутно при бомбежке спас в Барвенкове девять ребятишек.

Потом бои на Северском Донце, Курская битва. В канун Курской битвы немцы сосредоточивали танковые дивизии под Харьковом, в лесах на Донце. Наша дивизия в течение мая и июня никак не могла взять «языка». Немцы очень тщательно хранили секреты своей подготовки к этому сражению. Мне, однако, благодаря изощренности организации поиска, чудом удалось захватить за Донцом немецкого танкиста. Обрадованный генерал обнимал нас и обещал наградить всю группу разведчиков. Но шли месяцы, и генерал забыл о своем обещании.

Тяжелыми боями отгремела Курская битва. Она унесла в могилы две трети разведчиков, которые вместе со мною добывали «языка» на Курской дуге. Я, слава богу, уцелел, отделался легким ранением. Мы взяли Харьков, Красноград. Совсем обессиленную дивизию вернули под Харьков, в Мерефу, на пополнение. Вот там в сентябре сорок третьего мне вместе с другими, в том числе и тыловиками, вручили первую награду — орден Красной Звезды. По результатам Курской битвы. Я уже был не разведчиком и не командиром взвода, а полгода командовал артбатареей. Вот так «легко» я «отхватил» свой первый орден.

К слову сказать, воевали мы тогда не за награды. Мы и не думали о них. Поэтому не расстраивались, когда нас не награждали. Да и ни к чему они были нам: войне конца не было видно, не сегодня-завтра убьет, а то и в следующую секунду, мы же на передовой, — ну зачем она мне, эта награда? Даже радовался, когда долго не награждали, а то наградят, давай плату за это — смерть схватишь. Воевали мы не за награды, а за Родину, нам бы побольше немцев истребить, которые столько зла причинили нам.

###### Орден Великой Отечественной войны 1-й степени. 4 апреля 1944 года

И все же, спустя почти год после первой награды, уже в сорок четвертом, меня наградили второй раз. За этот год мы столько боев в обороне и наступлении провели, столько смертей, ранений пережили, наступая от Харькова к Полтаве и на Кировоградчине. На Ингульце целую зиму вели бои в обороне. И опять же меня посылали, когда никак «языка» не удавалось взять или немецкую пушку, терроризировавшую нас две недели, не могли разведать и уничтожить. Когда требовалось делать что-то трудное или невозможное, начальство всегда вспоминало обо мне. Вот и в тот раз из всей дивизии выбрали меня. Нелегко было через минное поле, колючую проволоку, немецкие траншеи проникнуть в тыл к противнику, обнаружить, подкараулить и уничтожить эту пушку. Не буду повторяться, я уже рассказывал, как было трудно и смертельно опасно обнаружить и уничтожить эту проклятую пушку. Скажу лишь, что до сих пор помню, как переползали с радистом минное поле, как горели от снега кисти рук и кожа живота, израненные колючей проволокой, как целый час шипели над головой, пронизывая шапку, трассирующие пули. Но радость была великая, когда я обнаружил и уничтожил на глазах у всей передовой эту зловредную пушку. Люди до исступления радовались, увидев, как взлетела вверх тормашками вместе с расчетом немецкая пушка. Увиденное запомнилось им на всю жизнь. И через полсотни лет мои боевые товарищи при встречах вспоминали ту пушку. Эта людская радость была нам с радистом дороже всех несостоявшихся наград. Хотя никто не считал и не учитывал наши подвиги. Для нас тогда самым главным было — сделать дело.

Вспоминаются и другие необычные, неординарные бои, когда благодаря смелости, находчивости, опыту да и везению выходил победителем из самых сложных боевых ситуаций. Некоторые особенно запомнились. Ну, например, из-за ошибки комбата Абаева въезжаем мы на машинах с гаубицами на прицепе в деревню — а там немцы! И для нас неожиданность полнейшая, и немцы глазам не верят: русские на грузовиках пожаловали! До этого у нас в полку уже был случай, когда в пылу наступления артиллерийская батарея к немцам въехала — и погибла: не успели орудия отцепить, как их немцы постреляли. Мы же проявили такую расторопность и такое бесстрашие, что не только не потеряли ни одного человека, но еще и перебили полторы сотни немцев, захватили село и мост через Ингул. А мост на войне — это бескровная переправа, ему цены нет! Это сотни и сотни жизней солдат! Сколько десятков плотов с солдатами спустили мы в бурные весенние воды Южного Буга, так и не захватив плацдарма на том берегу. А люди погибли. Потребовалось еще несколько сотен жизней, чтобы форсировать реку. А Ингул дивизия с ходу переехала по захваченному нами мосту. Никто о нас и не вспомнил.

А потом форсирование Днестра весной сорок четвертого. Тогда перед самым Днестром я со своими разведчиками и связистами отбил у немцев четыре исправных гаубицы, с этими орудиями мы проникли в тылы к немцам, вырвались к Днестру и с батальоном Морозова благодаря внезапности обеспечили бескровное форсирование Днестра. Радость была неимоверная, особенно у тех, кто наверняка погиб бы во время переправы в холодной воде и под огнем противника. Сколько же теперь спасли мы жизней! Если бы в условиях весеннего разлива пришлось форсировать эту широченную реку обычным штурмом… Начальство в ходе форсирования так радовалось удаче, что к ордену Ленина обещало меня представить. О Героях-то тогда и не мечтали, а самую высшую из возможных наград прочили мне безоговорочно. На том все и заглохло.

Однако жизнь на фронте шла своим чередом. На передовой свершались подвиги, гибли люди, а в тылах по деревням, в теплых постелях тешились с молодицами тыловики и политработники. Никто в них не стрелял. Подавляющее большинство из них и не собиралось погибать, а после войны они стали бить себя в грудь и рассказывать, как они «За Сталина» в атаку ходили. Что поделаешь: каждому свое и в смысле вклада в Победу. А награждать ведь всех надо. Иной тыловик был начальству дороже нескольких окопников, да и напоминал он о себе частенько — его и награждают в первую очередь.

Где-то под Одессой бежали мы с пехотой вслед за отступавшими немцами. Слышу, кто-то надрывно орет мне в спину:

— Михин, остановись, никак догнать не могу!

Оглядываюсь: Кочелаба — помначштаба полка. Торможу бег, он сует мне в руку орден и сразу же убегает в тыл, а то ведь пули летят, его и убить могут. Потом, после боя, разглядел орден: Отечественная война 1-й степени.

###### Орден Александра Невского. 7 ноября 1944 года

Итак, за форсирование Днестра, где я сыграл ключевую роль со своими трофейными гаубицами, обеспечив бескровную переброску полков дивизии, меня ничем не наградили.

Потом я долго командовал батареей и дивизионом, а меня все не награждали, очередь не подходила: есть два ордена — и хватит, вон у начпрода — всего одна медаль, а он давно воюет. Там, в тылах, вокруг начальства, столько приспешников вертелось, что и среди них очередь на награждения была. У меня же за очередной год боев накопилось столько подвигов, достойных самой высокой награды, что можно бы и наградить было.

Не наградили меня и никого из пушечной батареи и за то, что мы в Молдавии остановили лавину немцев, прорывавшихся из окружения. Опять же, из всей дивизии именно мне поручили это опасное и требующее большого умения и мужества боевое задание. С четырьмя пушками мы сумели вовремя обнаружить и уничтожить тысячи солдат противника, более восьмисот взять в плен. Вся моя батарея тогда погибла, в живых остались один совершенно невредимый сержант, командир орудия, и я, раненный в ногу. Нам с сержантом никто даже спасибо не сказал. Не отсутствие наград тогда расстроило меня, а скотское отношение к честным людям. Это только в кино «Горячий снег» генерал привез и со слезами на глазах раздавал оставшимся в живых артиллеристам ордена, приговаривая извиняющимся голосом: «Чем могу, чем могу…»

У меня же, командира дивизиона, победившего в том бою армаду врагов, «в благодарность» отобрали «доджи», на которых мы возили пушки, и передали их придворному дивизиону, который штаб дивизии охранял. А мне сказали:

— Вон сколько бесхозных немецких лошадей по балке бродит после твоего боя, собирай их и формируй конные упряжки.

И я до конца войны возил две пушечные батареи на конях. Даже пустыню Гоби и хребет Большой Хинган на этих лошадках форсировал, прокладывая путь для всей дивизии.

И после Молдавии на всем боевом пути по Восточной Европе мой дивизион шел впереди дивизии с лучшим стрелковым полком. Сменявшие нас в Югославии болгарские артиллеристы не верили, что дивизионом командует двадцатитрехлетний капитан, прослуживший в армии всего три года. Поверили только тогда, когда я спас их от разгрома, проявив больше мужества и мудрости, чем эти высокомерные болгарские служаки-офицеры.

Дунай, Румыния, Болгария, страшные бои в Югославии, в ее непривычных для нас горах, где горные немецкие войска врезались в наши колонны с флангов и тыла, а бурные реки преграждали нам путь. Но в этих неразберихах мы всегда оказывались победителями.

Неприступную гору Ртань наша дивизия взяла только потому, что я с двумя пушками с помощью местных жителей проник по ее лесистым склонам в тыл к немцам и уничтожил прямой наводкой огневые позиции всех четырех немецких батарей. Лишившись артиллерии, фашисты отступили.

Множество боев в труднейших условиях горной местности выиграли мы в Югославии. Надрываясь из последних сил, рискуя быть сброшенными в пропасти, мы, люди равнин, сумели одолеть специально обученные немецкие горные войска. Овладели горой Ртань, захватили города Парачин, Крушевац, Трстеник, Крагуевац и сам Белград.

Да и тот случай нельзя не вспомнить, когда с двадцатью югославскими партизанами, тремя разведчиками и пушечной батареей я сумел захватить югославский городок Трстеник. Этот случай преподнес нам немыслимое. Два полка дивизии никак не могли взять этот городок, расположенный на широкой, бурной Западной Мораве. А третий стрелковый полк наступал с моим дивизионом вдоль той же реки по противоположному ее берегу. Прямой наводкой с помощью своих орудий в течение трех минут мы подняли на воздух всю немецкую оборону, позволив дивизии спокойно войти в город. А командование дивизии доложило наверх: вместе с поддерживающими частями, в результате упорных боев дивизия штурмом овладела городом. На этот мнимый «штурм» было списано много боеприпасов, имущества, людских потерь. К тому же многих наградили. Только о нас не было сказано ни слова. После войны наш генерал, оправдываясь, заговорщицки сообщил мне:

— Тебя бы тогда, наградить надо, но сделать этого нельзя было. В донесениях я представил дело так, что город штурмом взяла наша дивизия. В противном случае считалось бы, что город освободили не советские войска, а югославская армия. Это была военно-политическая уловка. Дружба дружбой, но уже тогда Тито слишком возомнил о себе, нельзя было поощрять его.

Мне же от этой «хитрости» стало не по себе.

За Белградом, в городке Рума, нас остановили на пополнение. Там 7 ноября мне вручили орден Александра Невского. Командир полка Рогоза тогда сказал:

— За мост через Ингул, за форсирование Днестра, за уничтожение лавины фашистов в Молдавии, ну и, конечно же, за гору Ртань и Трстеник ты заслужил три ордена Невского! Да и Героя тебе надо было бы дать. Но это не в моих силах. Держи «Невского»!

###### Орден Красного Знамени. Май — июнь 1945 года

Снова мы включились в жестокие бои с фашистами в Югославии под Вуковаром. Там меня тяжело контузило. Затем бои в Венгрии, Австрии и Чехословакии. Об ожесточенности боев в Венгрии говорит такой малоизвестный факт: под Секешфехерваром немцы пленили около ста тысяч советских солдат. Это в конце-то войны!

Для меня в Венгрии горько памятен бой за Пустовам 2 января 1945 года. Там средь бела дня наше командование на виду у немцев сняло четыре артиллерийских полка, а меня с восемью орудиями оставило на съедение сорока немецким танкам, которых поддерживали пушки и минометы. Ушедшие артполки сделали свое дело, они уничтожили рвавшиеся в Будапешт вдоль Дуная танки генерала Гудериана. Но мы-то, подбив девять танков, были раздавлены остальными, напавшими на нас с тыла. С горсткой солдат я уцелел и выбрался из занятого немцами города. В моем распоряжении оставалась только гаубичная батарея, которая стояла далеко в нашем тылу. С ее помощью я остановил дальнейшее продвижение противника. Да еще мне пришлось вытаскивать из расположения немцев свои раздавленные пушки, чтобы показать их прокурору. Хотя все знали, что сделать это немыслимо: не поедешь же к немцам за пушками, как на колхозный двор. Только неимоверное чудо и господь бог помогли мне сделать это невозможное дело. Я вытащил пушки, и меня не судили. Такова была мне «награда» за выигранный бой с многократно превосходившим меня по силам противником.

Под Брно, в Чехословакии, 22 апреля сорок пятого меня в последний раз ранило. В метре разорвалась 82-мм мина, которая уничтожает все живое в диаметре пяти метров. Мне повезло, я упал без сознания, с одним только осколком в ноге. Но, поправившись, успел еще повоевать под Прагой с группировкой Штернера. Война в Европе кончилась для нас только тринадцатого мая.

В мае — июне 1945 года начальство, опять же в строжайшей тайне, начало зачищать наградные дела. Тут уж многих вспомнили, кого не наградили за бои и за тыловой труд. Снова уравняли героев передовой и обитателей тылов: штабистов, политработников, снабженцев. Ах, как нам, истинным фронтовикам, хотелось, чтобы для выучки хотя бы на недельку отправляли на передовую тех начальников и политработников, которые занимались наградами. Тогда бы они знали, кого надо награждать в первую очередь. Но они, как черт ладана, боялись передовой и никогда там не бывали!

За все бои в Югославии, Венгрии, Австрии и Чехословакии я скопом был награжден высшим боевым орденом — Красным Знаменем. К сожалению, этот боевой орден, который давался за успехи в смертельных боях, обесценил Никита Хрущев. В 1957 году, в 40-летие Октября, он наградил им, вопреки статуту этого ордена, поголовно всех политработников, прослуживших в армии двадцать лет. Снова приравняли смертельный риск с многолетним бдением.

###### Орден Отечественной войны 2-й степени. Сентябрь 1945 года

Пятый орден — Отечественной войны 2-й степени — я получил за бои с японцами в Маньчжурии. Хотя там не столько японцы нам докучали, сколько безводная пустыня Гоби и хребет Большой Хинган. Я со своим дивизионом на конной тяге прокладывал путь для всей дивизии средь раскаленных песков и заоблачных скал. Первым же шел я и к Порт-Артуру, утопая в заиленных реках Китайского Приморья. Наверное, начальство считало, что лучше меня, двадцатичетырехлетнего капитана, никто с компасом в пустыне не отыщет воду и не найдет дорогу в Китай. И я оправдал доверие: не потеряв ни одного человека и ни единого коня, привел дивизию к месту назначения. Почему же ученые не подсказали нам тогда, что под горько-солеными озерами в раскаленных песках пустыни Гоби залегает вечная мерзлота, а под нею — пресная вода?! Что на твердом иле китайских рек ни в коем случае нельзя останавливаться — засосет, не оставив никаких следов. Все это я открывал заново, рискуя сварить дивизион в обжигающих песках пустыни или утопить его в китайских реках. Непросто было провести 20-метровые конные упряжки вместе с орудиями по нависающим над пропастями горным карнизам Хингана.

Лысеющие полковники, политические надсмотрщики, а также опытные по части щелканья каблуками тридцатилетние в хрустящих портупеях кадровые молодцы предпочитали ехать сзади, в обозах дивизии, в ожидании новых наград и повышения в должностях и званиях. Они двигались по проторенному пути, когда определена дорога и вырыты колодцы. Ехал в затененной от жары повозке в обозе дивизиона и мой сорокалетний замполит. Он ни разу не соизволил проехать ко мне вперед, чтобы, используя свой жизненный опыт, дать молодому командиру дельный совет. Боялся разделить со мною ответственность в случае гибели дивизиона. За поход к Порт-Артуру он, как и я, был награжден орденом. Как же — боевой комиссар, представитель партии, надсмотрщик.

###### Как награждали

Очень жаль, что на войне в основном награждали не за конкретные подвиги, а по срокам пребывания на фронте, даже не всегда учитывали, в разведку человек ходил или в обозе восседал. Награждения готовились кампаниями, по итогам удачно завершившейся военной операции, в великой тайне, по распределительно-уравнительному принципу с учетом должности, партийности, национальности, общественной активности, возраста, социального положения кандидата и, конечно же, с ведома особого отдела. Если даже дальний родственник был репрессирован, совершивший подвиг из списка награждаемых вычеркивался. Требовалось еще, чтобы среди награжденных были представлены все национальности, все социальные группы населения. Особая забота проявлялась о политработниках. Их в списки включали в первую очередь. Прежде всего решался вопрос, кого внести в список, а уж потом подбиралась соответствующая его положению награда, а к ней, согласно статуту награды, сочинялась легенда о «подвиге». А Героями Советского Союза практически становились по назначению — главным образом, парторги рот на общественных началах, ну и кого политотделы считали достойными этого высокого звания. Вот и получалось: не награда подбиралась под свершенный подвиг, а человек с соответствующими качествами и данными подыскивался под награду. Количество и разнообразие наград, причитающихся воинской части, тоже определялось не ее боевой активностью, а пронырливостью руководства. Наградных знаков приходилось на подразделения не так уж и много.

Наша дивизия за три года боев участвовала в пятнадцати крупных победоносных войсковых операциях. По результатам неудачных операций и за подвиги, совершенные в повседневных боях, награждений не производилось, хоть ты трижды соверши героический подвиг. В соответствии с количеством удачных операций и было проведено пятнадцать наградных кампаний. Каждый раз на полк политотдел дивизии выделял 15–20 орденов и 70–80 медалей. На батальон, дивизион, где 200–300 человек, приходилось 3–5 орденов и 12–15 медалей. Сложный наградной механизм требовал много времени для своей раскрутки, а потому путь от подвига до награды был долог, труден, извилист и часто терялся в партийно-чиновничьих дебрях.

На послевоенных встречах ветеранов дивизии за праздничным столом бывшие полковые писари, штабисты и политработники откровенничали по поводу награждений: в первую очередь в списки награждаемых вносились политработники, а также парторги и комсорги рот и батарей, работавшие на общественных началах. Затем шли доверенные лица особого отдела, работники штабов. Не забывалось и ближайшее окружение тех, кто составлял списки: адъютанты, ординарцы, фронтовые подруги, снабженцы. А уж потом дело доходило и до тех, кто ценой жизни зарабатывал на всю дивизию распределяемые политотделом награды. В наградные листы обычно вписывалось не действительное содержание подвига, о котором или давно забыли, или на самом деле его не было, а фантазии писарей, которые по образчику-болванке сочиняли легенду подвига. Поэтому наградные листы, как правило, сухи, кратки и похожи друг на друга. Их искусственность выдают круглые и весьма завышенные цифры уничтоженных лично награждаемыми танков, самолетов и солдат противника. Часто награждаемые на самом деле и в глаза никогда не видели ни немца, ни танка. Я как-то поставил в тупик одного писаря, когда спросил, как бы он сам сумел в одном быстротечном рукопашном бою уничтожить пятнадцать фашистов. Они же не в шеренге стоят со связанными руками, а стреляют, бьют прикладом, маневрируют, уклоняются от ударов. Попробуй двоих-троих убить, а самому остаться живым.

После награждений во фронтовых газетах обычно описывались подвиги награжденных. В некоторых из них писалась правда. Но были и надуманные статьи. Мой замполит признался после войны, как он, сидя в тылу, пописывал в дивизионную газету статейки о якобы совершенных награжденными политработниками и тыловиками подвигах. На фронте почему-то к нам на передовую эти газеты не попадали и мне не приходилось их читать. Возможно, это делалось специально. Но когда я прочитал творения своего замполита после войны, то диву дался. Какая же там несусветная чушь написана несведущим человеком!

###### Как я не получил Звезду Героя

О том, что у нас в дивизии появилось якобы за форсирование Днестра семнадцать Героев, а восемнадцатого, шустрого ординарца какого-то начальника, оказавшегося бывшим кровавым полицаем, лишили этого звания по требованию его односельчан, я узнал в 1970 году, будучи в Москве на встрече ветеранов. Узнал и о том, что причитавшуюся мне Звезду отдали комсоргу стрелкового полка, который никогда не был в боях, а обитал в тылах и при штабе. А чтобы ему не было стыдно перед сослуживцами за незаслуженное звание, его срочно, еще до вручения наград, перевели в соседнюю дивизию.

Оказалось, три месяца спустя после форсирования Днестра начальство дивизии опомнилось и сумело в тайне от всех представить верхам дело с форсированием реки так, что «выбило» 18 званий Героев Советского Союза. Шестеро из получивших это звание были настоящими Героями, правда, четверым из них это звание было присвоено посмертно. А двое живых — это «неубиваемый» И. И. Морозов и К. Ф. Кулаков. Про меня, форсировавшего Днестр с помощью трофейных орудий, расширявшего и удерживавшего плацдарм, естественно, не вспомнили. Зато любимчики, парторги и комсорги стали Героями. Многие из этих мнимых героев преднамеренно во встречах ветеранов дивизии не участвовали, а те, кто случайно оказывался на них, стыдливо оправдывались, особенно политработники и тыловые офицеры. Многие же настоящие герои этого звания не получили. Политотдел дивизии или не знал об их героических делах, или игнорировал их подвиги.

Морозов, этот героический человек, один из немногих по праву был удостоен Звезды Героя, хотя и под большим секретом, в тайне от меня, ведь форсировали-то реку мы вместе, а потом долгие пять месяцев, опять-таки вместе, вели тягчайшие бои за плацдарм, когда немцы бомбили и обстреливали нас, вдавливали в землю танками, каждый день атаковали, стремясь сбросить в реку. И до сих пор памятен нам тот Днестровский плацдарм. Столько людей у нас тогда побило, а мы с ним, как заколдованные, ни одной царапины не получили. Нервы наши, хотя мы с ним к слабакам не относились, настолько измотались, что оба готовы были сами на пули лезть, чтобы побыстрее убило или ранило. И однажды, отчаявшись, Морозов увлек меня под немецкие снаряды. Но нам не повезло, уцелели: в смертельном вихре, как назло, ни один снаряд, ни единый осколок не зацепил нас. Через пару часов о нашем поступке стало известно генералу. Разнеся, изматерив и пригрозив нам расстрелом, генерал каждому из нас вручил путевку в санаторий.

На той же встрече начальник штаба нашего артполка майор Шлямин так объяснил задержки с моими награждениями. Якобы за форсирование Днестра меня единственного представили к ордену Ленина. Ну а когда к званию Героя стали представлять, меня обошли как представленного уже к высшей награде. Но, к сожалению, командующий мое представление облил щами и порекомендовал представить новые наградные документы с очередной партией. Так и «повисли» мои высшие награды. Сам же Шлямин в Руме получил сразу три ордена Отечественной войны 1-й степени. Никаких заслуг, чтобы так мгновенно озолотить свою грудь, у него не было. Просто трижды написал сам на себя реляции, вот и засиял в орденах.

Тогда же за праздничным столом, когда, подвыпив, бывшие начальники были не в меру откровенными, я совсем случайно подслушал разговор о себе: «Живуч был, воевал дерзко и удачливо, пехота любила его, артиллерийским огнем управлял снайперски, за «языком» успешно ходил, но с политработниками не ладил, осведомителем быть отказался да заму командира артполка по строевой по морде съездил, когда тот хотел ударить его, вот и отдали его Звезду за Днестр политработнику».

Прискорбно и обидно было мне слушать такое, хотя была в этих словах и правда. Тогда, на фронте, я и не думал о наградах, даже не заметил, что меня за Днестр ничем не наградили. Но если бы знал, что выживу и что не боевые заслуги, а подхалимаж, терпимость к оскорблению человеческого достоинства решали, буду я Героем или нет, я бы все равно не стал пресмыкаться перед начальством, особенно перед своим замполитом — бездельником и трусом.

И конечно, не стерпел бы мордобоя заместителя командира полка по строевой части майора Мартиросова. Ранее я никогда с ним не общался: он в тылу всегда сидел. Кто-то из высшего начальства пристроил его на всю войну на эту никчемную на фронте должность, лишь бы не убило. Ходил слух, что этот худенький, низкорослый, лысый, уже в годах майор позволял себе бить по лицу высоких, статных красавцев — солдат из знаменного взвода. Чтобы не загудеть на передовую, никто из них не сопротивлялся, сносили его самоуправство. Мартиросов, чтобы казаться полнее и солиднее, даже летом надевал под гимнастерку два шерстяных свитера и умывался в фуражке, чтобы скрыть лысину и казаться выше ростом. Особенно в присутствии хозяйки хаты. Наверное, он не ведал ничего о моих боевых качествах, знал только, что я не пью, не курю и не ругаюсь матом. Вот и решил — больше ему делать было нечего — поднять на меня, по его мнению, безответного, свою ручонку. Пусть по полку пойдет слава: какой сильный и смелый Мартиросов — Михина избил.

Мы в кровавых боях продвигаясь за день на десяток метров, три месяца бились, чтобы продвинуться на шесть километров — от Днестра до противотанкового рва. И, чтобы не терять днем людей на открытой местности, ночами прорыли перекрытый и замаскированный сверху подземный тоннель, по которому и повозки ездили, и люди в безопасности ходили, и связь была протянута. Вот однажды, подвыпив, на повозке с завтраком по тоннелю приехал к нам в противотанковый ров Мартиросов. Отдергивает закрывавшую вход плащ-палатку и просовывается ко мне в блиндажик, где я обитал вместе с телефонистом. Я ему по-доброму:

— Здравия желаю, товарищ майор.

А он:

— Почему честь не отдаешь?!

Ведь знает, что на передовой по команде «смирно» не становятся и чести не отдают, а требует. Да и невозможно в этой конурке в полный рост встать, тут и сидя-то потолка касаешься. Он разворачивается и бьет меня по лицу. У меня реакция быстрая — отбив его руку, я увернулся от удара. Но не стерпел, зло взяло: мы каждый метр кровью залили, чтобы приползти сюда под пулями, а он по подземке на повозке приехал бить нас! И я тут же ногой вышиб его из блиндажика. На этом считал инцидент исчерпанным. Но Мартиросов затаил на меня зло. Я же возмутился тогда и расстроился до глубины души: ну почему я, честно воюющий, ради благосклонности начальства должен сносить оскорбления, терпеть мордобой, унижение человеческого достоинства, потворствовать бездельникам и пьяницам?! Я изо всех сил, не щадя живота своего, воюю, пехота любит меня, комбаты бьются из-за меня, требуют, чтобы именно я их поддерживал. АН нет! Этого, оказывается, недостаточно! Да и не это берется во внимание. Да что мне, думаю, детей крестить с начальством?! Чего ради я должен унижаться?! Не сегодня-завтра меня убьет, а я буду пресмыкаться перед ними!

Майор Гордиенко, когда еще командовал нашим дивизионом, потом он стал командиром артполка, тоже пытался ни за что ударить меня. Но он был здоровее меня, и я не стал давать ему сдачи, а схватился за пистолет. С тех пор он стал уважать меня. Внешне, конечно. А так, постоянно посылал меня на самые опасные задания. Добытые же мной в бою результаты себе присваивал. Однако, учитывая мою удачливость, знания и опыт, назначил командиром дивизиона. Предлагал даже занять должность начальника штаба артполка, но я отказался. Быть поблизости от самодура и унижаться — не в моих было правилах, хотя быть начальником штаба куда безопаснее, чем командовать дивизионом.

И еще. Гордец и позер, не в меру амбициозный, но трусливый служака Гордиенко любил повторять:

— Покы я нэ Гэрой, никто в моем полку Гэроем нэ будэ!

Так и получилось: героические дела в полку были, а Героем никто не стал.

Метко давали прозвища наши предки. Схватывали самые заметные, самые выпирающие черты рода — будь то гордыня или ум, удаль или хвастовство, прозорливость или глупость. Фамилия часто многое говорит о человеке.

Наверное, Мартиросову понравились дикие выходки комполка Гордиенко, по его примеру занялся мордобоем и он. Единственное, что утешало меня тогда, — это то, что, кроме заморыша Мартиросова, примеру Гордиенко больше никто из офицеров не последовал. Да и в других полках этого не было. Только генерал как-то на переправе ударил палкой одного нерасторопного офицера, тот во время бомбежки застопорил своей повозкой движение.

А комсоргу стрелкового полка, который носит мою Звезду, не завидую. Об этом Герое-политработнике до 1970 года я, как и многие, ничего не слышал. Человек он неплохой. Пытался подружиться со мной, все же испытывает угрызения совести. Как-то на ветеранской встрече пожаловался мне: жена и дочь не признают его Героем. Наверное, в порыве откровенности он рассказал им, как Героем стал, вот они и не уважают его. Во время войны я часто поддерживал полк, в котором он служил, но ни разу на передовой его не видел, он постоянно, как и большинство политработников, в тылах обитал. Подо Ржевом, где в боях сто раз умереть можно было, он, мой ровесник, все шесть месяцев на курсах комсоргов при политотделе армии провел.

Симпатичный, угодливый, вот его в политработники и определили. Конечно, он не виноват, что Героем стал. Нужно было кого-то из политических — для счета и для показа, что и политработники воевали, — вот его и вписали в список Героев. Кто, кроме его жены и дочери, знает, как он Героем стал? Никто. Пусть считают, как привыкли читать в газетах, что комсомольские «вожаки» солдат в атаки водили. Да еще и кричали при этом: за Сталина и так далее.

###### Полевые офицеры

Тогда, на войне, находясь на переднем крае, мы не думали остаться в живых, потому не интересовались наградами. Не до них было. Главное — боевую задачу бы выполнить, побольше немцев истребить да своих солдатиков сберечь. О себе не думали, вроде бы привыкли считать себя «неубиваемыми». Кто же вместо тебя, уже опытного, воевать-то будет?

И все же нам тогда хотелось, чтобы награждали оперативно, прямо на передовой, в присутствии участников и свидетелей боя и подвига. Пока люди еще живы и могут порадоваться, что их подвиг замечен и оценен. А затяжки и проволочки в награждении были выгодны только верхам. По прошествии времени события и люди забывались, и в наградные списки вносились непричастные к боям люди. Строгая засекреченность и тщательное сокрытие полных списков награжденных прикрывали необъективность в награждениях.

Конечно, истинные, настоящие герои рождались в боях на передовой. Их знала и славила вся передовая. Эта по-мужски скупая, но высокая оценка подвига людьми-очевидцами, знающими толк в боях, была самой большой наградой для воина. Готовый каждую минуту умереть, он не рассчитывал получить орден «по итогам года», когда политотдел подобьет наградные «бабки».[[8]](#footnote-8) Иные даже суеверно радовались, что награда обходила их — значит, не убьет в ближайшее время. Но, в любом случае, солдатская молва об истинных героях никогда не доходила до политотдела, потому что политработники всегда держались подальше от передовой и не всегда знали, что там происходит. Хотя о том, кто что сказал, сразу становилось известно в политотделе и особом отделе. Поэтому-то имен настоящих смельчаков и не оказывалось в списках награжденных.

В жизни передовой и тылов постоянно наблюдался некий контраст. Передовая жила своей отчаянной, бурной, полной опасностей, смертей, ранений и страхов, быстротечной жизнью без будущего. А тылы, политотдел, штабы жили мирной, размеренной, обстоятельной, стабильной, тихой и спокойной жизнью, с перспективой на далекое, даже послевоенное будущее. На передовой было не до наград. А тыловики, едва заканчивалась успешная боевая операция, начинали усиленно тереться около начальства в ожидании очередных наград, званий и повышений по службе.

В двух стрелковых полках дивизии служили два талантливейших, героических и удачливых командира батальонов Абаев и Морозов. Их не ранило и не убивало в течение полутора лет, хотя они постоянно были под огнем. На этих двух командирах выезжала вся дивизия. В их батальоны сводили остатки солдат из полков, а то и из всей дивизии. В каких только переделках не побывали их батальоны! И всегда они выходили из них победителями. Я горжусь, что каждый из этих комбатов стремился заполучить в поддержку именно мою артбатарею. Потому что, в отличие от других командиров батарей, я всегда находился рядом с комбатом, в цепи атакующих. К тому же я был, как и они, «неубиваемым». И я никогда не подводил пехотинцев: у самой нашей траншеи останавливал любую атаку противника, а затем катил огневой вал впереди нашей наступающей пехоты, уничтожая отступавших врагов.

Вся дивизия знала Морозова и Абаева, но начальство никогда не выделяло этих комбатов среди других офицеров ни наградами, ни званиями, ни повышениями в должностях. Как они пришли в дивизию — Абаев капитаном, а Морозов старшим лейтенантом, так и остались в этих званиях до конца войны. Да и орденов у них было, как и у остальных офицеров-окопников, — два-три. Морозову никак не могли не дать звания Героя, потому что именно его батальон форсировал Днестр. Но все равно он не получил, как многие остальные Герои, ни повышения, ни менее опасной должности, а продолжал в скромном звании старшего лейтенанта до конца войны командовать батальоном. Наверное, его, как и Абаева, руководство не любило, начальству не нравились самостоятельность и ярко выраженное обостренное чувство собственного достоинства, присущие этим офицерам. Особенно это выделялось на фоне угодничества и подхалимства некоторых других командиров. Только господь воздал им должное: оба они выжили на войне.

К 1942 году сложилось так, что основной, немногочисленный состав довоенных кадровых офицеров — кто избежал репрессий тридцать седьмого года, вырвался из окружений в сорок первом — в большинстве своем служил в штабах или командовал полками и дивизиями. Они имели военное образование и драгоценный боевой опыт, многие вернулись в строй после ранений. На передовой же роты и батальоны поднимали в атаку большей частью офицеры из запаса или бывшие студенты и десятиклассники, только что окончившие краткосрочные курсы. Формально военного образования они не имели.

Кадровые офицеры считались в армии настоящими офицерами, своими, истинно военными людьми, профессионалами, которые могут нести службу в штабах, тылах, у них была перспектива продолжать службу и после войны. Кадровые офицеры росли в званиях, их награждали, переводили на более высокие и безопасные должности. А пришедшие из народного хозяйства инженеры, учителя, агрономы, как и скороспелые мальчишки — выпускники краткосрочных курсов, считались офицерами второго сорта, людьми в офицерском корпусе временными. Зачем им повышать воинские звания и должности, давать награды? Они приходили, воевали на передовой, погибали, выходили из строя по ранению, снова возвращались ненадолго на передовую. Продолжительность жизни их измерялась двумя-тремя боями. На них-то и выезжали в кровавых боях в сорок втором — сорок пятом годах. Наиболее живучих, уже опытных боевых офицеров, таких, как Морозов, Абаев, Михин, зверски, до нервного истощения использовали да, можно сказать, эксплуатировали на передовой. Они случайно узнавали, что существуют дома отдыха для офицеров-фронтовиков. Однако в этих домах отдыхали от «тяжких» и «опасных» трудов офицеры штабов, тылов и политработники.

Сами же окопные офицеры, патриотически настроенные, заранее положившие свои жизни на алтарь Победы, готовые в любую минуту умереть и не мечтавшие даже дожить до конца войны, чувствовали свою второсортность и ни о какой перспективе не мечтали. Поэтому они не обзаводились хрустящими портупеями, хромовыми сапогами, кубанками и фуражками. У них в окопах не было условий тренироваться в щелканье каблуками и в подхалимских вывертах холеного тела. Они вьюном на животе ползали под дождем, в грязи и пыли, спасаясь от пулеметного огня противника. В помятом, грязном и копченом обмундировании, в кирзовых сапогах, почитаемые только на передовой да своими подчиненными, они общались с начальством только по полевому телефону. Да и слышали в основном одно и то же: «Вперед, такой-сякой! Не возьмешь траншею — расстреляю!»

Воспринимали свою второсортность полевые офицеры спокойно, без обиды и возмущения, как естественную предначертанность судьбы. А иные даже и не догадывались о ней. Их не трогало и не интересовало, что знают и думают о них в штабах и политотделах. Гордились, радовались и довольствовались тем, что они честно служат Родине, до последнего дыхания преданы ей, а оценку их деятельности, самую объективную и самую значимую для них, дают им Люди Передовой.

После войны, отдыхая в Сочи, я заходил навестить проживавшего там бывшего командира нашей дивизии генерала Миляева. На войне это был молодой, храбрый и боевой генерал. Мы любили его. Сколько же воспоминаний было у нас с ним! О сражениях, о людях, о необычных случаях. И, вспоминая, генерал сожалел:

— И почему мы тебе Героя не дали?..

— Не знаю, товарищ генерал, — ответил я, — мы же тогда об этом не думали, не знали и не интересовались, воевали себе да воевали! Вы ведь, товарищ генерал, — прервал я задумчивое молчание Миляева, — не всегда достойных награждали. Ну, за что вы дали Героя командиру штабной роты? Или командиру саперного батальона? Некоторым парторгам и комсоргам — людям тыловым? Ничего героического они не сделали. А ротный на встрече в Молдавии даже публично оскорбил вас, будто каким-то золотом вы не поделились с ним. Я тогда еще в вашу защиту выступил.

— Да, — махнул рукой генерал, — я, что ли, занимался наградами. Политотдел все решал. Меня ведь тоже обошли с Героем, — печально закончил он. Задумался и, помолчав, добавил: — Большинству командиров дивизий по совокупности боев дали Героя. Наша дивизия одной из лучших была, а я Героем не стал. Хотя знаю почему. Член военного совета армии попросил у меня трофейную машину, а я пожалел, себе оставил эту легковушку. И вот результат.

К сожалению, ни памяти, ни совести, ни малейшей справедливости в присуждении наград не было. Так и хочется призвать на помощь Господа Бога. Но Он был бессилен покарать раздавателей наград. Хотя для меня Он сделал практически невозможное — уберег до самого конца войны от многократно неминуемой смерти. За что и молюсь Ему всю жизнь.

### Глава двадцать шестая

### Отец и брат

###### Мой брат-ополченец

Не прошло и месяца после начала войны, а враг уже захватил Смоленск, Ярцево и Ельню. Круша все на своем пути, обходя и окружая, пленяя и уничтожая, немецкие войска неудержимо рвались к Москве. Наше командование, оправившись от шока страшнейшего поражения первых недель войны, стало организовывать противодействие врагу. А для этого нужны были силы. Уже в июле в помощь регулярным войскам в Москве и в Подмосковье начали спешно формироваться двенадцать дивизий народного ополчения. Плохо вооруженные, необученные, даже не переодетые в военную форму, эти соединения поспешно бросались в бой. Ими затыкали бреши, образовавшиеся в ходе маневренной войны. Главным образом на Московском направлении. Но, неся большие потери, эти части не могли оказать врагу сколько-нибудь серьезного сопротивления. В начале августа пешим маршем направилась на запад из района Наро-Фоминска (почтовое отделение Толстопалыдево) и Вторая Ленинского района дивизия народного ополчения. В 3-м взводе 5-й роты 3-го стрелкового полка этой дивизии служил мой семнадцатилетний брат-доброволец Николай. Для мальчишек, не служивших в армии и не отлучавшихся пешком из дома и на десяток верст, переход в триста километров был не из легких. Но дух у них был боевой. Командиры и политработники в первую очередь беспокоились за ноги своих подопечных. Однако новобранцы за сутки одолевали по тридцать километров. Шли ночами. Днем колонну людей сразу заметят немецкие самолеты и тут же разбомбят.

На месте сосредоточения рассчитывали постоять недели две. Надо было спешно подучиться военному делу. Подростки не умели еще ни в цепь рассыпаться, ни окапываться, ни прятаться от пуль, ни ползать по-пластунски. Не говоря уже о стрельбе из винтовок, которых у них пока не было. Да и рукопашному бою надо бы подучиться. Хотя бы самым элементарным приемам.

После трудного перехода ребята помылись в бане, привели себя в порядок. Им приказали с помощью подручных инструментов изготовить из дерева модели винтовок. Когда «вооружение» было готово, их стали учить строевым приемам. Затем — и умению занимать огневые рубежи, перемещаться с оружием на поле боя, подниматься и бежать в атаку. На настоящей винтовке, которую приносил на занятия командир взвода, изучали ее устройство, названия частей. Пробовали по очереди разбирать и собирать трехлинейку.

Ребята написали письма домой. Вот единственное, сохранившееся у мачехи в Борисоглебске, письмо брата от 12 августа 1941 года.

«Здравствуйте, дорогие родители папа и мама.

Во первых строках своего письма я вам сообщу, что я жив и здоров, того и вам желаю. Папа и мама, вчера 10/VIII я получил письмо от Пети по адресу Наро-Фоминск. Это возле Москвы. Но оно дошло и сюда, несмотря на то, что я уже далеко от Наро-Фоминска. Это письмо он послал 23 числа, а от вас я еще не получал ни одного письма. Может, вы на другой квартире или пишите чего не надо, вот они и не доходят. Мама, получаете ли вы мои письма или нет? Я вам много писал. Получили ли вы мои деньги, напишите. Чистой бумаги пришлите и все опишите. Я живу хорошо. Кормят хорошо. Так что все сыты, водят в баню. Письма пишите по адресу: Действующая Красная Армия, 933 полевое почтовое отделение, 3 стрелковый полк, 5 рота, Михину.

Обо мне не горьтесь, скоро побьем немца, и я вернусь домой. Петя мою фотокарточку получил, а вы — не знаю. Я было бросил писать Пете письма, так как не знаю его адреса. Но получил письмо: у него опять старый адрес. Сейчас достану бумагу и напишу ему письмо. До свидания.

11/VIII Михин

Мама, вышли мне чистой бумаги. Плохо, что нет ни у кого чернил с ручкой. Приходится писать карандашом.

Нам, наверное, придется постоять здесь порядочно, хотя и я сам не знаю, скоро или нет, но как думаем мы и командиры, что постоим.

Потом, получили ли вы мои вещи или нет. Сообщите. Ну, до свиданья. Жду ответ. Как будто, и нечего больше писать. Передайте привет бабане и всем знакомым, до свиданья. Михин».

Адрес на письме-треугольнике: *Борисоглебск Воронежской области, Ленинская, 114, Михину А. А.*

Штампы: *Полевая почта 933. 13. 08. 41. Борисоглебск — 27. 08. 41.*

Я получил в Ленинграде в конце августа письмо от брата Николая, написанное им на марше. Письмо за долгие годы моих фронтовых мытарств, боев, пребывания в болотах и реках куда-то затерялось, чудом сохранились в партийном билете только фотокарточка и наскоро написанная братом приписка на клочке бумаги. На ней второпях было написано: «Сейчас зашью и передам с кем-нибудь. Михин». В письмо была вложена маленькая светло-коричневая фотокарточка размером 3 х 3,5 сантиметра. На снимке спокойное возмужавшее лицо и бросается в глаза мощная шея сильного человека. На обороте фото рукой Николая написано: «23. VII.41. Может быть, это последний фотоснимок Михина Николая А., рождения 1923 г. 9. VIII».

Видно, постоять, даже недельку, на месте сосредоточения частям дивизии ополчения не удалось. Фашисты двигались в направлении на Москву значительно быстрее, чем предполагало наше командование. В третий полк поступил приказ срочно выдвинуться на двадцать километров на запад и занять предназначенный ему участок в полосе обороны дивизии. После форсированного двадцатикилометрового марша пятая рота третьего стрелкового полка, в которой служил Николай, без передышки стала занимать оборону на огородах какого-то села. На третий взвод дали несколько винтовок и по десятку патронов к ним. Винтовки быстро расхватали кто успел. Остальным приказали добыть оружие в бою, а пока пользоваться моделями винтовок.

Лопат, чтобы отрыть в грунте хотя бы ячейки, тоже не оказалось. Командир взвода послал Николая и двоих его борисоглебских товарищей в село за лопатами. Переходя со двора во двор, мальчики выпросили у хозяев с десяток лопат. Николай взвалил лопаты на плечи и направился с ними во взвод, там этих лопат ждали с нетерпением. А его друзья остались в селе, чтобы добыть еще несколько лопат — во взводе-то тридцать человек.

И тут на село налетели немецкие самолеты. Они появились неожиданно и с небольшой высоты стали обстреливать дома из пулеметов и сбрасывать бомбы. Страшный рев моторов, треск пушек и пулеметов, вой включенных сирен, ухающие разрывы бомб. Пыль, дым, огонь, разрушающиеся на глазах строения вызвали у Николая неимоверный страх. Но он не бросился на землю, а продолжал бежать с лопатами во взвод. Вдруг земля содрогнулась от страшного близкого взрыва, стоявший рядом плетеный сарай подпрыгнул вверх, задымился и, рухнув на землю, разлетелся в стороны. Взрывной волной Николая уложило на землю. Его сильно оглушило. Какое-то время он ничего не видел и не слышал. Придя в себя, схватил лопаты и со всех ног бросился бежать на огороды, к своему взводу. В селе жарко горело несколько домов, тревожно и громко ревели коровы, визжали и лаяли собаки.

Перепуганный бомбежкой, он все же был рад, что остался жив, целы оказались и лопаты, он обеспечит ими свой взвод. Николай ускорил бег, но тут его внимание привлекли какие-то двигавшиеся по полю в направлении их позиций темные предметы. Они то терялись из виду, утопая в зелени, то выныривали и быстро приближались. Вскоре Николай догадался, что это были танки. На их броне сидели вооруженные солдаты. Когда танки стали стрелять из пушек и пулеметов, солдаты соскочили на землю и, прячась за танками, побежали вслед за ними к нашей обороне.

Один из танковых снарядов разорвался вблизи Николая. Брат не успел упасть, чтобы спрятаться. Очнулся молодой ополченец от удара сапогом в голову. Открыл глаза и совсем близко увидел сапоги и направленный на него ствол оружия. С широко расставленными ногами над ним стоял немец. Тыча автоматом в голову, он надрывно и гортанно что-то кричал. Крепко вцепившись в одну из валявшихся поблизости лопат, Николай с ее помощью поднялся на ноги. Ко тут же упал снова на землю от удара автоматом по голове. Двое немцев схватили его за руки и потащили в село. Окончательно пришел в себя, когда, спотыкаясь, шел по улице села под конвоем.

Видно, бой пятой роты с немецкими танками длился недолго. Да и было ли вообще это боем, когда на безоружных, лежавших на ровной земле мальчишек после бомбежки и обстрела налетели танки. Крутясь то на одной, то на другой гусенице, они размазывали по земле несчастных ополченцев, а соскочившие с брони десантники в упор расстреливали из автоматов уцелевших.

Захватив село, немцы подобрали оставшихся в живых ополченцев, построили их в колонну и погнали в лагерь. Я знаю, что было с пленными дальше, но описывать нечеловеческие страдания не в состоянии. Это сделали за меня многие из тех, что сами перенесли ужасы немецкого плена и чудом выжили, а также те, что, сбежав из немецких лагерей, пробрались к своим, а потом, если их не расстреляли, то они преследовались своими же и мучились всю оставшуюся жизнь с клеймом предателей. Некоторые из этих людей весьма талантливо описали плен. Например, наш земляк Константин Воробьев.

Мой брат не перенес немецкого плена, через три месяца он погиб. Как же надо было издеваться, истязать, избивать, морить голодом, держать под проливным дождем, гонять в обносившейся летней одежонке с обмотанными в тряпье ногами по лютому морозу на непосильные работы, а на ночь загонять в нетопленые бараки и класть на голые нары несчастных людей, чтобы за месяц или два довести молодых, здоровых парней до полного истощения и смерти. О чем думали в немецком плену эти несчастные, замерзая и мучаясь от голода и побоев, когда лежали ночью на оледенелых кругляшах? Вспоминали родных, с которыми лишены связи? Возмущались зверствами фашистов? Жалели, что не удалось им по-настоящему повоевать на равных с врагом? А может, обижались на своих, так нелепо подставивших их?..

Но ведь в первые дни и месяцы войны были подставлены не только эти мальчики. Свыше трех миллионов красноармейцев да и офицеров, генералов попало в плен. Это более двух третей находившейся на западных границах армии. Остальные кое-как, ночами, блуждая по лесам и оврагам, выбрались из окружения. Но и свои встречали их неласково. Нужно было пройти систему проверочных лагерей и доказать, что ты не завербован врагом. Хотя иначе было нельзя. Немцы засылали множество лазутчиков.

В обзорном томе «Всероссийской книги памяти 1941–1945» (М., Воениздат, 1995) на 101-й странице говорится, что только под Брянском и Вязьмой попало в плен около 700 тысяч человек, а вот некоторым армиям Брянского фронта удалось выйти из окружения организованно: они потеряли все тяжелое вооружение и 90 % личного состава. Значит, «организованно» удалось вывести только каждого десятого.

Мученической смертью в немецком плену погиб и мой брат Николай. Прежде чем умереть, цепляясь за жизнь, он три месяца мужественно переносил чудовищный режим умерщвления. Спрашивается, за что такие муки, чем же он провинился за свои семнадцать лет жизни?

После войны Борисоглебский райвоенкомат известил, что Михин Николай Алексеевич пропал без вести в августе 1941 года. А 50 лет спустя Центральный архив Российской армии сообщил из Подольска, что он умер в плену 11 января 1942 года.

В газете «Известия» за 14 января 1971 года бывший советский военнопленный назвал фамилии нескольких человек, которые были вместе с ним в плену. Среди них был назван и мой брат. Только возраст не 17, а 37 лет. Тогда я подумал, что это был однофамилец брата. Только недавно до меня дошло: в плену изможденный брат мог выглядеть на 20 лет старше. Но ведь и связываться с автором статьи в ту пору было небезопасно. Органы следили за теми, чьи родственники были в плену. Может, и статью пропустили специально. Зачем, подумал я, трагедию брата превращать во вред собственной семье? До чего же мы были запуганы! Я, честно провоевавший и до изнеможения отдавший все свои силы на мирный труд, боялся, чтобы в личном деле не появилась пометка: брат был в плену.

Двое друзей Николая, уцелевших во время бомбежки в том селе, где они добывали лопаты для своего взвода, спрятались так, что немцы их не нашли. Из своего укрытия они наблюдали всю картину происходящего во время бомбежки и боя их роты с немецкими танками. Ночью, крадучись, они двинулись на восток. Как и многим окруженцам, им удалось дойти до линии фронта и незаметно перейти ее. По пути к ним присоединились еще двое ополченцев, также в гражданской одежде. Когда в очередном селе их спутников забрали милиционеры, ребята решили уже и на своей территории тайно бежать домой, в Борисоглебск. У одного из них отец до войны работал смазчиком на железной дороге. Парень с детства лазил под вагонами и хорошо знал, как можно устроиться для поездки под вагоном. Так они добрались до родного Борисоглебска. Можно только представить, как обрадовались и как испугались при встрече их родители. Дома прятаться им пришлось недолго. Однажды ночью их арестовали милиционеры. Но до этого в одну из ночей они посетили нашу мачеху, поинтересовались, не прибежал ли домой и их приятель. Рассказали о своих мытарствах. Что было с мальчишками после ареста, никто не знает. У родственников они никогда больше не появились.

Брат был почти на три года моложе меня. В раннем детстве больше общался с матерью, а я уже помогал по хозяйству отцу. Когда он стал ходить в школу, в наших местах случился страшнейший голод 1933 года. Люди пухли и умирали весной от голода сотнями. Мы с братом и отцом как-то выжили, мать же, отдавая все нам и отцу, умерла от голода.

Отец, потеряв после пожара дом, вынужден был из-за квартиры часто переезжать по области с места на место. Менял школы и брат. А я уже учился в Борисоглебске, затем в Ленинграде. Смена школ мешала нормальной учебе брата, и он, кое-как закончив семилетку, поступил в Борисоглебске в ремесленное училище. А там больше внимания уделяли приобретению навыков практической работы слесаря и выполнению производственных заданий по изготовлению деталей для завода. Троих-четверых ребят мастер сажал под замок в полутемный сарай, где они должны были целый день гнуть из проволоки скобы и кольца для панцирных кроватных сеток. Однообразный подневольный труд отбивал у ребят всякое желание учиться, они только и ждали, когда им дадут паспорта, чтобы уехать куда-нибудь по вербовке на настоящую работу.

Так трое друзей оказались в поселке Видное под Москвой. Там они устроились работать на завод. Их поселили в общежитии. Они с удовольствием влились в рабочий коллектив и почувствовали себя свободными самостоятельными людьми. Неизбалованные, работящие, добрые и отзывчивые подростки были горды и довольны своим положением. Им не хотелось вспоминать школу, ремесленное училище и голод. Настали самые счастливые дни в их жизни. Из первых же зарплат брат послал деньги родителям в Борисоглебск и мне, студенту, в Ленинград.

И тут началась война. Не сформировавшиеся еще ни умственно, ни физически, они не готовы были к службе в армии, тем более воевать. Но патриотический настрой тянул их в военкомат, им хотелось побыстрее оказаться на фронте и бить ненавистных агрессоров. Военкомат предложил им немного подождать.

В начале июля состоялось решение Госкомитета обороны о формировании добровольческих дивизий народного ополчения из лиц, не подлежащих мобилизации. В одну из таких дивизий — Вторую Ленинского района дивизию народного ополчения — и направил Наро-Фоминский райвоенкомат семнадцатилетних ребят. С каким воодушевлением вступили на военную стезю молодые парни! Политработники рассказывали им, что вот-вот у немцев кончится ресурс, а мы оправимся от внезапного удара и быстро разобьем фашистов. С такими убеждениями и надеждами ополченцы и попали на фронт. Но первая же нещадная бомбежка, первая атака немецких танков и вооруженных до зубов немецких головорезов развеяли их радужные надежды. Безоружному добыть оружие в бою с опытным, хорошо вооруженным немцем-бандитом оказалось непростым делом. Немецкие танки с пехотным десантом на броне быстро расправились с ополченцами в первом же бою. Многие из них погибли, а большинство оставшихся в живых попали в плен. И только некоторым счастливчикам удалось уползти, спрятаться, а потом отступить к тылам дивизии. Так сохранилось название дивизии. Остаткам двенадцати Московских ополченческих дивизий были присвоены номера разбитых в первые недели войны стрелковых дивизий.

На мой запрос в Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации, где и когда вступила в бой с фашистами 2-я Ленинского района дивизия народного ополчения, мне сообщили о судьбах 1-й Московской и 2-й Московской Сталинского района дивизиях народного ополчения. Причем 2-я дивизия Сталинского района попала в окружение под Вязьмой и никаких ее документов на хранение в Центральный архив не поступало. А о 2-й Московской дивизии Ленинского района, в которой служил мой брат, в архиве никаких сведений нет.

В начале войны окружались и десятками гибли целые армии, их перечень встречается в военной литературе, а до таких «мелочей», как дивизии 12-тысячного состава, в высоких штабах не доходили. О них нигде не упоминается. Наспех сформировали, бросили «для порядка» в прорву боев и забыли.

И вот теперь, когда я слышу за окном веселый самозабвенный ребячий гомон третьеклассников, я вспоминаю своего младшего брата. Голос одного из играющих под окном мальчишек выделяется особой зычностью и запальчивостью, неимоверным желанием перекричать остальных и тем доказать свою правоту — он так похож на голос моего брата, что, кажется, выгляни в окошко, и увидишь маленького Николая. Однажды он обратился с претензией к матери:

— Мама, ну почему ты не родила меня первым? Мне бы не пришлось тогда донашивать Петины обноски!

А я теперь вспоминаю все это и с болью думаю: не только обноски незаслуженно пришлось брату носить, но, может, и судьба у него сложилась бы, будь он первым, иная, не такая горькая.

И еще каждый раз вспоминаю я мученика-брата, когда в зимнюю пору ложусь в нетопленом помещении в холодную постель. Она, пусть холодная, но в мирной комнате, на свободе, а не в промерзшем бараке под нагайкой, на голых слегах…

###### Алексей Александрович

Мой отец, Алексей Александрович Михин, родился 10 февраля 1897 года в селе Богане, в бедной крестьянской семье. В ту пору это был уезд Тамбовской губернии (ныне — Борисоглебский район Воронежской области). Когда ему было три года, его отец Александр Леонтьевич простудился зимой в лесу и умер от воспаления легких. Мать осталась одна с четырьмя детьми. Всей семьей стали батрачить у богатого соседа, который исполу обрабатывал их земельный надел. С пятнадцати лет отец работал у казаков на Хопре и Дону. Воевал на германской, Гражданской и Отечественной войнах, а в промежутках между ними вел крестьянское хозяйство и в зимнее время работал плотником в Борисоглебске. Когда же хватился оформлять пенсию, ему насчитали шестнадцать лет трудового стажа. В Богане во время пожара сгорели все документы отца, подтверждавшие его трудовой стаж и участие в двух войнах. А пока воевал в Отечественную, затерялись документы тридцатых годов. И посчитали отцу стаж с 1941 года, когда начал третий раз воевать. И будучи тяжело больным — непризнанным инвалидом при пулевом ранении в голову, гипертонии, инсультах, — вынужден был, опираясь на палочку, сторожить магазин, чтобы выработать недостающий стаж. Да и умер в 66 лет, не пожив на пенсии.

Всю жизнь, не обращая внимания ни на какие превратности судьбы, отец не терял чувство юмора, снисходительно, по-философски относился к неразумным обидчикам и был полон здорового оптимизма, всегда надеялся на лучшее, часто говорил:

— Ничего! И мы заживем!..

Возможно, эти качества зародились у него в раннем детстве, когда вся семья, от мала до велика, с утра до ночи батрачила на соседа-богача. Работали няньками и подсобниками, сторожами и посыльными. А небольшого роста, худенькая, но семижильная, никогда не боявшаяся никаких трудностей мать, моя бабушка Агафья Михайловна, до замужества Красникова, с рассвета до ночи работала на соседа в поле и на току, в доме и на скотном дворе. В лютый мороз, орудуя тяжелым вальком, стирала в проруби белье. К тому же надо было, пока не подросли ребята, обиходить и свою корову, двор, сад, огород. Единственной помощницей в хозяйстве была у нее старшая дочь Анастасия.

В германскую войну отец сначала был рядовым стрелком. Бегал в атаки, до последнего дыхания под кромешным огнем держал оборону. Несколько раз был легко ранен, дважды отравлен немецкими газами — глаза покраснели на всю жизнь. Как обстрелянного и смышленого солдата, красивого и стройного, стоявшего на правом фланге взвода, батальонный командир взял отца связным с ротами. Из батальона в роты телефона тогда не было и все распоряжения передавались с помощью связных. Связной — ответственная и очень опасная должность. От его расторопности, находчивости и живучести зависели действия целой роты. В любую минуту, днем и ночью, какая бы ни была погода, какой бы ни шел обстрел, есть ли засада вражеских разведчиков, особо охочих до связных в качестве «языков», он, связной, должен быть готовым бежать, ползти в роту. В пургу и туман, в темень «глаз выколи», в проливной дождь он обязан разыскать ротного командира и на словах передать ему приказ из батальона. Большинство тогдашних солдат из крестьян, даже самые смелые, не могли быстро уловить, запомнить и точно передать приказание, путались:

— Так что, ваше благородие, их скородие велели передать вам, сейчас вспомню, забыл, как это называется…

Отец эту опасную должность связного выполнял хорошо и надежно. А располагался он, будучи в ежеминутной готовности бежать в роту, в «предбаннике» блиндажа командира батальона, вместе с ординарцем и телефонистом из штаба полка. В какой-то мере связной общался с господами офицерами, наблюдал за ними, слушал их разговоры, а по должности — осведомлялся, информировался и тем самым учился, приобщался, многое перенимал, усваивал, становился культурнее и грамотнее своих сослуживцев. Может, поэтому отец, закончивший всего-навсего церковноприходскую школу, считался в селе самым грамотным и знающим человеком.

Старшего сына, Александра, убили на германской войне, двое младших уцелели. Поэтому, когда после Гражданской оба младших, в том числе и мой отец, вернулись домой, Агафья Михайловна перестала батрачить на соседа. С радужными надеждами все они принялись за крестьянский труд уже на своей земле и для себя. Мать не могла налюбоваться на сыновей. А перед глазами постоянно возникал образ старшего, который так и не вернулся с германской войны.

После Гражданской войны отцу было двадцать три года. Он был полон сил, здоровья и надежд. Женился, вместе с младшим братом купили лошадь, получили земельный надел и впряглись в крестьянство. В маленькой хате двум женатым братьям было тесно. И младший, Василий, решил ехать в теплые края, в Сочи. Лошадь пришлось продать на дорогу. Отец купил пару волов и на них управлялся с хозяйством. А там подрастал жеребенок. У меня в связи с этим жеребенком сохранились интересные наблюдения. Он родился зимой, его ночью внесли в хату, и первым, кого он увидел при свете лампы, был я, уже годовалый. Всю зиму я общался с ним, ласкал и кормил его. Видно, он считал меня своим старшим братом. Потому что, когда он вырос в кусачего и брыкающегося жеребца, подпускал к себе только отца и меня. Он покорно стоял у плетня, ожидал, пока я, трехлетний, взберусь к нему на спину, осторожно вез меня на луг, терпеливо ждал, пока надену на его передние ноги пута — толстую веревку с петлей и узлом на концах.

На зиму отец устраивался на работу в Борисоглебске. Плотничал, был бригадиром. Читал там газеты, был в курсе политических событий. Прослышал о грядущей коллективизации. В селе, как и в городе, осуществлялась новая экономическая политика (НЭП), были даны послабления в торговле и в экономической деятельности. Крестьяне стали богатеть, особенно семьи, в которых было много рабочих рук. Оживилась деятельность кузнецов, портных, сапожников, бондарей, шорников. Заработали на полную мощность кирпичные заводы, мельницы, крупорушки, в околотках появились конные, а то и дизельные молотилки, веялки, паровые коноплемялки. Открылись клуб, изба-читальня. Было много построено больших кирпичных домов под железной крышей. Сохи заменялись на плуги.

Выбился в середняки и отец. Пополнились закрома, хлеба и на весну стало хватать, во дворе появилось много разной скотины, каждую осень и весну резали свинью, кроме молока начали кушать мясо и яйца. Купили самовар, стали чай пить с сахаром, покупать и печь по праздникам ситные пироги из пшеничной муки. На стене затикали часы-ходики. Всей семье пошили шубы, обновили носильные вещи, завели постельное белье. Осенью отец привозил из-под Балашова целый воз арбузов.

Всю зиму 1924/25 года отец заготавливал в лесу и возил домой дубовые бревна на сруб большого дома. На этой горе бревен среди улицы по праздникам и вечерами восседала молодежь. Играли, веселились, пел большой самодеятельный хор. А через пару лет, когда лес подсох, отец в одиночку поставил величественный сруб под просторный дом.

Вошло в силу и хозяйство его фронтового друга Дьячкова. Он всегда видел в отце вожака, поэтому предложил ему купить совместно конную молотилку, подзаработать на ней денег и приобрести потом дизельную, а там и мельницу или, на худой конец, крупорушку. Зная о грядущей коллективизации, отец отказался, друг не верил в изменения жизни, обиделся и развел на старинном заброшенном кладбище промышленный яблоневый сад. За что впоследствии и поплатился. При раскулачивании ночью, в зимнюю стужу, под душераздирающие крики детей и женщин его вместе с семьей насильно погрузили в кузов грузового автомобиля и увезли на станцию в Борисоглебск, а там втолкнули вместе с такими же «кулаками» в товарный вагон, защелкнули двери и увезли в Сибирь.

Будучи от природы сообразительным и деятельным, работал отец всегда споро, творчески и качественно. Был любознательным, быстро схватывал и впитывал любую идею, какое угодно тонкое мастерство. На фабрично-заводском уровне он своими руками мастерил все, что требовалось по хозяйству. Телегу или сани, дугу или упряжь, валенки свалять или сапоги стачать, овчину, а то и хромовую кожу выделать, сруб срубить или мебель сделать, плодовые деревья привить или печь сложить, скотину вылечить или на зиму арбузы замочить — все умел и отлично делал сам. Единственное, о чем сокрушался — зубы не умел вставлять, хотя часы ремонтировал.

Но отец так и не реализовал своих возможностей. То коллективизация помешала, то беспартийность, то стихия, а больше всего, наверное, — крестьянская и советская забитость.

Не осуществилась и отцовская мечта путем более рационального ведения хозяйства, отхожего зимнего промысла в Борисоглебске, неимоверного напряжения всех своих физических и умственных сил зажить побогаче. Однако надежд он не терял. Стал работать в Борисоглебске и летом. Вместе с товарищами поступил на курсы десятников-прорабов. Успешно, в числе лучших, окончил их. У меня перед глазами фотография: стоят довольные выпускники, и среди грубоватых, убого одетых мужиков выделяется выправкой одетый в легкое осеннее пальто нараспашку высокий, красивый, молодой мужчина со спокойным, умным и открытым лицом. Это мой отец. Однако менее способным выпускникам, но членам партии, дали должности, а отцу пришлось снова работать плотником.

Решил отец податься в Москву, там попытать счастья. С весны по декабрь 1931 года наша семья жила в Москве, в Кожевенном Вражике. На двух солдатских койках в переоборудованной под общежитие на сотню человек церкви устроились и мы вчетвером. Третий ребенок, младшая дочь Валентина, умерла в раннем детстве. Но и в Москве беспартийному отцу развернуться не дали, он возглавил бригаду по асфальтированию улиц, в том числе и Охотный ряд заасфальтировал. Я успешно учился в четвертом классе московской школы № 1 в Замоскворечье.

У меня самым сильным впечатлением от Москвы остались воспоминания о беспризорниках. Они ютились у отца на работе, в горячих котлах от смолы, дружили с отцом, и он не заливал на ночь котлы водой. К обеду и на ночь беспризорники возвращались к теплым котлам, устраивались на земле и дружно, весело ели то, что удалось украсть. А еще помнится, как один из беспризорников выманивал на рынке на Зацепе, около Павелецкого вокзала, у тетки-продавщицы пирожки, угрожая сыпануть на нее полстакана вшей, которые зловеще копошились в поднесенной к ее глазам прозрачной емкости.

Еще помню, как 7 Ноября отец нес меня на плечах на демонстрации по Красной площади, и я видел стоявших на Мавзолее усатых Сталина и Буденного.

Перспектив получить в Москве квартиру у отца не было, и мы вернулись в Богану. Отец стал работать в колхозе. Я как-то спрашивал у отца, почему он, крестьянин-батрак, красноармеец, неглупый человек, не вступил в партию.

— Надоело мне, сынок, быть все время в подчинении. То сосед-богач помыкал мною, то казаки-хозяева, на германской и Гражданской командиры над душой стояли, а в партии тоже дисциплина, как в армии. Поэтому и не записался в партию, хотя и предлагали. Конечно, будучи партийным, я бы не хуже должность получил, чем мои сокурсники. Но что теперь говорить. С другой стороны, брат Васятка, твой крестный, вступил в Сочи по Ленинскому призыву в партию. Выдвинули его в двадцатипятитысячники, послали в Краснодарский край колхоз организовывать. Организовал, а когда через три года вернулся, парторг станции, где он работал плотником, не захотел из его дома выселяться. А какой домик брат своими руками поставил на берегу реки Сочи! Он и сейчас, наверно, стоит на Приреченской улице, двадцать один. Брат сам, в одиночку, за год срубил и обустроил дом. И какой! — всем на загляденье. Виноград пустил на веранду. Парторг подал заявление: якобы нашел в доме брата троцкистскую литературу — стихи Есенина. Васятку исключили из партии, выслали из Сочи без права проживать в крупных городах. Хорошо, хоть в тюрьму не посадили. Так он и погиб в Отечественную беспартийным и гонимым.

В тридцать втором году, в летнюю жару, когда все были в поле, случился в Богане страшный пожар. Сгорело более сотни домов, в том числе и двор отца. Сгорело у нас все дотла. А вот отцовский дубовый сруб — он стоял посреди улицы — уцелел. Ставить дом да всю усадьбу строить заново при больной жене и малых детях отец не решился. К тому же замучил колхоз. С утра до ночи ему как мастеру на все руки постоянно поручали что-то мастерить. Когда же тут свой дом строить? Да и к чему он, этот дом: еще, чего доброго, отберут. Не без боли в сердце отец продал сруб за бесценок соседу. Вырыл для жилья на зиму землянку, и мы поселились в ней. Но тут повезло: ему как самому грамотному и интеллигентному человеку в селе предложили преподавать в семилетней школе труд. К тому же дали комнатку для жилья в бывшей церковной сторожке. Два года отец работал в школе. А когда комнату отобрали, стали жить на частной квартире.

В 1933 году в наших краях случился неимоверный голод, так как все зерно власти вымели из амбаров под метелку. Люди пухли и умирали десятками и сотнями в день. Всю весну мы с братом промышляли галками на церкви да ловили на речке рыбу. Может, поэтому и выжили. А наша мать, Елена Илларионовна, до замужества Сахарова, все, что добывалось съестного, отдавала работавшему в школе учителем труда отцу и нам как маленьким. Сама же 27 августа 1934 года, не дожив до тридцати трех лет, умерла от голода.

Потом отец перебрался жить и работать в Борисоглебск. Частная квартира, скромные заработки. По просьбе своих бывших партийных сокурсников работал у них в разных районах в качестве помощника. Сами они не в состоянии были наладить коммунальное хозяйство, спланировать дорожное строительство, вот он и выручал их. Потом стал жить в Борисоглебске, а там и война началась.

###### \* \* \*

Три с половиной года отец провоевал рядовым в саперном батальоне. Под носом у немцев делал проходы в их минных полях и колючей проволоке, ставил свои мины и колючку перед нашим передним краем.

Был несколько раз ранен, в последний раз тяжело, пулей в голову, когда разминировал ночью проход перед немецким передним краем. Но ничем ни разу не был награжден. За всю Великую Отечественную не удостоился даже медали.

Когда в сорок шестом его пригласили получать медаль «За победу над Германией», он не пошел. Обиделся, наверное. Хотя нам ничего не сказал. Только иногда, вздыхая, он тихо и обреченно, почти про себя, говорил:

— Хитра Савельевна! — это он про советскую власть. А «Савельевной» называл ее для конспирации.

Саперным батальоном, в котором отец воевал в Отечественную, командовал молодой, неопытный, но очень заносчивый и задиристый капитан. Как он достиг этой должности и почему его на ней держали, неизвестно. Ведь сам он ни моста не умел построить, ни дорогу замостить, тем более переправу через реку обеспечить, не говоря уже колючую проволоку в три кола поставить. Минного дела боялся как огня. И близко не подходил, когда разминировали немецкие или ставили свои мины на передовой. Все дела организовывали взводные и ротные. А он, не зная дела, часто вмешивался в работы и требовал, чтобы делали так, как он говорит. Приказал на тонких ножках-спичках мост построить и добился. Но мост, только поехали по нему, сразу же развалился.

Опытные сорокалетние плотники, мой отец и двое его товарищей, обычно, молча, не возражая, игнорировали некомпетентные указания капитана и делали так, как подсказывал им опыт. Проявляя находчивость и мужество, они делали проходы для пехоты в минных полях и колючей проволоке под самым носом у немцев. Даже будучи легко раненными, не бросали дело, доводили его до конца. Когда пуля пробила отцу голову, товарищи вынесли его с передовой. Врачи в госпитале практически вытащили его с того света, а долечиваться отправили в другой госпиталь. Везли его в поезде, который проходил через Борисоглебск. Отец попросил, чтобы ему разрешили сойти в Борисоглебске долечиваться в местном госпитале. Так на несколько недель он оказался вблизи от дома.

И после госпиталей отец, как и его товарищи, попадал воевать снова в свой батальон. С радостью встречали их однополчане, особенно пехотинцы, для которых они проделывали проходы в минных полях и колючей проволоке.

Только вот злопамятный капитан не любил троицу своенравных стариков. Не молодых солдат, а именно их посылал работать в лютый мороз и ветер на верхотуру или в ледяную воду, тем более — на передовую. И никогда не поощрял. Но пережившие за свою более чем сорокалетнюю жизнь множество всяких невзгод, привыкшие подчиняться и покорно тянуть лямку, пожилые солдаты не держали зла на мальчишку-капитана. Не на него же, в конце концов, и не ему в угоду выполняли они смертельно опасную работу. Ради пехоты-матушки старались. А она всегда надеялась на них и была им благодарна.

###### \* \* \*

После войны отец вернулся в Борисоглебск. Младший сын погиб на войне, я, старший, — в отъезде. Помыкав бесквартирное горе, в 1951 году решил уехать в Сталинград — традиционное пристанище крестьян из Боганы. Три года с нашей мачехой прожил в вагончике, работая на железной дороге. Потом получил на пригородной станции Садовая квартиру. Развел садик. Думал поработать еще, пожить. Но сказывалось тяжелое ранение головы. Все чаще стали навещать приступы головной боли, работа же плотника — на высоте; при сталинградской жаре часто кружилась голова, несколько раз падал со строительных лесов, повредил ногу. Артериальное давление — 200/110, а инвалидность врачи не дают. В пятидесятые годы было негласное указание: инвалидность не давать, побольше реабилитировать и снимать инвалидность с тех, кто ее уже успел получить.

Моей супруге, Варваре Александровне, потерявшей здоровье на войне, в 1951 году дали инвалидность, а через полгода отняли, выдали справку: может работать врачом, запрещается подниматься на второй этаж, ходить пешком, ездить на автотранспорте, утомляться и волноваться. Такого врача, хотя и прекрасного специалиста, на работу никто не брал. В 55 лет пенсию не дали: оказалось, надо было перед обращением проработать два года. И только на 72-м году жизни, в 1991-м, когда родная советская власть кончилась, дали минимальную пенсию. Законы по социальному обеспечению держались от народа в секрете. Оказалось, ей, капитану медицинской службы в отставке, еще в 1975 году была положена максимальная военная офицерская пенсия в 2000 рублей. Со скандалом мы вытребовали эту пенсию в 1999 году, но вскоре, в том же году, фронтовичка умерла.

Отцу на медкомиссии врачи говорили:

— А что пуля? Она же насквозь прошла, в голове не задержалась, там все давно заросло. Ну, выбила левую скулу, лицо обезобразила, так что же за это инвалидность давать?

Один за другим у отца случились два инсульта. Потерял речь. Перестали подчиняться правые рука и нога. Но по-прежнему для назначения пенсии не хватало трудового стажа, и он сторожил магазин. Мачеха продолжала ухаживать за больным отцом, собирала на железнодорожных путях уголь и продавала, да я помогал деньгами, вот они и жили. Потом отец совсем слег. Так и умер в 1963 году с изуродованным лицом, проработав пятьдесят лет, побывав на трех войнах и не заработав пенсии. Действительно: «Хитра Савельевна».

А вообще-то родословная нашей фамилии просматривается со времен поселения в 1745 году в селе Богане беглого крепостного ямщика Северина Михина. Он бежал вместе с невестой от барина-домогателя на барских же рысаках не то из Новохоперска, не то из Бутурлиновки в Борисоглебск. Там продал рысаков и тарантас, купил лошадку с телегой да корову и подался в Богану — пристанище беглых крепостных, ссыльных и каторжан. Основали село еще во времена Батыя жители соседнего села Чигорак, сумевшие убежать от татар. Они нашли глухомань и село поставили на возвышенности, у впадения реки Боганы в Ворону. Затерявшуюся среди болот, лесов и кустарников возвышенность не только татары, янычары — сам черт не смог бы найти.

Ветвь Семиона, младшего внука Северина, оказалась несчастливой. Главы ее семейств рано уходили из жизни: то молнией убивало, то от простуды умирали. За сто тридцать лет только две хаты построили, в 1800-м и в 1875-м, и то первая была без трубы: по-черному топилась, дым в сени шел; не то денег на трубу не хватило, не то налог за дым не могли платить. И только мой отец, Михин Алексей Александрович — праправнук Семиона, решился на своей усадьбе построить большой дом. И сруб уж изготовил, да коллективизация и пожар помешали.

Первые две ветви Михиных: главная — Лёвкина, и средняя — Конки — жили богато. Главную из них более ста сорока лет преследовала тоска по ямщине. В конце девятнадцатого века последний из Северов, тогда еще молодой мужик (а в мои детские годы в 20-х годах XX века — мой «дед Левка»), купил-таки тарантас, рысаков и с 1885 года стал держать единственную в Богане ямщину, осуществлявшую связь с Борисоглебском. Перед самой коллективизацией большая семья разделилась, продала дом, коней и тем избежала горькой доли «кулаков».

Вымерла и семейная ветвь Конки. Последний из них проживал в Богане до 30-х годов. Его аккуратный, срубленный собственными руками высокий, небольшой, но красивый домик окружал редкий тогда в Богане дощатый забор. В чистом дворе — ухоженная скотина, столярная мастерская. И сам дед Конка выделялся среди остальных крестьян красотой, стройностью, ухоженной бородой. Ходил во френче и сапогах, когда еще большинство селян носило лапти. А как он величественно показывал мне, четырехлетнему, взлет Христа на небо! Вытянувшись во весь свой высокий рост, приподняв к потолку красивое лицо, он торжественно поднимал вверх правую руку, а левую опускал вниз так, что она была на одной линии с правой, делал небольшой подскок — и мне казалось, что сейчас дед проткнет потолок комнаты и вознесется на небо.

И еще вспоминается, когда подумаю об отце, какой у него был тонкий музыкальный слух и прекрасный сильный тенор. Он был незаменимым запевалой в строю, когда служил во всех трех русских армиях: царской, Красной и Советской. Вот только дома, на моей памяти, пел он очень редко, разве что на праздничных застольях. Слишком трудной и невеселой была его жизнь.

После гибели на войне младшего брата Николая и смерти отца я оставался единственным продолжателем рода Михиных, так как первые две ветви нашей фамилии наследовали только дочери. С Варварой Александровной мы воспитали двух сыновей, оба они ученые, доктора наук: старший, Николай, — в области физики низких температур, младший, Вадим, — профессор, работает в медицине. Николай живет в Харькове, у него уже двое внуков, но они носят фамилию своей матери. Единственный юный Михин — сын Вадима, мой внук Павел. Как и я, он курянин — житель Курска.

Такова родословная автора книги, фронтовика, командира 1-го дивизиона 1028-го артполка 52-й стрелковой дивизии Михина Петра Алексеевича.

###### \* \* \*

Фашисты истребили всех мужчин в моей родне. Мне же повезло: за всю войну всего три раза был ранен и несколько раз контужен, хотя находился на передовой, командовал взводом, ротой, батареей, дивизионом, ходил за «языком», поднимал роту в атаку, корректировал огонь с нейтралки, куда без смертельного риска попасть невозможно, — и было это на самом страшном фронте подо Ржевом, потом в Донбассе, на Курской дуге и так далее до Праги. Вот и получается, что на войне я был счастливым: смерть обходила меня стороной.

Многие из нас, ленинградских студентов, после войны не вернулись в стены родного института. Сколько ребят погибло! Молодых, ярких, талантливых! В большинстве неженатых. Ни потомства, ни следа от них не осталось. Но ценою неимоверных усилий, страданий, лишений, голода, страха и крови вместе со своим народом мы выстояли, остановили, а потом и разгромили проклятого врага — немецких фашистов. Вот почему в заключение считаю необходимым повторить сказанное в начале этой книги: при любых оценках событий войны незыблемым должен оставаться непререкаемый исторический факт: ГЕРОИЗМ СОВЕТСКОГО НАРОДА.

Не знаю, почему так долго и сложно идет поиск национальной идеи нашей возрождающейся к нормальной жизни страны. Казалось бы, формула ее очень проста: РОДИНА — МАТЬ. А мать — и о погибших и ушедших горюет, помнит и чтит, и живых любовно пестует, и о будущем своего потомства думает и заботится. Хочется верить, что наше поколение передает эстафету защиты России-матушки в надежные руки.

*Курск. 1959–2000, 2006*

## Живая память

Книга Петра Михина — редкостная и необыкновенная. О героизме и муках наших солдат и офицеров на передовой пишет человек, который сам поднимал солдат в атаку, бился с фашистами в рукопашных схватках, ходил в тыл к немцам за «языком», стрелял из пушек по вражеской пехоте и танкам, сам бывал под гусеницами этих танков.

Не общие фразы об атаках и обороне, не газетные призывы к служению вождям и властям, а боль и страх солдат, бросающихся под кромешным огнем в атаку за свой поруганный народ, за свою Родину. Как они, эти солдаты, преодолевали страх, свершали подвиги, какую непередаваемую словами радость испытывали они от победы над врагом. Как идут они, а вернее, бегут сломя голову, по полям, усеянным трупами, через смерти и ранения навстречу врагу, чтобы сразиться с ним в рукопашной.

Книга потрясла меня своею искренностью, простотой и бесхитростностью. Не ради похвал и наград свершали подвиги люди старшего поколения, а потому, что это нужно для победы над противником. Их героизм часто оставался незамеченным. А самая значимая, самая необходимая для них похвала — это молчаливое одобрение, а еще лучше — бурное восхищение товарищей, на виду у которых они бились с немцами. Важно, чтобы требующее самопожертвования рисковое дело высоко оценили те, кто умеет сам это делать и знает толк в нем.

Трагические и смертельно опасные ситуации создавались не только хитрым и коварным врагом, но зачастую и неумелыми действиями своих командиров, а то и командующих. А ты, надрывая свои последние силы, идя на верную погибель, должен разрешить эту проигранную ситуацию в нашу пользу. Такова участь солдата на войне. Города берут генералы, а оставляют рядовые.

Автор пронзительно-ярко, в духе Константина Воробьева и Виктора Астафьева, показывает страдания человека на войне. Не только физические, но и нравственные. Не в тылах, штабах и политотделах, а на передовой, где стреляют, бьются смертным боем. Испытывая адские страхи и страдания, люди передовой позиции сражаются до последней капли крови, до последней жилки и нерва, до последнего вздоха, чтобы одолеть врага, чего бы это им ни стоило: увечья, гибели или мучительной смерти в плену.

Я не встречал ранее в военной литературе, чтобы автор так смело и беспощадно обнажал различия в положении людей на фронте. «Мы все войны шальные дети: и генерал, и рядовой», — поется в песне. Это в песне, а на деле было иначе. Одни, находясь в обозе, подвозят, снабжают, командуют, надзирают, кричат «ура!» с газетных страниц, распределяют награды, должности и звания, устраивают праздники для себя, «братаются» с мирным населением, а немца и в глаза не видели. Другие ползают на животе под пулями, в грязи, на ледяном ветру, в жару средь разлагающихся трупов, чтобы вплотную приблизиться к противнику и вступить с ним в рукопашную схватку. В эту категорию попадают рядовые, взводные, ротные и комбаты. Они же были в ответе в случае неудачи. Но зато какая трогательная дружба на передовой, какая взаимовыручка! Там в смертельной опасности не подхалимничают и не угождают.

В книге ничего нет надуманного. Все описано в точности так, как рассказывал когда-то мой покойный отец Николай Петрович Карамышев.

В 1943 году, когда ему было шестнадцать лет, он приписал себе год и пошел добровольцем на войну. Год воевал ранцевым огнеметчиком, был несколько раз легко ранен, но возвращался быстро в строй.

Ранцевый огнемет, конечно, оружие грозное. Струя огня бьет на семьдесят метров, и мой отец успешно выжигал фрицев через узкие амбразуры, испепелял пулеметные гнезда, орудийные расчеты, наступающую пехоту и танки противника. Но вот чтобы сделать это, надо было суметь подползти к немцам незамеченным на полусотню метров. Сначала отец под огнем неприятеля бежал к немецким позициям вместе с нашей атакующей пехотой. А потом, скрываясь, выдвигался вперед. А на спине у него пудовый стальной ранец размером с ведро. В этом ранце под большим давлением — горючая смесь. И если пуля или осколок царапнут этот ранец, происходил взрыв, и огнеметчик превращался в факел. Поэтому ранец снимали со спины и тянули его рядом с собой, все меньше опасность. Ох, как трудно подкрасться к немцам по открытому полю! Большинство огнеметчиков гибли до открытия огня по противнику, а раненые истекали кровью на нейтральной полосе. Но если удастся подползти, то держись, немец! Все сожжет беспощадный твой огонь, пусть даже ты не выберешься отсюда живым, победа все равно за тобой!

После тяжелого ранения отца наградили орденом и присвоили звание сержанта. Повысили в должности: назначили командиром отделения в пехоту. Должность эта нисколько не безопаснее огнеметчика. Прибавилось только ответственности. Теперь ты должен не только сам бежать в атаку, но и вести за собой десяток солдат, отвечать за то, поднимется ли каждый из них под огонь пулемета или струсит.

Людской состав на передовой тает, как снег в кипятке. Отделение все время пополняется новичками. А их учить надо. Да и сам не железный. За два месяца несколько раз был легко ранен. Вскоре отца назначают помощником командира взвода — помкомвзвода. И звание у него — старший сержант. Теперь он ведет в бой уже три десятка солдат и боевые задачи получает более сложные.

Так как необстрелянные лейтенанты — командиры взводов — гибнут через день-два боев, то помощнику взводного приходится постоянно командовать этим подразделением.

Между тем наступление наших войск продолжается, и дивизия, в которой служил отец, вступает на немецкую землю, в Восточную Пруссию. Первое, что бросилось в глаза нашим воинам, — порядок и достаток, в котором жили немцы. Полные дворы откормленной скотины. В подвалах и на чердаках многолетние запасы сыров, копченостей, солений, сухофруктов. Каждый окорок, каждая индейка — с биркой и под номером. А им-то говорили, что у немцев все ресурсы кончаются, вот-вот они с голода начнут вымирать и воевать нам будет легче. А немцы жиреют и с каждым днем все злее бьются.

Наконец, завязались бои за столицу Восточной Пруссии, за город Кенигсберг. А город этот — многовековая крепость. Дома из камня и каленого кирпича, пуля их не берет. В метровых стенах — узкие амбразуры, окна заложены камнями. Из всех щелей и амбразур стреляют пулеметы.

26 февраля 1945 года взводу Карамышева приказали взять двухэтажный каменный дом. Под кромешным огнем, теряя людей, взвод приблизился к дому почти на тридцать метров, еще немного подползти, и можно вскакивать и бросаться вперед. Но немецкие пулеметы делают свое дело, взвод тает на глазах. Однако и у немцев большие потери, остался один пулеметный расчет в окне второго этажа. От тридцати человек во взводе кроме отца осталось только двое. Но дом надо захватывать. Отец решил бросить гранату-лимонку в оконный проем, откуда строчит пулемет. Только поднялся, чтобы размахнуться, — в пояс резанула пулеметная очередь. Четыре пули раздробили кости, повредили седалищный нерв и на вылете разворотили низ спины.

Зима, холод, вынести с поля боя раненого нет никакой возможности, да и некому. Только через сутки попал отец в санбат. Потерял много крови и полуживым оказался на операционном столе. Перенес сложнейшую операцию. Выжил. Когда раны немного затянулись, из санбата его отправили в госпиталь. Состояние страшное. Хуже не придумаешь. Ни встать, ни сесть невозможно. Два года в трех госпиталях сшивали, латали, заменяли выбитые кости на металл, протезировали. У двадцатилетнего парня хватило сил не только перенести множество операций, но, лежа на больничной койке, поступить на заочное обучение, чтобы выучиться на бухгалтера.

Пока заживали раны между операциями, он читал учебники, писал контрольные работы, сдавал зачеты и экзамены. Тяга к жизни, стремление стать полезным обществу человеком даже в лежачем состоянии позволили ему за два года пребывания в госпиталях получить специальность бухгалтера.

В сорок седьмом привезли инвалида домой долечиваться. Адские боли, раны не заживают. И все же выходила сына-инвалида его сердобольная мама Хевронья Акимовна Карамышева. Но кости гнили, каждый год требовалась новая операция. Последнюю герой перенес в 1973 году. И хоть поздно, когда было уже за тридцать, Николай Петрович женился на Александре Денисовне Говоровой.

Не только на фронте совершал подвиги старший сержант Карамышев. Разве это не подвиг — много лет бороться за жизнь, изо всех сил стремиться стать, пусть даже на костылях, но на ноги, чтобы трудиться в колхозе бухгалтером. Добился больших трудовых успехов и глубокого уважения односельчан. Но еще один, может быть, самый главный подвиг совершили уже вместе супруги Карамышевы — они родили, воспитали и дали образование трем детям: Валентине, 1960 года рождения, Петру, 1963 г.р. и мне, Виктору, 1966 г.р. В 1994 году отца не стало, но память о нем, его воспоминания и рассказы о войне останутся с нами навсегда.

Когда я прочитал книгу Петра Алексеевича Михина, вспомнил рассказы отца, сравнил их жизни, познакомился с автором — он стал для меня близким человеком. Я знаю, как любят его бывшие ученики-суворовцы, которых он вывел в люди. Горжусь тем, что и мне герой войны оказывает отцовское внимание, помогает в жизни своими мудрыми советами.

*Депутат Курской областной думы Виктор Карамышев*

## Об авторе

Петр Алексеевич Михин родился 2 марта 1921 года в селе Богане Борисоглебского района Воронежской области. С отличием закончил Борисоглебское педучилище и Ленинградский педагогический институт имени А. И. Герцена. В декабре 1941 года окончил краткосрочный курс 3-го Ленинградского артиллерийского училища. Участвовал в боях с немецко-фашистскими захватчиками в составе 1028-го артиллерийского полка 52-й Шумлинско-Венской, дважды Краснознаменной, ордена Суворова стрелковой дивизии подо Ржевом и Сталинградом, на Курской дуге, на Украине и в Молдавии, в Румынии, Болгарии, в Югославии и Венгрии, в Австрии и Чехословакии, с японцами — в Китае.

Командовал взводом, батареей, дивизионом. Был трижды ранен и много раз контужен. Награжден орденами Александра Невского, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й (дважды) и 2-й степеней, Красной Звезды, «Знак Почета»; медалями: «За боевые заслуги», «За освобождение Белграда», «За освобождение Праги», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены». Закончил войну капитаном.

После войны преподавал математику в Борисоглебском педучилище, в Курском и Уссурийском суворовских военных училищах. Талантливый педагог и умелый организатор. Около тридцати лет возглавлял Курский областной институт усовершенствования учителей. Создал эффективную систему повышения квалификации педагогических кадров, вывел на всесоюзную арену передовой опыт курских учителей. Лекции П. А. Михина по педагогике, психологии и математике — глубокие по содержанию и блестящие по манере изложения — слушались с затаенным дыханием и запоминались на всю жизнь. Ему присвоено звание «Заслуженный учитель РСФСР».

Ныне П. А. Михин — подполковник в отставке. Почетный гражданин Ржевского района Тверской области и города Соледар Донецкой области Украины. Имя П. А. Михина занесено в Энциклопедию «Лучшие люди России». Участник Парада Победы в Москве в 2005 году.

Опубликовал более 40 брошюр, научных статей, около 60 рассказов и три книги воспоминаний о Великой Отечественной войне.

## Список иллюстраций

### Список схем

Бой за город Пустовам. Венгрия, 2.01.1945

### Список фотографий

Сергей Назаров, Витя Ерошник и Петр Михин — студенты физмата. Ленинград, 31.12.1939

Объявили о начале войны. Петр Михин, Ваня Зацепин, Леша Ковалев (из них в живых останется только Петр Михин) по пути в военкомат. Июнь, 1941

Лейтенант Михин П. А. Декабрь, 1941

Ремонт накатника 122-мм гаубицы М-30

Позиция корпусной 122-мм пушки-гаубицы А-19 обр. 1931/37

Батарея 122-мм гаубиц М-30

122-мм гаубицы М-30 на марше. 23-я гв. стрелковая дивизия 26-й армии. 1943 г.

Артиллерийский НП

Командир дивизиона капитан Михин П. А. 1944

Штаб дивизиона Михина. Стоят слева: замполит Карпов, начштаба Советов, начсвязи Левин. Сидят: рядовой Рыжков, помначштаба Медведев, комсорг Одинцов, бывший замполит Захаров. Лежат: связистка Райкова, фельдшер Матвеев

1028 артполк. Сидят слева: прокурор дивизии, начштаба Шлямин, командир Рогоза, замполит Устинов, парторг Аржатский. Стоят: помначштаба Кочелаба, командиры дивизионов: Михин, Выскребенцев, Ярышкин

Командир 1028 артполка С. Ф. Рогоза

Парторг дивизиона Михина Иван Акимович Шевченко. Май, 1945

Капитан Михин. Болгария, 1944

И. А. Шевченко и П. А. Михин. Май, 1945 год

Май 1945 года под Прагой. Радость Победы. Слева Михин

Неубиваемый разведчик Яша Коренной

Монастырь в Монголии. Лето 1945 г.

В Китайском храме. Август, 1945

Обед в пустыне Гоби. Монголия, 1945

Студентка Ивановского мединститута Варя Сомова, 1940

Военврач 106-го медсанбата В.А. Сомова, 1944

Врачи санбата В. А. Сомова, З. В. Овсянникова, Е. В. Мишкина. Прага. Май, 1945

Снова институт. П. А. Михин с героем «Молодой гвардии» — мл. лейтенантом Виктором Лопуховым, 24.12.1946

Ветфельдшер Николаев, старшина Макуха, сидит командир батареи Расковалов. Через месяц его убьет снайпер. Югославия, 1944

17-летний ополченец Николай Михин по пути на фронт. Июль, 1941

А. А. Михин с отметиной от немецкой пули на лице. Борисоглебск, 1946

На этих рельсах под Ржевом в 1942-м бушевали пулеметные вихри. 1985

1. См. о судьбе моего брата-ополченца в главе двадцать шестой данной книги. — Здесь и далее все примечания принадлежат автору. [↑](#footnote-ref-1)
2. В артиллерии комбат — это командир батареи. [↑](#footnote-ref-2)
3. См. в изданиях: О. А. Кондратьев. Ржевская битва: полвека умолчания. Ржев, 1998; и Ржев. Словарь-справочник. Ржев, 2005. — С. 128. [↑](#footnote-ref-3)
4. Телеги (укр.) [↑](#footnote-ref-4)
5. Ингулец — приток реки Ингул, впадающей в Черное море у города Николаева. [↑](#footnote-ref-5)
6. Сталинградская эпопея. Впервые публикуемые документы, рассекреченные ФСБ РФ. Москва, «Звонница — МГ», 2000. — С. 224. [↑](#footnote-ref-6)
7. См.: Александр Крон. Капитан дальнего плавания. М., Советский писатель, 1984; а также: «Известия», 18 июля 1988. [↑](#footnote-ref-7)
8. «Бабки» — итоги, костяшки на русских счетах. [↑](#footnote-ref-8)